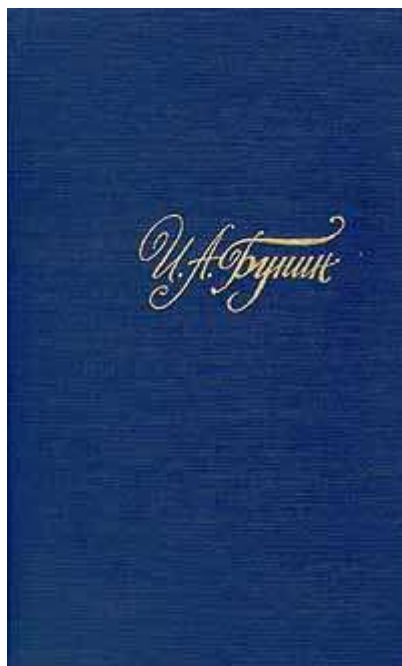


Иван Алексеевич Бунин
Том 3. Рассказы и повести 1917-1930. Жизнь Арсеньева

Серия: Собрание сочинений Бунина в четырех томах – 3



Москва, "Правда", 1988;

Аннотация

В третий том Собрания сочинений вошли рассказы и повести 1917–1930 годов и повесть "Жизнь Арсеньева".

Иван Алексеевич Бунин
Собрание сочинений в четырех томах
Том 3. Рассказы и повести 1917–1930. Жизнь Арсеньева

Рассказы и повести 1917-1930

Роза Иерихона

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что называли розой да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекасти-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему сравнений.

Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю господина нашего Иисуса Христа. В великом покосе вековой тишины и забвения лежали перед нами ее палестины – доли Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого – и вот опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдались. Неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце – и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

1930

Безумный художник

Золотилось солнце на востоке, за туманной синью далеких лесов, за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества, бодрое утро с легким морозом и инеем.

Только что пришел петроградский поезд: в гору, по наезженному снегу, от железнодорожной станции, тянулись извозчики, с седоками и без седоков.

В старой большой гостинице на просторной площади, против старых торговых рядов, было тихо и пусто, прибрано к празднику. Гостей не ждали. Но вот к крыльцу подъехал господин в пенсне, с изумленными глазами, в черном бархатном берете, из-под которого падали зеленоватые кудри, и в длинной дохе блестящего каштанового меха.

Рыжий бородач на козлах притворно кричал, желая показать, что он промерз, что следует набавить ему. Седок не обратил на него внимания, предоставив расплатиться с ним гостинице.

– Ведите меня в самый светлый номер, – громко сказал он, торжественным шагом следуя по широкому коридору за молодым коридорным, несшим его дорогой заграничный чемодан. – Я художник, – сказал он, – но на этот раз мне не нужна комната на север. Отнюдь нет!

Коридорный распахнул дверь в номер первый, самый почетный, состоявший из прихожей

и двух обширных комнат, где окна были, однако, невелики и очень глубоки, по причине толстых стен. В комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смягченного инеем на нижних стеклах. Осторожно опустив чемодан на ковер посередине приемной, коридорный, молодой малый с умными веселыми глазами, остановился в ожидании паспорта и приказаний. Художник, ростом невысокий, юношески легкий вопреки своему возрасту, в берете и бархатной куртке, прошелся из угла в угол и, сронив движением бровей пенсне, потер белыми, точно алебастровыми руками свое бледное! измученное лицо. Потом странно посмотрел на слугу невидящим взором очень близорукого и рассеянного человека.

– Двадцать четвертое декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года! – сказал он. – Эту дату ты должен запомнить!

– Слушаю-сь, – ответил коридорный.

Художник вынул из бокового кармана куртки золотые часы, мельком, прищурив один глаз, взглянул на них.

– Ровно половина десятого, – продолжал он, снова устроявая на носу свои стекла. – Я у цели своего паломничества. Слава в вышних богу и на земле мир, в человецех благоволение! Паспорт я тебе дам, не беспокойся, но сейчас мне не до паспорта. У меня нет ни одной свободной минуты. Сейчас я спешу в город, чтобы вернуться ровно в одиннадцать. Я должен завершить дело всей моей жизни. Мой молодой друг, – сказал он, протягивая к коридорному руку и показывая ему два обручальных кольца, из которых одно, на мизинце, было женское, – это кольцо – предсмертный завет!

– Так точно, – ответил коридорный.

– И я этот завет исполню! – грозно сказал художник. – Я напишу бессмертную вещь! И я подарю ее – тебе.

– Покорнейше благодарим, – ответил коридорный.

– Но, любезный, дело в том, что я не взял с собой ни холста, ни красок, – провезти их из-за этой чудовищной войны было совершенно невозможно. Я надеюсь достать их здесь. Я наконец воплещу все то, что сводило меня с ума целых два года, а потом так дивно преобразилось в Стокгольме!

Говоря и отчеканивая слова, художник в упор смотрел через пенсне на своего собеседника.

– Весь мир должен узнать и понять это откровение, эту благую весть! – воскликнул он, театрально взмахнув рукой. – Слышишь? Весь мир! Все!

– Хорошо-с, – ответил коридорный. – Я доложу хозяину.

Художник снова надел доху и направился к двери. Коридорный со всех ног кинулся открывать ее. Художник важно кивнул ему и зашагал по коридору. На площадке лестницы он приостановился и добавил:

– В мире, мой друг, нет праздника выше Рождества.

Нет таинства, равного рождению человека. Последний миг кровавого, старого мира! Рождается новый человек!

На улице совсем ободнялось, стало совсем солнечно. Иней на телеграфных проволоках рисовался по голубому небу нежно и сизо и уже крошился, осыпался. На площади толпился целый лес густых темно-зеленых елок. У мясных лавок стояли мерзлые белые туши голых свиней с глубокими разрезами на толстых загривках, висели серые рябчики, ощипанные гуси, индейки, жирные и застывшие. Прохожие, переговариваясь, спешили, извозчики стегали лохматых лошадей, подреза визжали.

– Узнаю тебя, Русь! – громко говорил художник, шагая по площади и глядя на туго подпоясанных, толсто одетых бодрых торговцев и торговок, покрикивающих возле своих лотков с самодельными деревянными игрушками и большими белыми пряниками в виде коней, петухов и рыб.

Он подозвал свободного извозчика и велел ехать ему на главную улицу.

– Только живее, к одиннадцати я должен быть дома за работой, – сказал он, садясь в холодные санки, кладя на колени себе тяжелую, каляную полость.

Извозчик мотнул шапкой и быстро понес его на своем сытом меринке по блестящей, накатанной дороге.

– Живее, живее! – повторил художник. В двенадцать самый полный свет солнца. – Да, – сказал он, оглядываясь, – места знакомые, но основательно забытые! Как называется эта пьяцца?

– Чего изволите? – спросил извозчик.

– Я тебя спрашиваю, как называется эта площадь? – крикнул художник, внезапно впадая в ярость. – Стой, негодяй! Зачем ты привез меня к часовне? Я боюсь церковей и часовен! Стой! Ты знаешь, что один финн привез меня к кладбищу, и я тотчас же написал письма к королю и к папе, и он был приговорен к смертной казни! Вези назад!

Извозчик осадил разбежавшуюся лошадь и взглянул на седока с недоумением:

– Куда же прикажете? Вы сказали, на главную улицу...

– Я сказал тебе – в художественный магазин!

– Вы бы лучше, барин, другого наняли, мы не понимаем.

– Ну и убирайся к черту! Вот тебе твои сребреники!

И художник неловко вылез из саней, бросил извозчику трехрублевку и пошел прочь, назад, посередине улицы. Доха его распахнулась, волочилась по снегу, глаза страдальчески и растерянно блуждали по сторонам. Увидав в окне магазина золоченые багеты, он поспешно вошел в магазин. Но едва он заговорило красках, румяная барышня в шубке, сидевшая за кассой, тотчас же перебила его:

– Ах, нет, у нас красками не торгуют. У нас только рамы, багеты и обои. Да и вообще вряд ли вы найдете у нас в городе холст и масляные краски.

Художник с непритворным отчаянием схватился за голову.

– Боже мой, да неужели? Ах, как это ужасно! Сейчас и именно сейчас краски для меня вопрос жизни и смерти! Идея моя совершенно созрела еще в Стокгольме и, будучи воплощенной, должна произвести неслыханное впечатление. Я должен написать вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину, – и эти ясли, и младенца, и мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом, – именно рядом! – таким ликованием ангелов, таким светом, чтобы это было воистину рождением нового человека. Только у меня это будет в Испании, стране нашего первого, брачного путешествия. Вдали – синие горы, на холмах цветущие деревья, в раскрытых небесах...

– Извиняюсь, господин, – сказала барышня с испугом, – здесь могут покупатели прийти. У нас только рамы, багеты и шпалеры...

Художник встрепенулся и с преувеличенной вежливостью поднял свой берет:

– Ах, простите ради бога! Вы правы, тысячу раз правы!

И поспешно вышел.

Через несколько домов, в магазине «Знание», он купил очень большой лист шершавого картона, цветных карандашей и акварельные краски на бумажной палитре. Затем опять вскочил на извозчика и погнал его в гостиницу. В гостинице он тотчас позвонил. Явился тот же коридорный. Художник держал в руках паспорт.

– Вот! – сказал он, протягивая его коридорному. – Кесарево – кесарю. А затем, любезный, ты должен принести мне стакан воды для акварели. Масляных красок, увы, нигде нет. Война! Железный век! Пещерный век!

И, подумав, внезапно просиял восторгом:

– А какой день! Боже, какой день! Ровно в полночь рождается Спаситель! Спаситель мира! Я так и подпишу под картиной: «Рождение Нового Человека!» Мадонну я напишу с той, чье имя отныне священо. Я воскрешу ее, убитую злой силой вместе с новой жизнью выношенной ею под сердцем!

Коридорный опять выразил свою неизменную готовность на услуги и опять ушел. Но когда, через несколько минут он принес стакан и графин свежей воды, художник крепко спал. Бледное и худое лицо его было похоже на алебастровую маску. Он высоко, навзничь лежал на подушках на кровати в спальне, закинув голову, разметав свои длинные серо-зеленые волосы, и не было слышно даже дыхания его. Коридорный удалился на цыпочках и за дверью столкнулся с хозяином, приземистым человеком с бобриком на темени и острыми глазами.

– Ну что? – спросил хозяин быстрым шепотом.

– Спит, – ответил коридорный.

– Чудеса! – сказал хозяин. – А паспорт правильный.

Только отмечено, что жена померла. Иван Матвеевич звонил из полиции, велел присматривать. Ты того, держи ухо востро. Время, брат, военное.

– Говорит – одарю тебя, дай только дело сделать, – сказал коридорный. – Самовара не

спрашивает...

– Вот, вот! – подхватил хозяин и прильнул ухом к двери.

Но за дверью было тихо, и только чувствовалась та грусть, что бывает в комнате спящего человека.

Солнце медленно уходило из номера. Потом и совсем ушло. Иней на окнах посерел, стал скучный. В сумерки художник внезапно проснулся и тотчас кинулся к звонку.

– Это ужасно! – закричал он, как только появился коридорный. – Ты меня не разбудил! А меж тем именно из-за этого дня мы и предприняли нашу страшную Одиссею. Представь же себе, каково было ей, беременной на восьмом месяце! Мы прошли через тысячу всяческих рогаток, не спали, не ели почти шесть недель. А море! А бешеные качки! А этот непрерывный страх, что, того гляди, взлетишь на воздух! «Все наверх! Готовь спасательные пояса! Первому, кто кинется к шлюпке без команды, разможу череп!»

– Так точно, – сказал коридорный, оторопев от его зычного крика.

– А какой был радостный свет! – продолжал художник, успокаиваясь. – Я при таком настроении духа, как давеча, кончил бы работу в два-три часа. Но что же делать! Буду работать всю ночь. Только помоги мне кое-что приготовить. Стол этот, пожалуй, годится...

Он подошел к преддиванному столу, стащил с него бархатную скатерть, покачал его:

– Стоит довольно твердо. Но вот что: у вас здесь всего две свечи. Надо примести еще восемь, иначе я не могу писать, Мне нужна бездна света! Коридорный опять вышел и долго спустя принес семь свечей в разных подсвечниках.

– Одной нету, все по номерам, – сказал он.

Художник опять заволновался, опять закричал:

– Ах, как это досадно! Десять, десять нужно было! На всяком шагу преграды, низости! Помоги мне, по крайней мере, поставить стол как раз посередине комнаты. Мы увеличим свет отражения в зеркале...

Коридорный потащил стол на указанное место, покрепче уставил его.

– Теперь надо застелить чем-нибудь белым, не поглощающим света, – бормотал художник, неловко помогая, роняя и надевая пенсне. – Чем бы это? Белых скатертей я боюсь... Ба, у меня куча газет, я предусмотрительно не выбрасывал их!

Он открыл чемодан, лежавший на полу, взял оттуда несколько номеров газеты, застелил стол, прикрепил кнопками, разложил карандаши, палитру, расставил в ряд девять свечей и все зажег их. Комната приняла странный, праздничный, но и зловещий вид от этого обилия огней. Окна почернели. Свечи отражались в зеркале над диваном, бросая яркий золотой свет на белое серьезное лицо художника и на молодое озабоченное лицо коридорного. Когда наконец все было готово, коридорный почтительно отступил к порогу и спросил:

– Кушать будете у нас али на стороне? Художник горько и театрально усмехнулся.

– Дитя! Он воображает, что я могу в такую минуту есть! Иди с миром, друг мой. Ты свободен теперь до утра.

И коридорный осторожно вышел вон.

Часы текли. Художник ходил из угла в угол. Он сказал себе: «Надо подготовиться». За окнами чернела зимняя морозная ночь. Он опустил на них шторы. В гостинице все молчало. За дверью в коридоре слышались осторожные, воровские шаги, – за художником подсматривали в замочную скважину, подслушивали. Потом и шаги стихли. Свечи пылали, дрожа огнями, отражаясь в зеркале. Лицо художника становилось все болезненнее.

– Нет! – вскричал он вдруг, резко останавливаясь. Сперва я должен возобновить в памяти ее черты. Прочь детский страх!

Он наклонился к чемодану, волосы его повисли. Запустив руку под белье, он вытащил большой белый бархатный альбом, сел в кресло у стола. Раскрыв альбом, он решительно и гордо откинул голову назад и замер в созерцании.

В альбоме был большой фотографический снимок: внутренность какой-то пустой часовни, со сводами, с блестящими стенами из гладкого камня. Посредине, на возвышении, покрытом траурным сукном, тянулся длинный гроб, в котором лежала худая женщина с сомкнутыми выпуклыми веками. Узкая и красивая голова ее была окружена гирляндой цветов, высоко на груди покоились сложенные руки. В возглавии гроба стояли три церковных священника, у подножия – крохотный гробик с младенцем, похожим на куклу.

Художник напряженно вглядывался в острые черты покойной. Вдруг лицо его исказилось ужасом. Он кинул альбом на ковер, вскочил, бросился к чемодану. Он перерыл его весь, до дна, разбросал по полу рубашки, носки, галстуки... Нет, того, что он искал, не было! Он отчаянно озирался по сторонам, тер рукою лоб...

– Полжизни за кисть! – воскликнул он хриплым голосом, топнув ногою. – Забыл, забыл, несчастный! Ищи же! Сотвори чудо!

Но кисти не было. Он пошарил по карманам, нашел перочинный нож, подбежал к дохе... Разве вырезать клоч меху и привязать к перу, к щепке? Но где взять ниток? Ночь, все спят... его примут за сумасшедшего! И он яростно схватил с дивана картон, швырнул его на стол, сбегал в спальню за подушками, положил их на кресло, чтобы было выше сидеть, и, хватая то один, то другой цветной карандаш, с головой ушел в работу.

Он трудился без отдыха. Он снял пенсне и низко наклонился к столу, бросал сильные и уверенные удары, откидывался, вперяя взгляд в зеркало, светлый туман которого был полон дрожащими цветистыми огнями. От жара свечей волосы художника на висках смokлись, от напряжения вздулись жилы на шее. Глаза слезились и горели, черты лица обрезались.

Наконец он увидел, что лист картона безнадежно испорчен, – нелепо и ярко загроможден рисунками, совершенно противоположными друг другу по смыслу и по значению их: горячее вдохновение художника совершенно не повиновалось ему, делало совсем не то, что ему хотелось. Он перевернул картон и, схватив синий карандаш, оцепенел на некоторое время. Раскрытый альбом лежал возле его кресла. Из альбома так и бил в глаза длинный гроб и мертвый лик. Он порывисто захлопнул альбом. В чемодане торчала из белья оплетенная фляжка с одеколоном. Он вскочил, быстро отвинтил ее крышечку и, обжигаясь, стал пить. Опорожнив фляжку почти до дна и отдуваясь от душистого пламени, с пылающим горлом, он опять пошел шагать по комнате.

Вскоре юношеская сила овладела им – дерзкая решительность, уверенность в каждой своей мысли, в каждом своем чувстве, сознание, что он все может, все смеет, что нет более для него сомнений, нет преград. Он исполнился надежд и радости. Ему казалось, что мрачные, дьявольские наваждения жизни, черными волнами заливавшие его воображение, отступают от него. Осанна! Благословен грядый во имя господне!

Теперь перед его умственным взором, с потрясающей, с небывалой доселе ясностью, стояло лишь то, чего жаждало его сердце, сердце не раба жизни, а творца ее, как мысленно говорил он себе. Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезилась ему; светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес; бог-отец, грозный и радостный, благий и торжествующий, как в дни творения, высился среди них радужным исполинским видением; дева неизреченной прелести, с очами, полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах, сквозящих синью земных далей, простертых под нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках своих младенца, блистающего, как солнце, и дикий, могучий Иоанн, препоясанный звериной шкурою, на коленях стоял возле ее ног, в иступлении любви, нежности и благодарности целуя край ее одежды...

И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью, трясущимися руками вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешанного вдоль щек мокрыми волосами.

В шесть часов он бешено давил кнопку звонка: он кончил, кончил! Затем побежал к столу и стоя, с бьющимся сердцем, стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом.

Никто не шел. Гробовая тишина окружала его. Но он стоял, он ждал, весь превратившись в слух и ожидание. Вот, сию минуту вбежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого божества, быстро скажет ему заранее приготовленные, страшные и победительные слова:

– Возьми. Я тебе дарю это.

И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь расцвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в

полной противоположности его страстным мечтам. Дикое, черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани по перекадинам креста. Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого железный трезубец. Низ же картины являл беспорядочную грудку мертвых – и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие.

Париж. 1921

Конец

I

На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей... Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще неполной разрешенностью своей судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск, град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет.

К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба, бодро раздавался тяжкий, глухой стук, от которого вздрагивала земля, за ним великолепный, с победоносной мощью режущий воздух и звенящий звук снаряда и, наконец, громовой разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая и беспорядочная оружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к «Патрасу», под французским флагом стоявшему у набережной в Карантинной гавани. Откуда-то донесся быстро бегущий, тревожно и печально требующий дороги рожок кареты Скорой помощи... Стало жутко и на «Патрасе» – то страшное, что совершилось на горе, доходило и до него. «Что же мы стоим? – слышались голоса в толпе, наполнявшей парход. – С ума сошли, что ли, французы? Нас не выпустят, нас всех перережут!» – И все стали врать напропалую, стараясь зачем-то еще более напугать и себя и других: угля, говорят, нет, команда, говорят, бунтует, матросы красный флаг хотят выкинуть... Между тем уже темнело.

Но вот, в пятом часу, выскочил наконец из-за старого здания таможни и подлетел к парходу крытый автомобиль – и у всех вырвался вздох облегчения: консул приехал, значит, слава богу, сейчас отвалим. Консул, с портфелем под мышкой, выпрыгнул из автомобиля и пробежал по сходням, за ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в короткой волчьей шубке мехом наружу, нарочито грубого и воинственного вида, и тотчас же загремела лебедка, и к автомобилю стала спускаться петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко, автомобиль, охваченный петлей, покосился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами... Два часовых, два голубых солдата в железных касках, стояли с карабинами на плечо возле сходней. Вдруг откуда-то появился перед ними яростно запыхавшийся господин в бобровой шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин, заметно было, повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его, забрызганное грязью, с воротником точно зализанным, висело как на вешалке. А девочка была полненькая, хорошо и тепло одета, в белом вязаном капоре. Господин кинулся к сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на парход.

Я стоял на рубке над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом так же тупо стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, орудийная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся су-

мерках чувствовалось, что дело уже сделано, что город сдался... В городе не было ни одного огня, порт был пуст, «Патрас» уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались, все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад... Потом шумно заklubилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выровнялись и пошли полным ходом... Прощай, Россия, бодро сказал я себе, сбегая по трапам.

II

Пароход, конечно, уже окрестили ноевым ковчегом, – человеческое остроумие не богато. И точно, кого только не было на нем! Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет неплохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые и еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие уже давно, из города в город, и, наконец, добежавшие до последней русской черты.

Три четверти людей, сбившихся на «Патрасе», уже испытали несметное и неправдоподобное количество всяких потерь и бед, смертельных опасностей, жутких и нелепых случайностей, мук всяческого передвижения и борьбы со всяческими препятствиями, крайнюю тяготу телесной и душевной нечистоты, усталости. Теперь, утратив последние остатки человеческого благополучия, растеряв друг друга, забыв всякое людское достоинство, жадно таща на себе последний чемодан, они сбежались к этой последней черте, под защиту счастливых, далеких от всех их страданий и потому втайне гордящихся существ, называемых французами, и эти французы позволили им укрыться от последней гибели в то утлое, тесное, что называлось «Патрасом» и что в этот зимний вечер вышло со всем своим сбродом навстречу мрачной зимней ночи, в пустоту и даль мрачного зимнего моря. Что должен был чувствовать весь этот сброд? На что могли надеяться все те, что сбились на «Патрасе», в том совершенно загадочном, что ожидало их где-то в Стамбуле, на Кипре, на Балканах? И, однако, каждый из них на что-то надеялся, чем-то еще жил, чему-то еще радовался и совсем не думал о том страшном морском пути в эту страшную зимнюю ночь, одной трезвой мысли о котором было бы достаточно для полного ужаса и отчаяния. По милости божьей, именно трезвости-то и не бывает у человека в наиболее роковые минуты жизни. Человек в эти минуты спасительно тупеет.

Всюду на пароходе все было загромождено вещами и затоптано грязью и снегом. Всюду была беспорядочная теснота и царило оживление табора, людей только что спасшихся, страстно стремившихся спастись во что бы то ни стало и вот наконец добившихся своего, после всех своих мучений и страхов наконец поверивших, что они спасены, что они уже вне опасности и что они живы, – что бы там ни было впоследствии! Человек весьма охотно, даже с радостью освобождается от всяких человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикому образу существования, – только позволь обстоятельства, только будь оправдание. И на «Патрасе» все чувствовали, что теперь это позволено, что теперь это можно – не стыдиться ни грязных рук, ни потных под шапками волос, ни жадной еды не вовремя, ни неумеренного куренья, ни разворачивания при посторонних своего скарба, нутра своей обычно сокровенной жизни.

Всюду были узлы, чемоданы и люди: и в рубке над кают-компанией, где поминутно хлопала тяжелая дверь на палубу и несло сырым ветром со снегом, и на лестнице в кают-компанию, и под лестницей, и в столовой, где воздух был уже очень испорченный. Трудно было пройти от тех нестесняющихся и опытных, предусмотрительных господ, что уже захватывали себе местечко, располагались по полу со своими постелями и семьями. Прочие, спотыкаясь на эти постели, перепрыгивая через узлы и чемоданы, наталкиваясь друг на друга, бегали с чайниками за кипятком, тащили где-то добытые, – за какие угодно деньги и чем дороже, тем радостнее! – огромные белые хлеба, торжествуя друг перед другом своей ловкостью, настойчивостью и даже бессовестностью. Столы завалили съестным, сидели за ними тесно, в шапках и калошах, поспешно

ели и пили, сорили яичной скорлупой, угощали друг друга колбасой и салом, со смехом рассказывая, что вчера мужик на базаре содрал вот за этот кусок четыре тысячи «думскими», пробивали перочинными ножами брызгающие рыжим маслом жестянки... Длинный господин, явившийся на пароход последним, несколько раз пробежал по столовой с коробкой консервированного молока в руке, – где-то устроил свою девочку и хлопотал накормить ее. Вид у него был все такой же грозный и решительный, и еще заметнее было теперь, – он был без пальто, – как худа его шея, как велика бобровая шапка, как мягки и сальны длинные волосы.

III

Под лестницей была особенно гнусная теснота, образовались две нетерпеливых очереди – одна возле нужников, в двери которых ожидающие поминутно стучали, и другая возле лакеев, раздававших красное вино, налипавших его из бочки в бутылки, кружки и чайники, с которыми толпились беженцы. Вино было даровое, и потому воспользоваться им хотелось всем, даже и непьющим. Я скорее многих других пробился к лакеям, получил целый литр и, возвратясь в столовую и пристроившись к уголку стола, стал медленно пить и курить.

Только что разнесся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на «Патрасе» страшное радио: два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше вас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури – один у самого Босфора, другой у болгарских берегов. И новая угроза повисла над нами, новая неопределенность – дойдем ли мы до Константинополя, и если дойдем, то когда? Ни курить, ни пить мне не хотелось; сигара была ужасная, вино холодное, лиловое. Но я сидел, пил и курил. Уже началось то напряженное ожидание, которым живешь в море при опасных переходах. «Патрас» был стар, перегружен, погода разыгрывалась с каждой минутой все круче... Большинство утешало себя тем, что мы идем быстро, уверенно. Но я, по своей морской опытности, хорошо знал, что быстрота эта только кажущаяся. Это не мы увеличивали ход, это росло волнение.

Вода уже шумно неслась вдоль наших тонких стен, все чаще и все яростнее накатывая с боков, все тяжелее стучая в стены и с плеском, шипением ссыпаясь с них. За стенами была непроглядная ночь, горами, без толку, без смысла, ходило мрачное, ледяное, зимнее море. В черные стекла ливнем летели брызги, лепило мокрым белым снегом, свистел, крепко дул ветер, холодное дыхание которого то и дело чувствовалось в дымном, жарком и уже вонючем воздухе низкой столовой, все-таки радовавшей своим светом и теплом, тем уютом, которого так первобытно жаждет человеческое сердце, еще помнящее страхи древней жизни, пещерных, свайных дней. И я тоже неосознанно радовался этому свету и теплу, сидя за своей бутылкой; слушал говор, галду своих спутников, чего-то ждал и что-то думал, – вернее, все собирался что-то обдумать и попятить как следует. Стало уже упруго поднимать и опускать, стало валить на сторону, скрипеть переборками, диванами и креслами, в которых мы сидели. «Патрас» будто быстро шел среди качавшихся, расступавшихся и опять с плеском и шумом сходявшихся водяных гор, шел, весь дрожа, и что-то работало внутри него все торопливее, с перебоями, с перерывами выделявая «траттататата». Вдруг ветер налетел и засвистал бешено, волна ударила так тяжело и, освещенная нашим огнем, так страшно заглянула своей мутной слюдой, своей громадой в стекла, что многие вскрикнули и повалились друг на друга, думая, что мы уже гибнем... Потом все опять пришло в порядок, опять пошло с дрожью и перерывами это «траттататата», – и вдруг опять ударило, и опять дико засвистало и глубоко окунуло, опустило в расступившуюся водяную пропасть... «Началось!» – подумал я с нелепой радостью.

Вскоре стол опустел. Большинство стонало, томилось, – с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или поспешно, падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там кого-нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять, убежать надо было опрометью, сидеть – упиравшись спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Все так же казалось, что размахивающийся и вправо, и влево, и вверх, и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались мгновениями счастья... А наверху был суший ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку. Я одолел лестницу и пробовал одолеть дверь наружу, выглянуть – ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, с звери-

ной яростью валил назад... Обмерзлые, побелевшие мачты и снасти ревели и свистали с острой-венелой тоской и удалью, студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять, опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря... Крепко прохваченный холодом и морской свежестью, я насилу добрался назад до столовой, потом до своей каюты, по некоторым причинам предоставленной в мое распоряжение. Там было темно и все скрипело, возилось, точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И, когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжело ударяла громада воды, все старавшаяся одним махом сокрушить и захлестнуть «Патрас», Но «Патрас» только глубоко нырял под этим ударом и снова пружинил наружу, где на него обрушивался новый враг – налетал ураган со снегом, насквозь пронзавший мокрые стены своим ледяным свистящим дыханием...

IV

И не раздеваясь, – раздеться никак нельзя, того гляди, расшибет об стену, об умывальник, да и слишком было холодно, – я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задранный иллюминатор, с шумом стекало и бурлило – противно, как в каком-то чудовищном чреве. И, понемногу пьянея, отдаваясь все безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылететь из нее. Труба в ручной мойнике, его сточная дыра гудела, гудела – и вдруг начинала булькать, реветь и захлебываться... Ах, встать бы, заткнуть чем-нибудь это анафемское горло! Но не было воли даже приподняться, как ни готовился я вот-вот решиться на это. И потекли часы за часами, и стало казаться, что уже никогда не минет эта мука качания, эта ночь, этот мрак, завывание, шум, плеск, шипение и все новые и новые удары то и дело налетающих откуда-то из страшной водной беспредельности волн...

В полусне, в забытии я что-то думал, что-то вспоминал... Пришло в голову и стало повторяться, баюкать:

Гром и шум, корабль качает,
Море Черное шумит...

– Как дальше? – в полусне спрашивал я себя. – Ах да!

Снится мне – я свеж и молод...
От зари роскошный холод
Проникает в сад...

Как все это далеко и ненужно теперь! Так только, грустно немного, жаль себя и еще чего-то, а за всем тем – бог с ним! И опять повторялись стихи и опять путались, опять клонило в сон, в дурман, и опять все лезло куда-то вверх, скрипело, боролось, – и все лишь затем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, а за ним новым пружинным подъемом, и новым шипением бурлящей, стекающей воды, и пахучим холодом завывающего ветра, и kloкочущим ревом захлебывающегося умывальника... Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что – я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?

Париж. 1921

Косцы

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее – и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки.

Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь срединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня... Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой – или благословенной – богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, – в обычае, в повадке, в языке, – опрятной и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубашками с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, – так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, – потом крепстились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

– Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

– Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибомухоморы. А они только засмеялись:

– Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» – подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть мам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни.

Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами – и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось – человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть,

чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по- своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонешкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,
И, родимая, ах да прощай, сторонешка! –

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! –

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг нее разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, – точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

Коль не любишь, не мил – бог с тобою,
Коли лучше найдешь – позабудешь!

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдешь – позабудешь,
Коли хуже найдешь – пожалеешь!

В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» – говорил он, сладко оплакивая себя, Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонешка!» – говорил человек – и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг – беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все пташки приумолкли, все сажались по местам!» Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная ночь с ее глушью обступает меня, – и все-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитяtko!» – И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-самолеты, шапки- невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклания, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и врагов дебри дремучие, черные тони болотные, носки летучие – и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие...

Еще одно, говорю я, было в этой песне – это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже беско-

нечно далекие – и невозвратимые. Ибо всему свой срок, – миновала и для нас сказка: отказались от нас паши древние заступники, разбежались рысучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклания, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи – и настал конец, предел божьему прощению.

Париж. 1921

Преображение

Двор был богатый, семья большая.

Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажила и жила так долго, что казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию.

Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшем в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сгорбились, забились на полати, на печь, отчудились сперва от семьи, и потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.

После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете – и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. Вышло как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую пору... Кому бы пришлось в голову бояться ее, думать о ней!

Но вот захворала ужо как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша горячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. «Мамушки, ай тебе курятники спарить либо лапшицы молочной? Может, хочется чего? Может, самовар поставить?» – А она только дышит в забытьи, только слабо и благодарно рукой шевелит...

Наконец развязала всех – отошла.

Глубокая ночь, зима. Ночь для нее, среди живых, последняя. На дворе метель и темь, вся деревня спит. Спит и весь двор, – обе жилые связи полны спящими, – и над всей этой зимней ночью и метелью, сном и глушью двора и деревни царит Мертвая: вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество – в покойницу.

Она лежит в холодной половине – уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчовым покровом, взятым напрокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным целым пучком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, черные стекла которого блестят, искрятся снегом, снаружи намерзающим на них.

Псалтырь читает Гаврил, младший сын покойной, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам – кому ж читать, как не ему? И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его, – и вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает, не смолкая, все на один лад, – как поднял голос по-церковному, так и остался на высокой ноте, – читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтения. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире: что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи.

Что с ним случилось? То, что он не рассчитал своих сил, решившись читать над покойни-

цей ночью, в час всеобщего сна, что его обуяло ужасом и что он не может двинуться? Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным, таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, – разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижимое, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плисом с белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преображение – и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преобразенном мире!

Он волшебным замкнут в нем, и он должен стоять в нем до рассвета и читать, не смолкая, на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, зловещий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слышать свой собственный голос и держаться на ногах, всем существом и все глубже воспринимая то невыразимо чарующее, что, как некая литургия, совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается и еще медленнее опускается парчовой покров на груди покойницы – она медленно дышит! И еще выше и ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей – и уже все вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет метель, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно – этот ветер тоже она, усопшая, это от нее веет этим неземным, чистым, как смерть, и ледяным дыханием, и это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых!

* * *

Теперь Гаврило моложавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное любимое им – ездить ямщиком.

Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющиеся по времени года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему умных лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седоком – счастье, никогда ему не изменяющее.

Он простой, ласковый. Лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивы и ясны. Он не говорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое, похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери, в ее последнюю ночь среди живых.

Париж. 1921

Далекое

Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате, в гостинице «Северный Полюс», некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иванович, человек уже старенький и довольно потрепанный.

Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва. Что-то делал, зачем-то жил на свете и он. Часов в девять он уходил, в пятом возвращался. О чем-то тихо, но ничуть не печально думая, он снимал с гвоздя в швейцарской свой ключ, поднимался во второй этаж, шел по коленчатому коридору. В коридоре очень сложно и очень дурно пахло и особенно чем-то тем, душным и резким, чем натирают полы в дрянных гостиницах. Коридор был темный и зловещий (номера выходили окнами во двор, а стекла над их дверями давали мало света), и весь день горела в конце каждого его колена лампочка с рефлектором. Но казалось, что Иван Иванович не испытывал ни малейшей доли тех тяжелых чувств, которые возникали насчет коридора у людей, не привыкших к «Северному Полюсу». Он шел по коридору спокойно и просто. Встречались ему его сожители: бодро спешащий, с молодой бородой и ярким взглядом студент, на ходу надевавший шинель в рукава; независимого вида стенографистка, рослая, манящая, несмотря на свое сходство с белым негром; старая маленькая дама на высоких каблучках, всегда наряженная, нарумя-

ненная, с коричневыми волосами, с вечным клокотанием мокроты в груди, о встрече с каковой дамой предупреждал быстро бегущий по коридору лепет бубенчиков на ее курносом морсе с выдвинутой нижней челюстью, с яростно и бессмысленно вылупленными глазами... Иван Иванович вежливо со всеми встречаемыми раскланивался и ничуть не претендовал на то, что ему едва кивали в ответ. Он проходил одно колено, заворачивал в другое, еще более длинное и черное, где еще дальше краснела и блистала впереди стенная лампочка, совал ключ в свою дверь – и уединялся за нею до следующего утра.

Чем он у себя занимался, как коротал свой досуг? А бог его знает. Домашняя его жизнь, ничем внешним не проявляемая, никому не нужная, была тоже никому не ведома – даже горничной и коридорному, нарушавшим его затворничество только подачей самовара, уборкой постели и гнусного умывальника, из которого струя воды была всегда неожиданно и не на лицо, не на руки, а очень высоко и в сторону, вкось. С редкой, повторяю, незаметностью, с редким однообразием существовал Иван Иванович. Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, трещали извозничьи пролетки, кричали разносчики с лотками на головах, к вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, древней колокольни: Иван Иванович как будто даже и не видел, не слышал ничего этого. Ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Но вот, однажды весной, приехал откуда-то, взял номер в «Северном Полюсе» и стал ближайшим соседом Иван Ивановича какой-то князь. И произошло с Иван Ивановичем нечто совершенно неожиданное, негаданное.

Чем мог поразить его князь? Конечно, не титулом, – была же старейшая сожительница Иван Ивановича, маленькая дама с морсом, тоже особой титулованной, и, однако, не чувствовал он к ней ровно ничего. Чем мог пленить? Конечно, не богатством и не внешностью – князь был очень прожившийся человек, а на вид очень запущенный, нескладно огромный, с мешками под глазами, с шумной, тяжелой одышкой. И все-таки был Иван Иванович и поражен и пленен, а главное, совсем вон выбит из своей долголетней колеи. Он превратил свое существование в какое-то непрерывное волнение. Он поверг себя в тревожное, мелкое и постыдное обезьянство.

Князь приехал, поселился, стал уходить и приходить, с кем-то видаться, о чем-то хлопотать, – совершенно так же, разумеется, как делали это все, которые останавливались в «Сонорном Полюсе», которых перебивало на памяти Иван Ивановича великое множество и навязываться на знакомство с которыми Ивану Ивановичу и в голову не приходило. Но князя он почему-то из всех отличил. Перед князем он, при второй же или третьей встрече в коридоре, почему-то расшаркался, представился и со всяческими любезнейшими извинениями попросил сказать как можно точнее, который час. А завязав таким ловким образом знакомство, просто влюбился в князя, привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад и рабски стал подражать князю чуть не на каждом шагу.

Князь, например, ложился спать поздно. Он возвращался домой часа в два ночи (и всегда на извозчике). Стала и у Ивана Ивановича гореть до двух часов лампа. Он зачем-то ждал возвращения князя, его грузных шагов по коридору, его свистящей одышки. Он ждал с радостью, чуть не с трепетом и порою даже высовывался из своего номерка, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном:

– А, а вы еще не спите?

И Иван Иванович, замирая от восторга, хотя, впрочем, без всякой робости и без всякого подбострастия, отвечал:

– Нет, князь, не сплю еще. Время детское, всего десять минут третьего... Гуляли, развлекались?

– Да, – говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину, – встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире... Покойной ночи...

Тем все дело и кончалось, так холодно, хотя и вежливо, обрывал князь свою ночную беседу с Иван Ивановичем, но с Иван Ивановича и этого было достаточно. На цыпочках возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном, немножко крестился и кивал в угол, неслышно укладывался в постель за перегородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать

невиннейшего вранья коридорному утру:

– А я вчера опять засиделся... Опять заговорились с князем до третьих петухов...

Князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал широчайшие серебристые панталоны. Стал и Иван Иванович выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в двенадцатые праздники, и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда, даже под Рождество, под Пасху.

Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью выкуривал толстую папиросу, кричал, отворив дверь в коридор, па весь дом: «Коридорный! Чаю!» – и, шлепая туфлями, в халате, надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иванович делать то же, – кричал в коридор о самоваре и, в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке на заношенном белье, бежал и себе за нуждой, хотя прежде бегал он туда всегда вечером.

Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иванович, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее сорока лет тому назад, и однажды сходил-таки и с восхищением рассказал ночью князю, какое он получил огромное наслаждение...

Ах, весна, весна! Все дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весною.

Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен – для меня по моей молодости и потому, что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.

Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А потом прожила великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, – а ведь покупать (даже нафталин) весело! – готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, которое, как всегда кажется, непременно должно быть счастливым и долгим, долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра-Мерилиза! Сколько народу стриглось, брилось у Базиля и Теодора! И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с: новым Страстным, с повой Потров-кой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетающих на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актера, тоже быстро пролетавшего куда-то на «дутых». Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, – был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился и близился срок моей разлуки с «Северным Полюсом», со всем тем, чем жил я в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по номерам, скромнейший современник наш? Да приблизительно то же, что и мы. С ним случилось в конце концов то же самое, что и со всеми нами.

Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчичьи пролетки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги», где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый звон с шатровой колокольни... День за днем жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее, жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой, встречами, делами, покупками, брал извозчиков, входил с приятелями в кафе Трамбле, заказывал в «Праге» ботвинью, закусывал рюмку холодной водки свежим огурчиком... А Иван Иванович? А Иван Иванович тоже куда-то ходил, тоже где-то бывал, делал что-то свое, маленькое, чрезвычайно маленькое, приобретая за это право на дальнейшее существование среди нас, то есть на обед за тридцать копеек в кухмистерской напротив «Северного Полюса» и на номер в «Северном Полюсе».

Он только это скромное право зарабатывал себе где-то и чем-то и, казалось, был совершенно чужд всем нашим надеждам на какую-то новую жизнь, на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, на то, чтобы с кем-то в чем-то сравняться, завести знакомство, дружбу... Но вот приехал князь.

Чем мог он очаровать, поразить Ивана Ивановича? Но ведь не важен предмет очарования, важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остатками широких замашек, человеком глубоко прожившимся, но, значит, и пожившим в свое время как следует. Ну вот и возмечтал бедный Иван Иванович зажить и себе по-новому, по-весеннему, с некоторыми замашками и даже развлечениями. Что ж, разве это плохо – не заваливаться спать в десять часов, вывешивать для чистки штаны, ходить за нуждой до умывания? Разве это не молодит – зайти постричься, подровнять, укоротить бороду, купить молодящую серенькую шляпу и воротиться домой с какой-нибудь покупочкой, хоть с четвертью фунта каких-нибудь пустяков, красиво перевязанных руками хорошенькой приказчицы? И Иван Иванович, постепенно и все больше входя в искушение, все это по-своему и проделал, то есть исполнил в меру своих сил и возможностей почти все, что исполняли и прочие: и знакомство завел, и обезьянничать стал, – право, не больше других! – и весенних надежд набрался, и некоторую долю весеннего беспутства внес в свою жизнь, и к замашкам приобщился, и бороду подстриг, и с какими-то сверточками в руках стал возвращаться в «Северный Полюс» в предвечерний час, и даже больше того: купил и себе серенькую шляпу и нечто дорожное, – чемоданчик за рубль семьдесят пять, весь в блестящих жестяных гвоздях, – возмечтав непременно съездить летом к Троице или в Новый Иерусалим...

Сбылась ли эта мечта и чем вообще кончился порыв Ивана Ивановича к новой жизни, право, не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно, но, повторяю, ничего определенного сказать не могу. А не могу потому, что вскоре мы все, то есть князь, Иван Иванович и я, в один прекрасный день расстались, и расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки. Да, не больше не меньше, как навеки, то есть чтобы уж никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться, каковая мысль мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасна: подумать только, – никогда! В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий рап имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную.

Но, как известно, мы, в общем, весьма далеки от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы, – князь, Иван Иванович и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, – плохонького, за шесть гривен, – а мне, на Курский, за полтора целковых, на серой резвой кобыле, – и мы расстались, даже и не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иванович в своем мрачном коридоре, в своей клетке с тусклым стеклом над дверью, и разъехались мы с князем в совершенно разные стороны, рассовав во все руки чаевые и севши каждый на свою пролетку, – князь, кажется, довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути... И помню, как сейчас: ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем, ехал через Кремль, мимо соборов, – ах, как хороши они были, боже мой! – потом по пахучей от всякой москательи Ильинке, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день, – ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а истинно тонул в радости существования, как-то мгновенно, еще на Арбатской площади, позабыв и «Северный Полюс», и князя, и Иван Ивановича, и был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет некий день, когда буду я тщетно звать и к ним:

– Милый князь, милый Иван Иванович, где-то гниют теперь ваши кости? И где наши общие глупые надежды и радости, наша далекая московская весна?

Амбуаз. 1922

7 октября

На этой *carte-illustrée*¹ с таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана спешу написать Вам мою горячую благодарность за Вашу последнюю книгу. Эти берега – моя вторая родина, это Ирландия, – видите, из какого далека шлет Вам привет один из Ваших неизвестных друзей. Будьте счастливы, и да сохранит Вас бог.

8 октября

Вот еще один вид той одинокой страны, куда навеки забросила меня судьба.

Вчера под ужасным дождем, – у нас вечный дождь, – ездила по делам в город, случайно купила Вашу книгу и читала ее не отрываясь на возвратном пути на виллу, где мы живем круглый год из-за моего слабого здоровья. От дождя, от туч почти темно, цветы и зелень в садах были необыкновенно ярки, пустой трамвай шел быстро, кидая фиолетовые вспышки, а я читала и, неизвестно почему, чувствовала себя почти мучительно счастливой. Прощайте, еще раз благодарю Вас. Хочется еще что-то сказать Вам, но что? Не знаю, не умею определить.

10 октября

Не могу удержаться и опять пишу Вам. Думаю, что Вы получаете таких писем слишком много. Но ведь все это отклики именно тех человеческих душ, для которых и творите Вы. Так зачем же мне молчать? Вы первый вступили в общения со мной, выпустив в свет, то есть и для меня, свою книгу...

И нынче целый день сыплется дождь на наш неестественно зеленый сад, и в комнате у меня сумрачно, и с утра топится камин. Мне хотелось бы сказать Вам многое, но ведь Вы знаете лучше других, как это трудно, почти невозможно – высказывать себя. Я все еще под впечатлением чего-то непонятного и неразрешающегося, но прекрасного, чем я обязана Вам, – объясните, что это такое, это чувство? И что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческой умелости, силы? Возбужденное желание личного счастья, которое всегда, всегда живет в нас и особенно оживает под влиянием чего-нибудь, действующего чувственно, – музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания, какого-нибудь запаха? Или же это радость ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, подобные Вам, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть? Вот я что-нибудь читаю, – иногда даже что-нибудь ужасное, – и вдруг говорю: боже, как это прекрасно! Что это значит? Может быть, это значит: как все-таки прекрасна жизнь!

До свиданья, скоро еще напишу Вам. Думаю, что в этом нет никакой неделикатности, что это принято – писать писателям. Кроме того, Вы ведь можете и не читать моих писем... хотя, конечно, мне это будет очень грустно.

Ночью

Простите, это может прозвучать дурно, но не могу не сказать: я не молода, у меня дочь пятнадцати лет, совсем уже барышня, но я была когда-то не совсем дурна и не слишком резко изменилась с тех... Мне все-таки не хочется, чтобы Вы представляли себе меня не такой, какая я есть.

11 октября

Я написала Вам в силу потребности разделить с Вами то волнение, которое произвел на меня Ваш талант, действующий как печальная, но возвышенная музыка. За чем это нужно – разделить? Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни и что в этом какая-то великая тайна. Ведь и Вы пишете только в силу этой потребности и даже более – Вы отдаете ей всего себя всецело.

Я всегда много читала, – и много вела дневников, как все неудовлетворенные жизнью люди, – много читаю и теперь, читала и Вас, но мало, больше знала Вас лишь по имени. И вот эта Ваша новая книга... Как это странно! Чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то душа вырази-

¹ Почтовая открытка с видом (франц.).

ла малейшую долю своей сокровенной жизни малейшим намеком, — что может выразить слово, даже такое, как Ваше! — и вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений, и Ваши мысли и чувства становятся моими, нашими общими. Поистине только одна, единая есть душа в мире. И разве не понятен после этого мой порыв написать Вам, что-то высказать, что-то разделить с Вами, на что-то пожаловаться? Разве Ваши произведения не то же самое, что мои письма к Вам? Ведь и Вы что-то и кому-то высказываете, посылаете свои строки кому-то неведомому и куда-то в пространство. Ведь и Вы жалуетесь, чаще всего только жалуетесь, потому что жалоба, иными словами, мольба о сочувствии, наиболее неразлучна с человеком: сколько ее в песнях, молитвах, стихах, любовных излияниях!

Может быть, Вы ответите мне, хотя двумя словами? Ответьте!

13 октября

Опять пишу Вам ночью, уже в спальне, мучимая непонятным желанием сказать то, что так легко обозвать наивностью, что скажется, во всяком случае, не так, как чувствуется. А хочется мне сказать, в сущности, очень немного: только то, что мне очень грустно, очень жаль себя — и что я все-таки счастлива этой грустью и тем, что мне жаль себя. Мне грустно думать, что я где-то в чужой стране, на самых западных берегах Европы, на какой-то вилле за городом, среди осенней ночной темноты и тумана с моря, идущего вплоть до Америки. Грустно, что я одна не только в этой уютной и прелестной комнате, но и во всем мире. И всего грустней, что Вы, которого я выдумала и от которого уже чего-то жду, так бесконечно далеко от меня и так мне неведомы и, конечно, что бы я там ни говорила, так чужды мне и так правы в этом...

В сущности, все в мире прелестно, даже вот этот абажур на лампе, и ее золотистый свет, и сверкающее белье на моей уже открытой постели, и мой халат, моя нога в туфле, и моя худая рука в широком рукаве. И всего бесконечно жаль: к чему все? Все проходит, все пройдет, и все тщетно, как и мое вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь...

Очень прошу — напишите мне. Конечно, два-три слова, только для того, чтобы я знала, что Вы слышите меня. Простите мою настойчивость.

15 октября

Это наш город, наш собор. Пустынные скалистые берега моя первая *carte-postale*² к Вам, — дальше, севернее. Но и город, собор — все угрюмо, черно у нас. Гранит, шифер, асфальт и дождь, дождь...

Да, напишите мне кратко, я очень хорошо понимаю, что Вам нечего сказать мне, кроме двух-трех слов, и, поверьте, ничуть не буду в обиде. Но напишите, напишите!

21 октября

Увы, письма от Вас нет. А прошло уже пятнадцать дней с тех пор, как я написала Вам в первый раз...

Но, может быть, Ваш издатель еще не переслал Вам моих писем? Может быть, Вас отвлекают срочные занятия, светская жизнь? Это очень грустно, но все же лучше, чем думать, что Вы просто пренебрегли моей просьбой. Думать так очень обидно и больно. Вы скажете, что я имею никакого права на Ваше внимание и что, следовательно, ни обиде, ни боли не может быть места. Но точно ли не имею я этого права? А может быть, оно уже есть у меня, раз я испытала известные чувства к Вам? Разве был, например, хоть один Ромео, который не требовал взаимности даже и без всяких оснований, или Отелло, который ревновал бы по праву? Оба они говорят: раз я люблю, как можно не любить меня, как можно изменять мне? Это не простое хотение, чтобы меня любили, это гораздо сложнее и больше. Раз и что-нибудь или кого-нибудь люблю, это уже мое, во мне... Впрочем, не умею объяснить Вам этого как следует, знаю только, что так казалось и кажется людям всегда...

Впрочем, как бы там ни было, а ответа от Вас нет, а я опять пишу. Неожиданно выдумала, что Вы мне чем-то близки, — хотя опять-таки выдумала ли? — и сама поверила своей выдумке и упорно стала писать Вам и уже знаю, что чем больше буду писать Вам, тем все необходимее бу-

² Почтовая открытка (франц.).

дет для меня делить это, потому что все более будет усиливаться какая-то связь между мною и Вами. Я Вас не представляю себе, совсем не вижу даже Вашего физического облика. Так кому же я пишу? Самой себе? Но все равно. Ведь и я – Вы.

22 октября

Нынче дивный день, на душе у меня легко, окна открыты, и солнце и теплый воздух напоминают о весне. Станный этот край! Летом дождливо и холодно, осенью, зимой дождливо и тепло, но порой выпадают такие прекрасные дни, что не знаешь: зима это или итальянская весна? О, Италия, Италия и мои восемнадцать лет, мои надежды, моя радостная доверчивость, мои ожидания на пороге жизни, которая была вся впереди и вся в солнечном тумане, как горы, долины и цветущие сады вокруг Везувия! Простите, знаю, что все это слишком не ново, но что мне до того?

Ночью

Может быть, Вы оттого не писали мне, что я для Вас слишком отвлеченна? Тогда вот еще несколько черт моей жизни. Я уже шестнадцать лет замужем. Мой муж француз, я познакомилась с ним однажды зимой на французской Ривьере, венчалась в Риме, а после свадебного путешествия по Италии навсегда поселилась здесь. У меня трое детей, мальчик и две девочки. Люблю ли я их? Да, но все же не так, как чаще всего любят матери, видящие жизнь только в семье, в детях. Пока дети были маленькими, я за ними непрестанно ухаживала, разделяла с ними все их игры и занятия, но теперь они во мне больше не нуждаются, и у меня много свободного времени, которое я провожу в чтении. Родные мои далеко, наши жизни разошлись, и общих интересов у нас так мало, что мы даже переписываемся очень редко. В связи с положением моего мужа мне часто приходится бывать в обществе, принимать и отдавать визиты, бывать па вечерах и обедах. Но друзей и подруг у меня нет. На здешних дам я не похожа, а в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю...

Но довольно обо мне. Если ответите, скажите хоть что-нибудь о себе. Какой Вы? Где постоянно живете? Любите ли Вы Шекспира или Шелли, Гете или Данте, Бальзака или Флобера? Любите ли музыку и какую? Женаты ли Вы? Связаны ли Вы уже наскучившей связью или у Вас есть невеста в той нежной и прекрасной поре, когда все ново и радостно, когда еще нет воспоминаний, которые только томят, обманывают, будто было счастье, непонятное и неиспользованное?

1 ноября

Письма от Вас нет. Какое мучение! Такое мучение, что я иногда проклиная день и час, когда решилась написать Вам...

И хуже всего то, что из этого нет выхода. Сколько бы я ни уверяла себя, что мне нечего ждать, я все-таки жду: кто же может поручиться, что его действительно не будет? Ах, если бы твердо знать, что Вы не напишете! Я была бы и этим счастлива. Впрочем, нет, нет, надеяться все-таки лучше. Я надеюсь, я жду!

3 ноября

Письма нет, и мои мучения продолжаются... Впрочем, тяжелы только утренние часы, когда я с неестественным спокойствием и медлительность, но с холодными от скрытого волнения руками одеваюсь, выхожу к кофе, прохожу музыкальный урок с дочерью, которая разучивает его так трогательно прилежно и сидит за пианино так прямо, так прелестно прямо, как умеют это только девочки по пятнадцатому году. В полдень приходит наконец почта, я бросаюсь к ней, ничего не нахожу – и почти успокаиваюсь до следующего утра...

А нынче опять прелестный день. Низкое солнце ясно и кротко. В саду много голых, черных деревьев, цветут осенние цветы. И что-то тонкое, голубое, необыкновенно прекрасное в долинах, за ветвями сада. И в сердце благодарность кому-то и за что-то. За что? Ведь ничего нет и не будет... хотя так ли это, точно ли ничего нет, раз она есть, эта умиляющая душу благодарность?

Благодарю и Вас за то, что Вы дали мне возможность выдумать Вас. Вы меня никогда не узнаете, никогда не встретите, но и в этом много печальной прелести. И, быть может, хорошо, что Вы не пишете, что Вы не написали мне ни слова и что я совсем не вижу Вас живым. Разве я

могла бы говорить с Вами и чувствовать Вас так, как сейчас, если бы я Вас знала, даже если бы имела хоть одно письмо от Вас? Вы непременно были бы уже не такой, непременно чуть-чуть хуже, и мне было бы менее свободно писать Вам...

Свежеет, а я все не закрываю окна и все смотрю в голубую дымку низменностей и холмов за садом. И это голубое мучительно прекрасно, мучительно потому, что непременно нужно что-то сделать с ним. Что сделать? Я не знаю. Мы ничего не знаем!

5 ноября

Это похоже на дневник, по это все-таки не дневник, потому что теперь у меня есть читатель, хотя бы и предполагаемый...

Что побуждает писать Вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать (хотя бы инсказательно) себя? Конечно, второе. Девять десятых писателей, даже самых славных, только рассказчики, то есть, в сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой души... Ах, если бы оставить после себя хоть несколько строк о том, что вот и я жила, любила, радовалась, что и у меня была молодость, весна, Италия... что есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю и все еще чего-то жду даже и теперь... что есть в этом океане дикие и бедные острова и дикая, бедная жизнь каких-то чуждых всему миру людей, ни происхождения, ни темного языка, ни цели существования которых не знает и никогда не узнает никто...

Я все-таки жду, жду письма. Теперь это уже как бы навязчивая идея, род душевной болезни.

7 ноября

Да, все дивно. Письма, конечно, нет, нет и нет. И представьте себе: потому что нет этого письма, нет ответа от человека, которого я никогда не видала и не увижу, нет отклика на мой голос, брошенный куда-то вдаль, в свою мечту, у меня чувство страшного одиночества, страшной пустоты мира. Пустоты, пустоты!

И опять дождь, туман, будни. И это даже хорошо, то есть обычно, так, как надо. Это меня успокаивает.

До свидания, да простит Вам бог Вашу жестокость. Да, все-таки это жестоко.

8 ноября

Три часа, а уже совсем сумерки от тумана и дождя. А в пять у нас чай с гостями.

Приедут под дождем, в автомобилях, из мрачного города, который в дождь еще чернее со своим черным мокрым асфальтом, черными мокрыми крышами и черным гранитным собором, острие которого уносится в дождь и мглу...

Я уже одета и как бы жду выхода на сцену. Жду того момента, когда я буду говорить, все то, что полагается, буду любезна, оживленна, заботлива и только немного бледна, что так легко объяснить этой ужасной погодой. И, одетая, я как будто помолодела, чувствую себя старшей сестрой своей дочери и каждую минуту готова заплакать. Я все-таки пережила что-то странное, похожее на любовь. К кому? В силу чего?

Прощайте, я уже ничего не жду – говорю это совершенно искренне.

10 ноября

Прощайте, мой верный друг. Кончаю свои безответные письма тем же, чем и начала, – благодарностью. Благодарю Вас, что Вы не отозвались. Было бы хуже, если бы было иначе. Что бы Вы могли сказать мне? И на чем могли бы мы с Вами, без чувства неловкости, прервать переписку? И что бы я нашла сказать Вам еще, кроме сказанного? Больше у меня ничего нет, – я все сказала. В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только две-три строки. О, да. Только две-три строки.

Со странным чувством, точно я кого-то потеряла, – опять остаюсь одна, со своим домом, близостью туманного океана, осенними и зимними буднями. И опять возвращаюсь к дневнику, странную надобность которого, равно как и Ваших писаний, знает только бог.

Несколько дней тому назад видала Вас во сне. Вы были какой-то странный, молчаливый, сидели в углу темной комнаты и были не видны. А все-таки я Вас видала. Я и во сне чувствовала

ла: как можно видеть во сне того, кого никогда не видел в жизни? Ведь только бог творит из ничего? И мне было очень жутко, и я проснулась в страхе, с тяжелым чувством.

Через пятнадцать, двадцать лет не будет, вероятно, ни меня, ни Вас в этом мире. До встречи в ином! Кто может быть уверен, что его пет? Ведь мы не понимаем даже своих собственных снов, созданий своего собственного воображения. Наше ли оно, это воображение, то есть, говоря точнее, то, что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами? Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как я стремлюсь к Вашей?

Прощайте. Или нет, все-таки до свидания.

Приморские Альпы. 1923

В ночном море

Пароход, шедший из Одессы в Крым, остановился ночью перед Евпаторией.

На пароходе и возле него образовался суший ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу, из огромной баржи; с криком, с дракой осаждала пассажирский трап и, как на приступ, с непонятной, бешеной поспешностью, лезла вверх со своими пожитками восточная чернь; электрическая лампочка, спущенная над площадкой трапа, резко освещала густую и беспорядочную вереницу грязных фесок и тюрбанов из башлыков, вытаращенные глаза, пробивавшиеся вперед плечи, судорожно цеплявшиеся за поручни руки; стон стоял и внизу, возле последних ступенек, поминутно заливаемых волной; там тоже дрались и орали, оступались и цеплялись, там стучали весла, сшибались друг с другом лодки, полные народа, — они то высоко взлетали на волне, то глубоко падали, исчезали в темноте под бортом. А дельфино- подобную тушу парохода упруго, точно на резине, валило то в одну, то в другую сторону... Наконец стало стихать.

Очень прямой, с прямыми плечами господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет и сак лакею и, узнав, что мест в каютах нет, пошел на корму. Тут было темно, стояло несколько полотняных кресел, и только в одном из них чернела фигура полулежащего под пледом человека. Новый пассажир выбрал себе кресло в нескольких шагах от него. Кресло было низкое, и, когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный уют. Пароход поднимало и опускало, медленно сносило, поворачивало течением. Дул мягкий ветерок южной летней ночи, слабо пахнувший морем. Ночь, по-летнему простая и мирная, с чистим небом в мелких скромных звездах, давала темноту мягкую, прозрачную. Далекие огни были бледны и потому, что час был поздний, казались сонными. Вскоре на пароходе и совсем все пришло в порядок, послышались уже спокойные командные голоса, загремела якорная цепь... Потом корма задрожала, зашумела винтами и водой. Низко и плоско рассыпанные на далеком берегу огни поплыли назад. Качать перестало...

Можно было подумать, что оба пассажира спят, так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали, они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И наконец первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил:

— Вы тоже в Крым?

И второй, с прямыми плечами, не спеша ответил ему тем же топом:

— Да, в Крым и дальше. Побуду в Алушке, потом в Гагры.

— Я вас сразу узнал, — сказал первый.

— И я вас узнал и тоже сразу, — ответил второй.

— Очень странная и неожиданная встреча.

— Как нельзя более.

— Собственно, я не то, что узнал вас, а у меня как будто уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться, так что и узнавать было не нужно.

— Совершенно то же самое испытал и я.

— Да? Очень странно. Как тут не сказать, что в жизни все-таки бывают минуты — ну, необыкновенные, что ли? Жизнь, может быть, не так уж проста, как кажется.

— Может быть. Но ведь может быть и другое: то, что мы с вами просто вообразили сию минуту эти чувства нашего якобы предвидения.

— Может быть. Да, весьма возможно. Даже скорее всего, что так.

— Ну вот видите. Мы умствуем, а жизнь, может быть, очень проста. Просто похожа на ту

свалку, которая была сейчас возле трапа. Куда эти дураки так спешили, давя друг друга?

И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили.

– Сколько мы с вами не видались? Двадцать три года? – спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом.

– Да, почти так, – ответил второй. – Осенью будет ровно двадцать три. Нам с вами это очень легко подсчитать. Почти четверть века.

– Большой срок. Целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже кончены.

– Да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончены?

– Гм! Конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все враки, когда мы говорим себе, что страшно, то есть когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожита и через каких-нибудь десять лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте: в могиле. Не шуточная вещь.

– Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире?

– Кто ж этого не знает! Конечно, знаю. А что ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно?

– Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель, – сказал второй.

– Да, да, две знаменитости. Ну, так что вы хотели сказать?

– А то, что благодаря своей знаменитости, то есть некоторым знаниям, не бог весть какой мудрости, но все-таки довольно основательным, я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже и не десять лет, а несколько месяцев. Ну, самое большее – год. У меня достоверно установленная и мною самим и сотоварищами по ремеслу смертельная болезнь. И уверяю вас, я все-таки живу почти как ни в чем не бывало. Только саркастически усмехаюсь: хотел, извольте ли видеть, всех перещеголять в знании всяческих причин смерти, чтобы славиться и великолепно жить, и на свою голову добился – великолепно узнал свою собственную смерть. То бы меня дурачили, обманывали, – что вы, батенька, мы еще повоюем, черт возьми! – а тут как обманешь, как соврешь? Глупо и неловко. До того неловко, что даже пересаливают в откровенности, смешанной с умилением и льстивостью: «Что ж, уважаемый коллега, не нам с вами хитрить... *Finita la comedia!*»³

– Вы это серьезно? – спросил первый.

– Совершенно серьезно, – ответил второй. – И ведь главное что? Какой-то там Кай смертен, *ergo*⁴ умру и я, да ведь когда-то еще это будет! Но тут, к сожалению, дело совсем иное: не когда-то, а через год. А много ли времени год? Будущим летом вы вот так же будете плыть куда-нибудь по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости. Ну и что же? Да то, что я почти ровно ничего не чувствую при мысли об этом и, что хуже всего, вовсе не вследствие какого-то там мужества, которое видят во мне студенты, когда я расписываю им свою болезнь и ее течение как нечто интересное с клинической точки зрения, а просто так, по какому-то идиотическому бесчувствию. Да ничего не чувствуют и все окружающие меня, тающие мою роковую тайну. И вот вы, например, – разве вам страшно за меня?

– Страшно ли за вас? Нет, сознаюсь, – в сущности, нисколько.

– И, конечно, ничуть не жаль меня?

– Нет, и не жаль. И притом вы, я думаю, нисколько не верите в те блаженные места, где нет ни печали, ни воздыхания, а только райские яблочки?

– Ну, какая там у нас с вами вера...

И опять оба помолчали. Потом вынули портсигары, закурили.

– И ведь заметьте, – сказал первый, тот, что лежал под пледом, – мы ведь с вами ничуть не рисуемся, ничуть не играем сейчас ни друг с другом, ни перед воображаемым слушателем. Говорим мы, право же, очень просто и без всякого предумышленного цинизма, без всякого едкого хвастовства, в котором все-таки есть всегда некая компенсация: вот, мол, извольте взглянуть, в каком мы положении – ни у кого такого нет. Мы и беседуем просто и умолкаем без всякой зна-

³ Кончена комедия! (итал.).

⁴ Следовательно (лат.).

чительности, без всякой стоической мудрости. Говоря вообще, более сладострастного животного, чем человек, нет на земле, хитрая человеческая душа изо всего умеет извлекать самоуслаждение. Но в нашем с вами случае я даже и этого не вижу. И это тем более любопытно, что ведь надо прибавить к нашему, как вы выражаетесь, идиотскому бесчувствию еще всю особенность наших с вами отношений. Мы ведь с вами ужасно тесно связаны. То есть, точнее говоря, должны были бы быть связаны.

– Еще бы! – ответил второй. – Какой ужас, в сущности, причинил я вам. Воображаю, что вы пережили.

– Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену и который по целым дням и ночам, почти непрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник, и от безнадежной, безысходной нежности, – вернее, половой умиленности, – к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить с самой лютой ненавистью, и осыпать самыми унижительными знаками истинно собачьей покорности и преданности. Это вообще несказанно ужасно. А ведь я к тому же не совсем обычный человек, особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Вот тут и представьте, что я переживал в течение целых годов.

– Неужели годов?

– Уверяю вас, что не менее трех лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о вашей с ней близости, обжигала меня точно каленым железом. Да оно и понятно. Ну, отбил человек, например, невесту – это еще туда-сюда. Но любовницу или, как в нашем случае, жену! Ту, с которой ты, извините за прямоту, спал, все особенности тела и души которой знаешь как свои пять пальцев! Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению. Как перенести обладание ею другим? Все это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился, из-за чего надорвал здоровье, волю? Из-за чего потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, да что толку? Прежнего меня все равно уже не было да и не могло быть. Ведь в какую святая святых всего моего существования вторглись вы! Царевич Гаутама, выбирая себе невесту и увидав Ясодхару, у которой «был стан богини и глаза лани весной», натворил, возбужденный ею, черт знает чего в состязании с прочими юношами, – выстрелил, например, из лука так, что было слышно на семь тысяч миль, – а потом снял с себя жемчужное ожерелье, обвинил им Ясодхару и сказал: «Потому я избрал ее, что играли мы с ней в лесах в давнопрошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девой лесов: вспомнила ее душа моя!» На ней было в тот день черно-золотое покрывало, и царевич взглянул и сказал: «Потому черно-золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником, я видел ее в лесах пантерой: вспомнила ее душа моя!» – Вы простите меня за всю эту поэзию, но в ней огромная и страшная правда. Вы только вдумайтесь в смысл этих поразительных слов насчет вспомнившей души и в то, какой это ужас, когда эту священнейшую в мире встречу нарушает посторонний. Кто знает – я, может быть, тоже выстрелил бы так, что было бы слышно за тысячи миль. И вот, вдруг явились вы...

– Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь? – спросил господин с прямыми плечами. – Злобу, отвращение, жажду мести?

– Представьте себе: ровно ничего. Несмотря на всю вышеприведенную тираду, ровно ничего. Ужас, ужас. Вот тебе и «вспомнила душа моя!» Да ведь вы это хорошо знаете и сами, то есть то, что я ничего не чувствую. Иначе бы не спросили.

– Вы правы. Знаю. И это тоже очень страшно.

– А нам все-таки не страшно. Сплошной ужас: совсем не страшно.

– Да, в сущности, ничуть. Говорят: прошлое, прошлое! А все вздор. Никакого прошлого у людей, строго говоря, нет. Так только, слабый отзвук какой-то всего того, чем жил когда-то...

И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел; мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, пронесившейся вдоль борта; быстро, однообразно крутилась за однообразно шумящей кормой бечева лага, что-то порою отмечавшего тонким и таинственным звоном: дзиннь... Потом пассажир с прямыми плечами спросил:

– Ну, а скажите... Что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?

– Да, почти ничего, – ответил пассажир под пледом. – Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию. Развернул утром газету – слегка ударило в глаза: волею божиею, такая-

то... С непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме, на этом роковом месте газеты, напечатанное торжественно, крупным шрифтом... Затем постарался заглушить: да, мол, и это та самая, которая... Но –

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно я внимал ей...

Даже и грусти не вышло. Так только, слабая жалость какая-то... А ведь это та самая, которую «вспомнила душа моя», была моя первая и такая жестокая, многолетняя любовь. Я узнал ее в пору ее наивысшей прелести, невинности и той почти отроческой доверчивости и робости, которая потрясает сердце мужчины несказанно, потому, может быть, что во всякой женственности должна быть эта дочерчивая беспомощность, что-то детское, знак того, что девушка, женщина всегда таит в себе будущее дитя. И ведь это мне первому, в каком-то божественном блаженстве и ужасе, отдала она истинно все, что даровал ей бог, и ведь это ее девичье тело, то есть самое прекрасное, что есть в мире, истинно миллионы раз целовал я в таком исступлении, равного которому не было во всей моей жизни. И ведь это из-за нее сходил я с ума буквально день и ночь, целые годы. Из-за нее плакал, рвал на себе волосы, покушался на самоубийство, пил, загонял лихачей, в ярости уничтожал свои лучшие, ценнейшие, может быть, работы... Но вот прошло двадцать лет – и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке, тупо представляю себе ее в гробу... Представление неприятное, но и только. Уверяю вас, что только. Да и вы теперь, – теперь, конечно, – разве вы что-нибудь чувствуете?

– Я? Да нет, что ж скрывать? Конечно, почти ничего... Пароход шел; с шипением возникала впереди волна за волной, с плеском проносились мимо, по бортам, однообразно шумела и кипела бледно-снежная дорога, тянувшаяся за кормой. Дул сладкий ветер, звездный узор неподвижно стоял в вышине, над черной трубой, над снастями, над тонким острием передней мачты...

– Но знаете что? – внезапно сказал первый, как бы очнувшись. – Знаете, что главное? Это то, что я никак не мог связать ее, умершую, с той, другой, о которой я вам только что говорил. Ну, никак. Совершенно никак. Та, другая, была совсем особо. И сказать, что я ровно ничего не чувствовал к ней, к той, другой, – ложь. Так что я неточно говорил. Совсем не то и не так.

Второй подумал.

– Ну и что же? – спросил он.

– А то, что почти весь наш разговор идет насмарку.

– Ох, насмарку ли? – сказал пассажир с прямыми плечами. – Та, другая, как им выражаетесь, есть просто вы, ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Разберитесь-ка хорошенько.

– Вы думаете? – Не знаю. Может быть... Да, может быть...

– Да и долго ли вы волновались и самим-то собой? Десять минут. Ну, полчаса. Ну, день, наконец.

– Да, да. Ужасно, но, кажется, вы правы. И где она теперь? Вот там, в этом прелестном небе?

– Один аллах ведает, друг мой. Скорее всего, что было.

– Вы думаете? Да, да... Скорее всего, что так...

Равнина открытого моря почти черным кругом лежала под легким и светлым куполом ночного неба. И, затерянный в этой круглой чернеющей равнине, маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь. И без конца тянулась за ним сонно кипящая, бледно-млечная дорога – туда, вдаль, где ночное небо сливалось с морем, где горизонт, в силу противоположности с этой млечностью, казался темным, печальным. И крутилась, крутилась бечева лага, и печально и таинственно что-то отмечал, отсекал порою тонкий звон: дзи-инь...

Помолчав еще некоторое время, собеседники негромко и просто сказали друг другу.

– Покойной ночи.

– Покойной ночи.

Приморские Альпы. 1923

...А еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие: в июне я ездил в деревню в провинцию (к одному из моих знакомых). Я, конечно, еще помню, что когда-то подобные поездки никак не могли считаться событиями. Полагаю, что не считаются они таковыми у вас в Европе и по сию пору. Да мало ли что было у нас когда-то и что в Европе еще есть! Двести, триста верст у нас теперь не шутка. Расстояния в России, опять превратившейся в Московщину, опять стали огромными. Да и не часто путешествуют нынешние московские людишки. Конечно, теперь у нас всяческих вольностей хоть отбавляй. Но не забудь, что все эти вольности, до которых мы и дожить не чаяли, начались еще слишком недавно.

Словом, случилось нечто необычное, много лет мною не испытанное: в один прекрасный день я взял извозчика и отправился на вокзал. Ты как-то мне тайком писал, что теперешняя Москва представляется тебе даже внешне «нестерпимой». Да, она очень противна. И, еду на вокзал на извозчике, вроде тех, что бывали прежде только в самых глухих захолустьях и брали за конец не миллиард, а двугривенный, я, возбужденный необычностью своего положения, ролью путешественника, чувствовал это особенно живо. Какое азиатское многолюдство! Сколько торговли с лотков, на всяческих толкучках и «пупках», выражаясь тем подлым языком, который все более входит у нас в моду! Сколько погибших домов! Как ухабисты мостовые и разрослись уцелевшие деревья! На площадях перед вокзалами тоже «пупки», вечная купля и продажа, сброд самой низкой черни, барышников, воров, уличных девок, продавцов всяческой съестной дряни. На вокзалах опять есть и буфеты, и залы разных классов, но все это еще до сих пор сараи, загаженные совершенно безнадежно. И народу всегда – не протолпишься: поезда редки, получить билет из-за беспорядка и всяческих волокит дело очень трудное, а попасть в вагон, тоже, конечно, захолустный, с рыжими от ржавчины колесами, настоящий подвиг. Многие забираются на вокзал накануне отъезда, с вечера.

Я приехал за два часа до поезда и чуть было не заплатил за свою смелость, чуть было не остался без билета. Однако кое-как (то есть, конечно, за взятку) дело устроилось, я и билет получил, и в вагон попал, и даже уселся на лавке, а не на полу. И вот поезд тронулся, и осталась Москва позади, и пошли давным-давно не виденные мною поля, леса, деревни, где начались опять глубочайшие будни после того разгульного праздничка, которым потешила себя Русь за такую баснословную цену. И вскоре стали заводить глаза, заваливать головы назад и храпеть с открытым ртом почти все, набившиеся в вагон. Напротив меня сидел русский мужик, большой, самоуверенный. Сперва он курил и все плевал на пол, со скрипом растирая носком сапога. Потом достал из кармана поддевки бутылку с молоком и стал пить затяжными глотками, отрываясь только затем, чтобы не задохнуться. А допив, тоже откинулся назад, привалился к стене и тоже захрапел, и меня буквально стало сводить с ума зловоние, поплывшее от него. И, не выдержав, я бросил место и ушел стоять в сени. А в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже года четыре: стоит, качается от качки вагона бывший профессор, бывший богатый человек. Едва узнал его: совсем старик и что-то вроде странника по святым местам. Обувь, пальтишко, шляпа – нечто ужасное, даже хуже всего того, в чем я хожу. Не брит сто лет, серые волосы лежат по плечам, в руке дерюжный мешок, на полу у ног другой. "Возвращаюсь, говорит, домой, в деревню, там мне дали надел при моем бывшем имении, и я, знаете, живу теперь так же, как тот опростившийся москвич, к которому вы едете, кормлюсь трудами рук своих, свободное время посвящаю, однако, прежнему – своему большому историческому труду, который, думаю, может создать эпоху в науке...". Солнце серебряным диском неслось уже низко за стволами, за лесом. И через полчаса создатель эпохи сошел на своем глухом полустанке – и заковылял, заковылял со своими мешками по зеленой березовой просеке, по холодку вечерней зари.

А я приехал, куда мне было нужно, уже совсем в сумерки, в одиннадцатом часу. И так как поезд опоздал, то мужик, выезжавший за мной, подождал, подождал, да и отправился восвояси. Что было делать? Ночевать на станции? Но станцию на ночь запирают, да если бы и не запирали, диванов, скамеек на ней нет, – "теперь, брат, господ нету!" – а ночевать на полу даже и «советским» подданным не всегда приятно. Нанять в поселке возле станции какого-нибудь другого мужика? Но это теперь стало делом почти невозможным. У дверей вокзала сидел мужик, пришедший к ночному поезду на Москву, печальный и безучастный. Поговорил с ним. Он только рукой махнул. "Кто теперь поедет! Лошадь редкость, вся снасть сбита... Стан колес – два миллиарда, выговорить страшно..." Я спросил: "А если пешком?" – "А вам далеко?" – «Туда-то». –

"Ну, это верст двадцать, не более. Дойдете". – "Да ведь, говорю, по лесу да еще пешком?" – "Что ж, что по лесу! Дойдете". Но тут же рассказал, как весной два каких-то «человечья» наняли так-то «мужичья» в ихнем селе, да и пропали вместе с ним: "Ни их, ни его, ни лошади, ни снасти... Так и неизвестно, кто кого растерзал – они его или он их... Нет, теперь не прежнее время!"

Разумеется, после такого рассказа у меня пропала уже всякая охота пытаться ехать ночью. Решил дожидаться утра и просить ночлега в трактирах возле станции, – "их тут целых два", – сказал мужик. Но оказалось невозможным ночевать и в трактирах, – не пустили. "Вот чайку, если угодно, пожалуйста, – сказали в одном. – Чай мы подаваем..." Долго пил чай, то есть какую-то тошнотворную распаренную травку, в еле освещенной горнице. Потом говорю: "Позвольте хоть на крыльце досидеть до утра". – "Да на крыльце вам будет неудобно..." – "Все удобнее, чем на дороге!" – "А вы безоружный?" – "Обыщите, сделайте милость!" – И вывернул все карманы, растегнулся. – "Ну, как хотите, на крыльце, пожалуй, можно, а то и правда, в избу вас никуда не пустят, да уж и спят все..." И я вышел и сел на крыльце, и скоро огонь в трактире погас, – в соседнем его давно не было, – и наступила ночь, сон, тишина... Ах, как долга была эта ночь! На небе вдали, за чернеющим лесом, закатывался замазанный лунный серп. Потом и он скрылся, стала на том месте поблескивать зарница... Я сидел, шагал перед крыльцом по смутно белеющей дороге, опять сидел, курил на пустой желудок махорку... Во втором часу по дороге послышался перелив колесных спиц, толканье ступок на осях – и немного погодя к соседнему трактиру кто-то подъехал, остановился, стал стучать в окно каким-то воровским, условным стуком. Из сеней сперва выглянул, потом осторожно вышел хозяин, босой лохматый старик, тот самый, что вечером отказал мне в ночлеге с удивительной злобной грубостью, – и началось что-то таинственное: бесконечное тасканье из сеней чего-то вроде овчин и укладыванье их в телегу приезжего, и все это при блеске зарниц, которые все ярче озаряли лес, избы, дорогу. Дул уже свежий ветер, и вдали угрожающе постукивал гром. А я сидел и любовался. Помнишь ночные грозы в Васильевском? Помнишь, как боялся их весь наш дом? Представь, я теперь лишился этого страха. И в ту ночь на крыльце трактира я только восхищался этой сухой, ничем не разрешившейся грозой. Под конец я, однако, ужасно устал от своего бдения. Да и духом пал: как идти двадцать верст после бессонной ночи?

Но на рассвете, когда тучки за лесом стали бледнеть, редеть и все вокруг стало принимать дневной, будничной вид, мне неожиданно посчастливилось. Мимо трактира пронеслась на станцию коляска – привезла к поезду в Москву комиссара, управляющего бывшим имением князей Д., находящимся как раз в тех местах, где и нужно мне было быть. Это мне сказала проснувшаяся и выглянувшая из окна хозяйка трактира, и, когда кучер выехал со станции обратно, я кинулся к нему навстречу, и он даже с какой-то странной поспешностью согласился подвезти меня. Человек оказался очаровательный, – детски наивный гигант, всю дорогу повторял: "Глаза бы не глядели! Слезы!" Меж тем всходило солнце, и седловатый, широкозатый, шальной и оглохший от старости белый жеребец быстро и легко мчал по лесным дорогам коляску, тоже старую, но чудесную, покойную, как люлька... Давно, друг мой, не катался я в колясках!

Знакомый, у которого я прогостил несколько дней в этих лесах, человек в некоторых отношениях очень любопытный, – самоучка, полуобразованный, всегда жил раньше в Москве, но в прошлом году бросил ее и вернулся на родину, в свое наследственное крестьянское поместье. Он страстно ненавидит новую Москву и не раз настаивал, чтобы я приехал к нему отдохнуть от этой Москвы, расписывал красоты своих мест. И точно, места удивительные. Представь себе: зажиточный поселок, мирный, благообразный, вообще такой, как будто никогда не было не только всего того, что было, но даже отмены крепостного права, нашествия французов; а кругом – заповедные леса, глушь и тишина неопишная. Преобладает бор, мрачный, гулкий. И по вечерам в его глубине мне чувствовалась не то что старина, древность, а прямо вечность. Зари – только ключья: только кое-где краснеет из-за вершин медленно угасающий закат. Бальзамическое тепло нагретой за день хвои мешается с острой свежестью болотистых низин, узкой и глубокой реки, потаенные извивы которой вечером холодно дымятся. Птиц не слышно – мертвое безмолвие, только играют козодои: один и тот же бесконечный звук, подобный звуку веретена. А как совсем стемнеет и выступят над бором звезды, всюду начинают орать хриплыми, блаженно-мучительными голосами филины, и в голосах этих есть что-то недосозданное, довременное, где любовный зов, жуткое предвкушение соития звучит и хохотом и рыданием, ужасом какой-то бездны, гибели. И вот, по вечерам я бродил в бору под ворожбу козодоев, по ночам слушал, сидя

на крылечке, филинов, а дни посвящал зачарованному миру бывшей княжеской усадьбы, – истинно бывшей, потому что из ее владельцев не осталось в живых ни единого... Она несказанно прекрасна.

Дни стояли солнечные, жаркие. И по пути в усадьбу я шел то в тени, то по солнцу, по песчаной дороге, среди душно и сладко благоухающей хвои, потом вдоль реки, по прибрежным зарослям, выпугивая зимородков и глядя то на открытые загоны, сплошь покрытые белыми кувшинками и усеянные стрекозами, то на тенистые стремнины, где вода прозрачна, как слеза, хотя и казалась черной, и мелькали серебром мелкие рыбки, пучили глаза какие-то зеленые тупые морды... А затем я переходил старинный каменный мост и подымался к усадьбе.

Она осталась, по счастливой случайности, нетронутой, неразграбленной, и в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов; есть озеро, называемое Лебединым, а на озере остров с павильоном, где не однажды бывали пиры в честь Екатерины, посещавшей усадьбу; дальше же стоят мрачные ущелья елей и сосен, таких огромных, что шапка ломится при взгляде на их верхушки, отягощенные гнездами коршунов и каких-то больших черных птиц с траурным веером на головках. Дом, или, вернее, дворец, строен тем же итальянцем, который строил церковь. И вот я входил в огромные каменные ворота, на которых лежат два презрительно-дремотных льва и уже густо растет что-то дикое, настоящая трава забвения, и чаще всего направлялся прямо во дворец, в вестибюле которого весь день сидел в старинном атласном кресле, с короткой винтовкой на коленях, однорукий китаец, так как дворец есть, видите ли, теперь музей, "народное достояние", и должен быть под стражей. Ни единая не китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сиденья в совершенно пустом доме, – в нем, в этом сиденье, было даже что-то жуткое. Но однорукий, коротконогий болван с желто-деревяннным ликом сидел спокойно, курил махорку, равнодушно ныл порою что-то бабье, жалостное и равнодушно смотрел, как я проходил мимо.

– Вы его, барин, не бойтесь, – сказал мне про него кучер тем тоном, каким говорят о собаках, – я ему скажу про вас, он вас не тронет.

И точно, китаец меня не трогал. Если бы ему приказа' ли заколоть меня, он, разумеется, заколот бы, не моргнув бровью. Но так как колоть меня было не надо, то он только сонно косился на меня, и я мог свободно проводить целые часы в покоях дворца как дома. И я без конца бродил по ним, без конца смотрел, думал свои думы... Потолки блистали золоченой вязью, золочеными гербами, латинскими изречениями. (Если бы ты знал, как мой взгляд отвык не только от прекрасных вещей, но даже просто от чистоты!) В лаковых полах отсвечивала драгоценная мебель. В одном покое высилась кровать из какого-то темного дерева, под балдахином из красного атласа, и стоял венецианский сундук, открывавшийся с таинственной сладкогласной музыкой. В другом – весь простенок занимали часы с колоколами, в третьем – средневековый орган. И всюду глядели на меня бюсты, статуи и портреты, портреты... Боже, какой красоты на них женщины! Какие красавцы в мундирах, в камзолах, в париках, в бриллиантах, с яркими лазоревыми глазами! И ярче и величавее всех Екатерина. С какой благостной веселостью красуется, царит она в этом роскошном кругу! А в одном кабинете лежит на небольшом письменном столе и странно поражает взгляд коричневое бревно с золотой пластинкой, на которой выгравировано, что это – частица флагманского корабля "Св. Евстафий", погибшего в битве при Честме "во славу и честь Державы Российский...". Да, во славу и честь Державы Российския... Странно это теперь звучит, не правда ли?

Часто бывал я и в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище. Там прохладно и вечная тень, окна с железными толстыми решетками, а сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день, все такой же, такой же, как и сто, двести лет тому назад. Там устроены в стенах ниши с полками, и на этих полках мерцают тусклым золотом десятки тысяч корешков, чуть ли не все главнейшее достояние русской и европейской мысли за два последние века. В одной зале огромный телескоп, в другой гигантский планетарий, а на стенах снова портреты, редчайшие гравюры. Развернул я как-то один из прелестнейших томиков начала прошлого столетия, прочитал на шершавой бумаге строки:

Успокой мятежный дух
И в страстях не сгорай,

Не тревожь меня, пастух,
Во свирель не играй, –

и долго стоял очарованный: какой ритм и какая прелесть! грация, танцующий перелив чувств! Теперь, когда от славы и чести Державы Российской остались только «пупки», пишут иначе: "Солнце, как лужа кобыльей мочи..." А в другой раз мне попало под руку первое издание Баратынского, и я, словно нарочно, развернул книжку на стихах:

Что ж, пусть минувшее исчезло сном летучим,
Еще прекрасен ты, загдохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей...

А перед отъездом был я в знаменитой церкви. Она в лесу, на обрыве, круглая, палевого цвета и сияет в синем небе золотой маковкой. Внутри ее круг желтоватых мраморных колонн, поддерживающих легкий купол, полный солнца. В круглом проходе между колоннами и стенами – изображения святых со стилизованными ликами тех, кто похоронен в фамильном склепе под церковью. А в узкие окна видно, как ветер ворочает косматые главы сосен, величаво и дико раскинутые из обрыва в уровень с окнами, и слышно пение, гул ветра. Я спустился в непроглядную темноту склепа, озаряя красным огоньком воскового огарка громадные мраморные гробы, громадные железные светильники и шершавое золото мозаик по сводам. Холодом преисподней веяло от этих гробов. Неужели и впрямь они здесь, те красавицы с лазоревыми очами, что царствуют в покоях дворца? Нет, мысль моя не мирилась с этим... А потом я опять поднялся в церковь и долго глядел в узкие окна на буйное и дремотное волнение сосен. Как-то весело и горестно радовался солнцем забытый, навсегда опустевший храм! Мертвая тишина царила в нем. За стенами же пел, гудел летний ветер, – все тот же, тот же, что и двести, сто лет тому назад. И я был один, совершенно один не только в этом светлом и мертвом храме, но как будто и во всем мире. Кто же мог быть со мною, с одним из уцелевших истинно чудом среди целого сонма погибших, среди такого великого и быстрого крушения Державы Российской, равного которому не знает человеческая история!

И это было мое последнее посещение усадьбы. На другой день я уехал...

А теперь, как видишь, я опять в Москве. И прошло' уже больше месяца, как я вернулся, но сильное и, главное, какое-то невыразимо странное впечатление, привезенное мною в Москву, не оставляет меня. И я думаю, что и не оставит. Ведь то, что так живо и остро почувствовал и понял я во время этой поездки, зрело во мне уже давным-давно. И не предвидится, да и не может быть впереди ничего, что могло бы рассеять мое теперешнее состояние: они, эти люди так называемой новой жизни, правы – к прежнему, к прошлому возврата нет, и новое царит уже крепко, входит уже в колею, в будни. Состояние же мое заключается в том, что я непрестанно чувствую, как тлеет, рвется самая последняя связь между мною и окружающим меня миром, как все больше и больше отрешаюсь я от него и ухожу в тот, с которым связан был я не только весь свой век, с детства, с младенчества, с рождения, но даже и до рождения: ухожу в "Элизей минувшего", как бы в некий сон, блистающий подобием той яркой и разительно живой жизни, в которой застыли мертвецы с лазурными глазами в пустом дворце в подмосковных лесах.

Видишь ли, случилось, разумеется, чудо: некто, уже тлевший в смрадной могильной яме, не погиб, однако, до конца, подобно тысяче прочих, сваленных с ним в эту яму. Он, к великому своему изумлению, стал постепенно приходить в себя и, наконец, совсем пришел и даже получил возможность приподняться и опять выбраться на белый свет. Теперь он опять среди живых, опять приобретает знакомую привычку быть, как все, – будто как все, – опять видит город, небо, солнце, опять заботится о пище, об одежде, о крове и даже о житейском занятии, положении. Но, друг мой, проходит ли даром человеку смерть, хотя бы и временная? А главное, как переменялся, как сказочно переменялся даже самый белый свет за то время, которое мы, чудом уцелевшие, пребывали в могиле! Такого крушения, такой перемены лица земли за какие-нибудь пять лет в истории, повторяю, не бывало. Представь себе почти мгновенную гибель всего античного мира – и несколько человек, погребенных под развалинами, под лавинами варварских орд, и затем внезапно очнувшихся через два, три столетия: что должны они чувствовать? Боже, какое, прежде

всего, одиночество, какое несказанное одиночество! И вот уже давно стало расти во мне некое наваждение. Чем больше привыкал я к тому, что мое восстание из мертвых есть явь, сущая правда, тем более овладевало мною чувство страшной перемены, происшедшей на свете, — я, конечно, не о внешнем говорю, хотя и во внешнем мы дошли до неслыханной и уже вовеки непоправимой мерзости, — и начал я оглядываться кругом все пристальнее, вспоминать свою домогильную жизнь все явственнее... И росло, росло наваждение: нет, прежний мир, к которому был причастен я некогда, не есть для меня мир мертвых, он для меня воскресает все более, становится единственной и все более радостной, уже никому не доступной обителью моей души!

Да, уезжая из Москвы, проезжая по ней, я почувствовал то, что чувствовал уже давно, с особенной остротой: до чего я человек иного времени и века, до чего я чужд всем ее «пупкам» и всей той новой твари, которая летает по ней в автомобилях! Затем вспомни вокзал, с которого я уезжал, вагон, в котором я добыл себе место, моего соседа, пившего молоко из бутылки... Вспомни профессора с его мешками, с его научными мечтаниями и ту просеку, по которой одиноко — о, как страшно одиноко! — заковылял он... Как поразили меня те минуты, когда поезд стоял на полустанке, где он слез, — эти первые впечатления полевой тишины, лесной глуши, запаха берез, цветов, вечерней свежести! Боже мой, Боже мой, опять — после тысячи лет самой страшной в мире каторги! — опять это святое, чистое безмолвие, закатывающиеся за лесом солнце, даль, пролет в просеке, горькие и свежие ароматы, сладкий холодок зари... И чувство моей отчужденности от этого «советского» вагона, на площадке которого я стоял, и от русого мужика, который спал в нем, вдруг приобрело во мне такую глубину и силу, что на глаза мои навернулись слезы счастья. Да, я чудом уцелел, не погиб, как тысячи прочих, убиенных, замученных, пропавших без вести, застрелившихся, повесившихся, я опять живу и даже вот путешествую. Но что может быть у меня общего с этой новой жизнью, опустошившей для меня всю вселенную! Я живу, — и порою, как вот сейчас, даже в какой-то восторженной радости, — но с кем и где?

И та ночь, что провел я на крыльце трактира, тоже была для меня только моим прошлым. Разве я воспринимал ее как ночь в июне тысяча девятьсот двадцать третьего года? Нет, эта ночь была одной из моих прежних ночей. Прежние были и зарницы, и гром, и свежий ветер, с которым приближалась гроза... Они и совсем увели меня в мир мертвых, уже навсегда и блаженно утвердившихся в своей неземной обители. И теперь неотступно стоит передо мною это солнечное царство летних дней, бора и сказочно-спящего дворца, затерявшегося в бору, этих ворот со львами и бурьяном наверху, мрачных еловых ущелий, обмелевших прудов со стайками трясогузок на травянистых берегах, озера, заросшего осокой, навсегда опустевшей церкви и пустых, блистательных зал, полных образами покойников... Не могу тебе передать изумительного чувства, все еще не покидающего меня: до чего они ужасающе живы для меня!

Помнишь ли ты те стихи Баратынского, из которых я привел тебе несколько строк и которые так совпали с тем самым важным для всей моей теперешней жизни, что таится в самом сокровенном тайнике моей души? Помнишь, как кончается эта элегия, посвященная предчувствию того Элизея, который прозревал Баратынский под тяжестью своих утрат и горестей? Среди запустения родных мест, среди развалин и могил, я чувствую, говорит он, незримое присутствие некоего Призрака; и он, "сия Летийская Тень, сей Призрак" —

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую, несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где, в сладостной тени невянущих дубов,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу...

Запустение, окружающее нас, неописуемо, развалинам и могилам нет конца и счета: что осталось нам, кроме "Летийских Теней" и той "несрочной весны", к которой так «убедительно» призывают они нас?

Приморские Альпы, 5 октября 1923

Святитель

Двести лет тому назад, в некий зимний день, святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным.

Вечером в его покое, перед многочисленными и прекрасными образами, горели лампы, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют. И святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик.

Неслышно вошел и тихо поклонился служка.

– Милый брат, позови ко мне певчих, – сказал святитель. – Бог простит мне, недостойному, что я тревожу их в неурочный час.

И вскоре покой святителя наполнился молодыми черноризцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, – разулись, прежде чем войти.

И святитель сказал в ответ на их земном метание:

– Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу пречистого Рождества господа нашего Иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной.

И они стали вполголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости.

И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой.

Когда же получили они отпуск и, поклонясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу.

Он рассказал ему всю свою жизнь.

Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых, сладчайших молитвенных восторгах.

Прощаясь же с ним вблизи полуночи, поцеловал его с лихорадочно-сияющим взором и поклонился ему в нот.

И это была последняя земная ночь святителя: на рассвете обрели его почившим, – с двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный.

Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного, – простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю:

– Митюшка, милый!

Только один господь ведает меру неизреченной красоты русской души.

7 мая 1924

Богиня разума⁵

I

Я записал этот день:

«Париж, 6 февраля 1924 г. Был на могиле Богини Разума».

II

Богиня Разума родилась в Париже, полтора века тому назад, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ее были люди совсем простые, жили очень скромно, даже бедно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой в соединении с редкой грацией, в отрочестве у нее обнаружился точный музыкальный слух и верный, чистый голосок, а в двух шагах от улички Сэн-Мартэн, где она родилась и росла, находилось нечто сказочно-чудесное, здание Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой девочки рано стали туманить обольстительные мечты, надежды на славную будущность. И случилось так, что мечты и надежды не только не обманули, но даже в некоторых отношениях превзошли ожидания. Тереза Анжелика Обри не только стала артисткой Оперы, не только пела и танцевала на ее сцене рядом с знаменитостями и вызывала

⁵ Рассказ напечатан полностью в «Литературном наследстве».

восторженные рукоплескания, являясь перед толпой олимпийскими богинями, – то Дианой, то Венерой, то Афиной-Палладой, – но и попала в историю: 10 ноября 1793 года она играла на сцене, которую никогда не могла и вообразить себе, – в Соборе Парижской Богоматери, выступала в роли неслыханной и невиданной, в роли Богини Разума, и затем – *apres avoir detrone la ci-devant Sainte Vierge*⁶ – торжественно была отнесена в Тюильерийский дворец, в Конвент: какживое воплощение нового Божества, обретенного человечеством.

Погребена Богиня на Монмартрском кладбище. Как не взглянуть на такую могилу?

III

Я давно собирался это сделать. Наконец поехал. В солнечный день, уже почти весенний, но довольно пронзительный, с бледно-голубым, кое-где подмазанным небом, я вышел на улицу и спустился в ближайшее метро. Сквозняки, бегущая толпа, длинные коридоры, цветистые рекламы, лестницы все вглубь и вглубь и наконец совсем преисподняя, ее влажное банное тепло, вечная ночь и огни, блеск свода, серого, рубчатого, глянцевого, как брюхо адского змия... Через минуту я уже стоял в людном вагоне, мчался под Парижем и думал о Париже времен Богини Разума и опять – о ее удивительной судьбе, ее удивительном образе.

Современники писали о ней: «Одаренная всеми внешними дарами, какие только может дать природа женщине, она есть живая модель того античного совершенства, которое являют нам памятники искусства; при взгляде на ее стан и очерк ее головы тотчас является мысль о грозной эгиде и шлеме Афины-Паллады, и она особенно на месте в тех ролях, где черты лица, жесты, осанка, поступь должны воссоздать богинь...» Это писалось, когда ей было уже лет тридцать пять. Можно себе представить, как прекрасна была она в двадцать, в те годы, когда она выходила на сцену в короткой тунике, в легких сандалиях на стройной ноге, с золотым полумесяцем на высокой прическе, с луком в длинных округлых руках, Дианой Девственницей! Примадонной, дивой Обри никогда не стала; материальное ее положение было незavidно – всего несколько сот ливров в год жалованья да угол в родительском доме; положив за кулисами лук, сняв белила и румяна, сбросив тунику и закрутив волосы простым узлом, она надевала грошовое платье и бежала домой, дома же хлебала гороховую похлебку и укладывалась спать в чердачной каморке. Но справедливо говорили, что мадемуазель Обри *tres sage*,⁷ – простодушная, милая легкость, нетребовательность всегда отличали ее характер. И вот «народ, разбивший оковы рабства, достойно прославил ее 10 ноября 1793 года», обессмертил «*ce chef-d'oeuvre de la Nature*»,⁸ как галантно назвал ее Шомет, представляя Конвенту. И много лет после того распевали уличные певцы стихи Беранже о ней:

Est-ce bien vous? Vous que je vis si belle
Quand tout un peuple entourant votre char
Vous saluait du nom de l'immortelle
Dont votre main brandissait l'etendard?
De nos respects, de nos cris d'allegresse,
De votre gloire et de votre beaute,
Vous marchiez fiere: oui, vous etiez deesse,
Deesse de la Liberte.⁹

⁶ после того, как была свергнута бывшая Святая Дева (франц.).

⁷ весьма скромна (франц.).

⁸ это чудо природы (франц.).

Неужели это ты?
Ты, которую и видел столь прекрасной,
когда толпа, окружив твою колесницу,
приветствовала тебя, именуй той бессмертной,
чье знамя развевалось в твоих руках?
Ты шествовала, гордая нашим преклонением,

IV

Возле Оперы я вышел на свет Божий. Добродетельные греки были правы: небо, солнце, воздух – высшая радость смертных, трижды несчастны тени, населяющие ширококватное царство Гадеса. Бедная Тереза Анжелика Обри, бедная Богиня Разума! Как бы это получше уяснить себе разумом, почему и за что уже сто лет гниет в земле «*ce chef-d'oeuvre de la Nature*»?

Солнце, все-таки еще зимнее, уже склонялось, был самый людный час, и несметное множество народа и экипажей затопляло площадь в его зеленоватом жидком блеске. Пешеходы бежали, автомобили и омнибусы медленно текли страшной ревущей лавиной. Я поймал свободный автомобиль, вскочил и поехал дальше. Из одного длинного и узкого уличного пролета глянул на меня с высоты Монмартра бледный восточный призрак собора *Sacre Coeur*...

V

В автомобиле я добросовестно постарался вспомнить возможно подробнее и представить себе возможно яснее все, что знал о 10 ноября 1793 года.

Какой был тогда Париж? Бог его знает, какой, слабо наше воображение, не велик разум. Ну, конечно, был Париж уже и тогда огромным городом, со множеством садов и поместий, с прекрасными зданиями, но и с лачугами, с лужами и грязью даже на площадях, с грубыми средневековыми мостами через патриархальную Сену... Левый берег вообразить легче, – столько еще сохранилось там прежних узких улиц и узких нелепых домов. Зато собор все тот же. Как странно, – все тот же, как тогда, когда стояла под его сводами, на бутафорских скалах, возле Храма Премудрости, прелестная Тереза Анжелика Обри!

И на мгновение я довольно живо почувствовал душу Парижа в те годы, тот развал жизни, то нечто бездельное, праздничное и жуткое, то владычество черни, которым веет в воздухе во времена всех революций. И был сырой осенний день с сильным холодным ветром, сменившим ночной проливной дождь, и всюду, – на мостах, в улочках, ведущих к собору, и особенно на площади перед ним и в нем самом, – было великое, как бы ярмарочное многолюдство, и поминутно раздавался над городом грохот пушек, салютующих коронованию Нового Божества. А Новое Божество стояло под сводами собора, *dans cet edifice ci-devant dit eglise metropolitaine*,¹⁰ на скалистой горе, возле белоколонного храма, в красной шапочке, в белой хламиде, опоясанной пурпуровой лентой, с копьем в руке – и два хора *des adoreurs de la Liberte*¹¹ – тоже во всем белом, в венках из роз, возжигали перед ней ароматы, воздавали ей поклонения и протягивали к ней обнаженные руки:

Descends o Liberte, fille de la Nature!¹² –

а густая толпа «патриотов», переполнявшая собор, ревела и рукоплескала...

VI

Монмартрское кладбище было когда-то за городом, и вероятно, было уютно, мирно, похо-

нашими ликующими возгласами,
своим торжеством и своей красотой – да.
тогда ты была богиней, Богиней Свободы!

(франц. – Из стих. «Богиня».)

¹⁰ в этом здании, прежде называвшемся архиепископским собором (франц.).

¹¹ поклонники Свободы (франц.).

¹² Сойди к нам, о Свобода, дочь Природы! (франц.)

же на рощу, на большой сад. Теперь все растущий город окружил его отовсюду, включил в себя. А так как оно лежит в низменности, то через эту низменность перекинут теперь длинный и тяжелый железный мост, по которому беспрерывно идут и едут, катятся с глухим гулом валкие омнибусы, несутся и на разные лады вопят автомобили, гремят и звенят трамваи. И вот первое, что ударило по моему чувству и зрению, когда я достиг места вечного пристанища Богини Разума: этот черный грубый мост, под которым проезжают к железным воротам кладбища и который день и ночь грохочет над покойниками. А затем произошло нечто совсем неожиданное.

Я хорошо знал, что славная Тереза Анжелика Обри была забыта еще при жизни весьма основательно, а впоследствии уже настолько, что целых сто лет даже историки, специально занимавшиеся изучением «великой» революции и в частности культа разума, почти все были убеждены, что знаменитую революционную Богиню изображала m-me Maillard, балетный кумир тех дней, пока не догадались заглянуть в уцелевшие газеты от 11 ноября 1793 года. Но я как-то не подумал об этом хорошенько, да отчасти и был прав: ведь все-таки теперь имя Терезы Анжелики Обри должно быть в каждом новом учебнике. Мне все-таки представлялось, несмотря на все мои горестные мысли о ней, что по крайней мере хоть на кладбище-то ее могила есть нечто и всем ведома. Поэтому отчасти была простительна наивность, с которой я обратился к первому встречному: где могила Богини Разума? Однако встречный посмотрел на меня как на помешанного:

– Богиня Разума? Что это такое?

Я пояснил. Но встречный развел руками и резонно посоветовал мне обратиться лучше в кладбищенскую контору.

Тогда я еще увереннее направился в контору. Каково же было мое удивление, когда и в конторе мне ответили на мой вопрос вопросом же:

– Это ваша родственница, г-жа Обри? Но совсем нет, – сказал я, опешив.

– Она давно погребена?

– В январе 1829 года.

И тогда на меня выпучили глаза:

Помилуйте, да вы смеетесь! Можем ли мы знать всех погребенных здесь сто лет тому назад!

– Но неужели никто не посещает эту могилу, и я первый справляюсь о ней у вас?

– Кажется, первый! Обратитесь к какому-нибудь сторожу, может, он случайно знает по надписи на памятнике, если таковой есть и надпись сохранилась...

VII

А затем я спросил о знаменитой могиле у полной, с черными усиками женщины, стоявшей на пороге конторы, предполагая и ней привратницу. В самом деле, это была привратница и к тому же очень живая и толковая, – эти полные с усиками всегда такие. Но и она о могиле не имела никакого понятия. А затем я тщетно расспрашивал сторожей, встречавшихся мне в голых аллеях, по которым я ходил не менее получаса, оглядывая надписи на памятниках. Затем опять обращался к встречным дамам и господам в трауре... И один господин ни с того ни с сего (вернее, с расчетом хоть чем-нибудь удовлетворить сумасшедшего искателя знаменитых могил) предложил мне взглянуть на могилу Золя. Эта могила была в двух шагах от меня, на пригорке. К вечеру совсем засвежело, небо над кладбищем стало еще бледнее, низкое солнце холодно и резко освещало ледяную и блестящую наготу безобразно-громадной глыбы красного гранита, на которой не было ни единого религиозного знака, ни одного слова Писания, – очевидно, тоже в честь Разума. Над глыбой стоял на цоколе терракотовый бюст – моложавый мужчина лет тридцати, щеголеватой-демократической артистическо-рабочей наружности, с длинными волосами и в блузе. Я взглянул и, закулив, рассеянно сделал несколько шагов по аллее, потом зачем-то в сторону, среди деревьев, крестов и памятников, где местами лежал серый снежок. – «Ну и Бог с ней, с этой Богиней Разума, – подумал я, – пора домой», – и вдруг увидел себя как раз перед ее могилой...

И присев на соседний надгробный камень, я уставился на могилу в полном изумлении.

VIII

Да, так вот оно что: даже на кладбище ни единая душа не знает и знать не желает о какой-то Богине Разума, некогда коронованной вот в этом самом Париже, под древними сводами собора Парижской Богоматери. Но мало того: что же это такое перед моими глазами?

Перед моими глазами было старое и довольно невзрачное дерево. А под деревом – квадрат ржавой решетки. А в квадрате – камень на совсем плоской и даже слегка осевшей земле, а на камне – две самых простых каменных колонки в аршин высоты, покосившихся, изъеденных временем, дождем и лишаями. Когда-то их «украшали» урны. Теперь колонки лишены даже этих украшений: одна урна совсем куда-то исчезла, другая валяется на земле. И на одной колонке надпись: «Памяти Фанни», на другой – «Памяти Терезы Анжелики Обри».

– Est-ce bien vous?¹³

Неужели это правда, что это именно она, она самая, мадемуазель Тереза Анжелика Обри, лежит в земле в двух шагах от меня?

Там еще есть гнилые, смешавшиеся с землей остатки гроба, правильно лежащие кости, зубастый череп... Это она? Конечно, она. А с другой стороны – конечно, не она... Мудрый разум, помоги, – я всегда в подобных случаях совершенно теряюсь и путаюсь!

Но разум не помогал.

IX

Бесспорно, судьба Обри была удивительна. Но удивительна больше всего в силу необыкновенных несчастий. В общем, она была истинно ужасна. И Обри, при всей независимости своей натуры, не могла не понимать этого даже в те дни, которые, казалось бы, должны были быть ее лучшими днями.

Революция совпала с апогеем ее красоты и молодости. И, казалось бы, что ж ей, молоденькой фигурантке, да еще дочери ремесленника, революция? Только радость! А потом – «vous etes deesse, deesse de la Liberte!».¹⁴ И жалованья прибавили, да еще сразу вдвое... Но нет, слишком хороша она была по натуре для всех этих радостей.

На ее глазах началась и целые годы длилась страшная гибель всей той жизни, среди которой она родилась, росла, мечтала о сцене и которая, конечно, только восхищала ее своим блеском. Разрушает «старую жизнь» во время революций не презрение народа к ней, а как раз наоборот – острая зависть к ней, жажда ее. А у Обри даже и зависти не было. Ей нужны были, судя по ее характеру, только рукоплескания (причем рукоплескания маркиза она, вероятно, все-таки предпочитала рукоплесканиям трубочиста). И не могла она не чувствовать, не видеть, что такое есть то царство Братства и Равенства, в которое она попала, то «Жертвоприношение Свободе», – «l'Offrande a la Li-berte», – которое приказано было ежедневно разыгрывать в Опере и которое тоже, ежедневно разыгрывалось на улицах, в подвалах тюрем и на площадях с гильотинами. А Бог, церковь? Может быть, она была равнодушна к религии. Но все-таки не могло не потрясать ее и все то, что делалось в те дни и с религией, вся эта вдруг начавшаяся по всей стране бешеная, зверская охота за священниками, грабеж и осквернение церквей и, как венец всего, упразднение Бога по комиссарским декретам и переименование в «Храм Разума» собора Парижской Богоматери, сперва даже было предназначенного к полному разрушению. Могла ли быть горда и счастлива в такие дни вот эта самая милая, кроткая Тереза Анжелика, чьи кости лежат в земле предо мною?

X

Но она не только испытала весь этот общий кошмар, в котором несколько лет жила при ней вся страна. Над нею – уже лично над нею – внезапно разразилось нечто еще более ужасное: «tout un peuple la salue du nom de l'immortelle»,¹⁵ то есть, говоря проще, заставил ее играть самую ди-

¹³ Неужели это вы? (франц. – Из стихотворения «Богиня»).

¹⁴ Ты богиня, богиня Свободы! (франц. – Из стихотворения «Богиня»).

¹⁵ Народ приветствовал ее, именую бессмертной (франц. – Из стихотворения «Богиня»).

кую и постыдную роль в кощунстве еще более неслыханном, чем все прочие. Прости ей, Боже, разве виновата была она! Ведь ее именно заставили, заставила самая свирепая из тираний, тирания Свободы. Да она и сама не могла чувствовать себя виноватой. И все же не сладко ей, вероятно, было. «*Vous marchiez fiere, oui, vous etiez deesse de la Liberte...*» О, пошлейшая из пошлостей! Конечно, в глубине души несчастной Терезы Анжелики была некоторая доля женской и профессиональной гордости. Конечно, порой голова ее кружилась: ведь все-таки она нынче, 10 ноября 1793 года, царица всего Парижа, первое лицо во всем этом небывалом и грандиозном, хотя и чудовищном торжестве, и играет роль, которую не играла никогда ни одна актриса в мире, и все это благодаря своей красоте, тому, что она и впрямь есть истинный «*chef-d'oeuvre de la Nature*». Но вместе с тем какой неопиcуемый ужас должен был туманом стоять весь день над полуголой, до костей продрогшей и вообще до потери чувств замученной заместительницей Божьей Матери!

Повторяю, – и до 10 ноября испытала она уже не мало, неизменно участвуя во всей той напыщенной пошлости, которая каждый день шла, по приказу насквозь изолгавшихся изуверов, на сцене Оперы. Она, говорю, уже хорошо знала, что это значит в действительной жизни, все эти «*l'Offrande a la Liberte*» и «*Toute la Grece ou ce que peut la Liberte*». Революционные вожди, как и полагается им по революционным обычаям, развивали сумасшедшую деятельность, каждый Божий день поражали город какой-нибудь новой выходкой, так что в конце концов и восприимчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное уже теряло характер неожиданности. И все-таки торжество 10 ноября свалилось на Париж (а на Обри еще более) истинно как жуткий снег на голову. «*Pour activer le mouvement antipapiste*»,¹⁶ Шомет в четверг седьмого ноября вдруг распорядился на воскресенье десятого о «всенародном» празднестве в честь Разума, о беспрецедентном кощунстве в стенах Парижского собора, а m-lle Обри было объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство. И приготовления к празднеству закипели с остервенением, и к воскресенью все потребное, чтобы Бог и попы были посрамлены окончательно, было вполне готово. Всю ночь накануне лил как из ведра ледяной дождь. Утром он перестал, но грязь была непролазная и дул свирепый ветер. Тем не менее, с раннего утра загрохотали пушки, загремели барабаны, Париж стал высыпать на улицу...

XI

И было великое безобразие, а для Обри и великое мучение, даже телесное. С раннего утра она, вместе с прочими «Обожателями Свободы», то есть с кордебалетом и хором, была уже в холодном соборе, репетировала. По том стали собираться «патриоты», прискакал озабоченный Шомет – и началось торжество. Потом – и все под стук пушек, пение, барабаны и шум толпы – четыре босняка, ухмыляясь, подняли на свои дюжие плечи Обри вместе с ее тронem и понесли, в сопровождении хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь, «к народу», а затем в Конвент. И опять – давка, говор, крики, смех, остроты, а ноги чавкают по грязи, попадают в лужи, ветер рвет голубую мантию и красную шапочку посиневшей Богини, кордебалет тоже стучит зубами в своих вздувающихся от ветра белых рубашечках, забрызганных грязью, а сзади высоко качаются над толпой шесты, на которых надеты, для вящей потехи, золотое облачение и mitra Парижского Архиепископа. А в Конвенте – торжественный прием Богини всем «высоким собранием» во главе с президентом, который ее приветствует «как новое божество человечества», «заключает от имени всего французского народа в объятия», возводит на трибуну и сажает рядом с собою... Тут бы, казалось, и конец. Но нет! Из Конвента Обри понесли, совершенно так же, как и принесли, назад, в собор! Вообразите себе хорошенько это новое путешествие и перечитайте затем стихотворное красноречие Беранже...

XII

Прошла революция, снова наступила Империя и снова Обри заставляла разом подниматься все бинокли и лорнеты при своем появлении на сцене. Звезда ее стояла высоко, время, моло-

¹⁶ чтобы усилить антипапистское движение (франц.).

дость, успехи сделали прошлое далеким сном. Но вот однажды, в один из самых блестящих вечеров, в присутствии сомой Императрицы и ее Двора, но время апофеоза, которым оканчивалось «Возвращение Улисса», в тот момент, когда Минерву-Обри медленно спускали с облаков на землю, «Слава» – я употребляю театральный термин того времени – «Слава», на которой восседала она, внезапно сорвалась и обрушилась... Когда-то Обри уступила однажды потребности любить, быть матерью – и стала ею. Теперь, после того, как ее, окровавленную и изувеченную, принесли в уборную и привели в чувство, первое, что слетело с ее губ, был крик: «Ради Бога, не пускайте ко мне Фанни, это испугает ее!» А затем она тотчас столп умолять сказать ей правду: будет ли она в состоянии снова играть, если останется жива?

Нет, играть ей больше не пришлось. Всеми вскоре забытая, калека, обеспеченная только скудной пенсией, она повела грустную и однообразную жизнь в бедной и маленькой квартирке, с болезненной, медленно умирающей Фанни на руках, и жизнь эта, к несчастью, длилась еще много лет. Уличные певцы пели под ее окнами:

Je vous revois, et le temps rapide
 Terait ces yeux ou riaient les amours...
 Resignez-vous: char, autel, fleurs, jeunesse,
 Gloire, vertu, grandeur, espoir, fierte,
 Tout a peri: vous n'etes pas deesse,
 Deesse de la Liberte...¹⁷

Но знала ли она, что все это относится к ней? Нет, она даже этого не знала. Она знала только одно, знала и без Беранже: да, да, все прошло, все погибло, осталось действительно одно – покоряться судьбе да употреблять остаток сил на заботы о Фанни, на то, чтобы хоть как-нибудь обеспечить ее после своей смерти. Она всячески хлопотала об устройстве судьбы Фанни, писала завещание, прося добрых людей о ней да еще о своих похоронах, – о том, чтобы все было «прилично» и «чтобы поставили памятник на ее могиле». И Бог дал ей под конец хотя и одно, но великое утешение: все-таки Фанни пережила ее, – Фанни успокоилась вот в этой самой могиле, что передо мною, через полтора месяца после ее смерти...

А может быть, ей бы отраднее знать, умирая, что через полтора месяца она снова будет рядом – и уже навеки – со своею Фанни? Может быть, может быть... Что мы знаем? Что мы знаем, что мы понимаем, что мы можем!

XIII

Одно хорошо: от жизни человечества, от веков, поколений остается на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предание о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесной песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, их райски-дивные цветные стекла, органные громы и жалобы. «Dies irae» и «Смертью смерть поправ»... Остался, есть и вовеки пребудет Тот, Кто, со креста любви и страдания, простирает своим убийцам объятия, осталась Она, Единая, Богиня богинь, Ее же благословенному царствию не будет конца.

16. V.24

17

Я вновь увидел тебя,
 но быстротечное время погасило глаза,
 в которых некогда сияла любовь...
 Смирись: колесница и жертвенник,
 цисты и юность, слава, доблесть,
 величие, надежда, гордость – все погибло:
 ты уже не богиня, Богиня Свободы!

(франц. – Из стихотворения «Богиня»).

Скарабей

Вижу себя в Каире, в Булакском музее.

Когда входил во двор, пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых высился громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал:

– Еще один великий царь...

Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и топко пахло – священный аромат мумий, как бы сама душа сказочной египетской древности. Но буднично и деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали быстро проходившие по звонким коридорам и сбегавшие с главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников.

А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое и сухое благовоние, древнее, священное! Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да, да, подумать только: вот я возле самого Великого Рамзеса, его подлинного тела, пусть иссохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости, но все же его, его!

А рядом – скарабей Мариетта. Мариетт поместил в особой витрине, разложил в хронологическом порядке все собранные им царские скарабеи, – триста чудесных жучков из ляпис-лазури и серпентина. На этих жучках писали имена усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно возрождающейся, бессмертной жизни. Мариетт собрал их – и выставил на удивление всему человечеству:

– Вот вся история Египта, вся жизнь его за целых пять тысяч лет.

Да, пять тысяч лет жизни и славы, а в итоге – игрушечная коллекция камешков! И камешки эти – символ вечной жизни, символ воскресения! Горько усмехаться или радоваться?

Все-таки радоваться. Все-таки быть в том вовеки неистребимом и самом дивном, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетия покоился этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури, – с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет – не пройдет только эта вера!

<10 мая. 1924>

Слепой

Если выйти на мол, встретишь, несмотря на яркое солнце, резкий ветер и увидишь далекие зимние вершины Альп, серебряные, страшные. Но в затишье, в этом белом городке, на набережной, – тепло, блеск, по-весеннему одетые люди, которые гуляют или сидят на скамьях под пальмами, щурясь из-под соломенных шляп на густую синеву моря и белую статую английского короля, в морской форме стоящего в пустоте светлого неба.

Он же сидит одиноко, спиной к заливу, и не видит, а только чувствует солнце, греющее его спину. Он с раскрытой головой, сед, старчески благообразен. Поза его напряженно неподвижная и, как у всех слепых, египетская: держится прямо, сдвинув колени, положив на них перевернутый картуз и большие загорелые руки, приподняв свое как бы изваянное лицо и слегка обратив его в сторону, – все время сторожа чутким слухом голоса и шуршащие шаги гуляющих. Все время он негромко, однообразно и слегка певуче говорит, горестно и смиренно напоминает нам о нашем долге быть добрыми и милосердными. И когда я приостанавливаюсь наконец и кладу в его картуз, перед его незрячим лицом, несколько сантиметров, он, все так же незряче глядя в пространство, не меняя ни позы, ни выражения лица, на миг прерывает свою певучую и складную, заученную речь и говорит уже просто и сердечно:

– Merci, merci, mon bon frère!¹⁸

«Mon bon frère...» Да, да, все мы братья. Но только смерть или великие скорби, великие не-

¹⁸ Спасибо, спасибо, добрый мой брат! (франц.)

счастья напоминают нам об этом с подлинной и неотразимой убедительностью, лишая нас наших земных чинов, выводя нас из круга обыденной жизни. Как уверенно произносит он это: *mon bon frère!* У него нет и не может быть страха, что он сказал невпопад, назвавши братом не обычного прохожего, а короля или президента республики, знаменитого человека или миллиардера. И совсем, совсем не потому у него нет этого страха, что ему все простят по его слепоте, по его неведению. Нет, совсем не потому. Просто он теперь больше всех. Десница божия, коснувшаяся его, как бы лишила его имени, времени, пространства. Он теперь просто человек, которому все братья...

И прав он и в другом: все мы в сущности своей добры. Я иду, дышу, вижу, чувствую, – я несу в себе жизнь, ее полноту и радость. Что это значит? Это значит, что я воспринимаю, приемлю все, что окружает меня, что оно мило, приятно, родственно мне, вызывает во мне любовь. Так что жизнь есть, несомненно, любовь, доброта, и уменьшение любви, доброты есть всегда уменьшение жизни, есть уже смерть. И вот он, этот слепой, зовет меня, когда я прохожу: «Взгляни и на меня, почувствуй любовь и ко мне; тебе все родственно в этом мире в это прекрасное утро – значит, родствен и я; а раз родствен, ты не можешь быть безчувствен к моему одиночеству и моей беспомощности, ибо моя плоть, как и плоть всего мира, едина с твоей, ибо твое ощущение жизни есть ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу общую радость жизни, то есть ощущение друг друга и всего сущего!»

Не пекитесь о равенстве в обыденности, в ее зависти, ненависти, злом состязании.

Там равенства не может быть, никогда не было и не будет.

25 мая 1924

Мухи

Прокофий лежит на нарах под полатами уже третий год: высохли ноги.

Деревня в завале, по косогорам над оврагами. Места глухие, богом забытые. Да еще рабочая пора. Окрестные поля, усеянные копнами, голы и желты, похожи на песчаную пустыню, а в деревне ни души, только старики и дети. Нагоняя дремоту, поют петухи. Скучно, как тоскующий немой, мычит на выгоне теленок. В тени от пунек дремлют, смахивая с ушей мух, собаки. На порогах жарких изб попискивают, поклевывают цыплята. Тускло печет солнце, и с востока, из-за покатых полей, все собирается, синеет и все ничем не разрешается молчаливая тучка.

И день за днем лежит он в этой тишине и скуке. Был я у него в прошлом году в эту же пору, был нынешней весной и вот опять заехал. Все то же: в избе полутемно, жарко, на столе хлебы, прикрытые рваным армяком; на этом армяке, на стеклах и по стенам кипят несметные мухи, – просто все черно от мух, – а он лежит на нарах, головой к боку печки, до пояса прикрытый старой пегой попоной, и, усмехаясь, курит трубку. Посасывает и усмехается. Под попоной – его неподвижные ноги. Они так противоестественно тонки, так неприятны и страшны даже через полосатые портки, что я поспешил отвести глаза, когда он откинул попону и показал мне их. А он еще пошутил:

– Посмотрите-ка, что делается! Не ноги, а коклюшки! Хоть кружево плети!

Я сижу возле нар на перевернутом ведре, кручу папироску и думаю о том, что вот через полчаса я уеду, а он опять останется в этой избе, опять будет лежать да смотреть на противоположную стену, на черные доски полатей, висящих над ним. Я ужасаюсь при одной мысли о таком существовании, а он лежит себе как ни в чем не бывало и даже более того – чувствует себя, видимо, прекрасно. Что это такое? Знаменитое русское терпение? Восточная покорность судьбе? Святость? Нет, все не то. Ничего святого в его лице нет – обыкновенное лицо мужика средних лет, поражающее только ясностью и бодростью глаз. И он усмехается и говорит:

– Верите ли, когда меня переносят на коник, чтобы, значит, тут перестлать, оправить, мне самому чудно глядеть на эти ноги, до того они маленькие, ребячьи. Главное дело, волочатся совсем как чушие...

Мне нестерпимо даже думать об этих ногах. А он сосет трубку и, отмахиваясь от мух, откидывая со лба длинные волосы, шутит и над волосами:

– Ишь оброс! Хоть в архирее постригай!

Чтобы переменить разговор, я говорю:

– Ну и мух у вас, Прокофий!

Он оживленно подхватывает:

– Мух? Содом! Я их с утра до вечера мну, великие тысячи помял. Плюну на стену, они насядут роем, а я их и мну. Палкой. Так сбоку меня и лежит.

И он шарит правой рукой по постели и показывает мне точно смолой вымазанную палку. В смоле и стена: вся в мушином тесте.

– Да что ж, – говорит он, – не будь их, что бы я мог делать? А тут весь день занят.

– Ну, а еще что ж ты делаешь?

– А что ж еще? Да ничего. Лежу, курю, думаю.

– О чем?

– Да, конечно, так, пустяки, о чем придется. Об хозяйству мало теперь стал думать. Придут с поля, начнут рассказывать, а я как-то без внимания. Нужды у нас, сами знаете, нету, ну и не думается. Думаю больше о прежнем, когда здоровый, молодой был.

– Ах, Прокофий, – говорю я, не выдержав, – все-таки как это ужасно то, что случилось с тобой!

Но он спокойно глядит мне в глаза и спокойно, не вынимая трубки изо рта, отвечает:

– Нет, барин, это только мнение. Это вам только так кажется по вашему здоровью. А захворали бы не хуже меня, что ж бы вы сделали? Лежали бы себе да лежали. Здоровому, понятно, думается утешить себя разными разностями, побогаче стать, перед людьми погордиться, а лег – и мухам рад. Вы вот норовите как бы что придумать, сочинить получше, а я как бы побольше мух помять. И все одна честь, одно удовольствие. И смерть то же самое. Кабы она уж правда была так страшна, никто и не умирал бы, никогда бы господь такой муки не допустил. Нет, это только одно мнение...

Через полчаса я прощаюсь с ним, выхожу из избы и сажусь на лошадь со странным чувством какой-то глупой легкости ко всему окружающему. А может быть, и в самом деле все хорошо, все слава богу и довольствоваться, радоваться можно и впрямь очень малым? Как приятно, например, поставить ногу в стремя, нажать на него и, перекинув другую ногу через седло, почувствовать под собою его скользкую кожу и живое движение сильной молодой лошади! Тронув повод, я крупным шагом еду по выгону. Затихло в деревне еще больше. Даже петухи смолкли, и теленок лежит и дремлет, прикрыв свои крупные белые ресницы. Еду вдоль изб, мимо их жарко блестящих против предвечернего солнца окон, поворачиваю за угол крайней избы, поднимаюсь проселком на изволок, в степь... Вот уже потянуло навстречу сухим и сладким ветерком, и открывается впереди бесконечная равнина, далекие горизонты июльских полей, пустынная желтизна которых переходит в чуть видных далях в нечто прелестное, манящее, смутно-сиреневое...

Да, а Прокофий лежит, и у него свои радости. Когда я встал, покидая его, вероятно, еще на год, он просто и весело подал мне руку и пожал ее. И пожал совсем не по-прежнему, совсем не так, как бывало: не одними концами пальцев, бывших прежде не гибкими и корявыми, не с мужицкой неловкостью и несмелостью, а всей дланью, с приятной и дружеской силой и, главное, совсем как равный равному. И, кажется, это больше всего поразило меня, больше всего дало почувствовать, до чего он телесно и душевно переродился, до чего преобразили его эти годы, эти долгие дни одинокого лежания под полатями и сокровенные мысли, соединенные с непрестанной забавой истребления мух, перешедшей уже в чисто охотничью страсть, почти в цель жизни: вот, мол, завтра, бог даст, проснусь, и опять пошла работа. Странная работа и странные мысли! Давит, мнет мушиные рои – и со спокойной таинственностью созидает в глубине своего существа какую-то страшную, а вместе с тем радостную мудрость... Мудрость ли это или же просто какой-то ясноокий идиотизм? Блаженство нищих духом или безразличие отчаяния?

Ничего не понимаю, еду и смотрю вдаль.

9 июня 1924

Лапти

Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреде он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходявшая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами, – от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем

помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора, тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть...

Стукнуло в прихожей, – Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул:

– Ну что, барыня, как? Не полегчало?

– Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит...

– Лапти? Что за лапти такие?

– А господь его знает. Бредит, весь огнем горит. – Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки, – все в снегу, все обмерзло... И вдруг твердо:

– Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать.

– Как добывать?

– В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином нехитрое дело.

– Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!

Еще подумал.

– Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то...

И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море.

Пообедали, стало смеркаться, смерклось – Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти:

– Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит!

И мать кидалась на колени и била себя в грудь:

– Господи, помоги! Господи, защити!

И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый зловещий стук в окно.

Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, – белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадьёю в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело – оказывается, знакомый человек. – Тем только и спаслись – поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье...

За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.

22.6.24.

Слава

– Нет-с, сударь мой, русская слава вещь хитрая! До того хитрая, что об ней следовало бы целое исследование написать. Тут, по-моему, даже один из ключей ко всей русской истории. И вообще, вы меня простите, вы еще молодо-зелено. Вы лучше слушайте мое готовое. Я в свободное время очков не снимаю, сорок лет сохну над книгами, да и жизненный опыт некоторый имею, с любым Ключевским могу кое в чем потягаться, – вы на то не глядите, что перед вами второсортный букинист. А уж про этих божьих людей и говорить нечего. Это даже моя специальность. Да вот вам несколько фигур из этой галереи, и фигур не каких-нибудь баснословных, незапамятных, а совершенно достоверных, современных мне.

– Вот вам, например, Мужик Борода. Был он воронежский. Много лет пребывал в сравни-

тельной безвестности. Как вдруг счастливый случай. Пропадает в одно прекрасное утро у одного заштатного полковника ореховая шкатулка. Полиция рыщет, с ног сбивается – результату ни малейшего. Что делать? Кидаются в слободу, к знахарям – ими в слободах под Воронежем, под Орлом, под Курском, под Тамбовом хоть пруд пруди. Входят в один домик и застают целую ассамблею: стоит десятка два баб и со слезами умиления смотрят на угодника. А угодник кушает чай. Накрыт в красном углу стол, на столе кипит самовар, а за столом – благодушный мужик, подпоясанный детским розовым пояском, и с бородой во всю грудь: посматривает исподлобья ясными глазами и не отрываясь хлебает, да не из чашки, не из стакана, а прямо из полоскательницы. Допьет, вытрет рукавом пот с лысого лба, облизнется и опять шепотком приказывает:

– Наливай послаже!

До того, понимаете, упарился, что даже шепчет. И передняя баба, самая видная и красивая, опрометью кидается к столу, наливает полоскательницу с краями, наваливает сахару и опять назад: стоит, плачет и смотрит. А он опять дует, как телок.

– Что за человек?

– Божий человек, ваше благородие. Чай кушают, только и всего.

– Ты кто такой?

Отвечает, ничуть не робея:

– Я-то? Мужик Борода. Чай люблю.

– Можешь одну кражу разгадать?

Схлебывает и этакой скороговоркой:

– Гадаю, милый, только на тощее сердце. До завтра, до утречка повремени.

На другой день забирают его с раннего утра, ведут к полковнику, заставляют гадать.

– Нет, – говорит, – так не годится. Родители учили не так. Помолиться сперва надо. Молись. Все молитесь.

Все молятся: пристав, квартальный, городовые, полковник и вся его семья, все шесть дочерей. Даже бабушку и ту привели. Но после молитвы оказывается, что гадать Мужик Борода – не умеет. Выталкивают, натурально в шею, но что же вы думаете? Слава этой бороды начинает с тех пор расти не по дням, а по часам: за ним ходят уже толпами, осыпают деньгами и прочими даяниями, богатеишие купцы наперерыв заывают его к себе с земными поклонами. И он милостиво заходит, садится на самое почетное место и – опивается чаем. Пьет и командует:

– Наливай послаже!

Вы не верите? Думаете, не может же быть, чтобы двадцать лет почитали, как икону, только за то, что может человек ведерный самовар охолостить? Ну, мол, пьет, да не в этом же все-таки дело. Вероятно, хоть изредка чем-нибудь себя иным проявляет. Ну, например, врет что-нибудь божественное, хоть из приличия дурачит. Да нет же, ничего подобного! Только пьет и стяжает славу!

– Но пойдем далее. Вот вам некий Федя, тоже воронежский. Прозвище несколько не благоуханное: Федя Золотарь. Но слава опять-таки громадная. Домик в слободе, двое взрослых детей, сын и дочь, которые весьма дельно торгуют лавочкой. А папаша уже лет пятнадцать ходит по улицам. Темное безбородое лицо, неморгающие темные глаза и всегда молчит. То есть, вернее сказать, только поет: вы его останавливаете, спрашиваете, а он прет на вас, глядит в упор и дерет на ходу что-нибудь из Писания. Голос прямо ужасный. Да и сам ужасен: сальные волосы, босой, весь, конечно, в лохмотьях, на голове железный таган ножками вверх, – царская корона. Главное же занятие – в нечистотах рыться: как только ударят ко всенощной – он за город и до вечера роет там палкой по оврагам, где золотари по ночам городское добро выливают. Нароется до седьмого пота – и домой, ночевать. А еще что? А еще опять ничего! За что, спрашивается, его деньгами, булками и прочими дарами осыпают? За что руки ловят и целуют, да не только руки, а и палку вонючую? Не знаю-с, не знаю-с! Философствуйте сами – есть над чем...

– Затем вспоминаю-с Кирюшу Борисоглебского, Кирюшу Тульского, ксенофонта Окаянного... Кирюша Борисоглебский – мужик из большого торгового села под Борисоглебском. Морда свежая, румяная. Окромсал в один прекрасный день голову клоками, разулся, надел женскую юбку, взял в руку лом и отличился в город. Выбрал большой праздник, Троицу, – и прямо в собор, к обедне. Там, понятно, на переднем месте вся знать, все чины градские в полной парадной форме. Жара, духота, теснота невообразимые, солнце жарит прямо из купола, а березовая зелень на полу и по стенам вянет, покойником душит. И вдруг страшный коровий рев: врывается в цер-

ковь Кирюша и с коровьим ревом ломит сквозь толпу прямо к амвону. Натурально, полицейские его за шиворот и назад, но дело уже сделано – весь собор, а затем и весь город поражен и взволнован. А Кирюша как прикинулся на Троицу коровой, так и остался на целых три года. Целых три года ходил немым и ревел. Ревел, дует трубой иерихонской и разными жестами пророчествует. Посует пальцем в кулак – к свадьбе, сложит крестом ручки – к покойнику. А на четвертый год подсчитал однажды выручку, увидел, что капиталец составил уже кругленький, и во-свояси. А там домик себе построил, палисадничек с мальвами завел, ну и прочее тому подобное. Обыкновенный мошенник? Разумеется. Ну, а слава-то? Ведь была же она? Была, равно, как и прочих двух, мною вкупе с этим Кирюшей упомянутых, то есть у Кирюши Тульского и у Ксенофонта. Кирюша Тульский был невеличек ростом и весьма благообразен, начитан в Писании и сладкопевен. На груди, на серенькой поддевочке, сумочка, а что в ней – «смертному лучше и не заглядывать, любезные сестры, вдовицы и мужатицы!» А Ксенофонт почему-то прозвал себя окаянным. Молодой малый, рябой, длинный, наряжен послушником. И все юродство его заключалось только в том, что шатался он по городу и пил у мещанок и купчих чай непременно с лампадным маслом. Опять скажете, простой жулик? Совершенно с вами и на этот раз согласен. У одного на груди таинственная сумочка, у другого лампадное масло, – только и всего. Однако в чем же секрет? Ужели только в сумочке и масле?

– Затем нарисую вам из числа подобных же, на парный взгляд тоже как будто весьма простых фигур, еще парочку: Феодосия Хамовнического и Петрушу Устюжского. Феодосию тоже однажды надоело быть обыкновенным дворником, и он тоже однажды разулся, возложил на себя вериги, то есть попросту собачьей цепью обмотался, прихватил в подручные некоего бродячего Петрушу и пошел пророчествовать. Вы опять подумаете – значит, все-таки хоть некоторый дар к тому имел? Но опять я вас разочарую: ничуть не бывало! Пророчествовал он крайне бездарно и, главное, вид имел самый не пророческий: обыкновенный лысый мужик лет сорока с превеселыми и нахальными глазами. А Петруша был и того ординарнее. Вид мелкотравчатый, умишко куринный, натура гаденькая и похотливая. Баб, дев иначе не называл, как вербочками, пеночками, канареечками, и прожорливостью отличался прямо противоестественною. И особенно на молочную лапшу и на арбузы. Завидев арбуз, весь трясся и кричал: «Искушение, искушение, великое искушение!» – затем облапывал его, ставил на колени и выгребал пятерней до донушка. Вы еще раз попытаетесь сказать, что плуты, мол, не в счет и что посему и эти два угодника должны быть оставлены нами в покое. Но, во-первых, я же и хотел сказать, сколь много среди наших знаменитостей было и есть плутов и выроdkов, а во вторых, должен напомнить вам, что цель моя заключалась вовсе не в том, чтобы их обличать: я вел совсем к другому, к тому, что мы, русичи, истинные поклонники плутов и выроdkов и что эта наша истинно замечательная особенность, наша «бабская охота ко пророкам лживым» есть предмет, достойный величайшего внимания. А кроме того, никак не могу согласиться, что, например, Феодосии и Петруша только плуты. Нет-с, это в некоторых отношениях люди удивительные. Вы только представьте себе всю ту веселейшую небрежность, бесстыднейшую легкость, с которой совершал свое земное странствие вот этот самый Феодосии среди прочих русичей, коих он всех поголовно, раз и навсегда, счел совершеннейшими идиотами, счел, конечно, не умом, а, так сказать, всем естеством своим. Разве это не гениальность своего рода? Но гениален и Петруша. Здесь вы тоже должны представить себе нечто совершенно из ряда вон выходящее в смысле цельности ходячей ненасытной утробы, ее зоологической устремленности исключительно к одной цели – к лапше, к арбузу, к канареечкам, к лапушкам. Полагаю, что подобной первобытности, зоологичности вы нигде, кроме русичей, не встретите. И поверьте-с – толпу-то и поражала (конечно, для нес самой неведомо) именно страшная сила этой зоологической цельности...

– В том же роде был и знаменитый Иван Степанович Лихачев. Этот был много лет лихачом-извозчиком – оттого и прозвали Лихачевым, – стоял в Соболях, – знаете, конечно, что это такое было, – целый квартал бардаков, – а затем с козел слез и преобразился в бродячего наставника святой жизни. Надел подрясник, бархатную скуфеечку – и пошел. Пророчески лыс не хуже Феодосия и так же благодушен. Говорит с пошлейшим красноречием, читает самые избитые нотации, а сам, конечно, зорко посматривает, сколько именно пятаков сердобольная дура из платочка развязывает. Сюжет, по-моему, тоже на редкость интересный! Тут, как видите, тоже обрел человек, стоя целыми годами возле бардаков, некое замечательное воззрение на мир, на жизнь и на людей!

– Затем – Ванюша Кувырок. Почему Кувырок? А потому, что кувыркался, ходил больше всего колесом. Изумительно! Мог хоть пять, хоть десять верст пройти таким манером. А к этому прибавьте его лик: морщинистый мальчик лет сорока, с хитренькими глазками и с распущенными женскими волосами, впрочем, подрезанными, в силу того, что ходить колесом с длинными, конечно, неудобно. Знаменит был, между прочим, тем, что совершил паломничество в Киев с самой Матреной Макарьевной, богородицей всех московских юродий, и притом паломничество не простое, а в некотором роде потрясающее: вообразите себе, что эта самая Матрена Макарьевна набрала в Киеве и повела за собой в Москву целых сто душ самых что ни на есть отборных по безобразию внешнему и внутреннему дур и дураков! Волосы на голове, сударь мой, зашевелились, как подумаешь, что это за орда шла со всяческим дреколием в руках и в подходящих ее сану одеяниях!

– И на этой картине позвольте пока и закончить. Думаю, что на первый раз довольно. Прибавлю еще только одного – Данилушку Коломенского. Этот вышел из семьи изуверски благочестивой, богатой и суровой, бил единственным сыном закоренелого раскольника, начетчика и фанатика, и стал юродом с раннего отрочества: запустил волосы, – заметьте эту удивительную черту, страсть к женским волосам! – скинул портки, надел женскую рубаху, – опять-таки женскую! – и стал обнаруживать свирепую жадность к деньгам, к игре в бабки и к пляске при виде покойников. Был он необыкновенно красив мрачной восточной красотой, и близорук до того, что его иначе и не звали, как слепая с..., играл же, однако, так, что вскоре прославился на весь уезд, равного себе в игре не знал: мог стать хоть за полверсты от кона и все-таки с одного маху срезать своей длинной рукой весь кон под гребенку. Играет, обыгрывает, – и богатеет. Бабки у него лежат уже целыми мешками и битки имеются такие, что за любой из них хороший игрок, знаток дела, готов был бы у попа в батраках три года служить. Играет, копит добро, торгует, меняет, а барыши где-то в землю закапывает; закапывает и то, что набирает на похоронах за свою пляску над покойниками. Довольно все странно, не правда ли? Дикая дылда, мрачный красавец с синими волосами по плечам, лето и зиму (даже в самые трескучие морозы) босой и в одной рубахе – и изо дня в день то играет, то бежит на похороны. Играет – как будто вполне нормален, только молчанием да видом отличается от прочих, а как только прослышит, что в слободе или в городе покойник – рысью в церковь, к отпеванию: врывается и до упаду бьется в буйнейшей пляске над гробом. Да что! Даже в Москву бегал, прослышав о смерти Семена Митрича, – осведомлены, вероятно, какова это среди юродов персона была? – и все затем, чтобы «отплясать его в царствие божие», а за пляску потуже набить кису подаяниями потрясенной толпы. Киса у него всегда на груди висела, и можете себе представить, как она гремела и звенела пятаками при его неистовом скакании и вихлянии!

– А в заключение – знаете, как он погиб? Был зверски растерзан своими согражданами за поджог церкви. Давно уже шло а слободе что-то странное: зачастили пожары, и совершенно неизвестно почему. Оказалось, что это Данилушка работал, что он новую страсть приобрел: поджигать. Отсюда и пошло: что ни ночь, то пожарище, и всегда на это пожарище первым является, несется в пляске Данилушка. Умирая, сам признался:

– Хотел всю Коломну пустить огнем по ветру, отплясать в царствие небесное...

27 июня 1924

Надписи

Вечер был прекрасный, и мы опять сидели под греческим куполом беседки над обрывом, глядя на долину, на Рейн, на голубые дали к югу и низкое солнце на западе. Наша дама поднесла лорнет к глазам, посмотрела на колонны беседки – они, конечно, сверху донизу покрыты надписями туристов – и сказала своим обычным медлительно-презрительным тоном:

– Чувствительный немец свято чтит эти узаконенные путеводителями «места с прекрасным видом», *schöne Aussicht*. И считает неременным долгом расписаться: был и любовался Фриц такой-то.

Старичок-сенатор тотчас же возразил:

– Но позвольте скромно заметить, что тут есть фамилии и французские, английские, и русские, и всякие иные прочие.

– Все равно, – сказала дама. – «Сию станцию проезжал Иванов седьмой». И совершенно

справедливая резолюция следующего проезжего: «Хоть ты и седьмой, а дурак»!

Все мы засмеялись, и, вспоминая некоторые крымские и кавказские места, особенно излюбленные расписывающимися Ивановыми, все более или менее блеснули остроумием над путешествуящим обывателем, а старичок пожал плечом и сказал:

– А я думаю, господа, что ваше остроумие над пошлостью этого обывателя гораздо пошлее, не говоря уже о вашем бессердечии и – о лицемерии, ибо кто же из вас тоже не расписывался в том или другом месте и в той или иной форме? Расписывается (и будет расписываться во веки веков) вовсе не один Фриц или Иванов. Все человечество страдает этой слабостью. Вся земля покрыта нашими подписями, надписями и записями. Что такое литература, история? Вы думаете, что Гомером, Толстым, Нестором руководили не те же самые побуждения, что и седьмым Ивановым? Те же самые, уверяю вас.

– Ох, сколь вы привержены к парадоксам, вате высокопревосходительство, – сказала дама.

Но старичок продолжал:

– Говорят, что человек есть говорящее животное. Нет, вернее, человек есть животное пишущее. И количеству и разнообразию человеческих надписей – если уж говорить только о надписях – положительно нет числа. Одни вырезаны, выбиты, другие начертаны, нарисованы. Одни собственной рукой, другие рукой наследников, внуков, правнуков. Одни вчера, другие десять, сто лет тому назад или же века, тысячелетия. Они то длинные, то кратки, то горды, то скромны, даже чрезмерно скромны, то пышны, то просты, то загадочны, то как нельзя более точны, то без всяких дат, то с датами, говорящими не только о месяце и о годе того или иного события, но даже о числе, о часе; они то пошлы, то изумительны по силе, глубине, поэзии, выраженной иногда в какой-нибудь одной строке, которая во сто раз ценнее многих и многих так называемых великих произведений словесности. В конце же концов все эти несметные и столь друг на друга непохожие человеческие следы производят разительно одинаковое впечатление. Так что, если уж смеяться, то следует смеяться надо всеми. В Риме в таверне написано: «Здесь ели и пили в прошлом столетии писатель Гоголь и художник Иванов», – далеко не седьмой, как изволите знать. А не сохранилось ли надписи на подоконнике в Миргороде о том, что в позапрошлом столетии некто кушал однажды с отменным удовольствием дыню? Весьма возможно. И, по-моему, между этими двумя надписями нет ровно никакой разницы...

– Мне вот сейчас пришло в голову, – продолжал он, – где я на своем веку бывал и какие надписи видел? Оказывается, даже и счесть невозможно. Надписи перстнями на зеркалах в отдельных кабинетах ресторанов. Надписи клинописью. Надписи на колоколе в заштатном городе Чернаве, – имя, отчество и фамилия купца такой-то гильдии, создателя сего колокола. Гиероглифы на обелисках, на развалинах Карнакских капищ. Надписи на триумфальных цезарских арках. Каракули карандашом на голубце возле одного святого колодца в непролазной глуши Керженских лесов: «Поситили грешнии Ефим и Прасковья». Надписи сказочно-великолепной вязью в мечети Омара, в Айя-Софии, в Дамаске, в Каире. Тысячи имен и инициалов на старых деревьях и на скамейках в усадьбах и городах, в Орле и Кисловодске, в Царском Селе и в Ореанде, в Нескучном и в Версале, в Веймаре и Риме, в Дрездене и Палермо. Больше же всего, конечно, эпитафий. Где? Опять-таки даже счесть трудно. На деревянных и каменных крестах, на всяческих мавзолеях, на гранитных и сикоморовых саркофагах, на пеленах мумий, на медных досках, на железных плитах, на урнах и стелах, на драгоценных шалях, покрывающих гробы халифов, на скользких полах средневековых соборов и на столбиках из песчаника. Я глядел на эти надгробные паспорта в степях и пустынях, на Чернавском погосте и на Константинопольских Полях Смерти, на Волковом кладбище и под Дамаском, где среди песков стоят несметные рогатые бугорки из глины в виде седла, в Московском Донском монастыре и в Иосафатовой долине под Иерусалимом, в Петропавловском соборе и в катакомбах на Аппиевой дороге, на берегах Бретани и в сирийских криптах, над прахом Данте и над могилой дочурки Фени в Задонске. А, есть отчего впасть в парадоксальность, сударыня! Вы скажете, что вы говорили не о том. Вас, как и многих других, возмущают надписи вот вроде этих, то есть те, что вкривь и вкось покрывают развалины романтических замков и башен, внутренность вышки над куполом римского Петра, ворота на Байдарском перевале, верхушку пирамиды Хеопса, скалы в Дарьяльском ущелье и в Альпах, где они бьют в глаза издали, пишутся запасливыми путешественниками красной и белой краской? Вас приводит в негодование проявление пошлости, обывательщины, как говорят в подобных случаях, – дерзость мещанина, прикладывающего свою руку всюду, где он ни ступит?

– В негодование я не прихожу, – сказала дама, – но что надписи эти в достаточной мере противны, не скрываю. Вы, ваше высокопревосходительство, нынче в философском настроении и хотите высказать, очевидно, ту бесспорную истину, что все, мол, суета и что перед лицом господ бога совершенно равны и Данте, и какая-то Феня. Мол, река времени в своем течение уносит все дела людей, то есть и Хеопса, Фрица, и Иванова первого, и Иванова тысячу семьсот семьдесят седьмого. Вы эту Америку открыли? Да?

Но старичок только усмехнулся.

– Вы как нельзя более проникательны, мой старый друг, – ответил он. – За свою долгую жизнь я пришел к чудовищным выводам относительно человеческого ума и человеческой осведомленности насчет даже самых бесспорных истин и насчет возможности еще долго напоминать их без всякого риска. Кроме того, мне просто всегда очень нравились старые истины, с годами же я становлюсь прямо обожателем их, ибо ведь это только истерическим пороссятам из нынешних модернистов простительно думать, что мир лет десять тому назад стал совершенно неузнаваем по сравнению со всей предыдущей мировой историей. Было время, когда и я весьма немногим отличался от прочих. Прочие посягали на Иванова седьмого, а я смотрю, бывало, на клинопись и думаю: «Хоть ты и Вавилон построил и Сезостриса, как говорится, на голову разбил, а дурак!» Ну, а теперь я снисходительнее отношусь и к Навуходоносору и к Иванову.

– И даже с нежностью, – сказала дама.

– И даже с нежностью, – подтвердил старичок. – Только, знаете, я даже и в былые времена был порою ей подвержен. Вот хоть бы это: «Посетили грешные». Помню, прочитал – и расчувствовался ужасно. Ах, до чего хорошо! Казалось бы, зачем они расписались? И что мне в этой Прасковье, в этом Ефиме? А вот хорошо, и прежде всего как раз потому, что это не Карл Великий, а именно какой-то никому неведомый Ефим, оставивший для меня, ему тоже неведомого, как бы частицу своей души в один из ее самых заветных моментов. А эти изодранные перстнями, точно паутиной покрытые зеркала в кабацких кабинетах? Неужели они никогда не трогали вас? Ведь вы только подумайте: там, где-то в зале, играла музыка, а некто пьяный слушал, плакал, думал, что нет в мире несчастнее его судьбы, нет выше его чувств, и повторял, что его «клебединая песня пропета», разрывал себе душу сладкими воспоминаниями о том будто бы счастье, которое будто бы было «когда-то». Пошлость, цыганщина? Но разве важно, отчего именно счастлив или несчастлив человек? Все слезы одинаковы, все они капли одной и той же влаги! Да и не так уж отличен человек от человека, моя дорогая. Раз ты Иванов и я Иванов – в чем разница? В том, что ты седьмой, а я семнадцатый? Имя Иванова, написанное на могильном кресте, конечно, звучит иначе, чем тогда, когда оно написано на садовой скамейке или в ресторане. А ведь, в сущности, все человеческие надписи суть эпитафии, поелику касаются момента уж прошедшего, частицы жизни уже умершей.

– Меня коммивояжеры, счастливы они или нет, все-таки не умиляют, Алексей Алексеевич, – сказала дама.

– А в иной час, – возразил старичок упрямо, – мне черт с ним, что он коммивояжер, раз этот «иной час» есть час его великой скорби или радости. Нет, надписи на зеркалах меня ужасно всегда трогали! Трогали и инициалы на скамейках и деревьях, вырезанные тоже по случаю того, что когда-то «была чудесная весна» и «хороша и бледна, как лилея, в той аллее стояла она...» Тут опять то же самое: не все ли равно, чьи имена, чьи инициалы, – Гете или Фрица, Огарева или Епиходова, Лизы из «Дворянского гнезда» или ее горничной? Тут главное все-таки в том, что была «до ланит восходящая кровь» и заветная скамья, что «шиповник алый цвел» (и, конечно, отцвел в свой срок), что блаженные часы проходят и что надо, необходимо (почему, один бог знает, но необходимо) хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти, отцветанию шиповника. Тут вечная, неустанная наша борьба с «рекой забвения». И что ж, разве эта борьба ничего не дает, разве она уже совсем бесплодна? Нет, тысячу раз нет! Ибо ведь в противном случае все пошло бы к черту – все искусства, вся поэзия, все летописи человечества. Зачем бы все это существовало, если бы мы не жили ими, то есть, говоря иначе, не продолжали бы, не поддерживали жизнь всего того, что называется прошлым, бывшим? А оно существует! У людей три тысячи лет навертываются слезы на глаза, когда они читают про слезы Андромахи, провожающей с ребенком на руках Гектора. Я сорок лет умиляюсь, вспоминая умиление, с которым выводили свои каракули Ефим и Прасковья. И посему да здравствует во веки веков и Андромаха, и Прасковья, и Вертер, и Фриц, и Гоголь, и Иван Никифорович, полтора

лет тому назад скушавший в Миргороде дыню и записавший сие событие!

И, поднявшись со скамьи, старичок снял шляпу и, странно улыбаясь, потряс ею в воздухе.

28 июня 1924

Книга

Лежа на гумне в омете, долго читал – и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалью, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака – все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, – главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где, – особенно к югу, – еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

– На своей девочке куст жасмину посадил! – бодро говорит он. – Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое не постижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет – не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, это усадьба живет для ее флейтового пения?

«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте, – для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, а для кого-то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!

20 августа 1924

Митина любовь

I

В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капли, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Вы-

сокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.

Возле Пушкина она неожиданно сказала:

– Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство, и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:

– Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помешались на этих Византиях, Возрождениях... Не понимаю я твоей матери!

– Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? – спросила Катя.

– Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ, – ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным. – Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

– Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства, – сказала Катя. – Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь, – сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого, – может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день! – Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? – негромко и настойчиво спросила она, уже с деланной обольстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекламировала:

Меж нами дремлющая тайна.

Душа душе дала кольцо...

Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны, – Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это, как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» ("ты все-таки для меня лучше всех") и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом.

В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей Скрябина, она между прочим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь:

– Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее!

Почему-то ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама – ее будущая свекровь.

II

Потом все шло как будто по-прежнему. Митя провожал Катю в студию Художественного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у нее на Кисловке и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ее мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама с малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдельно от мужа, у которого была вторая семья). Забегала и Катя к Мите, в его студенческие номера на

Молчановке, и свидания их, как и прежде, почти сплошь протекали в тяжком дурмане поцелуев. Но Мите упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то изменилось, стало меняться в Кате.

Быстро пролетело то незабвенное легкое время, когда они только что встретились, когда они, едва познакомившись, вдруг почувствовали, что им всего интереснее говорить (и хоть с утра до вечера) только друг с другом, – когда Митя столь неожиданно оказался в том сказочном мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь, – морозный, погожий, день заднем украшавший Москву густым инеем и мутно-красным шаром низкого солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться. Но уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая – подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая с первой. И все же ничего подобного теперешнему не испытывал Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весенние женские заботы, покупки, заказы, бесконечные переделки то того, то другого, и Кате действительно приходилось часто бывать с матерью у портних; кроме того, у нее впереди был экзамен в той частной театральной школе, где училась она. Вполне естественной поэтому могла быть ее озабоченность, рассеянность. И так Митя поминутно и утешал себя. Но утешения не помогали – то, что говорило мнительное сердце вопреки им, было сильнее и подтверждалось все очевиднее; внутренняя невнимательность Кати к нему все росла, а вместе с тем росла и его мнительность, его ревность. Директор театральной школы кружил Кате голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Мите об этих похвалах. Директор сказал ей: "Ты гордость моей школы", – он всем своим ученицам говорил «ты» – и, помимо общих занятий, стал заниматься с ней постом еще и отдельно, чтобы блеснуть ею на экзаменах особенно. Было же известно, что он развращал учениц, каждое лето увозил какую-нибудь с собой на Кавказ, в Финляндию, за границу. И Мите стало приходиться в голову, что теперь директор имеет виды на Катю, которая хотя и не виновата в этом, все-таки, вероятно, это чувствует, понимает и потому уже как бы находится с ним в мерзких, преступных отношениях. И мысль эта мучила тем более, что слишком очевидно было уменьшение внимания Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее от него. Он не мог спокойно думать о директоре. Но что директор! Казалось, что вообще над Катиной любовью стали преобладать какие-то другие интересы. К кому, к чему? Митя не знал, он ревновал Катю ко всем, ко всему, главное, к тому общему, им воображаемому, чем втайне от него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреодолимо тянет куда-то прочь от него и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно.

Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери:

– Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою. И из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж!

Мать возразила:

– А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит.

– Нет, мама, – сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужие слова, – ревность это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят, – сказала она, нарочно не глядя на Митю.

– А по-моему, – возразила мать, – ревность и есть любовь. Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где сам бог называется ревнителем и мстителем...

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последней черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь, в эти часы, Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны, но среди них было одно, которое было ужаснее всех и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Мите и Кате, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противоре-

ственным, когда Митя думал о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть. Все, что, глаз на глаз, делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось, – все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и, прежде всего, именно ее, а не воображаемого соперника

III

В день экзамена Кати, который состоялся наконец (на шестой неделе поста), как будто особенно подтвердилась вся правота Митиных мучений.

Тут Катя уже совсем не видела, не замечала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имела большой успех. Она была во всем белом, как невеста, и волнение делало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директор, самодовольный актер с бесстрастными и печальными глазами, сидевший в первом ряду, только ради пущей гордости делал ей иногда замечания, говоря негромко, но как-то так, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо.

– Поменьше читки, – говорил он веско, спокойно и так властно, точно Катя была его полной собственностью. – Не играй, а переживай, – говорил он отдельно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескания. Катя горела жарким румянцем, смущением, голосок ее иногда срывался, дыхания не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения в той ненавистной для Мити среде, в которой уже всеми помыслами своими жила Катя: она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. Ужаснее же всего была та смесь ангельской чистоты и порочности, которая была в ней, в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, которое на эстраде казалось короче, так как все сидящие в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах. "Девушка пела в церковном хоре", – с деланной, неумеренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке. И Митя чувствовал и обостренную близость к Кате, – как всегда это чувствуешь в толпе к тому, кого любишь, – и злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему принадлежит она, и вместе с тем разрывающую сердце боль: нет, уже не принадлежит!

После экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не верил им с той легкостью, как прежде. Катя, вспоминая экзамен, говорила:

– Какой ты глупый! Разве ты не чувствовал, что я и читала-то так хорошо только для тебя одного!

Но он не мог забыть, что чувствовал он на экзамене, и не мог сознаться, что эти чувства и теперь не оставили его. Чувствовала его тайные чувства и Катя и однажды, во время ссоры, воскликнула:

– Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по-твоему, все так дурно во мне! И чего ты, наконец, хочешь от меня?

Но он и сам не понимал, за что он любил ее, хотя чувствовал, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастает вместе с той ревнивой борьбой, которую он вел с кем-то, с чем-то из-за нее, из-за этой любви, из-за ее напрягающейся силы, все более возрастающей требовательности.

– Ты любишь только мое тело, а не душу! – горько сказала однажды Катя.

Опять это были чьи-то чужие, театральные слова, но они, при всей их вздорности и избыточности, тоже касались чего-то мучительно неразрешимого. Он не знал, за что любил, не мог точно сказать, чего хотел... Что это значит вообще – любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была непохожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства, когда он расстегивал ее

кофточку и целовал ее грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душу потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей невинности?

IV

Она все больше менялась.

Успех на экзамене много значил. И все-таки были на то и какие-то другие причины.

Как-то сразу превратилась Катя с наступлением весны как бы в какую-то молоденькую светскую даму, нарядную и все куда-то спешащую. Мите теперь просто стыдно было за свой темный коридор, когда она приезжала, – теперь она не приходила, а всегда приезжала, – когда она, шурша шелком, быстро шла по этому коридору, опустив на лицо вуальку. Теперь она бывала неизменно нежна с ним, но неизменно опаздывала и сокращала свидания, говоря, что ей опять надо ехать с мамой к портнихе.

– Понимаешь, франтим напропалую! – говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не верит ей, и все-таки говоря, так как говорить теперь стало совсем не о чем.

И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала из рук, на отлете сидя на кровати Мити и с ума сводя его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А перед тем как уехать и сказать, что нынче вечером ее опять не будет дома, – опять надо к кому-то с мамой! – она неизменно проделывала одно и то же, с явной целью одурачить его, наградить за все его «глупые», как она выражалась, мучения: притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала с кровати и, вильнув бедрами по его ногам, говорила поспешным шепотом:

– Ну, целуй же меня!

V

И в конце апреля Митя наконец решил дать себе отдых и уехать в деревню.

Он совершенно замучил и себя и Катю, и мука эта была тем нестерпимее, что как будто не было никаких причин для нее: что в самом деле случилось, в чем виновата Катя? И однажды Катя, с твердостью отчаяния, сказала ему:

– Да, уезжай, уезжай, я больше не в силах! Нам надо временно расстаться, выяснить наши отношения. Ты стал так худ, что мама убеждена, что у тебя чахотка. Я больше не могу!

И отъезд Мити был решен. Но уезжал Митя, к великому своему удивлению, хотя и не помня себя от горя, все-таки почти счастливый. Как только отъезд был решен, неожиданно вернулось все прежнее. Ведь он все-таки страстно не хотел верить ничему тому ужасному, что ни днем, ни ночью не давало ему покоя. И достаточно было малейшей перемены в Кате, чтобы опять все изменилось в его глазах. А Катя опять стала нежна и страстна уже без всякого притворства, – он чувствовал это с безошибочной чуткостью ревнивых натур, – и опять стал он сидеть у нее до двух часов ночи, и опять было о чем говорить, и чем ближе становился отъезд, тем все нелепее казалась разлука, надобность "выяснить отношения". Раз Катя даже заплакала, – а она никогда не плакала, – и эти слезы вдруг сделали ее страшно родною ему, пронзили его чувством острой жалости и как будто какой-то вины перед ней.

Мать Кати в начале июня уезжала на все лето в Крым и увозила и ее с собой. Решили встретиться в Мисхоре. Митя тоже должен был приехать в Мисхор.

И он собирался, делал приготовления к отъезду, ходил по Москве в том странном опьянении, которое бывает, когда человек еще бодро держится на ногах, но уже болен какой-то тяжелой болезнью. Он был болезненно, пьяно несчастен и вместе с тем болезненно счастлив, растроган возвратившейся близостью Кати, ее заботливостью к нему, – она даже ходила с ним покупать дорожные ремни, точно она была его невеста или жена, – и вообще возвратом почти всего того, что напоминало первое время их любви. И так же воспринимал он и все окружающее, – дома, улицы, идущих и едущих по ним, погоду, все время по-весеннему хмурившуюся, запах пыли и дождя, церковный запах тополей, распустившихся за заборами в переулках: все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лето, на встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и все осуществится (хотя он и не знал, что именно все).

В день отъезда зашел проститься Протасов. Среди гимназистов старших классов, среди

студентов нередко встречаются юноши, усвоившие себе манеру держаться с добродушно-угрюмой насмешливостью, с видом человека, который старше, опытнее всех на свете. Таков был и Протасов, один из ближайших приятелей Мити, единственный настоящий друг его, знавший, несмотря на всю скрытность, молчаливость Мити, все тайны его любви. Он глядел, как Митя завязывал чемодан, видел, как тряслись его руки, потом с грустной мудростью ухмыльнулся и сказал:

– Чистые вы дети, прости господи! А за всем тем, любезный мой Вертер из Тамбова, все же пора бы понять, что Катя есть прежде всего типичнейшее женское естество и что сам полицеймейстер ничего с этим не поделает. Ты, естество мужское, лезешь на стену, предъявляешь к ней высочайшие требования инстинкта продолжения рода, и, конечно, все сие совершенно законно, даже в некотором смысле священо. Тело твоё есть высший разум, как справедливо заметил герр Ницше. Но законно и то, что ты на этом священном пути можешь сломать себе шею. Есть же особи в мире животном, коим даже по штату полагается платить ценой собственного существования за свой первый и последний любовный акт. Но так как для тебя этот штат, вероятно, не совсем уж обязателен, то смотри в оба, поберегай себя. Вообще, не спеши. "Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится!" Свет не лыком шит, не клином на Кате сошелся. Вижу по твоим усилиям задушить чемодан, что ты с этим совершенно не согласен, что этот клин тебе весьма любезен. Ну, прости за непрошенный совет – и да хранит тебя Никола-угодник со всеми присными его!

А когда Протасов, тиснув Мите руку, ушел, Митя, затягивая в ремни подушку и одеяло, услышал в свое открытое во двор окно, как загремел, пробуя голос, студент, живший напротив, учившийся нению и упражнявшийся с утра до вечера, – запел «Азру». Тогда Митя заспешил с ремнями, застегнул их как попало, схватил картуз и пошел на Кисловку, – проститься с матерью Кати. Мотив и слова песни, которую запел студент, так настойчиво звучали и повторялись в нем, что он не видел ни улиц, ни встречных, шел еще пьянее, чем ходил все последние дни. В самом деле было похоже на то, что свет клином сошелся, что юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться! Ну, что ж, сошелся так сошелся, думал он и опять возвращался к песне о том, как, гуляя по саду и "красой своей сияя", встречала дочь султана в саду черного невольника, который стоял у фонтана "бледнее смерти", как однажды спросила она его, кто он и откуда, и как ответил он ей, начав зловеще, но смиренно, с угрюмой простотой:

Зовусь Магометом я... –

и кончив восторженно-трагическим воплем:

– Я из рода бедных Азров,
Полюбив, мы умираем!

Катя одевалась, чтобы ехать на вокзал провожать его, ласково крикнула ему из своей комнаты, – из комнаты, где он провел столько незабвенных часов! – что она придет к первому звонку. Милая, добрая женщина с малиновыми волосами сидела одна, курила и очень грустно посмотрела на него, – она, вероятно, все давно понимала, обо всем догадывалась. Он, весь алый, внутренне дрожащий, поцеловал ее нежную и дряблую руку, по-сыновьи склонив голову, и она с материнской лаской несколько раз поцеловала его в висок и перекрестила.

– Эх, милый, – с несмелой улыбкой сказала она словами Грибоедова, – живите-ка смеясь! Ну, Христос с вами, поезжайте, поезжайте...

VI

Сделав все то последнее, что нужно было сделать в номерах, уложив свои вещи в кривую извозчичью пролетку при помощи коридорного, он наконец неловко уселся возле них, тронулся и тотчас же почувствовал то особое, что охватывает при отъезде, – кончен (и навсегда) известный срок жизни! – и вместе с тем внезапную легкость, надежду на начало чего-то нового. Он несколько успокоился и бодрее, как бы новыми глазами стал глядеть вокруг. Конеч, прощай Москва и все, что пережито в ней! Накапывало, хмурилось, в переулках было пусто, булыжник

был темен и блестел, как железный, дома стояли невеселые, грязные. Извозчик вез с мучительной неспешностью и то и дело заставлял Митю отворачиваться и стараться не дышать. Проехали Кремль, потом Покровку и опять свернули в переулки, где в садах хрипло орала к дождю и к вечеру ворона, а все же была весна, весенний запах воздуха. Но вот наконец доехали, и Митя бегом кинулся за носильщиком по людному вокзалу, на перрон, потом на третий путь, где уже был готов длинный и тяжелый курский поезд. И из всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поезд, из-за всех носильщиков, с грохотом и предупреждающими покрякиваниями кативших тележки с вещами, он мгновенно выделил, увидел то, что, "красой своей сияя", одиноко стояло вдали и казалось совершенно особым существом не только во всей этой толпе, но и во всем мире. Уже пробил первый звонок, – на этот раз опоздал он, а не Катя. Она трогательно приехала раньше его, она его ждала и кинулась к нему опять с заботливостью жены или невесты:

– Милый, занимай скорее место! Сейчас второй звонок!

А после второго звонка она еще трогательнее стояла на платформе, снизу глядя на него, стоявшего в дверях третьеклассного вагона, уже битком набитого и вонючего. Все в ней было прелестно, – ее милое, хорошенькое личико, ее небольшая фигурка, ее свежесть, молодость, где женственность еще мешалась с детскостью, ее вверх поднятые сияющие глаза, ее голубая скромная шляпка, в изгибах которой была некоторая изящная задорность, и даже ее темно-серый костюм, в котором Митя с обожанием чувствовал даже материю и шелк подкладки. Он стоял худой, нескладный, на дорогу он надел высокие грубые сапоги и старую куртку, пуговицы которой были обтерты, краснели медью. И все-таки Катя смотрела на него непритворно любящим и грустным взглядом. Третий звонок так неожиданно и резко ударил по сердцу, что Митя ринулся с площадки вагона как безумный, и так же безумно, с ужасом кинулась к нему навстречу Катя. Он припал к ее перчатке и, вскочив назад, в вагон, сквозь слезы замахал ей картузом с неистовым восторгом, а она подхватила рукой юбку и поплыла вместе с платформой назад, все еще не спуская с него поднятого взгляда. Она плыла все быстрее, ветер все сильнее трепал волосы высунувшегося из окна Мити, а паровоз расходился все шибче, все беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей, – и вдруг точно сорвало и ее, и конец платформы...

VII

Давно наступили долгие весенние сумерки, темные от дождевых туч, тяжелый вагон грохотал в голом и прохладном поле, – в полях весна была еще ранняя, – шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя в фонари свечи, а Митя все еще стоял возле дребезжащего окна, чувствуя запах Катиной перчатки, оставшийся на его губах, все еще весь пылал острым огнем последнего мига разлуки. И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся целиком и уже совсем в каком-то новом свете вставала перед ним. В новом свете, опять в новом, стояла теперь перед ним и Катя... Да, да, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тело? Это что такое? Ничего этого нет, – есть что-то другое, совсем другое! Вот этот запах перчатки – разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело? И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях – все любовь, все душа, и все мука, и все несказанная радость.

Утром был Орел, пересадка, провинциальный поезд возле дальней платформы. И Митя почувствовал: какой это простой, спокойный и родной мир по сравнению с московским, уже отошедшим куда-то в тридцатое царство, центром которого была Катя, теперь такая как будто одинокая, жалкая, любимая только нежно! Даже небо, кое-где подмазанное бледной синевою дождевых облаков, даже ветер тут проще и спокойнее... Поезд из Орла шел не спеша, Митя не спеша ел тульский печатный пряник, сидя в почти пустом вагоне. Потом поезд разошелся и умолтал, усыпил его.

Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже как-то захолустно. Приятно пахло чадом станционной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей и выпил бутылку пива, потом опять задремал, – глубокая усталость напала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, уже знакомому, перед последней станцией. Опять по-весеннему сумрачно темнело, в открытое окно пахло дождем и как будто грибами. Лес стоял еще совсем голый, но все же грохотанье поезда отдавалось в нем

отчетливее, чем в поле, а вдали уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Вот и высокий зеленый огонь семафора, – особенно прелестный в такие сумерки в березовом голом лесу, – и поезд со стуком стал переходить на другой путь... Боже, как по-деревенски жалок и мил работник, ждущий барчука на платформе!

Сумерки и тучи все сгущались, пока ехали от станции по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло в этих необыкновенно мягких сумерках, в глубочайшей тишине земли, теплой ночи, слившейся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч, и опять Митя дивился и радовался: как спокойна, проста, убога деревня, эти пахучие курные избы, уже давно спящие, – с Благовещенья добрые люди не вздувают огня, – и как хорошо в этом темном и теплом степном мире! Тарантас нырлял по ухабам, по грязи, дубы за двором богатого мужика высились еще совсем нагие, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, как будто из древности мужик: босые ноги, рваный армяк, баранья шапка на длинных прямых волосах... И пошел теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумал о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей, и все слилось в одно, – Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки.

VIII

В деревне жизнь началась днями мирными, очаровательными.

Ночью по пути со станции Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось и казалось еще несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне с детства знакомых впечатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней наготы и пустоты мира, опять чисто и молодо готового к новому расцвету.

Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни, – жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле, учились, должны были приехать не раньше начала июня. Мама, Ольга Петровна, была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик, – староста, как называли его на дворе, – часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело.

Когда Митя, на другой день по приезде, проспавши двенадцать часов, вымытый, во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты, – она была окнами в сад, на восток, – и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и так же знакомо и приятно пахло; везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Домывали только зал, примыкавший к прихожей, к лакейской, как ее называли еще до сих пор. Веснушчатая девка, поденщица с деревни, стояла на окне возле дверей на балкон, тянулась к верхнему стеклу, со свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах синеющим, как бы далеким, отражением. Горничная Параша, вытащив большую тряпку из ведра с горячей водой, босая, белоногая, шла по залитому полу на маленьких пятках и сказала дружелюбно-развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки:

– Идите кушайте чай, мамаша еще до свету уехали на станцию со старостой, вы небось и не слышали...

И тотчас же Катя властно напомнила о себе: Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшейся вверх девки на окне, к ее юбке, под которую крепкими тумбочками уходили голые ноги, и с радостью ощутил власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовал ее тайное присутствие во всех впечатлениях этого утра.

И присутствие это чувствовалось все живее и живее с каждым новым днем и становилось все прекраснее, по мере того как Митя приходил в себя, успокаивался и забывал ту, обыкновенную, Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием.

IX

Первый раз жил он теперь дома взрослым, с которым даже мама держалась как-то иначе, чем прежде, а главное, жил с первой настоящей любовью в душе, уже осуществляя то самое, чего втайне ждало все его существо с детства, с отрочества.

Еще в младенчестве дивно и таинственно шевельнулось в чем-то невыразимое на человеческом языке. Когда-то и где-то, должно быть, тоже весной, в саду, возле кустов сирени, – запомнился острый запах шпанских мух, – он, совсем маленький, стоял с какой-то молодой женщиной, – вероятно, с своей нянькой, – и вдруг что-то точно озарилось перед ним небесным светом, – не то лицо ее, не то сарафан на полной груди, – и что-то горячей волной прошло, выиграло в нем, истинно как дитя во чреве матери... Но то было как во сне. Как во сне было и все, что было потом, – в детстве, отрочестве, в гимназические годы. Были какие-то особые, ни на что не похожие восхищения то одной, то другой из тех девочек, которые приезжали со своими матерями на его детские праздники, тайное жадное любопытство к каждому движению этого чарующего, тоже ни на что не похожего маленького существа в платьице, в башмачках, с бантом шелковой ленты на головке. Было (это уже позднее, в губернском городе) длившееся почти всю осень и уже гораздо более сознательное восхищение гимназисточкой, часто появлявшейся по вечерам на дереве за забором соседнего сада: ее резвость, насмешливость, коричневое платьице, круглый гребешок в волосах, грязные ручки, смех, звонкий крик – все было таково, что Митя думал о ней с утра до вечера, грустил, порою даже плакал, неутолимо что-то желая от нее. Потом и это как-то само собой кончилось, забылось, и были новые, более или менее долгие, – и опять-таки сокровенные, – восхищения, были острые радости и горести внезапной влюбленности на гимназических балах... были какие-то томления в теле, в сердце же смутные предчувствия, ожидания чего-то...

Он родился и вырос в деревне, но гимназистом поневоле проводил весну в городе, за исключением одного года, позапрошлого, когда он, приехав в деревню на масленицу, захворал и, поправляясь, пробыл дома март и половину апреля. Это было незабвенное время. Недели две он лежал и только в окно видел каждый день меняющиеся вместе с увеличением в мире тепла и света небеса, снег, сад, его стволы и ветви. Он видел: вот утро, и в комнате так ярко и тепло от солнца, что уже ползают по стеклам оживающие мухи... вот послеобеденный час на другой день: солнце за домом, с другой его стороны, а в окне уже до голубизны бледный весенний снег и крупные белые облака в синеве, в вершинах деревьев... а вот, еще через день, в облачном небе такие яркие прогалины, и на коре деревьев такой мокрый блеск, и так каплет с крыши над окном, что не нарадуешься, не нагладишься... После пошли теплые туманы, дожди, снег распустило и съело в несколько суток, тронулась река, стала радостно и ново чернеть, обнажаться и в саду и на дворе земля... И надолго запомнился Мите один день в конце марта, когда он в первый раз поехал верхом в поле. Небо не ярко, но так живо, так молодо светилось в бледных, в бесцветных деревьях сада. В поле еще свежо дуло, жнивья были дики и рыжи, а там, где пахали, – уже пахали под овес, – маслянисто, с первобытной мощью чернели взметы. И он целиком ехал по этим жнивьям и взметам к лесу и издалека видел его в чистом воздухе, – голый, маленький, видный из конца в конец, – потом спустился в его лощины и зашумел копытами лошади по глубокой прошлогодней листве, местами совсем сухой, палевой, местами мокрой, коричневой, переехал засыпанные ею овраги, где еще шла полая вода, а из-под кустов с треском вырывались прямо из-под ног лошади смугло-золотые вальдшнепы... Чем была для него вся эта весна и особенно этот день, когда так свежо дуло навстречу ему в поле, а лошадь, одолевавшая насыщенные влагой жнивья и черные пашни, так шумно дышала широкими ноздрями, храпя и ревя нутром с великолепной дикой силой? Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности в кого-то и во что-то, когда он любил всех гимназисток и всех девок в мире. Но каким далеким казалось ему это время теперь! Насколько был он тогда еще совсем мальчик, невинный, простосердечный, бедный своими скромными печальми, радостями и мечтаниями! Сном или, скорее, воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь. Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая.

Только раз в это первое время напомнила о себе Катя зловеще.

Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырым полем. Из-за ночных облаков, над смутными очертаниями сада, слезились мелкие звезды. И вдруг где-то вдали что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать: что это такое, где оно, — то, что так неожиданно и страшно огласило сад? Сыч, лесной пугач, совершающий свою любовь, и больше ничего, думал он, а весь замирал как бы от незримого присутствия в этой тьме самого дьявола. И вдруг опять раздался гулкий, всю Митину душу потрясший вой, где-то близко, в верхушках аллеи, затрещало, зашумело — и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно, моляще, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать с мучительным наслаждением, стал взвизгивать, закатываться таким ерническим смехом, точно его щекотали и пытали. Митя, весь дрожа, впился в темноту и глазами и слухом. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно-истомным воплем, точно сквозь землю провалился. Напрасно прождав возобновления этого любовного ужаса еще несколько минут, Митя тихо вернулся домой — и всю ночь мучился сквозь сон всеми теми болезненными и отвратительными мыслями и чувствами, в которые превратилась в марте в Москве его любовь.

Однако утром, при солнце, его ночные терзания быстро рассеялись. Он вспомнил, как заплакала Катя, когда они твердо решили, что он должен на время уехать из Москвы, вспомнил, с каким восторгом она ухватилась за мысль, что он тоже приедет в Крым в начале июня, и как трогательно помогала она ему в его приготовлениях к отъезду, как провожала она его на вокзале... Он вынул ее фотографическую карточку, долго, долго вглядывался в ее маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ее прямого, открытого (чуть круглого) взгляда... Потом написал ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное веры в их любовь, и опять возвратился к непрестанному ощущению ее любовного и светлого пребывания во всем, чем он жил и радовался.

Он помнил, что он испытал, когда умер отец, девять лет тому назад. Это было тоже весной. На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими бледными руками лежал на столе, чернел своей сквозной бородой и белел носом наряженный в дворянский мундир отец, Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчой, — и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду... Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых, сладко заливающихся птиц — и ничего не узнавал: во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки, — все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна стала прелесть весны, ее вечной юности! И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался — или мнился — в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах...

Такое же наваждение, — только совсем другого порядка, — испытывал Митя и теперь: эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, — дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вернее, то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ, образ не существующий, а только желанный, она, казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали, и с каждым днем все живее и живее чувствовалась во всем, на что бы ни взглянул Митя.

XI

Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был

как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихт и сосен в палисаднике на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой: еще с утра до вечера, неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так, как орут они только ранней весной, орали грачи в голых вековых березах в соседнем помещичьем саду, и еще дик, сер был вид деревни на косогорах, и только еще одни лозины покрывались там желтоватой зеленью... Он шел в сад: и сад был еще низок и гол, прозрачен, – только зеленели поляны, все испещренные мелкими бирюзовыми цветочками, да опушился акатник вдоль аллеи и бледно белел, мелко цвел один вишенник в ложине, в южной, нижней части сада... Он выходил в поле: еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и фиолетовы были высохшие полевые дороги... И все это была нагота молодости, поры ожидания – и все это была Катя. И это только так казалось, что отвлекают девки-поденщицы, делающие то то, то другое в усадьбе, работники в людской, чтение, прогулки, хождение на деревню к знакомым мужикам, разговоры с мамой, поездки со старостой (рослым, грубым отставным солдатом) в поле на беговых дрожках...

Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежей, мягкой даже на вид зеленью, залиловели и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глянцевиной листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва, но эти яблони и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом, и с каждым днем этот цвет становился все блее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, – участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом.

XII

И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу – уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей, – и ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы наконец понять, – так колотилось его сердце. "Мой любимый, мой единственный!" – читал и перечитывал он – и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза: над садом торжественно и радостно сияло небо, вокруг сиял сад своей снежной белизной, соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов – и кровь отлила от его лица, мурашки побежали по волосам...

Домой он шел медленно – чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма.

XIII

Сад разнообразно одевался.

Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее, – оделся свежей, густой зеленью.

Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон: вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, подня-

лись и протянулись над садом светло-зеленой грядой.

А ниже клена, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого, благоуханного сливочного цвета.

И все это: огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине, вдоль боковых аллей и дорожек и под фундаментом южной стены дома, – кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернобыльник, – все поражало своей густотой, свежестью и новизной.

На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее, дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей – по целым дням были открыты и двери и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясени вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями.

Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей всегда собраться сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку... Но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла, – он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя молчала.

Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда об одном, – о том, чем полны все стихи и песни с начала мира, чем жила теперь и его душа и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви, к Кате. И он по целым часам сидел в кресле возле раскрытого шкафа и мучил себя, читая и перечитывая:

Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад!
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят...

Все эти чарующие слова, все эти призывы были как бы его собственными, обращены были теперь как будто только к одной, к той, кого неотступно видел во всем и всюду он, Митя, и звучали порою почти грозно:

Над зеркальными водами
Машут лебеди крылами –
И колышется река:
О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака...

Он, закрывая глаза, холодея, по несколько раз кряду повторял этот призыв, зов сердца, переполненного любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженного разрешения. Потом долго смотрел перед собою, слушал глубокое деревенское молчание, окружавшее дом, – и горько качал головой. Нет, она не отзывалась, она безмолвно сияла где-то там, в чужом и далеком московском мире! – И опять отливала от сердца нежность – опять росло, ширилось это грозное, зловещее, заклинающее:

О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака...

Однажды, подремав после обеда, – обедали в полдень, – Митя вышел из дома и не спеша пошел в сад. В саду часто работали девки, окапывали яблони, работали они и нынче. Митя шел посидеть возле них, поболтать с ними, – это уже входило в привычку.

День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллеи и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок. И груши и яблони цвели и осыпались, разрытая земля под ними была вся усеяна блеклыми лепестками. В теплом воздухе чувствовался их сладковатый, нежный запах вместе с запахом нагретого и преющего на скотном дворе навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубело, и теплый воздух и эти тленные запахи делались еще нежнее и слаще. И все душистое тепло этого весеннего рая дремотно и блаженно гудело от пчел и шмелей, зарывавшихся в его медвяный кудрявый снег. И все время, блаженно скучая, по-дневному, то там, то здесь цокал то один, то другой соловей.

Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налево, в углу садового вала, чернел ельник. Возле ельника пестрели среди яблонь две девки. Митя, как всегда, повернул со середины аллеи на них, – нагибаясь, пошел среди низких и раскидистых ветвей, женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и как будто лимоном. И, как всегда, одна из девок, рыжая, худая Сонька, лишь только завидела его, дико захохотала и закричала.

– Ой, хозяин идет! – закричала она с притворным испугом и, соскочив с толстого сука груши, на котором она отдыхала, кинулась к лопате.

Другая девка, Глашка, сделала, напротив, вид, что совсем не замечает Митю, и, не спеша, крепко ставя на железную лопату ногу в мягкой чуне из черного войлока, за которую набились белые лепестки, энергично врезая лопату в землю и переворачивая отрезанный ломоть, громко запела сильным и приятным голосом: "Уж ты сад, ты мой сад, для кого ж ты цветешь!" Это была девка рослая, мужественная и всегда серьезная.

Митя подошел и сел на место Соньки, на старый грушевый сук, лежавший на рассохе. Сонька ярко глянула на него и громко, с деланной развязностью и веселостью спросила:

– Ай только встали? Смотрите, дела не проспите!

Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умела, держала себя при нем неловко, говорила что попало, всегда, однако, намекая на что-то, смутно угадывая, что рассеянность, с которой Митя постоянно и приходил и уходил, не простая. Она подозревала, что Митя живет с Парашей или, по крайней мере, домогается этого, она ревновала и говорила с ним то нежно, то резко, глядела то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло Мите странное удовольствие. Письма не было и не было, он теперь не жил, а только изо дня на день существовал в непрестанном ожидании, все более томясь этим ожиданием и невозможностью ни с кем поделиться тайной своей любви и муки, поговорить о Кате, о своих надеждах на Крым, и потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему приятны: ведь все-таки эти разговоры как бы касались того сокровенного, чем томилась его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена в него, а значит, отчасти близка ему, что делало ее как бы тайной соучастницей любовной жизни его души, даже давало порой странную надежду, что в Соньке можно найти не то наперсницу своих чувств, не то некоторую замену Кати.

Теперь Сонька, сама того не подозревая, опять коснулась его тайны: "Смотрите, дела не проспите!" Он посмотрел вокруг. Сплошная темно-зеленая чаща ельника, стоявшая перед ним, казалась от яркости дня почти черной, и небо сквозило в ее острых верхушках особенно великолепной синевой. Молодая зелень лип, кленов, вязов, насквозь светлая от солнца, всюду проникавшего ее, составляла по всему саду легкий радостный навес, сыпала пестроту тени и ярких пятен на траву, на дорожки, на поляны; жаркий и душистый цвет, белевший под этим навесом, казался фарфоровым, сиял, светился там, где солнце тоже проникало его. Митя, против воли улыбаясь, спросил Соньку:

– Какое же дело я могу проспать? То-то и горе, что у меня и дел-то никаких нету.

– Молчите уж, не божитесь, и так поверю! – крикнула Сонька в ответ весело и грубо, опять своим недоверием к отсутствию у Мити любовных дел доставляя ему удовольствие, и вдруг опять заорала, отмахиваясь от рыжего, с белой курчавой шерсткой на лбу теленка, который медленно вышел из ельника, подошел к ней сзади и стал жевать оборку ее ситцевого платья:

– Ах, оморок тебя возьми! Вот еще сыночка бог послал!

– Правда, говорят, за тебя сватаются? – сказал Митя, не зная, что сказать, а желая продолжить разговор. – Говорят, двор богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не слушаешься...

– Богат, да дурковат, а в голове рано смеркается, – бойко ответила Сонька, несколько польщенная. – У меня, может, об другом об ком думки идут...

Серьезная и молчаливая Глашка, не прерывая работы, покачала головой:

– Уж и несешь ты, девка, и с Дону и с моря! – негромко сказала она. – Ты тут брешь что попало, а по селу слава пойдет...

– Молчи, не кудахтай! – крикнула Сонька. – Авось я не ворона, есть оборона!

– А о ком же это о другом у тебя думки идут? – спросил Митя.

– Так и призналась! – сказала Сонька. – Вон в вашего деда-пастуха влюбилась. Увижу, так до пят горячо! Я, не хуже вашего, все на старых лошадях езжу, – сказала она вызывающе, намекая, очевидно, на двадцатилетнюю Парашу, которая на деревне считалась уже старой девкой. И, внезапно бросив лопату, со смелостью, на которую она как будто имела некоторое право вследствие своей тайной влюбленности в барчука, села на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги в старых грубых полсапожках и в шерстяных пегих чулках и беспомощно уронила руки.

– Ох, ничего не делала, а уморилась! – крикнула она, смеясь. – Сапоги мои худые, – пронзительно запела она, –

Сапоги мои худые,
Носки лаковые, –

и опять закричала, смеясь:

– Пойдемте со мной в салаш отдыхать, я на все согласная!

Смех этот заразил Митю. Широко и неловко улыбаясь, он соскочил с сука и, подойдя к Соньке, лег и положил ей голову на колени. Сонька скинула ее – он опять положил, опять думая стихами, которых он начитался за последние дни:

Вижу, роза, – счастья сила
Яркий свиток свой раскрыла
И увлажила росой –
Необъятный, непонятный,
Благовонный, благодатный
Мир любви передо мной...

– Не трожьте меня! – закричала Сонька уже с искренним испугом, стараясь поднять и отбросить его голову. – А то так закричу, все волки в лесу завоют! У меня ничего для вас нету, горело, да потухло!

Митя закрыл глаза и молчал. Солнце, дробясь через листву, ветви и грушевый цвет, горячими пятнами пестрило, щекотало его лицо. Сонька нежно и зло рванула его черные жесткие волосы, – "чисто у лошади!" – крикнула она и прикрыла ему картузом глаза. Под затылком он чувствовал ее ноги, – самое страшное в мире, женские ноги! – касался им ее живота, слышал запах ситцевой юбки и кофточки, и все это мешалось с цветущим садом и с Катей; томное цоканье соловьев вдали и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжание несметных пчел, медвяный теплый воздух и даже простое ощущение земли под спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловеческого счастья. И вдруг в ельнике что-то зашуршало, весело и злорадно захохотало, потом гулко раздалось: "ку-ку! ку-ку!" – и так жутко, так выпукло, так близко и так явственно, что слышен был хрип и дрожание острого язычка, а желание Кати и желание, требование, чтобы она во что бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловеческое счастье, охватило так неистово, что Митя, к крайнему удивлению Соньки, порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь.

Вместе с этим неистовым желанием, требованием счастья, под этот гулкий голос, внезапно раздавшийся с такой страшной явственностью над самой его головой в ельнике и как будто до дна разверзший лоно всего этого весеннего мира, он вдруг вообразил, что письма не будет и не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится и что он погиб, пропал!

XV

В доме он на минуту остановился перед зеркалом в зале. "Она права, – подумал он, – глаза у меня если и не византийские, то, во всяком случае, сумасшедшие. А эта худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волос, действительно почти лошадиных, как сказала Сонька?"

Но сзади его послышался быстрый топот босых ног. Он смутился, обернулся:

– Верно, влюбились, все в зеркало смотрите, – с ласковой шутливостью сказала Параша, пробегая мимо с кипящим самоваром в руках на балкон.

– Вас мама искали, – прибавила она, с размаху ставя самовар на убранный к чаю стол и, обернувшись, быстро и зорко взглянула на Митю.

"Все знают, все догадываются!" – подумал Митя и через силу спросил:

– А где она?

– У себя в комнате.

Солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывало под сосны и пихты, своими хвойными ветвями осенявшие балкон. Кусты бересклета под ними блестели тоже совсем по-летнему, стеклянно. Стол, покрытый легкой тенью и кое-где жаркими пятнами света, сиял скатертью. Осы вились над корзиночкой с белым хлебом, над граненой вазой с вареньем, над чашками. И вся эта картина говорила о прекрасном деревенском лете и о том, как можно было бы быть счастливым, беззаботным. Чтобы предупредить выход мамы, которая, конечно, не менее других понимает его положение, и чтобы показать, что у него вовсе нет никаких тяжелых тайн на душе, Митя пошел из зала в коридор, в который выходили двери его комнаты, маминой и двух других, где летом жили Аня и Костя. В коридоре было сумрачно, в комнате Ольги Петровны синевато. Вся комната была тесно и уютно загромождена наиболее старинной мебелью, имевшейся в доме: шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, перед которой, как обыкновенно, горела лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религиозности. За открытыми окнами, на запущенном цветнике перед входом в главную аллею, лежала широкая тень, за тенью празднично зеленел и белел в упор освещенный сад. Не глядя на весь этот давно привычный вид, опустив глаза в очках на вязанье, Ольга Петровна, крупная и сухощавая, черная и серьезная сорокалетняя женщина, сидела у окна в кресле и быстро ковыряла крошечком.

– Ты спрашивала меня, мама? – сказал Митя, входя и останавливаясь у порога.

– Да нет, я просто хотела тебя видеть. Я ведь теперь почти никогда, кроме обеда, не вижу тебя, – ответила Ольга Петровна, не прерывая работы и как-то особенно, не в меру спокойно.

Митя вспомнил, как девятого марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери, вспомнил тайное очаровательное замечание, которое, несомненно, было в ее словах... Он неловко пробормотал:

– Но ты, может, хотела что-нибудь сказать мне?

– Ничего, кроме того, что мне кажется, что ты что-то заскучал последние дни, – сказала Ольга Петровна. – Может, проехался бы куда-нибудь... к Мещерским, например... Полон дом невест, – прибавила она, улыбаясь, – и вообще, по-моему, очень милая и радушная семья.

– Как-нибудь на днях с удовольствием съезжу, – с трудом ответил Митя. – Но пойдем чай пить, там так хорошо на балконе... Там и поговорим, – сказал он, отлично зная, что мама, по своему проницательному уму и по своей сдержанности, не будет больше возвращаться к этому бесполезному разговору.

На балконе они просидели почти до заката. Мама после чая продолжала вязать и говорить о соседях, о хозяйстве, об Ане и Косте, – у Ани опять передержка в августе! Митя слушал, порою отвечал, но все время испытывал нечто подобное тому, что он испытывал перед отъездом из Москвы, – что опять он как будто пьян от какой-то тяжелой болезни.

А вечером он часа два безостановочно шагал по дому взад и вперед, насквозь проходя зал, гостиную, диванную и библиотеку, вплоть до ее южного окна, открытого в сад. В окна зала и гостиной мягко краснел меж ветвями сосен и пихт закат, слышались голоса и смех работников, собиравшихся к ужину возле людской. В пролет комнат, в окно библиотеки, глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной розовой звездой над пей; на этой синеве картинно рисовалась зеленая вершина клена и белизна, как бы зимняя, всего того, что цвело в саду.

А он шагал и шагал, уже совсем не заботясь о том, как будет это истолковано в доме. Зубы его были стиснуты до боли в голове.

XVI

С этого дня он перестал следить за всеми теми переменами, что совершало вокруг него наступающее лето. Он видел и даже чувствовал их, эти перемены, но они потеряли для него свою самостоятельную ценность, он наслаждался ими только мучительно: чем было лучше, тем мучительнее было ему. Катя стала уже истинным наваждением; Катя была теперь во всем и за всем уже до нелепости, а так как всякий новый день все страшнее подтверждал, что она для него, для Мити, уже не существует, что она уже в чьей-то чужой власти, отдает кому-то другому себя и свою любовь, всецело долженствующую принадлежать ему, Мите, то и все в мире стало казаться ненужным, мучительным и тем более ненужным и мучительным, чем более оно было прекрасно.

По ночам он почти не спал. Прелесть этих лунных ночей была несравненна. Тихо-тихо стоял ночной млечный сад. Осторожно, изнемогая от неги, пели ночные соловьи, состязаясь друг с другом в сладости и тонкости песен, в их чистоте, тщательности, звучности. И тихая, нежная, совсем бледная луна низко стояла над садом, и неизменно сопровождала ее мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватых облаков. Митя спал с незанавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них. И всякий раз как он открывал глаза и взглядывал на луну, он тотчас же мысленно произносил, как одержимый: "Катя!" – и с таким восторгом, с такой болью, что ему самому становилось дико: чем, в самом деле, могла напомнить ему Катю луна, а ведь напомнила же, напомнила чем-то и, что всего удивительнее, даже чем-то зрительным! А порою он просто ничего не видел: желание Кати, воспоминания о том, что было между ними в Москве, охватывали его с такой силой, что он весь дрожал лихорадочной дрожью и молил бога – и, увы, всегда напрасно! – увидеть ее вместе с собой, вот на этой постели, хоть во сне. Однажды зимой он был с ней в Большом театре на «Фаусте» с Собиновым и Шаляпиным. Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным: и светлая, уже знойная и душистая от многолюдства бездна, зиявшая под ними, и красно-бархатные, с золотом, этажи лож, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, и льющиеся далеко внизу под маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные; "Жил, был в Фуле добрый король..." Проводив после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засиделся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу. Теперь, в эти мучительные майские ночи, он дошел до того, что не мог думать без содрогания даже об этой ленте, лежавшей в его письменном столе.

А днем он спал, потом уезжал верхом в то село, где была железнодорожная станция и почта. Дни продолжали стоять погожие. Перепадали дожди, пробежали грозы и ливни, и опять сияло жаркое солнце, непрестанно творившее свою спешную работу в садах, полях и лесах. Сад отцветал, осыпался, но зато продолжал буйно густеть и темнеть. Леса тонули уже в несметных цветах, в высоких травах, и звучная глубина их немолчно звала в свои зеленые недра соловьями и кукушками. Уже исчезла нагота полей – их сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлебов. И Митя по целым дням пропадал в этих лесах и полях.

Слишком стыдно стало ему торчать каждое утро на балконе или среди двора в бесплодном ожидании приезда с почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работников ездить за восемь верст за пустяками. И вот он стал ездить на почту сам. Но и сам он неизменно возвращался домой с одним номером орловской газеты или письмом Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем, что он стал чувствовать где-то в груди боль даже телесную.

Раз, перед вечером, он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоявшую в старом парке, который сливался с окружающим его березовым лесом. Он ехал по табельному проспекту, как называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромных черных елей. Великолепно-мрачная, широкая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускавшегося слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого

коридора, блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом, – только одни соловьи гремели из конца в конец парка, – так сладко пахло и елями и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом, и такое великое – чье-то чужое, давнее – счастье почувствовалось Мите во всем этом и так страшно явственно вдруг представилась ему на огромном ветхом балконе, среди кустов жасмина, Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо, и твердо сказал вслух, на всю аллею:

– Если через неделю письма не будет, – застрелюсь!

XVII

На другой день он встал очень поздно. После обеда он сидел на балконе, держал на коленях книгу, глядел на страницы, покрытые печатью, и тупо думал: "Ехать или нет на почту?"

Было жарко, белые бабочки парами вились друг за другом над горячей травой, над стекляннно блестящим бересклетом. Он следил за бабочками и опять спрашивал себя: "Ехать или разом оборвать эти постыдные поездки?"

Из-под горы, в воротах, показался верхом на жеребце староста. Староста посмотрел на балкон и поехал прямо на него. Подъехав, он остановил лошадь и сказал:

– Доброго утра! Все читаете?

И усмехнулся, оглянулся кругом.

– Мамаша спят? – спросил он негромко.

– Думаю, что спит, – ответил Митя. – А что?

Староста помолчал и вдруг серьезно сказал:

– Что ж, барчук, книжка хороша, да на все время надо знать. Что ж вы монахом-то живете? Ай мало баб, девок?

Митя не отозвался и опустил глаза на книгу.

– Ты где был? – спросил он, не глядя.

– Был на почте, – сказал староста. – И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки.

– Почему же «конечно»?

– Потому, что, значит, еще пишут, не дописали, – ответил староста грубо и насмешливо, обиженный тем, что Митя не поддержал его разговора. – Пожалуйста получить, – сказал он, протягивая Мите газетку, и, тронув лошадь, поехал прочь.

"Застрелюсь!" – подумал Митя твердо, глядя в книгу и ничего не видя.

XVIII

Митя и сам не мог не понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые весь открылся перед ним, мгновенно и навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в полях, села, деревни, девки, мама, усадьба, Аня, Костя, стихи в старых журналах, а где-то там – Севастополь, Байдарские ворота, сиреневые знойные горы в сосновых и буковых лесах, ослепительно-белое, душное шоссе, сады Ливадии и Алупки, раскаленный песок у сияющего моря, загорелые дети, загорелые купальщицы – и опять Катя, в белом платье, под белым зонтиком, сидящая на гальке у самых волн, слепящих своим блеском, вызывающих невольную улыбку беспричинного счастья...

Он это понимал, но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше? Именно это-то и было непостоянно – то самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то самого нужного.

Вот он просыпался утром, и первое, что ударяло ему в глаза, было радостное солнце, первое, что он слышал, был радостный, знакомый с детства трезвон деревенской церкви – там, за росистым, полным тени и блеска, птиц и цветов садом; радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах, все те же, что желтели и в его детстве. Но тотчас же, восторгом и ужасом, всю

душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ее молодостью, свежесть сада была ее свежестью, все то веселое, игривое, что было в трезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа, дедовские обои требовали, чтобы она разделила с Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, в которой жили и умирали здесь, в этой усадьбе, в этом доме, его отцы и деды. И Митя отбрасывал прочь одеяло, вскакивал с постели в одной рубашке, с раскрытым воротом, длинноногий, худой, но все же крепкий, молодой, теплый со сна, быстро выдвигал ящик письменного стола, хватал заветную фотографическую карточку и впадал в столбняк, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грация, все то неизъяснимое, сияющее и зовущее, что есть в девичьем, в женском, все было в этой немного змеиной головке, в ее прическе, в ее чуть вызывающем и вместе с тем невинном взоре! Но загадочно и с несокрушимым веселым безмолвием сиял этот взор – и где было взять сил перенести его, такой близкий и такой далекий, а теперь, может быть, даже и навеки чужой, открывший такое несказанное счастье жить и так бесстыдно и страшно обманувший?

В тот вечер, когда он ехал с почты через Шаховское, через эту старинную пустую усадьбу с черной еловой аллеей, он очень точно выразил своим неожиданным даже для самого себя восклицанием то крайнее изнеможение, которого он достиг. Стоя под окном почты, глядя с седла, как почтарь напрасно роется в куче газет и писем, он услышал сзади себя шум подходящего к станции поезда, и этот шум и запах паровозного дыма потряс его счастьем воспоминания о Курском вокзале и вообще о Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девке небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то Катино. В поле он встретил чью-то тройку, – в тарантасе, который шибко несла она, мелькнули две шляпки, одна девичья, и он чуть не вскрикнул: "Катя!" Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки – с цветом ее вуали... А когда он, при заходящем солнце, въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей и роскошный запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой и прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечеряющей тени, он вдруг увидел Катю, сходявшую, во всем расцвете женской прелести, с балкона в сад, почти совершенно так же явственно, как видел дом и жасмин. Уже давно потерял он жизненное представление о ней, и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее, – в этот же вечер ее преображение достигло такой силы, такой торжествующей победности, что Митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка.

XIX

И он перестал ездить на почту, заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано: и неистовые уверения в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унижительные мольбы о ее любви или хотя бы о «дружбе», и бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет, лежа в постели, – с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание, – и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своих "более счастливых соперников" от своего присутствия на земле. И, перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего (а все-таки втайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушным, или когда в самом деле добьешься равнодушия), всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал читать что под руку попадется, ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне без усталости твердить себе: "Все равно, пусть будет что будет!"

И вот однажды возвращались они со старостой с хутора, ехали на бегунках и, как всегда, шибко. Оба сидели верхом, староста впереди, – он правил, – а Митя сзади, и оба подсказывали от толчков, особенно Митя, который крепко держался за подушку и глядел то в красный затылок старосты, то на прыгающие перед глазами поля. Подъезжая к дому, староста опустил вожжи, поехал шагом, стал вертеть сигарку и, ухмыляясь в развернутый кисет, сказал:

– Вот вы тогда, барчук, обиделись на меня, а понапрасну. Разве я не правду вам говорил? Книжка хороша, отчего и не почитать на гулянках, да ведь она не уйдет, на все время надо знать.

Митя вспыхнул и неожиданно для самого себя ответил с притворной простотой и неловкой усмешкой:

– Да никого что-то нету на примете...

– Как так? – сказал староста. – Сколько баб, девок!

– Девки только манят, – ответил Митя, стараясь говорить в тон старосте. – На девок надежда плохая.

– Не манят, а обращения вы не знаете, – сказал староста уже наставительно. – И опять же скупитесь. А сухая ложка рот дерет.

– Ничего бы я не стал скупиться, будь дело путное и верное, – ответил вдруг Митя бесстыдно.

– А не станете, все и будет в лучшем виде, – сказал староста, закуривая, и продолжал как бы несколько обиженно: – Мне не целковый, не подарок ваш дорог, а мне хочется удовольствие вам сделать. Гляну, гляну: скучает барчук! Нет, думаю, этого дела нельзя так оставить. Я своих господ всегда беру в расчет. Я вот у вас второй год живу, а ни от вас, ни от барыни, слава богу, плохого слова не слышал. Другим, к примеру, что барская скотина? Сыта – хорошо, нет – черт с ней. А у меня того нет. Мне скотина дороже всего. Я и ребятам говорю; мне как хотите, а чтобы у меня скотина сыта была!

Митя уже стал думать, что староста выпивши, но староста вдруг бросил обиженно-задушевный тон и сказал, вопросительно взглянув на Митю через плечо:

– Да вот чего лучше Аленка? Бабенка ядовитая, молоденькая, муж на шахтах... Только и ей, конечно, надо какой-нибудь пустяк сунуть. Ну, истратите, скажем, на все про все пятерку. Целковый, скажем, ей на угощенье, два – на руки. Ну, мне на табачишко сколько-нибудь...

– За этим дело не станет, – ответил Митя, опять против воли. – Только про какую Аленку ты говоришь?

– Понятно, про лесникову, – сказал староста. – Да ай вы ее не знаете? Невестка нового лесника. Вы ее, думается, в прошлое воскресенье в церкви видели... Я тогда прямо же подумал: вот бы нашему барчуку в самый раз! Всего второй год замужем, ходит чисто...

– Ну и что же, – ответил Митя, усмехаясь, – ну вот и устрой.

– Тогда я, значит, буду стараться, – сказал староста, берясь за вожжи. – Я, значит, на днях попытаю ее. А вы и сами пока не дремите. Завтра она у нас с девками вал в саду оправлять будет, вот вы и приходите в сад... А книжка эта никогда не уйдет, авось еще в Москве начитаетесь...

И тронул лошадь, и дрожки опять затряслись и запрыгали, Митя крепко держался за подушку и, стараясь не глядеть на красную толстую шею старосты, смотрел вдаль, через деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скате к реке, к речным лугам. Что-то дико неожиданное, нелепое и вместе с тем такое, отчего по всему телу проходило знобящее томление, было уже наполовину сделано. И уже как-то по-иному, чем прежде, торчала перед ним из-за вершин сада и блестела крестом в предвечернем солнце с детства знакомая колокольня.

XX

Девки за удобу звали Митю борзым, он был из той породы людей с черными, как бы постоянно расширенными глазами, у которых почти не растут даже в зрелые годы ни усы, ни борода, – курчавится только нечто редкое и жесткое. Однако на другой день после разговора со старостой он с утра побрился и надел желтую шелковую рубашку, странно и красиво осветившую его изможденное и как бы вдохновенное лицо.

В одиннадцатом часу он медленно, стараясь придать себе немного скучающий, от нечего делать гуляющий вид, пошел в сад.

Вышел он с главного крыльца, обращенного на север. На севере, над крышами каретного сарая и скотного двора и над той частью сада, из-за которой всегда глядела колокольня, стояла аспидная муть. Да и все было тускло, в воздухе парило и пахло из трубы людской. Митя повернул за дом и направился к липовой аллее, глядя на вершины сада и на небо. Из-под неопределенных туч, заходящих за садом, с юго-востока, дуло слабым горячим ветром. Птицы не пели, даже соловьи молчали. Одни пчелы во множестве беззвучно неслись через сад со взятки.

Девки, поправляя вал, работали опять возле ельника, заделывали в валу протоптанные скотиной лазы, заваливали их землей и парным, приятно-вонючим навозом, который работники от времени до времени подвозили со скотного двора через аллею, – аллея вся была усеяна влажными и блестящими шмотами. Девки было штук шесть. Соньки уже не было, – ее таки просватали,

и теперь она сидела дома, кое-что готовя к свадьбе. Было несколько совсем еще жиденьких девчонок, была толстая, миловидная Анютка, была Глашка, ставшая как будто еще суровее и мужественнее, – и Аленка. И Митя сразу увидел ее среди деревьев, сразу понял, что это она, хотя прежде никогда не видал ее, и его, как молния, поразило неожиданно и резко ударившее ему в глаза что-то общее, что было, – или только почудилось ему, – в Аленке с Катей. Это было так удивительно, что он даже приостановился, на миг оторопел. Потом решительно пошел прямо на нее, не спуская с нее глаз.

Она была тоже невелика, подвижна. Несмотря на то, что она пришла на грязную работу, она была в хорошенькой (белой с красными крапинками) ситцевой кофте, подпоясанной черным лакированным поясом, в такой же юбке, в розовом платочке, в красных шерстяных чулках и в черных мягких чунях, в которых (или, вернее, во всей ее маленькой легкой ноге) было опять-таки что-то Катино, то есть женское, смешанное с чем-то детским. И головка у нее была невелика и темные глаза стояли и сияли почти так же, как у Кати. Когда Митя подходил, она одна не работала, как бы чувствуя свою некую особенность среди прочих, стояла на валу, поставив правую ногу на вилы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежал под яблоней на своем пиджаке с рваной подкладкой и курил. Митя подошел – он вежливо подвинулся на траву, давая ему место на пиджаке.

– Садитесь, Митрий Палыч, закурьте, – сказал он дружески и небрежно.

Митя бегло, исподтишка глянул на Аленку, – очень хорошо освещал ее лицо ее розовой платочек, – сел и, опустив глаза, стал закуривать (он много раз за зиму и весну бросал курить, теперь опять закурил). Аленка даже не поклонилась ему, как будто и не заметила его. Староста продолжал говорить ей что-то, чего Митя не понимал, не зная начала разговора. Она смеялась, но как-то так, точно ни ум, ни сердце ее не участвовали в этом смехе. В каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмешливо вставлял похабные намеки. Она отвечала ему легко и тоже насмешливо, давая понять, что он в каких-то своих намерениях на кого-то вел себя глупо, чересчур нахрапом, а вместе с тем и трусливо, боясь жены.

– Ну, да тебя не перебрешешь, – сказал наконец староста, прекращая спор, будто бы ввиду его надоевшей бесполезности. – Ты лучше иди посиди с нами. Барин тебе хочет слово сказать.

Аленка повела глазом куда-то в сторону, подоткнула на височках темные колечки волос и не двинулась с места.

– Иди, говорю, дура! – сказал староста.

И, подумав мгновенье, Аленка вдруг легко соскочила с вала, подбежала и на корточках присела в двух шагах от лежавшего на пиджаке Мити, весело и любопытно смотря в лицо ему темными расширенными глазами. Потом засмеялась и спросила:

– А правда вы, барчук, с бабами не живете? Как дьячок какой?

– А ты почему знаешь, что не живут? – спросил староста.

– Да уж знаю, – сказала Аленка. – Слышала. Нет, они не могут. У них в Москве есть, – вдруг заиграв глазами, сказала она.

– Подходящих для них нету, вот и не живут, – ответил староста. – Много ты понимаешь в их деле!

– Как нету? – сказала Аленка, смеясь. – Сколько баб, девок! Вон Анютка, – чего лучше? Анютку, поди сюда, дело есть! – крикнула она звонко.

Анютка, широкая и мягкая в спине, короткоорукая, обернулась, – лицо у нее было миловидное, улыбка добрая и приятная, – что-то крикнула в ответ певучим голосом и заработала еще пуще.

– Говорят тебе, поди! – еще звончей повторила Аленка.

– Нечего мне ходить, не заучена я этим делам, – пропела Анютка радостно.

– Нам Анютка не нужна, нам надо почище, поблагороднее, – наставительно сказал староста. – Мы сами знаем, кого нам надо.

И очень выразительно посмотрел на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснела.

– Нет, нет, нет, – ответила она, скрывая смущение улыбкой, – лучше Анютки не найдете. А не хотите Анютку, – Настьку, она тоже чисто ходит, в городе жила...

– Ну будет, молчи, – неожиданно грубо сказал староста. – Занимайся своим делом, побрежала, и будет. Меня и так барыня ругают, говорят, они у тебя только охальничают...

Аленка вскочила – и опять с необыкновенной легкостью – взялась за вилы. Но работник,

сваливший в это время последнюю телегу навоза, крикнул: "Завтракать!" – и, задержав вожжами, бойко загремел вниз по аллее пустым тележным ящиком.

– Завтракать, завтракать! – на разные голоса закричали и девки, бросая лопаты и вилы, перескакивая через вал, соскакивая с него, мелькая голыми ногами и разноцветными чулками и сбегаясь под ельник к своим узелкам.

Староста покосился на Митю, подмигнул ему, желая сказать, что дело идет, и, приподнимаясь, начальственно согласился:

– Ну, завтракать так завтракать...

Девки, пестрея под темной стеной елок, весело и как попало расселись на траве, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног, стали жевать, запивая из бутылок кто молоком, кто квасом и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь к Анютке, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержав очаровательной улыбки, с силой оттолкнула ее (Аленка, давясь смехом, повалилась головой к себе на колени) и с притворным возмущением крикнула на весь ельник своим певучим голосом:

– Дура! Чего гогочешь без дела? Какая радость?

– Пойдемте от греха, Митрий Палыч, – сказал староста, – ишь их черти разбирают!

XXI

На другой день в саду не работали, был праздник, воскресенье.

Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, сад то и дело бледно, но широко, сказочно озарялся. К утру, однако, погода опять разгулялась, опять все стало просто и благополучно, и Митю разбудил веселый, солнечный трезвон колоколов.

Он не спеша умылся, оделся, выпил стакан чаю и пошел к обедне. "Мама уж ушли, – ласково упрекнула его Параша, – а вы как татарин какой..."

В церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и свернув направо, или через сад, по главной аллее, а потом по дороге между садом и гумном, налево. Митя пошел через сад.

Все было уже совсем по-летнему. Митя шел по аллее прямо на солнце, сухо блестевшее на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон колоколов, как-то очень хорошо и мирно сливавшийся с ним и со всем этим деревенским утром, и то, что Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глянцевиные черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнородных мыслей и чувств, вдруг охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на спасение, освобождение от них. Колокола играли и звали, гумно впереди жарко блестело, дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро бежал вверх по корявому стволу липы в ее светло-зеленую, солнечную вершину, бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались в цветы на полянах, на припеке, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно... Все было, как бывало много, много раз в детстве, в отрочестве, и так живо вспомнилось все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что бог милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати.

"В самом деле, поеду к Мещерским", – подумал вдруг Митя.

Но тут он поднял глаза – и в двадцати шагах от себя увидел как раз в этот момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом розовом платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками. Она, виляя задом, быстро шла, не видя его, и он порывисто подался в сторону, за деревья.

Дав ей скрыться, он, с бьющимся сердцем, поспешно пошел назад, к дому. Он вдруг понял, что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее, и то, что видеть ее в церкви нельзя, не надо.

XXII

Во время обеда нарочный со станции привез телеграмму – Аня и Костя извещали, что будут завтра вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно.

После обеда он навзничь лежал на плетеном диване на балконе, закрыв глаза, чувствуя до-

ходящее до балкона жаркое солнце, слушая летнее жужжанье мух. Сердце дрожало, в голове стоял неразрешимый вопрос: а как же дальше дело с Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера прямо: согласна ли она, и, если да, то где и когда? А рядом с этим мучило другое: следует или нет нарушить свое твердое решение не ездить больше на почту? Не съездить ли нынче еще раз, последний? Новое и бессмысленное издевательство над своим собственным самолюбием? Новое и бессмысленное терзание себя жалкой надеждой? Но что может теперь прибавить эта поездка (в сущности, простая прогулка) к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в Москве, для него все и навеки кончено? Что ему вообще теперь делать?

– Барчук! – раздался вдруг негромкий голос возле балкона. – Барчук, вы спите?

Он быстро открыл глаза. Перед ним стоял староста в новой ситцевой рубаше, в новом картузе. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмельное.

– Барчук, едемте скорей в лес, – зашептал он. – Я барыне сказал, что мне нужно повидаться с Трифоном насчет пчел. Едемте скорей, пока они почивают, а то ну-ка проснутся и отдумают... Захватим чего-нибудь угостить Трифона, он захмелеет, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленке. Выходите скорей, я уж запряг...

Митя вскочил, пробежал лакейскую, схватил картуз и быстро пошел к каретному сараю, где стоял запряженный в беговые дрожки молодой горячий жеребчик.

XXIII

Жеребчик прямо с места вихрем вынес за ворота. Против церкви на минуту остановились возле лавки, взяли фунт сала и бутылку водки и понеслись дальше.

Мелькнула изба на выезде, у которой стояла наряженная и не знавшая, что делать, Анютка. Староста в шутку, но грубо крикнул ей что-то и с хмельным, бессмысленным и злым удалством крепко передернул вожжами, хлестнул ими по крупу жеребчика. Жеребчик еще наддал.

Митя, сидя и подсакивая, держался изо всех сил. В затылок ему приятно пекло, в лицо тепло дуло полевым жаром, пахнувшим уже зацветающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно какой-то чудесный мех, зыбью, над ней поминутно взвивались, пели, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синел лес...

Через четверть часа были уже в лесу и все так же шибко, стучаясь о пни и корни, помчались по его тенистой дороге, радостной от солнечных пятен и несметных цветов в густой и высокой траве по сторонам. Аленка, в своем голубом платье, прямо и ровно положив ноги в полусапожках, сидела в распускающихся возле караулки дубках и вышивала что-то. Староста пролетел мимо нее, погрозив ей кнутом, и сразу осадил у порога. Митю поразили горький и свежий аромат леса, молодой дубовой листвы, оглушил звонкий лай собачонок, окруживших дрожки и наполнивших весь лес откликами. Они стояли и яростно заливались на все лады, а мохнатые морды их были добры и хвосты виляли.

Слезли, привязали жеребчика к сухому, опаленному грозой деревцу под окнами и вошли через темные сени.

В караулке было очень чисто, очень уютно и очень тесно, жарко и от солнца, светившего из-за леса в оба ее окошечка, и оттого, что была натоплена печь, – утром пекли ситники. Федосья, свекровь Аленки, чистенькая и благообразная на вид старушка, сидела за столом, спиной к солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку. Увидав барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровавшись, сели и стали закуривать.

– А где ж Трифон? – спросил староста.

– Отдыхает в клети, – сказала Федосья, – я сейчас пойду его покличу.

– Идет дело! – шепнул староста, моргнув обоими глазами, как только она вышла.

Но никакого дела Митя покуда не видел. Покуда было только нестерпимо неловко, – казалось, что Федосья уже отлично понимает, зачем они приехали. Опять мелькала ужасавшая уже третий день мысль: "Что я делаю? Я с ума схожу!" Он чувствовал себя лунатиком, покоренным чьей-то посторонней волей, все быстрее и быстрее идущим к какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь иметь простой и спокойный вид, он сидел, курил, осматривал караулку. Особенно стыдно было при мысли, что сейчас войдет Трифон, мужик, как говорят,

злой, умный, который сразу все поймет еще лучше Федосьи. Но вместе с тем была и другая мысль: "А где же она спит? Вот на этих нарах или в клетке?" Конечно, в клетке, подумал он. Летняя ночь в лесу, окошечки в клетке без рамы, без стекол, и всю ночь слышен дремотный лесной шепот, а она спит...

XXIV

Трифон, войдя, тоже низко поклонился Мите, но молча, не взглянув ему в глаза. Потом сел на скамейку перед столом и сухо и неприязненно заговорил со старостой: в чем дело, зачем пожаловал? Староста поспешил сказать, что его прислала барыня, что она просит Трифона прийти посмотреть пасеку, что ихний пасечник старый, глухой дурак, а что он, Трифон, может, первый пчеловод во всей губернии по своему уму и понятию, – и немедленно вытащил из одного кармана штанов бутылку водки, а из другого сало в шершавой серой бумаге, уже насквозь промаслившейся. Трифон холодно и насмешливо покосился, однако поднялся с места и достал с полки чайную чашку. Староста поднес сперва Мите, потом Трифону, потом Федосье, – она с удовольствием вытянула чашку до доньшка, – и, наконец, налил себе. Выпив, он тотчас же стал обносить по второй, жуя ситник и раздувая ноздри.

Трифон довольно быстро захмелел, однако не потерял своей сухости и неприязненной насмешливости. Староста тяжело отупел после второй же чашки. Разговор принял по внешности характер дружеский, но глаза у обоих были недоверчивые, злобные. Федосья сидела молча, смотрела вежливо, но недовольно. Аленка не показывалась. Потеряв всякую надежду, что она придет, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта – рассчитывать теперь на то, что старосте удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла, – Митя поднялся и строго сказал, что пора ехать.

– Сейчас, сейчас, успеется! – хмуро и нагло отозвался староста. – Мне еще надо вам словечко по секрету сказать.

– Ну вот дорогой и скажешь, – сказал сдержанно, но еще строже Митя. – Едем.

Но староста хлопнул ладонью по столу и с пьяной загадочностью повторил:

– А я вам говорю, что дорогой этого нельзя говорить! Выйдите ко мне на минутку...

И, тяжело поднявшись с места, распахнул дверь в сенцы.

Митя вышел за ним.

– Ну, в чем дело?

– Молчите! – таинственно прошептал староста, притворяя за Митей дверь и шатаясь.

– Об чем молчать?

– Молчите!

– Я тебя не понимаю.

– Молчите! Наша будет! Верное слово!

Митя оттолкнул его, вышел из сеней и остановился на пороге, не зная, что делать: подождать еще немного или уехать одному, а не то просто уйти пешком?

В десяти шагах от него стоял густой зеленый лес, уже в вечерней тени и оттого еще более свежий, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за его вершины, сквозь них лучисто сыпалось его червонное золото. И вдруг гулко раздался и прокатился в глубине леса, где-то, как показалось, далеко на той стороне, за оврагами, женский певучий голос, и так призывно, так очаровательно, как звучит он только в лесу, по летней вечерней заре.

– Ау! – протяжно крикнул этот голос, видимо, забавляясь лесными откликами. – Ау!

Митя соскочил с порога и побежал по цветам и травам в лес. Лес опускался в каменистый овраг. В овраге стояла и ела баранчики Аленка. Митя надбежал над обрыв и остановился. Она снизу глядела на него удивленными глазами.

– Что ты тут делаешь? – спросил Митя негромко.

– Маруську нашу с коровой ищут. А что? – ответила она тоже негромко.

– Что ж, придешь, что ли?

– Что ж мне даром ходить? – сказала она.

– Кто ж тебе сказал, что даром? – спросил Митя уже почти шепотом. – Об этом не беспокойся.

– А когда? – спросила Аленка.

– Да завтра... Ты когда можешь?

Аленка подумала.

– Я завтра пойду к матери овцу стричь, – сказала она, помолчав, осторожно оглядывая лес на бугре за Митей. – Вечером, как стемнеет, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдет кто-нибудь... Хотите, в салаш в лощине у вас в саду? Только вы смотрите, не обманите, – даром я не согласна... Это вам не Москва, – сказала она, засмеявшимися глазами глядя на него снизу, – там, говорят, бабы сами плотят...

XXV

Возвращались безобразно.

Трифон не остался в долгу, поставил и с своей стороны бутылку, и староста так напился, что не сразу сел на дрожки, сперва упал на них, а испуганный жеребчик рванулся и чуть не ускакал один. Но Митя молчал, смотрел на старосту бесчувственно, ждал, пока он усядется, терпеливо. Староста опять гнал с нелепой яростью. Митя молчал, крепко держался, смотрел на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшие и прыгавшие перед ним. Над полями к закату допевали свои кроткие песни жаворонки, на востоке, уже посиневшем к ночи, вспыхивали те дальние, мирные зарницы, которые ничего не обещают, кроме хорошей погоды. Митя понимал всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была совсем чужой ему. В мыслях, в душе стояло одно: завтра вечером!

Дома его ожидало известие, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будут завтра, с вечерним поездом. Он ужаснулся, – приедут, побегут вечером в сад, могут побежать к шалашу, в лощину... Но тотчас же вспомнил, что со станции их привезут не раньше десятого часа, потом будут кормить, поить чаем...

– Ты поедешь встречать? – спросила Ольга Петровна.

Он почувствовал, что бледнеет.

– Нет, не думаю... Мне что-то не хочется... Да и сесть негде...

– Ну, положим, ты бы мог верхом поехать...

– Да нет, не знаю... Собственно, зачем? Сейчас, по крайней мере, не хочется...

Ольга Петровна пристально посмотрела на него.

– Ты здоров?

– Совершенно, – сказал Митя почти грубо. – Я только спать очень хочу...

И тотчас же ушел к себе, лег в темноте на диван и заснул, не раздеваясь.

Ночью он услышал отдаленную, медлительную музыку и увидел себя висющим над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела, становилась все бездоннее, все золотистой, все ярче, все многочисленнее, и уже совсем отчетливо, с несказанной грустью и нежностью, зазвучало и запело в ней: "Жил, был в Фуле добрый король..." Он затрепетал от умиления, повернулся на другой бок и опять заснул.

XXVI

День казался бесконечным.

Митя как деревянный выходил к чаю, к обеду, потом опять шел к себе и опять ложился, брал с письменного стола уже давно валявшийся на нем том Писемского, читал, не понимая ни слова, подолгу смотрел в потолок, слушал ровный, летний, атласный шум солнечного сада за окном... Раз он встал и пошел в библиотеку, чтобы переменить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своим спокойствием, видом из одного окна на заветный клен, а из других на светлое западное небо комната так остро напомнила ему те весенние (теперь уж бесконечно далекие) дни, когда он сидел в ней, читая стихи в старых журналах, и показалась такой Катиной, что он повернулся и быстро пошел назад. "К черту! – подумал он с раздражением. – К черту весь этот поэтический трагизм любви!"

Он с возмущением вспомнил свое намерение застрелиться, если не будет письма от Кати, и опять лег и опять взялся за Писемского. Но по-прежнему он ничего не понимал, читая, а порою, глядя в книгу и думая об Аленке, весь начинал дрожать от все растущей дрожи в животе. И чем ближе подходил вечер, тем все чаще охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворе, – уже запрягали тарантас на станцию, – все раздавалось так, как во время болезни, когда

лежишь один, а вокруг течет обычная, будничная жизнь, равнодушная к тебе и потому чуждая, даже враждебная. Наконец где-то крикнула Параша: "Барыня, лошади готовы!" – послышалось сухое бормотание бубенчиков, потом топот копыт, шорох подкатывающего к крыльцу тарантаса... "Ах, да когда же все это кончится!" – пробормотал Митя вне себя от нетерпения, не двигаясь, но жадно слушая голос Ольги Петровны, отдававшей в лакейской последние приказания. Вдруг бубенчики забормотали и, бормоча все слитнее под звуки покотившегося под гору экипажа, стали гложуть...

Быстро встав с места, Митя вышел в зал. В зале было пусто и светло от ясного желтоватого заката. Во всем доме было пусто и как-то странно, страшно пусто! Со странным, как бы прощальным чувством Митя взглянул в пролет растворенных молчаливых комнат – в гостиную, в диванную, в библиотеку, в окно которой по-вечернему синел южный небосклон, зеленела живописная вершина клена и розовой точкой стоял над ней Антарес... Потом заглянул в лакейскую, нет ли там Параша. Убедившись, что и там пусто, он схватил с вешалки картуз, пробежал назад, в свою комнату, и выскочил в окно, далеко выкинув на цветник свои длинные ноги. На цветнике он на мгновение замер, потом, согнувшись, перебежал в сад и тотчас же вильнул в глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акации и сирени.

XXVII

Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечернего сада. Но Мите, при всей бессознательности всех его действий в этот вечер, все же показалось, что он еще никогда в жизни, – за исключением, может быть, раннего детства, – не встречал такой силы и такого разнообразия запахов, как теперь. Все пахло – кусты акации, листья сирени, листья смородины, лопухи, черныбыльник, цветы, трава, земля...

Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью: "А вдруг она обманет, не придет?" – теперь казалось, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет Аленка, – уловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: вечерний жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки, но еще светло было от зари, охватившей полнеба своим ровным, долго не гаснущим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видной из-за деревьев, высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой и острый серпок только что народившегося месяца. Митя глянул на него, быстро и мелко перекрестился под ложечкой и шагнул в кусты акации. Аллея вела в ложину, но не к шалашу, – к нему надо было идти наискось, взять левее. И Митя, шагнув через кусты, побежал целиком, среди широко и низко распростертых ветвей, то нагибаясь, то отстраняя их от себя. Через минуту он уже был на условленном месте.

Он со страхом сунулся в шалаш, в его темноту, пахнущую сухой прелой соломой, зорко оглянул его и почти с радостью убедился, что там еще никого нет. Но роковой миг близился, и он стал возле шалаша, весь превратясь в чуткость, в напряженнейшее внимание. Весь день почти ни на минуту не оставляло его необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно – как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце, однако, билось страшно. А кругом было так поразительно тихо, что он слышал только одно – это биение. Беззвучно, неустанно вились, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе, и от этих мотыльков тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и заговаривали ее. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло – и звук этот как гром поразил его. Он порывисто обернулся, глянул меж деревьев по направлению к валу – и увидел, что под сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успел он сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то широкое движение – и оказалось Аленкой.

Она откинула, сбросила с головы подол короткой юбки из черной самотканой шерсти, и он увидел ее испуганное и сияющее улыбкой лицо. Она была боса, в одной юбке и в простой суровой рубахе, заправленной в юбку. Под рубахой стояли ее девичьи груди. Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть плечей, а засученные выше локтя рукава – округлые руки. И все в ней, от небольшой головки, покрытой желтым платочком, и до маленьких босых ног, женских и вместе с тем детских, было так хорошо, так ловко, так пленительно, что Митя, видевший ее до

сих пор только наряженной, впервые увидавший ее во всей прелести этой простоты, внутренне ахнул.

– Ну, скорее, что ли, – весело и воровски прошептала она и, оглянувшись, нырнула в шалаш, в его пахучий сумрак.

Там она приостановилась, а Митя, стиснув зубы, чтобы удержать их стук, поспешил запустить руку в карман – ноги его были напряжены, тверды, как железо, – и сунул ей в ладонь смятую пятирублевку. Она быстро спрятала ее за пазуху и села на землю. Митя сел возле нее и обнял ее за шею, не зная, что делать, – надо ли целовать или нет. Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма, – все было до головокружения хорошо, и Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше: страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существования. Она откинулась и легла навзничь. Он лег рядом, привалился к ней, протянул руку. Тихо и нервно смеясь, она поймала ее и потянула вниз.

– Никак нельзя, – сказала она не то в шутку, не то серьезно.

Она отвела его руку и цепко держала ее своей маленькой рукой, глаза ее смотрели в треугольную раму шалаша на ветви яблонь, на уже потемневшее синее небо за этими ветвями и неподвижную красную точку Антареса, еще одиноко стоящую в нем. Что выражали эти глаза? Что надо было делать? Поцеловать в шею, в губы? Вдруг она поспешно сказала, берясь за свою короткую черную юбку:

– Ну, скорей, что ли...

Когда они поднялись, – Митя поднялся, совершенно пораженный разочарованием, – она, перекрывая платок, поправляя волосы, спросила оживленным шепотом, – уже как близкий человек, как любовница:

– Вы, говорят, в Субботино ездили. Там поп дешево поросят продает. Правда ай нет? Вы не слышали?

XXVIII

На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с утра и до вечера, лил как из ведра.

Он то и дело припускал в этот день особенно бурно и мрачно.

И весь день Митя без усталости ходил по саду и весь день так страшно плакал, что порой даже сам дивился силе и обилию своих слез.

Параша искала его, кричала на дворе, в липовой аллее, звала обедать, потом чай пить – он не откликнулся.

Было холодно, пронзительно сыро, темно от туч; на их черноте густая зелень мокрого сада выделялась особенно густо, свежо и ярко. Налетавший от времени до времени ветер свергал с деревьев еще и другой ливень – целый поток брызг. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимания. Его белый картуз обвис, стал темно-серый, студенческая куртка почернела, голенища были до колен в грязи. Весь облитый, весь насквозь промокший, без единой кровинки в лице, с заплаканными, безумными глазами, он был страшен.

Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллей, а порой просто куда попало, целиком, по высокой мокрой траве среди яблонь и груш, натываясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо-зеленым размокшим лишайником. Он сидел на разбухших, почерневших скамейках, уходил в ложину, лежал на сырой соломе в шалаше, на том самом месте, где лежал с Аленкой. От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив ногу на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером, – привез землемер, по делу приехавший в усадьбу на несколько дней, – опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:

"Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю – вы знаете с кем... Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и ме-

ня! Не пиши мне ничего, это бесполезно!"

Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивая зубы, захлебывался от рыданий. Это нечаянное ты, которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их близость и заливало сердце нестерпимой нежностью, — это было выше человеческих сил! А рядом с этим ты — это твердое заявление, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, он это знал; бесполезно! Все кончено и кончено навеки!

Перед вечером дождь, обрушившийся на сад с удесятеренной силой и с неожиданными ударами грома, погнал его наконец в дом. Мокрый с головы до ног, не попадая зуб на зуб от ледяной дрожи во всем теле, он выглянул из-под деревьев и, убедившись, что его никто не видит, пробежал под свое окно, снаружи приподнял раму, — рама была старинная, с подъемной половиной, — и, вскочив в комнату, запер дверь на ключ и бросился на кровать.

И стало быстро темнеть. Дождь шумел повсюду — и по крыше, и вокруг дома, и в саду. Шум его был двойной, разный, — в саду один, возле дома, под непрерывное журчание и плеск желобов, ливших воду в лужи, — другой. И это создавало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, необъяснимую тревогу и вместе с жаром, которым пылали его ноздри, его дыхание, голова, погружало его точно в наркоз, создавало какой-то как будто другой мир, какое-то другое предвечернее время в каком-то как будто чужом, другом доме, в котором было ужасное предчувствие чего-то.

Он знал, он чувствовал, что он в своей комнате, уже почти темной от дождя и наступающего вечера, что там, в зале, за чайным столом, слышны голоса мамы, Ани, Кости и землемера, но вместе с тем уже шел по какому-то чужому дому вслед за уходившей от него молодой нянькой, и его охватывал необъяснимый, все растущий ужас, смешанный, однако, с вожделением, с предчувствием близости кого-то с кем-то, близости, в которой было что-то противоестественно-омерзительное, но в которой он и сам как-то участвовал. Чувствовалось же все это через посредство ребенка с большим белым лицом, которого, перегнувшись назад, несла на руках и укачивала молоденькая нянька. Митя спешил обогнать ее, обогнал и уже хотел заглянуть ей в лицо, — не Аленка ли это, — но неожиданно очутился в сумрачной гимназической классной комнате с замазанными мелом стеклами. Та, что стояла в ней перед комодом, перед зеркалом, не могла его видеть, — он вдруг стал невидим. Она была в шелковой желтой нижней юбке, плотно облегающей округлые бедра, в туфельках на высоких каблукках, в тонких ажурных черных чулках, сквозь которые просвечивало тело, и она, сладко робея и стыдясь, знала, что сейчас будет. Она уже успела спрятать ребенка в ящик комода. Перекинув косу через плечо, она быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядела в зеркало, где отражалось ее припудренное личико, обнаженные плечи и млечно-голубые, с розовыми сосками, маленькие груди. Дверь распахнулась — и, бодро и жутко оглядываясь, вошел господин в смокинге, с бескровным бритым лицом, с черными и короткими курчавыми волосами. Он вынул плоский золотой портсигар, стал развязно закуривать. Она, доплетая косу, робко смотрела на него, зная его цель, потом швырнула косу на плечо, подняла голые руки... Он снисходительно обнял ее за талию — и она охватила его шею, показывая свои темные подмышки, прильнула к нему, спрятала лицо на его груди...

XXIX

И Митя очнулся, весь в поту, с потрясающе ясным сознанием, что он погиб, что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней, за могилой. В комнате была тьма, за окнами шумело и плескалось, и этот шум и плеск были нестерпимы (даже одним своим звуком) для тела, сплошь дрожащего от озноба. Всего же нестерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность человеческого соития, которое как будто и он только что разделил с бритым господином. Из залы были слышны голоса и смех. И они были ужасны и противоестественны своей отчужденностью от него, грубостью жизни, ее равнодушием, беспощадностью к нему...

— Катя! — сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги. — Катя, что же это такое! — сказал он вслух, совершенно уверенный, что она слышит его, что она здесь, что она молчит, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимает непоправимый ужас всего того, что она наделала. — Ах, все равно, Катя, — прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь бы она по-прежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись, —

спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так недавно был подобен раю. Но, прошептав: "Ах, все равно, Катя!" – он тотчас же понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что дано было ему когда-то в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не может быть, и тихо заплакал от боли, раздражающей его грудь.

Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного – хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.

14 сентябрь 1924

Приморские Альпы

Солнечный удар

После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым, прелестным смехом, – все было прелестно в этой маленькой женщине, – и сказала:

– Я совсем пьяна... Вообще я совсем с ума сошла. Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно, вы милый. Это у меня голова кружится, или мы куда-то поворачиваем?

Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани.

Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы).

Поручик пробормотал:

– Сойдем...

– Куда? – спросила она удивленно.

– На этой пристани.

– Зачем?

Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.

– Сумасшедший...

– Сойдем, – повторил он тупо. – Умоляю вас...

– Ах, да делайте, как хотите, – сказала она, отворачиваясь.

Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упала друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик кинулся за вещами.

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по (мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города... Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике, – и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так иступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.

В десять часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного я пахучего, чем

пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безыменная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и – уже рассудительна.

– Нет, нет, милый, – сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе, – нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара...

И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, – как раз к отходу розового Самолета, – при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад.

Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею – и пуст. Это было странно! Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было... И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и, хлопая себя по голенищам стеклом, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.

– Странное приключение! – сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. – "Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать..." И уже уехала... Нелепая женщина!

Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван... Да, вот и конец этому "дорожному приключению"! Уехала – и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор... И прости, и уже навсегда, навеки. – Потому что где же они теперь могут встретиться? – "Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того, ни с сего приехать в этот город, где ее муж, ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь!" И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! – И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние.

"Что за черт! – подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. – Да что же это такое со мной? Кажется, не в первый раз – и вот... Да что в ней особенного и что собственно случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?"

Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса... Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство – то страдное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затеявая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже некому, некому было сказать теперь! – "А главное, подумал он, ведь и никогда уже не скажешь! И что делать, как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход!"

Нужно было спастись, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд... Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддев-

ке, и спокойно курил цыгарку, очевидно, дожидаясь кого-то. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением: как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? "Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе", – подумал он, направляясь к базару.

Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность, мужики оглушали его, кричали ему "Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!" Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он зашел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светло-стальной ширью реки... Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Околыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало... Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, и заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость, даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один, нынешний день, – провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее... Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни.

– Совсем разгулялись нервы! – сказал он, наливая пятую рюмку водки.

Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать: что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться – он это чувствовал слишком живо – было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: "Отныне вея моя жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей власти". – Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился: он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила:

– А зачем вам нужно знать, кто я? Я Марья Маревна, заморская царица... Разве недостаточно с вас этого?

На углу, возле почты, была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых эполетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами... Как дико, как нелепо, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, – да, поражено, он теперь понимал это, – этим страшным "солнечным ударом", слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных – молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, – перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе набекрень... Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы.

– Куда идти? Что делать?

Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль лежала на мостовой; и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным, солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь... Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, шурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад.

Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и

пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее, — только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике! Он снял китель и взглянул на себя в зеркало: лицо его, — обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз, от загара казавшихся еще блее, — имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать, на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел в пространство перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы, — и, наконец, заснул, а когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи... И вчерашний день и нынешнее утро вспомнились так, точно они были десять лет тому назад.

Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей.

— А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью! — весело сказал извозчик, берясь за вожжи.

Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода.

— В аккурат доставил! — сказал извозчик заискивающе.

Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань... Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода... И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней.

Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром.

Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг.

Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.

Приморские Альпы. 1925

Ида

Однажды на Святках завтракали мы вчетвером, — три старых приятеля и некто Георгий Иванович, — в Большом Московском.

По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу перед полукруглым диваном. Пошли туда.

— Господа, — сказал композитор, заходя на диван и ваясь на него своим коренастым туловищем, — господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. — Раскиньте же нам, служащий, самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. — Вы мои королевские замашки знаете.

— Как не знать, пора наизусть выучить, — сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. — Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся...

И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским... Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам. И он налил три рюмки, потом шутливо замедлился:

– Святейший Георгий Иванович, и вам позволите?

Георгий Иванович, имевший единственное и пристрастное занятие, – быть другом известных писателей, художников, артистов, – человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел, – он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь, – и ответил с некоторой бесшабашностью и развязностью:

– Даже и очень, грешнейший Павел Николаевич!

И композитор налил и ему, легонько стукнул рюмкой о наши рюмки, махнул водку в рот со словами: «Дай боже!» – и, дуя себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуха, сказал:

– Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне потому, что вспомнилась мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно три года тому назад, на второй день Рождества...

– История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная, – сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой.

Композитор покосился на него.

– Амурная? – сказал он холодно и насмешливо. – Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на Страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами. «Je veux un tresor qui les contient tous, je veux la jeunesse!»¹⁹ – поднимая брови, запел он под машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам:

– Друзья мои, вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве, ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчества ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха – и больше ничего...

Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимания, повторяю обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она – он к ней – «А-а, Ида, дорогая! Здравствуйте, здравствуйте, душевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи (и немножко бессмысленно): «Маша дома?» – «Дома, дома, милости просим...» – «Можно к ней?» – И спокойно идет через столовую к дверям Маши: «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте все прочее: свежесть молодости, здоровья, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с мороза... затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений... Было и лицо у нее редкое, – на первый взгляд как будто совсем обыкновенное, а приглядишься – залюбуешься: тон кожи ровный, теплый, – тон какого-нибудь самого первого сорта яблока, – цвет фиалковых глаз живой, полный...

Да, приглядишься – залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!» – увидит ее ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку – и уйдет к себе, в свой кабинет, и опять займется какой-нибудь чепухой, называемой творчеством, черт бы его побрал совсем. И так вот и шло время, и так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Иде мало-мальски серьезно – и совершенно, можете себе представить, не заметил, как она, в одно прекрасное время, исчезла куда-то. Нет и нет Иды, а он даже не догадывается у жены спросить: а куда же, мол, наша Ида девалась? Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту – и опять забудет. И прошел таким образом год, прошел другой... Как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край...

Дело было на самое Рождество. Но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, про-

¹⁹ «Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себе все, я хочу молодости!» (франц.)

стясь с рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает, наконец, до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, надо заметить, со значительным опозданием и посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает из вагона, хватая за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит: «Не ушел еще курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только что ушел-с. Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать», – «Как, негодяй? Ты шутишь? Что ж я теперь делать буду? В Сибирь тебя, на каторгу, на плаху!» – «Мой грех; мой грех, – отвечает носильщик, – да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать пассажирского...» И поник головой и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию...

На станции же оказалось весьмалюдно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту, на узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нем даже сутки. «Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью», – с удовольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной помолодевшим на двадцать лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской шукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услышал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, «порывисто» обернулся – и, можете себе представить, кого увидел перед собой? Иду!

От радости и удивления, первую секунду он даже слова не мог произнести и только, как баран на новые ворота, смотрел на нее. А она – что значит, друзья мои, женщина! – даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, – говорит, – какими судьбами? Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто и совсем, совсем не с той манерой, как говорила когда-то, главное же... чуть-чуть насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и оттого, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида: как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь этаким хрустальном бокале, а соответственно с этим и одета: большой скромности большого кокетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка... Когда господин неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад, через плечо небрежно сказала: «Познакомьтесь кстати с моим мужем», – и тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом, по-военному, представился студент.

– Ах, наглец! – воскликнул Георгий Иванович. – Обыкновенный студент?

– Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный, – сказал композитор с невеселой усмешкой. – Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудесного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем: тужурка из того самого тонкого светло-серого сукна, что носят только самые большие франты, плотно облегающая ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромен тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке, – в фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно, – быстро обнажил другую руку, тонкую, бледно-лазурную и от перчатки немножко как бы в муке, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» – еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду – и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб, но раб, однако, не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. «Очень, очень рад познакомиться! – от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился. – И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», – сказал он, дружелюбно глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит: «Помолчи, Петрик, не конфузь меня, – сказала Ида по-

спешно и обратилась к господину: Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала! Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему неинтересны наши воспоминания, будет только скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем, походим по платформе...» И, сказав так, взяла она нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено, и – неожиданно изъяснилась там в любви к нему...

– То есть как в любви? – в один голос спросили мы.

Композитор вместо ответа опять набрал воздуха в грудь, надуваясь и поднимая плечи. Он опустил глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку, налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись, стараясь скрыть смущение, он выпил вино до дна, затыкнул было под машину: «Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage!»²⁰ – но тотчас же оборвал и, решительно подняв на нас еще более сузившиеся глаза, сказал:

– Да, то есть так в любви... И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно? Да, разумеется, но – факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее, затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их имение под Витебском... Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, в невероятном количестве заваливших все и вся вокруг, – все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях... смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно: то, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот, можете себе представить, что произошло дальше: дальше произошло то, что на какой-то самой дальней, боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки сказала ему: «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос: знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых пять лет и люблю до сих пор?»

Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопределенно и глухо, вдруг загрохотала героически, торжественно и грозно. Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные глаза. Потом негромко произнес:

– Да, вот что сказала она ему... А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в любви и ждущей от вас ответа на это признание? Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не то, конечно! А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ? А длинная соболя муфта, в которую были спрятаны ее руки, а колени, которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине-зеленой шотландской материей? Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого! А главное, главное: что же можно было ответить на это сногсшибательное по неожиданности, ужасу и счастью признание, на выжидающее выражение этого доверчиво поднятого, побледневшего и искаженного (от смущения, от какого-то подобия улыбки) лица?

Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И он сам ответил себе:

– Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась

²⁰ «Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо!» (франц.)

и, вынув теплую руку из теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего: поцеловала – и ушла. И тем вся эта история и кончилась... И вообще довольно об этом, – вдруг резко меняя тон, сказал композитор и громко, с напускной веселостью прибавил: – И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью! И давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пушу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. – Услужайший! – закричал он на всю залу. – Несите уху! И хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами!

Завтракали мы в этот день до одиннадцати часов вечера. А после поехали к Яру, а от Яра – в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой, с красной головкой, и вели себя в общем возмутительно: пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал молча, свирепо и восторженно, с легкостью необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг сорвал с себя шапку и что есть силы, со слезами закричал на всю площадь:

– Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!

Приморские Альпы. 1925

Дело корнета Елагина

I

Ужасное дело это – дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны, оно очень просто, а с другой – очень сложно, похоже на бульварный роман, – так все и называли его в нашем городе, – и в то же время могло бы послужить к созданию глубокого художественного произведения... Вообще справедливо сказал на суде защитник.

– В этом деле, – сказал он в начале своей речи, – нет как будто места для спора между мной и представителем обвинения: ведь подсудимый сам признал себя виновным, ведь его преступление и его личность, равно как и личность его жертвы, волю которой он будто бы изнасиловал, кажутся чуть ли не всем, в этой зале присутствующим, недостойными особого мудрствования по их якобы достаточной пустоте и обыденности. Но все это совсем не так, все это только одна видимость: спорить есть о чем, поводов для спора и размышлений очень много...

И далее:

– Допустим, что моя цель – добиться только снисхождения подсудимому. Я бы мог тогда сказать немного. Законодатель не указал, чем именно должны судьи руководствоваться в случаях, подобных нашему, он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которым и надлежит в конце концов подобрать ту или иную рамку закона, наказующего деяние. И вот я и постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить на первое место все лучшее, что есть в подсудимом, и все, что смягчает его вину, будил бы в судьях чувства добрые и делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке: сознательную злую волю. Однако даже и в этом случае мог ли бы я избежать спора с обвинителем, определившим преступника не более не менее, как «уголовным волком»? Во всяком деле все можно воспринять по-разному, все можно осветить так или иначе, представить по-своему, на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, кажется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии: «Все так, да не так!» – должен каждую минуту говорить я ему. Но, что всего важнее, так это то, что «все не так» в самой сути дела...

Ужасно и началось оно, это дело.

Было 19 июня прошлого года. Было раннее утро, был шестой час, но в столовой ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего го-

родского солнца. Было, однако, еще тихо, тем более, что квартира ротмистра находилась в одном из корпусов гусарских казарм, расположенных за городом. И, пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, ротмистр крепко спал. На столе стояли ликеры, чашки с недопитым кофе. В соседней комнате, в гостиной, спал другой офицер, штаб-ротмистр граф Кошиц, а еще дальше, в кабинете, корнет Севский. Утро было, словом, вполне обычное, картина простая, но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром 19 июня. Неожиданно, среди полной тишины этого утра, в прихожей звякнул звонок, потом послышалось, как осторожно и легко, босиком, пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос:

– Дома?

С тем же намеренным шумом и вошел пришедший, особенно свободно распахнув дверь в столовую, особенно смело стуча сапогами и звеня шпорами. Ротмистр поднял изумленное и заспанное лицо: перед ним стоял его товарищ по полку, корнет Елагин, человек маленький и щуплый, рыжеватый и веснушчатый, на кривых и необыкновенно тонких ногах, обутый с тем щегольством, которое было, как он любил говорить, его «главной» слабостью. Он быстро снял с себя летнюю шинель и, бросив ее на стул, громко сказал: «Вот вам мои погоны!» А затем прошел к дивану, стоявшему возле противоположной стены, повалился на него спиной и закинул руки за голову.

– Постой, постой, – пробормотал ротмистр, следя за ним вытаращенными глазами, – откуда ты, что с тобой?

– Я убил Маню, – сказал Елагин.

– Ты пьян? Какую Маню? – спросил ротмистр.

– Артистку Марию Иосифовну Сосновскую.

Ротмистр спустил ноги с дивана:

– Да ты что, шутишь?

– Увы, к сожалению, а может, и к счастью, ничуть.

– Кто это там? Что случилось? – крикнул граф из гостиной.

Елагин потянулся и легким ударом ноги в дверь распахнул ее.

– Не ори, – сказал он. – Это я, Елагин. Я застрелил Маню.

– Что? – сказал граф и, мгновение помолчав, вдруг захохотал. – А, вот оно что! – закричал он весело. – Ну, черт с тобой, на этот раз прощается. Хорошо, что разбудил, а то бы непременно проспал, вчера опять до трех забавлялись.

– Даю тебе слово, что убил, – настойчиво повторил Елагин.

– Врешь, братец, врешь! – закричал и хозяин, берясь за носки. – А я уже было испугался, не случилось ли чего на самом деле... Ефрем, чаю!

Елагин полез в карман штанов, вытащил из него небольшой ключик и, через плечо ловко бросив его на стол, сказал:

– Ступайте, посмотрите сами...

На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина, не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил «сверхъестественной», как он выразился, бледности Елагина и чего-то «нечеловеческого» в его глазах, а затем был «просто поражен и тем и другим»...

II

Итак, вот что произошло утром 19 июня прошлого года.

Через полчаса граф Кошиц и корнет Севский уже стояли на подъезде того дома, где жила Сосновская. Теперь им было больше не до шуток.

Извозчика они чуть не загнали, из пролетки выскочили опрометью, совали ключ в замочную скважину и звонили отчаянно, но ключ не подходил и за дверями была тишина. Потеряв терпение, быстро пошли во двор, стали искать дворника. Дворник побежал с черного хода на кухню и, возвратясь, сказал, что Сосновская, по словам горничной, дома не ночевала, – уехала еще с вечера, захватив с собой кокой-то сверток. Граф и корнет опешили: что же в таком случае делать? Подумав, пожав плечами, сели и поехали в часть, взяв с собой дворника. Из части позво-

нили к ротмистру Лихареву. Ротмистр бешено крикнул в телефон:

– Этот идиот, над которым я уже реветь готов, забыл сказать, что нужно было ехать вовсе не на ее квартиру, а в их любовный притон: Староградская, четырнадцать. Слышите? Староградская, четырнадцать. Нечто вроде парижской гарсоньерки, вход прямо с улицы...

Поскакали на Староградскую.

Дворник сидел на козлах, околоточный, со сдержанной независимостью, сел в пролетку, против офицеров. Было жарко, улицы были людны и шумны, и не верилось, что в такое солнечное и оживленное утро кто-то может лежать где-то мертвым, и в тупик ставила мысль, что это сделал двадцатидвухлетний Сашка Елагин. Как он мог на это решиться? За что он ее убил, почему и как убил? Ничего нельзя было понять, вопросы оставались без всякого ответа.

Когда, наконец, остановились возле старого и неприветливого двухэтажного дома на Староградской, граф и корнет, по их словам, «совсем пали духом». Неужели это здесь и неужели это нужно видеть, хотя и тянет видеть и так неодолимо тянет? Зато околоточный сразу почувствовал себя строгим, бодрым и уверенным.

– Позвольте ключ, – сухо и твердо сказал он, и офицеры заторопились отдать ему ключ с той же робостью, как сделал бы это дворник.

Посредине дома были ворота, за воротами виднелся небольшой двор и деревцо, зелень которого была как-то противоестественно ярка или калилась такой от темно-серых каменных стен. А вправо от ворот и находилась та самая таинственная дверь, выходившая прямо на улицу, которую нужно было отворить. И вот околоточный, нахмурившись, всунул ключ, и дверь отворилась, и граф с корнетом увидели что-то вроде совершенно темного коридора. Околоточный, точно чутьем угадав, где надо искать, протянул вперед руку, шаркнул ею по стене и осветил узкое и мрачное помещение, в глубине которого, между двух кресел, стоял столик, а на нем тарелки с остатками дичи и фруктов. Но еще мрачнее было то, что представилось глазам вошедших далее. В правой стене коридора оказался небольшой входе соседнюю комнату, тоже совершенно темную, могильно озаренную опаловым фонариком, висевшим под потолком, под громадным зонтом из черного шелка. Чем-то черным были затянуты сверху донизу и все стены этой комнаты, совсем глухой, лишенной окон. Тут, тоже в глубине, стоял большой и низкий турецкий диван, а на нем, в одной сорочке, с полуоткрытыми глазами и губами, с поникшей на грудь головой, с вытянутыми конечностями, с немного раздвинутыми ногами, лежала, белела молоденькая женщина редкой красоты.

И вошедшие остановились и на мгновение оцепенели от страха и удивления.

III

Редкой красота покойной была потому, что она на редкость удовлетворяла тем требованиям, которые ставят себе, например, модные художники, изображающие идеально хорошеньких женщин. Тут было все, что полагается: прекрасное сложение, прекрасный тон тела, маленькая и без единого изъяна нога, детская, простодушная прелесть губ, небольшие и правильные черты лица, чудесные волосы... И все это теперь было уже мертво, все стало каменеть, блекнуть, и красота делала мертвую еще страшнее. Волосы ее были в полном порядке, прическа такова, что хоть на бал. Голова лежала на приподнятой диванной подушке, и подбородок слегка касался груди, что давало ее остановившимся, полуоткрытым глазам и всему ее лицу как бы несколько озадаченное выражение. И все это странно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком, в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья.

В общем, картина поразила даже околоточного. Затем все несмело перешли к более подробному осмотру ее.

Прекрасные обнаженные руки покойной были ровно вытянуты вдоль тела. На груди ее, на кружевах рубашки, лежали две визитных карточки Елагина, а у ног гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядом с их женственной наготой. Граф хотел было взять ее, чтобы вынуть из ножен, с нелепой мыслью, нет ли на ней следов крови. Околоточный удержал его от этого незаконного поступка.

– Ах, конечно, – шепотом пробормотал граф, – трогать, конечно, пока ничего нельзя. Но меня удивляет то, что я нигде не вижу ни крови, ни вообще следов преступления. Очевидно,

отравление?

– Имейте терпение, – наставительно сказал околоточный, – подождем следователя и доктора. Но, несомненно, похоже и на отравление...

И точно, было похоже. Крови нигде не было – ни на полу, ни на диване, ни на теле, ни на сорочке покойницы. На кресле, возле дивана, лежали женские панталоны и пеньюар, под ними голубая с перловым отливом рубашечка, юбка из очень хорошей темно-серой материи и шелковое серое мантио. Все это было брошено на диван как попало, но тоже не замарано ни одной каплей крови. Мысль об отравлении подтверждало еще то, что оказалось на выступе стены над диваном: на этом выступе, среди шампанских бутылок и пробок, огарков и женских шпилек, среди исписанных и изорванных клочков бумаги, стоял стакан с недопитым портером и небольшая склянка, на белом ярлыке которой зловеще чернело: «Op. Pulv».

Но как раз в ту минуту, когда околоточный, граф и корнет поочередно перечитывали эти латинские слова, на улице послышался шум подъехавшего экипажа с доктором и следователем, и через несколько минут оказалось, что Елагин говорил правду: Сосновская, в самом деле, была убита из револьвера. Кровавых пятен на сорочке не было. Но зато под сорочкой обнаружили в области сердца багровое пятно, а посередине пятна круглую, с обожженными краями ранку, из которой сочилась жидкая темная кровь, ничего не испачкавшая вследствие того, что ранка была прикрыта комком носового платка...

Что еще установила врачебная экспертиза? Немного: то, что в правом легком покойной есть следы туберкулеза; что выстрел был произведен в упор и что смерть наступила мгновенно, хотя покойная все-таки могла после выстрела произнести короткую фразу; что борьбы между убийцей и его жертвой не было; что она пила шампанское и приняла вместе с портером небольшое (недостаточное для отравления) количество опия; и, наконец, то, что она имела в эту роковую ночь сношение с мужчиной...

Но почему, за что убил ее этот мужчина? Елагин упорно твердил в ответ на этот вопрос: потому, что оба они – и он сам, и Сосновская – были в «трагическом положении», что они не видели иного выхода из него, кроме смерти, и что, убивая Сосновскую, он лишь исполнил ее приказание. Однако этому как будто совершенно противоречили предсмертные записки покойной. Ведь на ее груди нашли две его визитных карточки, исписанных ее рукой по-польски (и, кстати сказать, довольно безграмотно). На одной стояло:

– Генералу Коновницину, председателю правления театра. Приятель мой! Благодарю тебя за благородную дружбу нескольких лет... Шлю последний привет и прошу выдать моей матери все деньги за мои последние выходы...

На другой:

– Человек этот поступил справедливо, убивая меня... Мать, бедная, несчастная! Не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле... Мать! Мы увидимся... там, наверху... Чувствую – это последний момент...

На таких же карточках писала Сосновская и другие предсмертные свои записки. Они валялись на выступе стены и были тщательно изорваны. Их сложили, склеили и прочли следующее:

– Человек этот требует моей и своей смерти... Живой мне не выйти...

– Итак, настал мой последний час... Боже, не оставь меня... Последняя моя мысль – матери и святому искусству...

– Бездна, бездна! Человек этот мой рок... Боже, спаси, помоги...

И, наконец, самое загадочное:

– Quand meme pour toujours...²¹

Все эти записки, как те, что найдены на груди покойной в полной целости, так и те, что найдены на выступе стены в клочках, как будто противоречили уверениям Елагина. Но именно только «как будто». Почему были не изорваны те две визитных карточки, что лежали на груди Сосновской и на одной из которых стояли такие роковые для Елагина слова, как «умираю не по собственной воле»? Елагин не только не изорвал и не унес их с собой, но даже сам (потому что кто же иной мог это сделать?) положил их на самое видное место. Он не изорвал их впопыхах? Впопыхах он, конечно, мог забыть изорвать их. Но как же он мог впопыхах положить на грудь

²¹ И все же навсегда... (франц.)

покойной столь опасные для него записки? И был ли он вообще впопыхах? Нет, он привел мертвую в порядок, прикрыл ее сорочкой, предварительно заложив ее рану платком, потом сам прибирался, одевался... Нет, тут прокурор был прав: это делалось не впопыхах.

IV

Прокурор говорил:

– Есть два разряда преступников. Во-первых, преступники случайные, злодеяние которых есть плод несчастного стечения обстоятельств и раздражения, научно называемого «коротким безумием». И, во-вторых, преступники, совершающие то, что они совершают, по злumu и преднамеренному умыслу: это прирожденные враги общества и общественного порядка, это – уголовные волки. К какому же разряду причислим мы человека, сидящего перед нами на скамье подсудимых? Конечно, ко второму. Он, несомненно, уголовный волк, он совершил преступление потому, что озверел от празднои и разнузданной жизни...

Эта тирада необыкновенно странна (хотя и выражала почти общее мнение нашего города насчет Елагина), и странна тем более, что на суде Елагин все время сидел, опершись на руку, закрываясь ею от публики, и на все вопросы отвечал тихо, отрывисто и с какой-то душой раздражающей робостью и печалью. И, однако, был прокурор и прав: на скамье подсудимых сидел преступник никак не обычный и пораженный вовсе не «коротким безумием».

Прокурор поставил два вопроса: во-первых, разумеется, совершено ли преступление в состоянии аффекта, то есть раздражения, и, во-вторых, было ли оно только невольным пособничеством к убийству, – и ответил на оба вопроса с полной уверенностью: нет и нет.

– Нет, – сказал он, отвечая на первый вопрос, – ни о каком аффекте не может быть и речи, и прежде всего потому, что аффекты не длятся по несколько часов. Да и что могло вызвать аффект Елагина?

Для решения последнего вопроса прокурор задавал себе множество мелких вопросов и тотчас же отвергал или даже высмеивал их.

Он говорил:

– Не пил ли Елагин в роковой день больше обыкновенного? Нет, он вообще много пил, в этот же день не больше обыкновенного.

– Здоровый ли человек был и есть подсудимый? Присоединяюсь к мнению врачей, его исследовавших: вполне здоровый; но совершенно не привыкший себя обуздывать.

– Не вызван ли был аффект невозможностью брака между ним и любимой им женщиной, если только допустить, что он действительно любил ее? Нет, потому что мы точно знаем: подсудимый и не заботился, не предпринимал решительно никаких шагов к устройству этого брака.

И далее:

– Не привел ли его в аффект предполагаемый отъезд Сосновской за границу? Нет, потому что он давно знал об этом отъезде.

– Но тогда, может быть, привела его в аффект мысль о разрыве с Сосновской, о разрыве, который явится следствием отъезда? Опять нет, потому что о разрыве они говорили и до этой ночи тысячу раз. А если так, что же наконец? Разговоры о смерти? Странная обстановка комнаты, ее, так сказать, наваждение, ее гнет, равно как и вообще гнет всей этой болезненной и жуткой ночи? Но что до разговоров о смерти, то они никак не могли быть новостью для Елагина: эти разговоры шли между ним и его возлюбленной непрестанно и, конечно, уже давным-давно приелись ему. А про наваждение просто смешно говорить. Оно ведь весьма умерялось вещами весьма прозаическими: ужином, остатками этого ужина на столе, бутылками и даже, простите, ночной посудой... Елагин ел, пил, отправлял свои естественные потребности, выходил в другую комнату то за вином, то за ножом, чтобы очинить карандаш...

И прокурор заключил так:

– Что же до того, было ли убийство, совершенное Елагиным, исполнением воли покойной, то тут долго рассуждать не приходится: у нас для решения этого вопроса есть голословные уверения Елагина, что Сосновская сама просила убить ее, – и совершенно роковая для него записка Сосновской: «Умираю не по собственной воле»...

V

Многое можно было возразить на частности в речи прокурора. «Подсудимый человек вполне здоровый...» Но где граница здоровья и нездоровья, нормальности или ненормальности? «Он не предпринимал никаких шагов к устройству брака...» Но ведь, во-первых, не предпринимал он этих шагов только потому, что совершенно твердо был убежден в полной бесцельности их; а во-вторых, неужели любовь и брак так уж тесно связаны друг с другом, и Елагин успокоился бы и вообще всячески разрешил бы драму своей любви, обвенчавшись с Сосновской? Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избегать брака?

Но все это, повторяю, частности. А в основном прокурор был прав: аффекта не было.

Он говорил:

– Врачебная экспертиза пришла к заключению, что Елагин был «скорее» в спокойном, чем в аффективном состоянии; а я утверждаю, что не только в спокойном, но удивительно спокойном. В этом нас убеждает осмотр прибранной комнаты, где совершено преступление и где Елагин оставался еще долго после него. Затем – показание свидетеля Ярошенко, видевшего, с каким спокойствием вышел Елагин из квартиры на Староградской и как тщательно, не торопясь, запер он ее на ключ. И, наконец, – поведение Елагина у ротмистра Лихарева. Что, например, сказал Елагин корнету Севскому, который убеждал его «опомниться», вспомнить, не застрелилась ли Сосновская сама? Он сказал: «Нет, брат, я все отлично помню!» – и тут же описал, как именно он произвел выстрел. Свидетеля Будберга «даже неприятно поразил Елагин – он, после своего признания, хладнокровно пил чай». А свидетель Фохт был поражен еще более: «Господин штаб-ротмистр, – иронически сказал ему Елагин, – я надеюсь, что вы сегодня уволите меня от учения. – Это было так страшно, – говорит Фохт, – что корнет Севский не выдержал и зарыдал...» Правда, была минута, когда зарыдал и Елагин: это когда ротмистр вернулся от командира полка, к которому он ходил за приказаниями насчет Елагина, и когда Елагин понял по лицам Лихарева и Фохта, что он, в сущности, больше уже не офицер. Вот в это-то время он и зарыдал, – закончил прокурор, – только в это время!

Конечно, последняя фраза опять очень странна. Кому неизвестно, как часто происходит подобное внезапное пробуждение от столбняка в горе, в несчастье даже от чего-нибудь совершенно незначительного, от чего-нибудь случайно попавшегося на глаза и вдруг напомнившего человеку всю его прежнюю, счастливую жизнь и всю безнадежность, весь ужас его теперешнего положения? А ведь Елагину напомнило все это вовсе не что-нибудь незначительное, случайное. Ведь он как бы и родился офицером, – десять поколений его предков служили. И вот он уже не офицер. И мало того, что не офицер, – не офицер он потому, что нет уже в мире той, которую он любил истинно больше своей жизни, и он сам, сам сделал это чудовищное дело!

Впрочем, это тоже только подробности. Главное же то, что «короткого безумия» действительно не было. Но тогда что же было? Прокурор признал, что «в этом темном деле все должно быть прежде всего сведено к обсуждению характеров Елагина и Сосновской и к выяснению их отношений». И он твердо заявил:

– Сошлись две личности, ничего общего между собой не имеющие...

Так ли это? Вот в этом-то и весь вопрос: так ли это?

VI

О Елагине я сказал бы прежде всего то, что ему двадцать два года: возраст роковой, время страшное, определяющее человека на все его будущее. Обычно переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни – первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и в общем весьма легкомысленно. Часто эта «первая любовь» сопровождается драмами, трагедиями, но совсем никто не думает о том, что как раз в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем волнения, страдания, обычно называемые обожанием милою существа: переживают, сами того не ведая жуткий расцвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола. И вот, будь я защитником Елагина, я просил бы судей обратить внимание на его возраст именно с этой точки зрения и еще на то, что перед нами сидел человек совсем незаурядный в этом смысле. «Молодой гусар, ошалелый прожигатель жизни», – говорил прокурор, повторяя общее мнение и в доказательство правоты своих слов пе-

редал рассказ одного свидетеля, артиста Лисовского: о том, как Елагин пришел однажды в театр днем, когда артисты сходились на репетицию, и как, увидав его, Сосновская отскочила в сторону, за спину Лисовского, и быстро сказала ему: «Дядя, заслони меня от него!» Я ее заслонил, рассказывал Лисовский, и этот гусарик, налитый вином, вдруг остановился и ошалел – стоит, расставив ноги, и смотрит, недоумевая: куда же это делась Сосновская?

Вот именно так: ошалелый человек. Но только от чего ошалелый: ужели от «праздной, разнузданной жизни»?

Происходит Елагин из родовитой и богатой семьи, матери (которая была, заметьте, натурой весьма экзальтированной) он лишился очень рано, от отца, человека сурового, строгого, был прежде всего отделен тем страхом, в котором он и рос, и вырос. Прокурор с жестокой смелостью рисовал не только нравственный, но и физический облик Елагина. И он сказал:

– Таков, господа, был наш герой в живописном гусарском наряде. Но взгляните на него теперь. Теперь его уже ничто не скрашивает; перед нами низкорослый и сутулый молодой человек с белобрысыми усиками и крайне неопределенным, незначительным выражением лица, в своем черном сюртучке весьма мало напоминающий Отелло, то есть личность, по-моему, с резко выраженными дегенеративными особенностями, крайне не храбрый в одних случаях, – как, например, в отношении к отцу, – и крайне дерзкий, не считающийся ни с какими преградами в других, то есть тогда, когда он чувствует себя свободным от отцовского взгляда и вообще надеется на безнаказанность...

Что же, в этой грубой характеристике было много правды. Но я, слушая ее, во-первых, не понял, как можно с легкостью относиться ко всему тому страшно сложному и трагическому, чем часто отличаются люди с резко выраженной наследственностью, а во-вторых, все-таки видел в этой правде только очень небольшую часть правды. Да, рос Елагин в трепете перед отцом. Но трепет не есть трусость, и особенно перед родителями, да еще у человека, которому дано сугубое чувство всего того наследства, которое связывает его со всеми его отцами, дедами и прадедами. Да, наружность Елагина не есть классическая наружность гусара, но и в этом я вижу одно из доказательств незаурядности его натуры: взгляните, сказал бы я прокурору, попристальнее в этого рыжевато-красного, сутулого и тонконового человека, и вы почти со страхом увидите, как далеко от незначительности это веснушчатое лицо с маленькими и зеленоватыми (избегающими глядеть на вас) глазами. И потом, обратите внимание на его дегенеративную силу: в день убийства он был на учении, – с раннего утра, конечно, – и выпил за завтраком шесть рюмок водки, бутылку шампанского, две рюмки коньяку и остался при этом почти совершенно трезвым!

VII

В большом противоречии с общим низким мнением об Елагине стояли и показания многих его полковых товарищей. Все они отзывались о нем самым лучшим образом. Вот каково, например, было мнение о нем эскадронного командира:

– Вступив в полк, Елагин замечательно хорошо поставил себя среди офицеров и всегда был чрезвычайно добр, заботлив, справедлив и к нижним чинам. Характер его, по-моему, отличался только одним: неровностью, которая выражалась, однако, не в чем-нибудь неприятном, а только в частых и быстрых переходах от веселости к меланхолии, от разговорчивости к молчаливости, от уверенности в себе к безнадежности насчет своих достоинств и вообще всей своей судьбы...

Затем – мнение ротмистра Ллхарева:

– Елагин всегда был добрым и хорошим товарищем, только со странностями: то бывал он скромен и застенчиво скрытен, то впадал как бы в некоторую бесшабашность, браваду... После того, как он пришел ко мне с признанием в убийстве Сосновской, и Севский с Кошицем поскакали на Староградскую, он то страстно плакал, то едко и буйно смеялся, а когда его арестовали и везли в заключение, с дикой улыбкой советовался с нами, у какого портного заказать себе штатское платье...

Затем – графа Кошица:

– Елагин был человек в общем нрава веселого и нежного, нервный, впечатлительный, склонный даже к восторженности. Особенно действовали на него театр и музыка, часто доводившая его до слез; да он и сам был необыкновенно способен к музыке, он играл чуть не на всех инструментах...

Приблизительно то же сказали и все прочие свидетели:

– Человек очень увлекающийся, но как будто всегда ожидавший чего-то настоящего, необыкновенного...

– На товарищеских пирушках чаще всего бывал весел и как-то мило надоедлив, шампанского требовал больше всех и угощал им кого попало... Вступив в связь с Сосновской, чувства к которой он всегда чрезвычайно старался скрыть от всех, очень изменился: часто бывал задумчив, печален, говорил, что утверждает в намерении покончить с собой...

Таковы сведения об Елагине, исходившие от лиц, живших с ним в наибольшей близости. Откуда же, думал я, сидя на суде, взял прокурор столь черные краски для его портрета? Или у него есть сведения какие-нибудь другие? Нет, у него их нет. И остается предположить, что к этим черным краскам побудили его общие представления о «золотой молодежи» и то, что он узнал из единственного имевшегося в распоряжении суда письма Елагина к одному своему другу в Кишинев. Тут Елагин с большой развязностью говорил о своей жизни:

– Дошел я, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хорошо, ну, и слава богу, а что завтра будет – наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе...

Такая самооценка как будто связывалась с красноречием прокурора, говорившего, что, «во имя животной борьбы за наслаждения, Елагин поставил женщину, все ему отдавшую, на суд общества и лишил ее не только жизни, но даже последней чести – христианского погребения...» Но связывалась ли на самом деле? Нет, прокурор взял из этого письма только несколько строк. Полностью же оно было таково:

– Дорогой Сергей. Письмо твое получил и хотя поздно отвечаю, но что ж делать? Наверное, ты, читая мое письмо, будешь думать: «Вот каракули, точно муха, попавшая в чернила, напознала!» Ну, что ж, почерк, как говорят, есть если не зеркало, то до известной степени выражение характера. Я все тот же лоботряс, как и был а если хочешь, даже хуже, так как два года самостоятельной жизни и еще кое-что наложили свою печать. Есть, брат кое-что, чего и сам Соломон премудрый не выразит! А потому не удивляйся, если в один прекрасный день узнаешь, что я себя тарарахнул. Я дошел, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хороши, ну, и слава богу, а что завтра будет, наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе. А, вместе с тем, поверишь ли? Чувствую иногда в душе такую силу и муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, черт его знает, к чему, что грудь ломит. Ты скажешь, что это еще юность: так отчего же мои сверстники ничего подобного не ощущают? Я стал страшно нервный: иногда зимой, ночью, в мотель, в холод, вскочив с постели, летаю верхом по улицам, изумляя даже городских, которые привыкли ничему по удивляться, – и замечь, вполне трезвый и не с перепоя. Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, а его все нет и нет! Что ж, тебе-то признаюсь: я влюбился и совсем, совсем не в такую, какими полон весь город... Впрочем, довольно об этом. Пиши мне, пожалуйста, адрес ты мой знаешь. Помнишь, как ты говорил? «Россия, корнету Елагину...»

Поразительно: как можно было после прочтения хотя бы одного этого письма говорить, что «сошлись личности, ничего общего между собой не имеющие»!

VIII

Сосновская была чистокровная полька. Была старше Елагина, – ей было двадцать восемь лет. Отец ее был незначительный чиновник, покончивший жизнь самоубийством, когда ей было всего три года. Мать долго вдовела, потом опять вышла замуж, и опять за мелкого чиновника, и опять скоро стала вдовой. Как видите, семья Сосновской была довольно среднего порядка, – откуда же все те странные душевные черты, которыми Сосновская отличалась, и откуда та страсть к сцене, которая, как мы знаем, очень рано обнаружилась в ней? Думаю, что уж, конечно, не от воспитания в семье и в том частном пансионе, где она училась. А училась она, кстати сказать, очень хорошо и в свободное время много читала. И, читая, порою выписывала из книг мысли и изречения, ей нравившиеся, – конечно, как всегда в подобных случаях бывает, так или иначе связывая их с собою, – и вообще делала некоторые заметки, вела нечто вроде дневника, если только можно назвать дневником клочки бумаги, до которых она не дотрагивалась иногда по целым ме-

сяцам и на которые беспорядочно изливала свои мечты и взгляды на жизнь, а то просто заносила счета прачки, портнихи и прочее в этом роде. Что же именно выписывала она?

– «Не родиться – первое счастье, второе же поскорее возвратиться к небытию». Чудная мысль!

– Свет скучен, смертельно скучен, а душа моя стремится к чему-то необыкновенному...

– «Люди понимают только те страдания, от которых умирают». Мюссе.

– Нет, я никогда не выйду замуж. Это все говорят. Но я клянусь в том богом и смертью...

– Только любовь или смерть. – Но где же во вселенной найдется такой, чтобы я полюбила? Такого нет, не может быть! А как же умереть, когда я, как бесноватая, люблю жизнь?

– Страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле...

– Мать говорит, например, чтобы я вышла из-за денег. Я, я, из-за денег! Какое неземное слово любовь, сколько ада и прелести в нем, хоть я и никогда не любила!

– Весь мир смотрит на меня миллионами плотоядных глаз, как когда я бывала маленькая в зверинце...

– «Быть человеком не стоит. Ангелом – тоже. И ангелы возроптали и восстали на бога. Стоит быть богом или ничтожеством». Красинский.

– «Кто может похвалиться, что проник в ее душу, когда все усилия ее жизни направлены к сокрытию глубины ее души?» Мюссе.

Кончив курс в пансионе, Сосновская тотчас же заявила матери, что она решила посвятить себя искусству. Мать, добрая католичка, сперва, конечно, и слышать не хотела о том, чтобы ее дочь стала актрисой. Однако дочь была совсем не такова, чтобы покоряться кому бы то ни было, да уже и раньше успела внушить матери, что ее жизнь, жизнь Марии Сосновской, никак не может быть обыкновенной и бесславной.

Восемнадцать лет она уехала во Львов и быстро осуществила свои мечты: и на сцену попала без всяких затруднений, и вскоре выделилась на ней. Вскоре она приобрела известность и среди публики, и в театральном мире настолько серьезную, что на третий год службы получила приглашение в наш город. Однако и во Львове заносила она в свою записную книжечку приблизительно то же, что и раньше:

– «Об ней все говорят, над ней плачут и смеются, но кто же знает ее?» Мюссе.

– Если бы не мать, я убила бы себя. Это мое постоянное желание...

– Когда я выеду куда-нибудь за город, увижу небо, такое прекрасное и бездонное, я не знаю, что тогда со мной происходит. Я хочу кричать, петь, декламировать, плакать... полюбить и умереть...

– Я изберу себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить ее траурной материей. Музыка должна играть за стеной, а я лягу в скромном белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет меня. О, как это будет дивно!

И дальше:

– Все, все требуют моего тела, а не души...

– Если бы я была богата, я объехала бы весь свет и любила бы по всему земному шару...

– «Знает ли человек, чего он хочет? Уверен ли в том, что он думает?» Красинский.

И, наконец:

– Негодяй!

Кто был этот негодяй, сделавший, конечно, то, о чем так не трудно догадаться? Известно только то, что он был и не мог не быть. «Уже во Львове, – сказал свидетель Заузе, львовский сослуживец Сосновской, – она не одевалась, а скорее раздевалась для сцены, принимала же у себя всех своих знакомых и поклонников в прозрачном пеньюаре, с голыми ногами. Красота их повергала всех и особенно новичков в восторженное изумление. А она говорила: «Вы не удивляйтесь, это мои собственные», и показывала ноги выше колен. В то же время она не переставала твердить мне, – часто со слезами, – что нет никого, достойного ее любви, и что ее единственная надежда – смерть»...

И вот явился «негодяй», с которым она ездила в Константинополь, в Венецию, в Париж и у которого она бывала в Кракове, в Берлине. Это был какой-то галицийский помещик, человек чрезвычайно богатый. О нем говорил свидетель Вольский, знавший Сосновскую с детства:

– Я всегда считал Сосновскую женщиной очень низкого нравственного уровня. Она не умела держать себя, как надо артистке и обывательнице нашего края. Она любила только деньги,

деньги и мужчин. Цинично, как она еще почти девочкой продала себя старому кабану галицийскому!

Именно об этом «кабане» рассказывала Сосновская Елагину в своей предсмертной беседе. Тут она, роняя слова, жаловалась ему:

– Я росла одиноко, за мной никто не смотрел. Я была в своей семье, да и во всем мире, всем чужая... Одна женщина, – да будет проклято ее потомство! – развращала меня, доверчивую, чистую девочку... А во Львове я искренне полюбила одного человека, как, отца, который оказался такой негодяй, такой негодяй, что я вспомнить не могу о нем без ужаса! И он приучил меня к гашишу, к вину, он возил меня в Константинополь, где у него был целый гарем, он лежал в этом гареме, смотря на своих голых рабынь, и заставлял раздеваться и меня, подлый, низкий человек...

IX

У нас, в нашем городе, Сосновская скоро стала притчей во языцех.

– Еще во Львове, – говорил свидетель Мешков, – многим предлагала она умереть за одну ночь с ней и все твердила, что ищет сердце, способное любить. Она очень настойчиво искала это любящее сердце. А сама постоянно говорила: «Моя главная цель – жить и пользоваться жизнью. Купор должен пробовать все вина и ни одним вином не упиваться. Так же должна поступать и женщина с мужчинами». И так она и поступала, – говорил Мешков. – Совсем не уверен, все ли вина она пробовала, но знаю, что окружила она себя огромным количеством их. Впрочем, может быть, и это делала она главным образом для того, чтобы создавать вокруг себя шум, приобретать себе клакеров для театра. «Деньги, – говорила она, пустяки. Я жадна, порою скупа, как последняя мещанка, но как-то не думаю о деньгах. Главное – слава, все остальное будет». И о смерти она, по-моему, постоянно толковала тоже только с этой целью: заставить говорить о себе...

То же самое, что и во Львове, продолжалось и в нашем городе. И почти такие же писались заметки:

– Боже, какая тоска, какое томление! Хоть бы землетрясение, затмение случилось!

– Как-то вечером я была на кладбище: там было так прекрасно! Мне казалось... но нет, я не умею описать этого чувства. Мне хотелось остаться на всю ночь, декламировать над могилами и умереть от изнеможения. На другой день я играла так хорошо, как никогда...

И опять:

– Вчера я была на кладбище в десять часов вечера. Какое тяжелое зрелище! Луна обливала лучами надгробные камни и кресты. Мне казалось, что я окружена тысячами мертвецов. Я же чувствовала себя такой счастливой, радостной! Мне было очень хорошо...

А познакомившись с Елагиным и узнав от него однажды, что в полку умер вахмистр, она потребовала, чтобы Елагин свез ее в часовню, где лежал покойник, и записала, что вид часовни и покойника при свете луны произвел на нее «потрясающе-восторженное впечатление».

Жажда славы, людского внимания перешли у нее в это время просто в иступление. Да, она была очень хороша собой. Красота ее была в общем не оригинальна, и все-таки было в ней какое-то особое, редкое, не обычное очарование, какая-то смесь простодушия и невинности с звериным лукавством, а кроме того, смесь постоянной игры с искренностью: посмотрите на ее портреты, обратите внимание на взгляд, ей особенно присущий, – взгляд всегда немножко исподлобья, при постоянно чуть-чуть открытых губках, взгляд грустный, чаще всего милый, призывный, что-то обещающий, как бы соглашающийся на что-то тайное, порочное. И она умела пользоваться своей красотой. Со сцены она уловляла поклонников не только тем, что на сцене она особенно умела расцветать всеми своими прелестями, звуком голоса и живостью движений, смехом или слезами, но и тем, что чаще всего выступала в ролях, где она могла показать свое тело. А дома она носила соблазнительные восточные и греческие одежды, в которых и принимала своих многочисленных гостей, одну из своих комнат отвела, как она выражалась, специально для самоубийства, – там были и револьверы, и кинжалы, и сабли в виде серпов и винтов, и склянки со всевозможными ядами, – а постоянным и любимейшим предметом разговоров сделала смерть. Но мало того: часто, беседуя о всяческих способах лишить себя жизни, она вдруг хватала со стены заряженный револьвер, взводила курок, приставляла дуло к своему виску и говорила: «Скорее, поцелуйте меня или я сию минуту выстрелю!» – а не то брала в рот пилюлю со

стрихнином и заявляла, что, если гость тотчас же не упадет на колени и не поцелует ее босую ногу, она проглотит эту пилюлю. И все это она делала и говорила так, что гость бледнел от страха и уходил вдвойне очарованный ею, по всему городу разнося о ней именно те, всех волнующие, слухи, которых она так хотела...

– Вообще она сама собой почти никогда не бывала, – говорил на суде свидетель Залесский, очень близко и долго ее знавший. – Играть, дразнить – это было ее постоянное занятие. Довести человека до бешенства нежными загадочными взглядами, многозначительными улыбками или грустным вздохом беззащитного ребенка – на это она была великая мастерица. Так вела она себя и с Елагиным. Она то распалила его, то обдавала холодной водой... Хотела ли она умереть? Но она плотоядно любила жизнь, смерти боялась необыкновенно. Вообще было в ее натуре очень много жизнерадостности и веселости. Помню, как однажды прислал ей Елагин в подарок шкуру белого медведя. У нее в это время было много гостей. А она всех забыла, – в такой восторг привела ее эта шкура. Она раскинула ее по полу и, не обращая ни на кого внимания, стала кувыркаться на ней через голову, стала выкидывать такие штуки, что позавидовал бы любой акробат... Очаровательная была женщина!

Впрочем, тот же Залесский рассказывал о том, что она страдала припадками тоски, отчаяния. Врач Серошевский, знавший ее десять лет и лечивший ее еще до ее отъезда во Львов, – у нее начиналась тогда чахотка, – тоже показал, что в последнее время она мучилась сильным нервным расстройством, потерей памяти и галлюцинациями, так что он боялся за ее умственные способности. От этого же расстройства лечил ее и врач Шумахер, которого она все уверяла, что не умрет своей смертью (и у которого она однажды взяла два тома Шопенгауэра, «очень внимательно прочитанных и, что всего удивительней, прекрасно понятых, как оказалось потом»). А врач Недзельский дал такое показание:

– Странная была женщина! Когда у нее бывали гости, она чаще всего была очень весела, кокетлива; но случалось – вдруг ни с того ни с сего умолкнет, закатит глаза, уронит голову на стол... а не то начнет бросать, бить об пол стаканы, рюмки... В этих случаях всегда надо было поспешить попросить ее: ну, еще, еще, – и она тотчас же прекращала это занятие.

И вот с этой-то «странной и очаровательной женщиной» и встретился наконец корнет Александр Михайлович Елагин.

Х

Как произошла эта встреча? Как родилась между ними близость и каковы были их чувства друг к другу, их отношения? Об этом дважды рассказал сам Елагин: первый раз, кратко и отрывочно, через несколько часов после убийства, – следовательно; второй раз – на допросах, происходивших три недели спустя после первого допроса.

– Да, – говорил он, – я виновен в лишении жизни Сосновской, но по ее воле...

Я познакомился с ней полтора года тому назад, в кассе театра, через поручика Будберга. Я горячо полюбил ее и думал, что и она разделяет мои чувства. Но я не всегда бывал уверен в этом. Порой мне казалось, что она любит меня даже больше, чем я ее, а порой – наоборот. Кроме того, она постоянно была окружена поклонниками, кокетничала, и я мучился жестокой ревностью. Но в конце концов все-таки не это составляло наше трагическое положение, а что-то другое, чего я не умею выразить... Во всяком случае, клянусь, что я убил ее не из-за ревности...

Я, говорю, познакомился с ней в феврале прошлого года, в театре, возле кассы. Я сделал ей визит, но до октября я бывал у нее не чаще двух раз в месяц и то всегда днем. В октябре я признался ей в своей любви, и она позволила мне поцеловать ее. Через неделю после того мы с ней и с моим товарищем Волошиным ездили ужинать в загородный ресторан, возвращались же оттуда только вдвоем, и, хотя она была весела, ласкова и слегка опьянена, я чувствовал такую робость перед ней, что боялся поцеловать ее руку. Затем она попросила у меня однажды Пушкина и, прочтя «Египетские ночи», сказала: а вы решились бы отдать жизнь за одну ночь с любимой женщиной? И когда я поспешил ответить, что да, она загадочно улыбнулась. Я уже очень любил ее и ясно видел и чувствовал, что это роковая для меня любовь. По мере того, как мы сближались, я смелел, начал говорить ей о своей любви все чаще, говорил, что чувствую, что гибну... уж хотя бы по одному тому, что отец никогда не позволит мне жениться на ней, что жить ей со мной без брака невозможно, как артистке, которой польское общество никогда не простило бы

открытую незаконную связь с русским офицером. И она тоже жаловалась на свою судьбу, на свою странную душу, от ответа же на мои признания, на мой безмолвный вопрос, любит ли она меня, уклонялась, давая как будто мне некоторую надежду этими жалобами и их интимностью...

Потом, с января нынешнего года, я стал бывать у нее каждый день. Я посылал ей букеты в театр, посылал цветы на квартиру, делал подарки... Подарил две мандолины, шкуру белого медведя, перстень и браслет с бриллиантами, решил подарить брошку в виде черепа. Она обожала эмблемы смерти и не раз говорила мне, что желала бы иметь от меня именно такую брошку, с надписью по-французски: «Quand meme pour toujours!»

Двадцать шестого марта этого года я получил от нее приглашение на ужин. После ужина она впервые отдалась мне... в комнате, которую она называла японской. В этой же комнате происходили и наши дальнейшие свидания; служанку она отсылала после ужина спать. А потом она дала мне ключ от своей спальни, наружная дверь которой выходила прямо на лестницу... В память двадцать шестого марта мы заказали себе обручальные кольца, на внутренней стороне которых были вырезаны, по ее желанию, наши инициалы и дата нашей близости...

В одну из наших поездок за город мы подошли в деревне к кресту возле костела, и я поклялся ей перед этим крестом в своей вечной любви, сказал, что она моя жена перед богом и что я до могилы не изменю ей. Она стояла грустная и задумчивая и молчала. Потом сказала просто и твердо: «И я люблю тебя. Quand meme pour toujours!»

В начале мая, когда однажды я ужинал у нее, она достала опий в порошок и сказала: «Как легко умереть! Стоит только подсыпать немного, и готово!» И, высыпав порошок в бокал с шампанским, поднесла бокал ко рту. Я вырвал его у нее из рук, выплеснул вино в камин, а бокал разбил о шпору. На другой день она сказала мне: «Вместо трагедии вчера вышла комедия!» И прибавила: «Что ж мне делать, сама я не решаюсь, ты тоже не можешь, не смеешь... Какой позор!»

И после этого мы стали видаться реже: она сказала, что принимать меня у себя по вечерам больше не может. Почему? Я сходил с ума, мучился ужасно. Но, кроме того, она изменилась ко мне, стала холодна и насмешлива, принимала меня иногда так, точно мы были едва знакомы, и все издевалась над отсутствием у меня характера... И вдруг опять все изменилось. Она стала заезжать за мной для прогулок, стала заигрывать со мной, – может быть, потому, что и я начал усваивать себе холодную сдержанность в обращении с нею... Наконец, она сказала, чтобы я нанял отдельную квартиру для наших свиданий, но такую, чтобы она была на глухой улице, в каком-нибудь сумрачном, старом доме, была бы совершенно темной и отделана так, как она мне прикажет... Вы знаете, как именно была убрана эта квартира...

И вот, шестнадцатого июня я зашел к ней в четыре часа и сказал, что квартира готова, и передал ей один из ключей. Она улыбнулась и, возвращая мне ключ, ответила: «Поговорим об этом после». В то время раздался звонок, пришел некто Шкляревич. Я поспешно спрятал ключ в карман и заговорил о пустяках. Когда же мы уходили вместе со Шкляревичем, она в прихожей громко сказала ему: «Приходите в понедельник», – мне же шепнула: «Приходи завтра, в четыре», – и шепнула так, что у меня закружилась голова...

На другой день я был у нее ровно в четыре часа. Каково же было мое удивление, когда кухарка, отворившая дверь, заявила мне, что Сосновская не может меня принять, и передала мне ее письмо! Она писала, что чувствует себя нездоровой, что она едет к матери на дачу, что «теперь уже поздно». Вне себя, я зашел в первую попавшуюся кондитерскую и написал ей ужасное письмо, прося объяснить, что значит слово поздно, и отправил это письмо с посыльным. Но посыльный принес мне мое письмо обратно – ее не оказалось дома. Тогда я решил, что она хочет окончательно порвать со мной, и, возвратясь домой, написал ей новое письмо, резко упрекая ее за всю ее игру со мной и прося возвратить мне обручальное кольцо, которое для нее, вероятно, только шутка, а для меня самое дорогое в жизни, то, что должно лечь со мной в могилу: я хотел этим сказать, что между нами все кончено, и дать ей понять, что мне остается только смерть. Вместе с этим письмом я возвратил ей ее портрет, все ее письма и вещи хранившиеся у меня: перчатки, шпильки, шляпку... Денщик вернулся и сказал, что ее нет дома и что он оставил письмо и посылку у дворника...

Вечером я поехал в цирк, встретил там Шкляревича, человека мне мало знакомого, и, боясь быть один, пил с ним шампанское. Вдруг Шкляревич сказал: «Послушайте, я вижу, что вы переживаете, и знаю причины этого. Поверьте мне, что она не стоит того. Мы все прошли через это, она всех нас водила за нос...» Мне хотелось выхватить шашку и разрубить ему голову, но я был

в таком состоянии, что не только не сделал ничего подобного и не прервал этого разговора, а даже был втайне рад ему, рад возможности хоть в ком-нибудь найти сочувствие. И не знаю, что со мной случилось; я, конечно, ни слова не проронил в ответ ему, ни слова не сказал о Сосновской, но повез его на Староградскую и показал ему квартиру, которую я с такой любовью выбирал для наших свиданий. Мне было так горько, так стыдно, что я так одурачен с этой квартирой...

Оттуда я погнал извозчика в ресторан Невяровского; шел небольшой дождь, извозчик летел, и мне даже от этого дождя и от огня впереди было больно и страшно. В час ночи я вернулся с Шкляревичем из ресторана домой и уже стал раздеваться, как вдруг денщик подал мне записку: она ждала меня на улице, просила немедленно спуститься. Она приехала с горничной в карете и сказала мне, что она так испугалась за меня, что не могла даже ехать одна, взяла горничную. Я приказал денщику проводить горничную домой, а сам сел к ней в карету, и мы поехали на Староградскую. Дорогой я упрекал ее, говорил, что она играет со мной. Она молчала и, глядя перед собой, иногда вытирала слезы. Впрочем, она казалась спокойной. И так как ее состояние обыкновенно всегда передавалось мне, то и я стал успокаиваться. Когда мы приехали, она совсем повеселела, – квартира ей очень понравилась, я взял ее руку, просил прощения за все свои упреки, просил возвратить ее портрет, то есть тот, который я в раздражении отослал ей. У нас часто бывали ссоры, и я всегда в конце концов чувствовал себя виноватым и всегда просил прощения. В три часа ночи я повез ее домой. А дорогой наш разговор опять обострился. Она сидела, смотря перед собой, я не видел ее лица, чувствовал только запах ее духов и ледяной, злой звук голоса: «Ты не мужчина, – говорила она, – у тебя нет никакого характера, я могу когда угодно, и взбесить, и успокоить тебя. Будь я мужчина, я бы такую женщину изрезала на мелкие кусочки!» Тогда я крикнул: «В таком случае возьмите назад ваше кольцо!» – и насильно надел его ей на палец. Она повернулась ко мне и, смущенно улыбаясь, сказала: «Приходи завтра». Я ответил, что не приду ни в каком случае. Она неловко, робко стала меня просить, говорила: «Нет, ты придешь, придешь... на Староградскую...» И потом решительно прибавила: «Нет, я умоляю тебя прийти, я скоро уеду за границу, я хочу видеть тебя в последний раз, главное, мне нужно тебе сказать очень важную вещь». И опять заплакала и прибавила: «Я только удивляюсь – ты говоришь, что ты меня любишь, что без меня жить не можешь и застрелишься, а не хочешь меня видеть в последний раз...» Тогда я сказал, стараясь быть сдержанным, что если так, то я завтра сообщу ей, в котором часу буду свободен. Когда мы расстались у ее подъезда, под дождем, у меня сердце разрывалось от жалости и любви к ней. Вернувшись домой, я с удивлением и отвращением застал у себя спящего Шкляревича...

Утром в понедельник, восемнадцатого июня, я послал ей записку, что я свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской...»

XI

Антонина Кованько, горничная Сосновской, и ее кухарка, Ванда Линевиц, показали, что в субботу 16-го Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себе челку, бросила в рассеянности спичку на подол своего легкого пеньюара, а пеньюар вспыхнул, и Сосновская дико закричала, сбрасывая, срывая его с себя, – вообще так испугалась, что слегла в постель, послала за доктором, а потом все твердила:

– Вот посмотрите, это к большой беде...

Милая, несчастная женщина! Эта история с пеньюаром и с ее детским ужасом волнует и трогает меня необыкновенно. Этот пустяк как-то удивительно связывает и освещает для меня все то отрывочное и противоречивое, что мы о ней всегда слышали и чего мы наслушались и в обществе, и на суде со времени ее гибели, а главное, удивительно возбуждает во мне живое ощущение той подлинной Сосновской, которую почти никто не понял и не почувствовал по-настоящему, – равно как и Елагина, – невзирая на весь интерес, который к ней всегда проявляли, на все желания понять, разгадать ее, на все толки о ней, которым конца не было за последний год.

Вообще еще раз скажу: изумительно убожество человеческих суждений! Опять произошло то же самое, что всегда бывает, когда людям приходится разбираться в каком-нибудь даже маломальски значительном событии: обнаружилось, что люди глядят и не видят, слушают и не слы-

шат. Нужно же было вопреки всякой очевидности, словно нарочито, исказить до такой степени и Елагина, и Сосновскую, и все, что было между ними! Все как будто условились не говорить ничего, кроме пошлостей. Что ж, мол, тут мудрить: он – гусар, ревнивый и пьяный прожигатель жизни, она – актриса, запутавшаяся в своей безалаберной и безнравственной жизни...

– Отдельные кабинеты, вино, кокотки, дебош, – говорили про него. – Бряцание сабли заглушало в нем все высшие чувства...

Высшие чувства, вино! А что такое вино для такой натуры, как Елагин? «Чувствую иногда такую муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, черт его знает, к чему, что грудь ломит... Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, но его все нет и нет...» А вот во хмелю – то дышится легче и шире, во хмелю неуловимый напев звучит явственнее, ближе. И что с того, что и хмель, и музыка, и любовь в конце концов обманчивы, только усугубляют это несказанное в своей остроте и в своем излишестве ощущение мира, жизни?

– Она не любила его, – говорили про нее. – Она только боялась его, – ведь он постоянно грозил ей, что убьет себя, то есть не только отяготит ее душу своей смертью, но и сделает ее героиней большого скандала. Есть свидетельства, что она испытывала к нему «даже некоторое отвращение». Она все-таки принадлежала ему? Но разве это меняет дело? Мало ли кому она принадлежала! Однако Елагин захотел превратить в драму одну из тех многочисленных любовных комедий, которые она любила играть...

И еще:

– Она ужаснулась той страшной, безмерной ровности, которую он начал проявлять все более и более. Раз, при нем, был у нее в гостях артист Стракун. Он сидел сперва спокойно, только бледнел от ревности. И вдруг встал и быстро вышел в соседнюю комнату. Она кинулась за ним вслед и, увидев в его руках револьвер, упала перед ним на колени, умоляя его сжалиться над собой и над ней. И таких сцен разыгрывалось, вероятно, немало. Не понятно ли после этого, что она наконец решилась избавиться от него, отправиться в заграничную поездку, к которой она была уже совсем готова накануне своей смерти? Он принес ей ключ от квартиры на Староградской, от квартиры, которую она, очевидно, выдумала лишь затем, чтобы иметь предлог не принимать его у себя до отъезда. Она этого ключа не взяла. Он стал ей навязывать его. Она заявила: теперь уже поздно, – то есть теперь мне не к чему брать его, я уезжаю. Но он закатил ей такое письмо, что, получив его, она ночью поскакала к нему, вне себя от страха, что может застать его уже мертвым...

Пусть все это так (хотя все эти рассуждения совершенно противоречат исповеди Елагина). Но почему же все-таки Елагин так «страшно», «безмерно» ревновал и захотел превратить комедию в драму? На что нужно было это ему? Отчего просто не застрелил он ее в один из припадков ревности? Отчего «борьбы между убийцей и его жертвой не было»? И затем: «Она чувствовала к нему порой даже некоторое отвращение... Она при посторонних иногда издевалась над ним, давала ему обидные прозвища, называла его, например, кривоногим щенком...» Но, бог мой, ведь в этом вся Сосновская! Ведь еще в ее львовских заметках есть запись про отвращение к кому-то: «Так он еще любит меня! А я? Что чувствую я к нему? И любовь и отвращение!» Она оскорбляла Елагина? Да, однажды, поссорившись с ним, – у них это бывало весьма часто, – она позвала горничную и, бросив свое обручальное кольцо на пол, крикнула: «Возьми эту гадость себе!» Но что она сделала перед этим? Перед этим она выбежала в кухню и сказала:

– Я сейчас позову тебя, брошу вот это кольцо на пол и скажу, чтобы ты взяла его себе. Но помни – это будет только комедия, ты должна нынче же возвратить мне его, потому что этим кольцом я с ним, с этим дураком, обручилась, и оно для меня дороже всего на свете...

Ее совсем недаром называли женщиной «легкого поведения», и недаром католическая церковь отказала ей в христианском погребении, «как личности дурной и распутной». Она всецело принадлежала к тем женским натурам, которые дают и профессиональных публичных женщин, и свободных служительниц любви. Но что это за натуры? Это натуры с резко выраженным и неутоленным, неудовлетворенным полом, который и не может быть утолен. Вследствие чего? Но разве я знаю, вследствие чего? И заметьте, что всегда происходит: мужчины того страшно сложного и глубоко интересного типа, который есть (в той или иной мере) тип атавистический, люди по существу своему обостренно чувственные не только по отношению к женщине, но и вообще во всем своем мироощущении, всеми силами своей души и тела тянутся всегда именно к таким

женщинам – и являются героями огромного количества любовных драм и трагедий. Почему? В силу своего низкого вкуса, в силу своей развращенности или просто в силу доступности таких женщин? Конечно, нет, тысячу раз нет. Нет уже хотя бы потому, что ведь такие мужчины очень хорошо и чувствуют и видят, насколько всегда мучительна, порою истинно страшна и гибельна связь, близость с такими женщинами. Они это чувствуют, видят, знают, а все-таки тянутся больше всего к ним, именно к таким женщинам, – неудержимо тянутся к своей муке и даже гибели. Почему?

Конечно, только комедию играла она, когда писала свои предсмертные записочки, внушая себе, будто и впрямь настал ее последний час. И ничуть не убеждают в противном никакие ее дневники, – кстати сказать, весьма банальные и наивные, – и никакие посещения кладбищ...

Наивность ее дневников и театральность прогулок на кладбища никто не отрицает, равно как и того, что она любила намекать на свое сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера. Но почему же все-таки избрала она именно тот, а не другой род дневника и хотела быть в сродстве именно с такими женщинами? Все было у нее: красота, молодость, слава, деньги, сотни поклонников, и всем этим она пользовалась со страстью и упоением. И однако жизнь ее была сплошным томлением, непрестанной жаждой уйти прочь от постылого земного мира, где все всегда не то и не то. В силу чего? В силу того, что она все это наиграла себе. Но отчего же она наиграла именно это, а не что-либо другое? Оттого, что все это столь обычно среди женщин, посвятивших себя, как они выражаются, искусству? Но отчего же это столь обычно? Отчего?

ХП

Утром в воскресенье настольный колокольчик зазвенел из ее спальни в восьмом часу: она проснулась и позвала горничную гораздо раньше обыкновенного. Горничная внесла поднос с чашкой шоколаду и раздвинула занавески. Она сидела на постели и, по своему обыкновению, исподлобья, с полуоткрытыми губками, задумчиво и рассеянно следила за ней. Потом сказала:

– А знаешь, Тоня, я вчера заснула сразу же после доктора. Ой, мать божия, как я испугалась! А только он приехал, мне стало так хорошо и спокойно. Ночью проснулась, стала на колени па постели и целый час молилась... Ты подумай, какова бы я была, если бы меня всю обожгло! Глаза бы лопнули, губы раздулись. На меня страшно было бы взглянуть... Все лицо закрыли бы ватой...

До шоколаду она долго не притрагивалась и все сидела, что-то думая. Потом выпила шоколад и, приняв ванну, в купальном халатике и с распущенными волосами, написала за своим маленьким письменным столиком несколько писем на бумаге в траурной рамке: она уже давно заказала себе такую бумагу. Одевшись и позавтракав, она уехала: была на даче у матери, а вернулась только в двенадцатом часу ночи с актером Стракуном, который «всегда был у нее свой человек».

– Они приехали оба веселые, – рассказывала горничная. – Встретив их в прихожей, я сейчас же отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которые в ее отсутствие прислал Елагин. Она шепнула мне про вещи: «Спрячь скорее, чтобы не видал Стракун!» – потом поспешно вскрыла письмо и сейчас же побледнела, растерялась и закричала, уже не обращая внимания на то, что Стракун сидел в гостиной: «Ради бога, беги одним духом за каретой!» Я сбегала за каретой и застала ее уже на подъезде. Мы скакали во весь опор, и дорогой она все крестилась и повторяла: «Ой, мать божия, только бы застать его в живых!»

В понедельник она с утра уехала на реку, в купальни. Обедали у нее в этот день Стракун и англичанка (которая вообще приходила к ней почти каждый день давать уроки английского языка и почти никогда не давала). После обеда англичанка ушла, а Стракун оставался еще часа полтора: курил, лежа на диване, положив голову на колени хозяйки, которая «была в одном капоте и в японских туфельках на босу ногу». Наконец Стракун ушел, и она, прощаясь с ним, просила его прийти «нынче же в десять часов вечера».

– Не часто ли будет? – сказал Стракун, смеясь и отыскивая в прихожей палку.

– Ой, нет, пожалуйста! – сказала она. – А если меня не будет, ты уж, Люся, не сердись...

А затем долго жгла в камине какие-то письма и бумаги. Она напевала, шутила с горничной:

– Все теперь сожгу, раз сама не сгорела! А хорошо, кабы сгорела! Только уж вся, дотла...

Потом сказала:

– Скажи Ванде, чтобы ужин был к десяти вечера. А сейчас я уезжаю...

Она уехала в шестом часу, захватив с собой «что-то завернутое в бумагу и похожее на револьвер».

Она поехала на Староградскую, но по дороге завернула к швее Лещинской, которая поправляла, укорачивала ее пеньюар, вспыхнувший на ней в субботу, и, по словам Лещинской, «была в милом и веселом духе». Осмотрев пеньюар и завернув его в бумагу вместе с тем свертком, который она взяла из дому, она еще долго сидела в мастерской, среди девушек мастериц, все говорила: «Ой, мать божия, как я опоздала, пора мне уходить, ангелочки!» – и все не уходила. Наконец решительно поднялась и со вздохом, но весело сказала:

– Прощайте, пани Лещинская. Прощайте, сестрички, ангелочки, спасибо, что поболтали со мной. Мне так приятно сидеть в вашем милом женском кругу, а то все с мужчинами да с мужчинами!

И, еще раз с улыбкой покивав с порога головой, вышла...

Зачем взяла она с собой револьвер? Револьвер этот принадлежал Елагину, но она держала его у себя, боясь, что Елагин застрелится. «Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что через несколько дней надолго уезжала за границу», – сказал прокурор и добавил:

– Так отправилась она на роковое, но не заведомо роковое для нее свидание. В семь часов она была в доме № 14 по Староградской, в квартире № 1, – и вот дверь этой квартиры затворилась, а вновь открылась только утром 19 июня. Что там происходило ночью? Об этом рассказать нам некому, кроме Елагина. Послушаем же его еще раз...

XIII

И еще раз, в глубоком молчании, выслушали мы все, вся многолюдная зала суда, те страницы обвинительного акта, которые прокурор счел нужным восстановить в пащей памяти и которыми кончался рассказ Елагина:

– В понедельник восемнадцатого июня я послал ей записку, что свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской».

В шесть без четверти я был на месте и привез с собой закусок, две бутылки шампанского, две бутылки портеру два стаканчика и флакон с одеколоном. Но ждать пришлось долго: она приехала только в семь...

Войдя, она рассеянно поцеловала меня, прошла во вторую комнату и бросила сверток, который привезла с собой, на диван. – «Выйди, – сказала она мне по-французски, – я хочу раздеться». – Я вышел и опять долго сидел один. Я был вполне трезв и страшно подавлен, смутно чувствуя, что все кончено, кончается... Впрочем, и обстановка была странная: я сидел при огне, как ночью, а меж тем я знал и чувствовал, что на дворе, за стенами этих глухих и темных комнат, еще день, прекрасный летний вечер... Она долго не звала меня, не знаю, что она делала. За дверью было совершенно тихо. Наконец она крикнула: «Иди, теперь можно...»

Она лежала на диване, в одном пеньюаре, с голыми ногами, без чулок и без туфель, и молчала, исподлобья глядя в потолок, на фонарь. Сверток, с которым она приехала, был развернут, и я увидел свой револьвер. Я спросил: «А это ты зачем привезла?» Она ответила не сразу: «Так... Ведь я уезжаю... Ты лучше держи его здесь, а не дома...» У меня мелькнула страшная мысль: «Нет, это неспроста!» – но я ничего не сказал...

И разговор, который начался между нами после этого, шел довольно долго, с принуждением, холодно. Я тайне страшно волновался, – все хотел сообразить что-то, все ждал, что вот-вот я соберусь с мыслями и скажу ей, наконец, что-то важное и решительное, – ведь я понимал, что это, может быть, последнее наше свидание или, во всяком случае, разлука надолго, – и все ничего не мог, чувствовал свое полное бессилие. Она сказала: «Кури, если хочешь...» – «Но ведь ты не любишь», – ответил я. – «Нет, теперь все равно, – сказала она. – И дай мне шампанского...» Я так этому обрадовался, точно это было моим спасением. Мы в несколько минут выпили всю бутылку, я сел возле нее и стал целовать ее руки, говоря, что я не переживу ее отъезда. Она ерошила мне волосы и рассеянно говорила: «Да, да... Какое несчастье, что я не могу быть твоей женой... Все и все против нас, только, может, один бог за нас... Я люблю твою душу, люблю твою фантазию...» Что она хотела выразить этим последним словом, я не знаю. Я посмотрел вверх под зонт и сказал: «Посмотри, мы тут с тобой как в склепе. И как тихо!» В ответ она только

грустно улынулась...

Часов в десять она сказала, что ей хочется есть. Мы перешли в переднюю комнату. Но ела она мало, я тоже, – мы больше пили. Вдруг она взглянула на закуски, привезенные мною, и воскликнула: «Глупый, блязень, сколько опять купил! В следующий раз не смей больше этого делать». – «Но когда же будет теперь этот следующий раз?» – спросил я. Она странно посмотрела на меня, потом уронила голову и закатила глаза под лоб. «Иисус, Мария, – прошептала она, – что ж нам делать? Ой, я хочу тебя безумно! Пойдем скорей».

Через некоторое время я взглянул на часы, был уже второй час. «Ой, как поздно, – сказала она. – Надо сию же минуту ехать домой». Однако она даже не приподнялась и прибавила: «Знаешь, я чувствую, что нужно уезжать как можно скорее, а не могу двинуться с места. Я чувствую, что не выйду отсюда. Ты мой рок, моя судьба, божья воля...» И этого я не мог понять. Вероятно, она хотела сказать что-то общее с тем, что написала потом: «Умираю не по своей воле». Вы думаете, что она этой фразой выразила свою незащищенность передо мной. А по-моему, она хотела сказать другое: что наша несчастная встреча с ней – рок, божья воля, что она умирает не по своей, а по божьей воле. Впрочем, я не придавал тогда особого значения ее словам, я давно привык к ее странностям. Потом она внезапно сказала: «Есть у тебя карандаш?» Я опять был удивлен: зачем ей карандаш? Однако поспешил подать, – он был у меня в записной книжечке. Она попросила дать ей еще визитную карточку. Когда она стала что-то писать на ней, я сказал: «Но послушай, не надобно на моей визитной карточке писать записки». «Нет, это так, заметки для себя, – ответила она. Оставь меня подумать и подремать». – И, положив исписанную карточку себе на грудь, закрыла глаза. Стало так тихо, что я впал в какое-то оцепенение...

Так прошло, должно быть, не меньше получаса. Вдруг она открыла глаза и холодно сказала: «Я забыла, я пришла возвратить тебе твоё кольцо. Ты сам хотел вчера все кончить». И, приподнявшись, бросила кольцо на выступ стены. «Разве ты меня любишь? – почти крикнула она. – Не понимаю, как ты можешь спокойно предоставлять мне продолжать жить! Я женщина, у меня нет решимости. Я не боюсь смерти, – боюсь страданий, но ты бы мог одним выстрелом покончить со мной, а потом с собой». – И тут я еще больше, с страшной ясностью понял весь ужас, безысходность нашего положения, и что оно должно наконец разрешиться чем-нибудь. Но убить ее – нет, я чувствовал, что этого я не могу. Я чувствовал другое: настала решительная минута для меня. Я взял револьвер и взвел курок. «Как? Только себя? – воскликнула она, вскакивая. – Нет, клянусь Иисусом, ни за что!» – И выхватила револьвер у меня из рук...

И опять настало это мучительное молчание. Я сидел, она лежала, не двигаясь. И вдруг невинно, про себя, сказала что-то по-польски и затем ко мне: «Дай сюда мое кольцо». Я подал. «И свое!» – сказала она. Я поспешил исполнить и это. Она надела на палец свое, а мне приказала надеть мое и заговорила: «Я тебя всегда любила и сейчас люблю. Я тебя свела с ума и замучила, но уж таков мой характер и такова наша судьба. Дай мне мою юбку и приноси портеру...» Я подал ей юбку и пошел за портером, а когда вернулся, увидел, что возле нее стоит скляночка с опиумом. «Слушай, – сказала она твердо. – Теперь уже конец комедиям. Ты можешь жить без меня?» Я ответил, что нет. – «Да, – сказала она, – я взяла всю твою душу, все твои мысли. Ты не колеблешься убить себя? А если так, возьми и меня с собой. Мне без тебя тоже не жить. И, убивши меня, ты умрешь с сознанием, что я наконец уже вся твоя – и навеки. А теперь слушай мою жизнь...» И она опять легла и, помолчав минуту и успокоившись, не спеша стала мне рассказывать всю свою жизнь с самого детства... Я почти ничего не помню из этого рассказа...

XIV

– Не помню и того, кто из нас стал раньше писать... Я переломил карандашик пополам... Мы стали писать и писали все время молча. Я написал, кажется, прежде всего отцу... Вы спрашиваете, почему я упрекал его, что он «не хотел моего счастья», когда я даже и не пытался ни разу просить его согласия на мой брак с ней? Не знаю... Ведь он все равно не согласился бы... Потом я писал однополчанам, прощался с ними... Потом, кому еще? Командиру полка, о том, чтобы меня прилично похоронили. Вы говорите: значит, у меня была уверенность, что я покончу с собой? Конечно. Но как же все-таки я не сделал этого? Не знаю...

А она, помню, писала медленно, останавливаясь и обдумывая что-то; напишет слово и исподлобья глядит в стену... Рвала записки она сама, а не я. Писала, рвала и бросала куда попало...

Мне кажется, что и в могиле не будет так страшно, как когда мы в этот поздний час, в этой тишине, под этим фонарем, писали все эти ненужные записки... Это была ее воля писать их. Я вообще беспрекословно повиновался всему тому, что она приказывала мне в эту ночь вплоть до самого последнего момента...

Вдруг она сказала: «Довольно. И уж если делать, так скорее. Дай же мне портеру, благовослови, мать божия!» – Я налил стакан портеру, и она, приподнявшись, решительно бросила в него щепотку порошку. Выпив больше половины, она остальное велела допить мне. Я выпил. Она же заметалась и, хватая меня за руки, стала просить: «А теперь убей, убей меня! Убей ради нашей любви!»

Как именно я сделал это? Я, кажется, обнял ее левой рукой, – да, конечно, левой – и прильнул к ее губам. Она говорила: «Прощай, прощай... Или нет: здравствуй, теперь уже навсегда... Если не удалось здесь, то там, наверху...» Я прижался к ней и держал палец на спуске револьвера... Помню, я чувствовал, как дергалось все мое тело... А потом как-то сам собой дернулся палец... Она успела сказать по-польски: «Александр, мой возлюбленный!»

В котором часу это было? Думаю, что в три. Что я делал после того еще два часа? Но я счас шел до Лихарева. А остальное время я сидел возле нее, потом зачем-то приводил все в порядок...

Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом. Когда я увидел ее мертвой, я забыл все в мире. Я сидел и только смотрел на нее. Потом, в таком же диком бессознании, стал прибирать ее и комнату... Я не мог бы не сдержать слова, которое я дал ей, что после нее я убью себя, но мной овладело полное безразличие... Так же безразлично отношусь я и теперь к тому, что живу. Но я не могу примириться с тем, что думают, будто я палач. Нет, нет! Может быть, я виноват перед людским законом, виноват перед богом, но не перед ней!

<11 сентября. 1925. Приморские Альпы>

Ночь

На даче темно, – час поздний, – и все окрест струится непрерывным журчанием. Я сделал длинную прогулку по обрывам над морем и лег в камышовое кресло на балконе. Я думаю – и слушаю, слушаю: хрустальное: журчание, наваждение!

Ночная бездонность неба переполнена разноцветными висющими в нем звездами, и среди них воздушно сереет прозрачный и тоже полный звезд Млечный Путь, двумя неравными дымами склоняющийся к южному горизонту, беззвездному и поэтому почти черному. Балкон выходит в сад, усыпанный галькой, редкий и низкорослый. С балкона открывается ночное море. Бледное, млечно-зеркальное, оно летаргически-недвижно, молчит. Будто молчат и звезды. И однообразный, ни на секунду не прерывающийся хрустальный звон стоит во всем этом молчаливом ночном мире, подобно какому-то звенящему сну.

О чем я думаю?

«Решился я испытать разумом все, что делается под солнцем; но это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя... Бог сотворил людей разумно, но, увы, люди пустились в большую затейливость». И Екклезиаст отечески советует: «Не будь слишком правдив и не умствуй слишком». Но я все «умствую». Я «слишком правдив».

О чем я думаю? Когда я спросил себя об этом, я хотел вспомнить, о чем именно я думал, и тотчас же подумал о своем думанье и о том, что это думанье есть, кажется, самое удивительное, самое непостижимое – и самое роковое в моей жизни. О чем думал я, что было во мне? Какие-то мысли (или подобие мыслей) об окружающем и желание зачем-то запомнить, сохранить, удерживать в себе это окружающее... Что еще? Еще чувство великого счастья от этого великого покоя, великой гармонии ночи, рядом же с этим чувство какой-то тоски и какой-то корысти. Откуда тоска? Из тайного чувства, что только во мне одном нет покоя – вечное тайное томление! – и нет бездумности. Откуда корысть? Из жажды как-то использовать это счастье и даже эту самую тоску и жажду, что-то создать из них... Но и тут тоска, Екклезиаст: «В будущие дни все будет забыто. Нет памяти о прежних людях. И любовь их и ненависть, и ревность давно исчезли, и уже нет им участия ни в чем, что делается под солнцем».

О чем я думал? Но не важно, о чем именно думал и – важно мое думанье, действие совершенно для меня непостижимое, а еще важнее и непостижимее – мое думанье об этом думанье и о

том, что «я ничего не понимаю ни в себе, ни в мире» и в то же время понимаю мое непонимание, понимаю мою потерянность среди этой ночи и вот этого колдовского журчания, не то живого, не то мертвого, не то бессмысленного, не то говорящего мне что-то самое сокровенное и самое нужное.

Эта мысль о собственной мысли, понимание своего собственного непонимания есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что во сто крат больше меня, и, значит, доказательство моего бессмертия: во мне есть, помимо всего моего, еще некое нечто, очевидно, основное, неразложимое, – истинно частица бога.

Да, но ведь это частица того не имеющего ни формы, ни времени, ни пространства, что и есть моя гибель. Вкусите и будете как бог. Но «бог на небе, мы же на земле». Вкушая, для земли, для земных форм и законов умираем. Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен. Но эти-то божеские свойства и ужасны для меня. И если они все растут во мне, я для своей человеческой жизни, для этого земного «бывания» и «делания» гибну...

Неподвижно темнеют мелкие деревья в саду.

Между ними сереет галька, белеют белые цветы в Цветнике, а дальше – обрывы – и млечной плащаницей подымается в небо море.

В этой млечности есть зеркальность; но на горизонте сумрачно, зловеще: это от Юпитера и оттого, что там, в южном небосклоне, нет почти звезд.

Юпитер, золотой, огромный, горит в конце Млечного Пути так царственно, что на балконе лежат чуть видные тени от стола, от стульев. Он кажется маленькой луной какого-то иного мира, и его сияние туманно-золотистым столпом падает в зеркальную млечность моря с великой высоты небес, меж тем как на горизонте, в силу противоположности со светом, мрачно рисуется как бы темный холм.

И непрерывный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, похож то на миллионы текущих и сливающихся ручьев, то на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальной спиралью цветы...

Только человек дивится своему собственному существованию, думает о нем. Это его главное отличие от прочих существ, которые еще в раю, в недумании о себе. Но ведь и люди отличаются друг от друга – степенью, мерой этого удивления. За что же отметил меня бог роковым знаком удивления, думанья, «умствования» так сугубо, зачем все растет и растет во мне оно? Умствуют ли мириады этих ночных, степных цикад, наполняющих вокруг меня как бы всю вселенную своей любовной песнью? Они в раю, в блаженном сне жизни, а я уже проснулся и бодрствую. Мир в них и они в нем, а я уже как бы со стороны гляжу на него. «Пожирает сердце свое глупец, сидящий праздно. Кто наблюдает ветер, тому не сеять...»

Я слушаю и думаю. И от этого я бесконечно одинок в этом полнотном безмолвии, колдовски звенящем мириадами хрустальных источников, неиссякаемо, с великой покорностью и бездумностью льющихся в какое-то бездонное Лоно. Горний свет Юпитера жутко озаряет громадное пространство между небом и морем, великий храм ночи, над царскими вратами которого вознесен он как знак святого духа. И я один в этом храме, я бодрствую в нем.

День есть час делания, час неволи. День во времени, в пространстве. День – исполнение земного долга, служения земному бытию. И закон дня повелевает: будь в делании и не прерывай его для осознания себя, своего места и своей цели, ибо ты раб земного бытия и дано тебе в нем известное назначение, звание, имя. А что есть ночь? И подобает ли человеку быть пред лицом ее в бодрствовании, в том непостижимом, что есть наше «умствование»? Заповедано было не вкушать от запретного плода, и вот послушай, послушай их, этих самозабвенных певцов: они не вкушали и не вкушают! И что иное, как не славословие им, вынесли Екклесиасты из всей своей мудрости? – это они сказали: «Все суета сует, и нет выгоды человеку при всех трудах его!» Но они же и прибавили – с горькой завистью: «Сладок сон работающего! И нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, и есть с веселием хлеб свой, и пить в радости сердца вино свое!» Что есть ночь? То, что раб времени и пространства на некий срок свободен, что снято с него его земное назначение его земное имя, звание, – и что уготовано ему, если он бодрствует, великое искушение: бесплодное «умствование», бесплодное стремление к пониманию, то есть непонимание сугубое: непонимание ни мира, ни самого себя, окруженного им, ни своего начала, ни своего конца.

У меня их нет, – ни начала, ни конца.

Я знаю, что мне столько-то лет. Но ведь мне сказали это, то, что я родился в таком-то году, в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения, а следовательно, и счета моих лет, но даже и того, что я существую по причине рождения.

Рождение! Что это такое? Рождение! Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторилось во мне почти тождественно. «Я помню, что когда-то, мириады лет тому назад, я был козленком». И я сам испытал подобное (как раз в стране того, кто сказал это, в индийских тропиках): испытал ужас ощущения, что я уже был когда-то тут, в этом райском тепле.

Самообман? Самовнушение?

Но ведь так вероятно, что мои пращуры обитали именно в индийских тропиках. Как же могли они, столько раз передававшие своим потомкам и наконец передавшие и мне почти точную форму уха, подбородка, бровных дуг, как могли они не передать и более тонкой, невесомой плоти своей, связанной с Индией? Есть боящиеся змеи, пауков «безумно», то есть вопреки уму, а ведь это и есть чувство какого-то прежнего существования, темная память о том, например, что когда-то древнему пращуру боящегося постоянно грозила смерть от кобры, скорпиона, тарангула. Мой пращур обитал Индии. Почему же, при виде кокосовых пальм, склоненных с океанийского побережья, при виде голых темно-коричневых людей в теплой тропической воде, не мог вспомнить я того, что я чувствовал некогда, будучи синим голым темно-коричневым предком?

Но нет у меня и конца.

Не понимая, не чувствуя своего рождения, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы даже малейшего представления, знания, а может, и ощущения, родись я и живи на каком-нибудь совершенно необитаемом, без единого живого существа, острове. Я всю жизнь живу под знаком смерти – и все-таки всю жизнь чувствую, будто я никогда не умру. Смерть! Но каждые семь лет человек перерождается, то есть незаметно умирает, незаметно возрождаясь. Значит, не раз перерождался (то есть умирал, возрождаясь) и я. Умирал – и, однако, жил, умер уже многократно – и, однако, в основе все тот же, что и прежде, да в придачу еще весь полон своим прошлым.

Начало, конец. Но страшно зыбки мои представления времени, пространства. И с годами все больше не только чувствую, но и сознаю я это.

Меня выделили из многих прочих. И хотя всю жизнь я мучительно сознаю слабость и недостаточность всех моих способностей, я, по сравнению с некоторыми, и впрямь не совсем обычный человек. Но вот именно поэтому-то (то есть в силу моей некоторой необычайности, в силу моей принадлежности к некоторому особому разряду людей) мои представления и ощущения времени, пространства и самого себя зыбки особенно.

Что это за разряд, что это за люди? Те, которых называют поэтами, художниками. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и прочих, – то есть, как принято говорить, способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной (чувственной) Памятью. А для того, чтобы быть одним из таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков очень долгий путь существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью.

Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть особенно сильное Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия. И вот Будда, Соломон, Толстой...

Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы... Разительное сходство с Буддами, Соломонами, Толстыми! И вообще, сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности! Всякий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор

на черепе Будды (и припадки Магомета, когда ангелы в молниях открывали ему «тайны и бездны неземные» и «в мановение ока», то есть вне всяких законов времени и пространства, переносили из Медины в Иерусалим – на Камень Мория, «непрестанно размахивающийся между небом и землей», как бы смешивающий землю с небом, переходящее с вечным).

Все Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи, – вот она, эта звенящая, колдующая Майя, послушай, послушай ее! – и все отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения...

Слабое движение воздуха, запаха цветов из цветника и морской свежести неожиданно доходит до балкона. И через минуту слышится шорох, тихий вздох полусонной волны, медленно накатившейся где-то внизу на берег. Счастливая, дремотная, бездумная, покорная, умирающая, не ведая того! Накатилась, плеснула, озарила пески бледно-голубым сиянием, – сиянием несметных жизней, – и так же медленно потянулась назад, возвращаясь в колыбель и могилу свою. И несметные жизни поют окрест как будто еще иступленнее, и Юпитер, золотым потоком льющийся в великое зеркало вод, блещет в небесах как будто еще страшнее и царственнее...

Разве я уже не безначален, не бесконечен, не вездесущ?

Вот десятки лет отделяют меня от моего младенчества, детства. Бесконечная данность! Но стоит мне лишь немного подумать, как время начинает таять. Не раз испытал я нечто чудесное. Не раз случалось: вот я возвратился в те поля, где я был некогда ребенком, юношей, – и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мной с тех пор, точно не было. Это совсем, совсем не воспоминание: нет, просто я опять прежний, совершенно прежний. Я опять в том же самом отношении к этим полям, к этому полевому воздуху, к этому русскому небу, в том же самом восприятии всего мира, какое было у меня вот здесь, на этом проселке, в дни моего детства, отрочества!

В такие минуты не раз думал я: каждый миг того, чем я жил здесь когда-то, оставлял, таинственно отпечатлевал свой след как бы на каких-то несметных, бесконечно-малых, сокровеннейших пластинках моего Я – и вот некоторые из них вдруг ожили, проявились. Секунда – и они опять меркнут во тьме моего существа. Но пусть, я знаю, что они есть, «Ничто не гибнет – только видоизменяется». Но, может, есть нечто, что не подлежит даже и видоизменению, не подвергается ему не только в течение моей жизни, но и в течение тысячелетий? Великое множество таких отпечатков передано мне моими предками, пращурами. Богатство способностей, гений, талант, – что это, как не богатство этих отпечатков (и наследственных, и приобретенных), как но та или иная чувствительность их и количество их проявлений в луче того Солнца, что откуда-то падает на них порою?

Недавно, проснувшись случайно на рассвете, я вдруг поразили мыслью о своих годах. Казалось когда-то, что это какое-то особое, почти страшное существо – человек, проживший сорок, пятьдесят лет. И вот таким существом стал наконец и я. Что же я такое, сказал я себе, чем именно счал я теперь? И, сделав маленькое усилие воли, взглянул на себя как на постороннего, – как дивно, что мы это можем! – я, конечно, совершенно живо ощутил, что я и теперь совершенно тот же, кем был и в десять, в двадцать лет.

Я зажег огонь, посмотрел в зеркало: да, есть уже сухость, определенность черт, есть серебристый налет на висках, несколько поблек цвет глаз... Но что с того?

И я особенно легко встал, вышел в другие комнаты, еще чуть светлеющие, еще по-ночному спокойные, но уже принимающие новый, медленно рождающийся день, слабо и таинственно разделивший на уровне моей груди их полутьму.

Покой, особый, предрассветный, царил еще и во всем том огромном человеческом гнезде, которое называется городом. Молчаливо и как-то по-иному, чем днем, стояли многооконные дома с их многочисленными обитателями, столь как будто разными и столь одинаково преданными сну, бессознанию, беспомощности. Молчаливые (и еще пустые, еще чистые) лежали подо мной улицы, по уже зелено горели газовые огни в их прозрачном сумраке. И вдруг опять испытал я то непередаваемое чувство, которое испытываю всю жизнь, когда мне случается проснуться на ранней заре, – испытал чувство великого счастья, детски доверчивой, душу умиляющей сладости жизни, чувство начала чего-то совсем нового, доброго, прекрасного – и близости, братства, единства со всеми живущими на земле вместе со мною. Как я понимаю всегда в такие минуты

слезы Петра- апостола, который именно на рассвете так свежо, молодо, нежно ощутил всю силу своей любви к Иисусу и все зло содеянного им, Петром, накануне, ночью, в страхе перед римскими солдатами! Я опять пережил совершенно, как свое собственное, это далекое евангельское утро в Элеонской оливковой роще, это отречение Петра. Время исчезло. Я всем существом своим почувствовал: ох, какой это ничтожный срок – две тысячи лет! Вот я прожил полвека: стоит только увеличить мою жизнь в сорок раз, и будет время Христа, апостолов, «древней» Иудеи, «древнего» человечества. То же самое солнце, что когда-то увидел после своей бессонной ночи бледный, заплаканный Петр, вот-вот опять взойдет и надо мною. И почти те же самые чувства, что наполнили когда-то Петра в Гефсимании, наполняют сейчас меня, вызывая и на мои глаза те же самые слезы, которыми так сладко и больно заплакал Петр у костра. Так где же мое время и где его? Где я и где Петр? Раз мы так слились хотя бы на мгновение, где же оно, это мое Я, утвердить и выделить которое так страстно хотелось мне всю жизнь? Нет, это совсем, совсем ничего не значит, – то, что я живу на земле не во дни Петра, Иисуса, Тиверия, а в так называемом двадцатом веке! И сколько я жил в воображении чужими и далекими жизнями, чувством, будто я был всегда и всюду! А где грань между моей действительностью и моим воображением, моими чувствами, которые есть ведь тоже действительность, нечто несомненно существующее?

Всю жизнь сознательно и бессознательно, преодолеваю, разрушаю я пространство, время, формы. Неутолима и безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, по и всем своим прошлым, не только своей собственной жизнью, по и тысячами чужих, всем, что современно мне, и тем, что там, в тумане самых дальних веков. Зачем же? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, или затем, чтобы, напротив, утверждать себя, обогащаясь и усиливаясь?

Есть два разряда людей. В одном, огромном, – люди своего, определенного момента, житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии: что им до того, что так страшно ускользают в безграничность и начало и конец этой Цепи? А в другом, очень сравнительно малом, не только не делатели, не строители, а сущие разорители, уже познавшие тщету дела ним и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди «умствования», уже втайне откликнувшиеся на древний зов: «Выйди из Цепи!» – уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином и вместе с тем еще люто страждущие, тоскующие о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же – о каждом миге своего настоящего. Эти люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Эти люди райски чувственные в своем мироощущении, но рая уже лишены. Отсюда и великое их раздвоение: мука ухода из Цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее – и сугубого, страшного очарования ею. И каждый из этих людей с полным нравом может повторить древнее стенание: «Вечный и Всеобъемлющий! Ты некогда не знал Желания, Жажды. Ты пребывал в покое, но Ты сам нарушил его: Ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: «Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника!» Так, господи, я уже слышу тебя. Но еще горько мне разлучение с обманной и горькой сладостью Бытия. Еще страшит меня твое безначалие и твоя бесконечность...»

Да, если бы запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое «бывание» хотя бы в слове, если уже не во плоти!

В древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я о мерном шуме моря, пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью. Тот же я и теперь. Кто и зачем обязал меня без отдыха нести это бремя – непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать не просто, а с точностью, красотой и силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье? Кем и для чего вложена в меня неутолимая потребность заражать их тем, чем я сам живу, передавать им себя и искать в них сочувствования, единения, слияния с ними? С младенчества никогда ничего не чувствую я, не думаю, не вижу, не слышу, не обоняю без этой «корысти», без жажды обогащения, потребного мне для выражения себя в наибольшем богатстве. Вечным желанием одержим я не только стяжать, а потом расточать, но и выделиться из миллионов себе подобных, стать известным им и достойным

их зависти, восторга, удивления и вечной жизни. Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, – высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце. А моя душа? Как истомлена она этой мечтой, – зачем, почему? – мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, видения, желания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить! Неустанно кричу я без слов, всем существом своим: «Стой, солнце!!» И тем страстнее кричу, что ведь на деле-то я по устроению, а разоряющий себя – и не могущий быть иным, раз уже дано мне преодолевать их, – время, пространство, формы, – чувствовать свою безначальность и бесконечность, то есть это Всеединое, вновь влекущее меня в себя, как паука паутину свою.

А цикады поют, поют. Им тоже оно дано, это всеединое, но сладка их песнь, лишь для меня горестная, – песнь, полная райской бездумности, блаженного самозабвения.

Юпитер достиг предельной высоты своей. И предельного молчания, предельной неподвижности перед лицом его, предельного часа своей красоты и величия достигла ночь. «Ночь ночи передает знание». Какое? И не в этот ли сокровенный, высший час свой?

Еще царственнее и грознее стал необъятный и бездонный храм полнозвездного неба, – уже много крупных предутренних звезд взошло на него. И уже совсем отвесно падает туманно-золотистый столп сияния в млечную зеркальность летаргией объятого моря. И как будто еще неподвижнее темнеют мелкие деревья, ставшие как бы еще мельче, в этом скудном южном саду, усыпанном бледною галькой. И непрерывный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, стал еще более похож на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальными винтами цветы... Чего же наконец достигнет это звенящее молчание?

Но вот он опять, этот вздох, вздох жизни, шорох накатившейся на берег и разлившейся волны, и за ним – опять легкое движение воздуха, морской свежести и запаха цветов. И я точно просыпаюсь. Я оглядываюсь кругом и встаю. Я сбегаю с балкона, иду, хрустя галькой, по саду, потом бегу вниз, с обрыва. Я иду по песку и сажусь у самого края воды и с упоением погружаю в нее руки, мгновенно загорающиеся мириадами светящихся капель, несметных жизней... Нет, еще не настал мой срок! Еще есть нечто, что сильнее всех моих умствований. Еще как женщина вождеденно мне это водное ночное лоно...

Боже, оставь меня!

Приморские Альпы. 17 сентября 1925

Обуза

После ужина пили чай, жадно и торопливо просматривали газеты, только что принесенные с почты. Вес то же, все та же жуткая чепуха! Потом вес постепенно разошлись спать. Остался один и все читал, возмущаясь и волнуясь. Вдруг случайно взглянул на окна: за переплетами старых рам – красота старых сосен и елей, романтическая путаница их хвои, ветвей, сучьев и синее небо апрельской лунной ночи. Быстро встал, прошел в лакейскую, внял картуз и палку, вышел на крыльцо... Ах как прекрасна ночь! что за ночь!

Крыльцо и вся эта сторона дома в лунной прозрачной тени, впереди – просторный светлый двор и озаренные стены и старые крыши подпорных построек. Сбежал с крыльца легко, молодо, повернул к саду: ночь свежая, но сухая, полная луна стоит высоко, небо совершенно чисто. Вошел в аллею – она еще голая, извилистые короткие тени спокойно лежат на сухой земле, по которой так приятно идти. Далеко насквозь виден голый сад.

Из аллеи повернул на дорожку между кустами сирени и акаций: светлая ночь сияет в уюте сада, над его полянами, на которых стоят низкорослые старые яблони, уже зацветшие. Луна смотрит с высоты прямо в лицо. Вдали направо, во флигеле, уже много лет догнивающим в саду без призора, светится огонек. Иду на него.

Поднявшись на крылечко и отворив дверь из сеней в прихожую, не сразу понимаю, что это такое: ад какой-то! Прихожая вся полна едкого дыму, в дыму багрово коптит на столе лампочка, а из дымной печки красными языками вырывается пламя. Старик, сидя на полу на коленях, топтит. Он энергично, с сухим треском, ломает костлявыми руками бурьян, пихает его в печку, и огонь вместе с клубами дыма то и дело вышибает назад.

Я хлопнул дверью, входя, я подхожу к самой печке, но старик или не слышит, или не хочет слышать. Он не оборачивается, ломает, пихает и глядит с тем странным вниманием, с которым люди всегда глядят на огонь, Он в замызганном, ссохшемся от времени полушубчишке и в моей старой шляпе. Глаза у него от дыму красны, как раны, плачут, но он, не обращая на это внимания, глядит. Лицо морщинистое, китайское, с ошипанной седой бородкой.

– Здравствуй, Ефрем. Что не спишь, один сидишь?

Он точно сразу просыпается и дико взглядывает на меня. Потом крепко, отрывисто:

– Как один?

– Да как же, все давно спят, один ты сидишь.

– Я не один.

– А с кем же?

– С богом.

– А затопил почему?

– Почему! Лег было, да холодно. Застыл весь. Тебе хорошо в теплых хоромах.

– И трубу, верно, не открыл как следует – ишь сколько дыму напустил.

– Не достану я ее открыть, как следует. Открыл как попало, затопил и сижу... Вот так и живу, ночь в день оборачиваю. Да. Другие померли, а меня земля забыла. Что ж делать! Хочешь, не хочешь – живи!

– Это правда. А у тебя ведь, кажется, и родных никого нету?

– Захотел родных!

– И детей не было?

– Были, да сплыли. А жена – на кой она мне ляд?

– Все вдвоем-то лучше.

– С лучком! По могилам вдвоем не лежат.

– Так. Значит, плохо дело?

– Чужая печка холодна.

– А на свою не хочешь. Кто ж виноват? Ведь у тебя, говорят, свой дом есть?

– Сам же и виноват. Дома во сто раз скучнее. Забота да обуза. Забота да скука, только и всего... А тут я как птица. Встал и ушел, только и всего.

Помолчав:

– Да и дом-то мой – одни чурки. И земли нету.

– Ну вот, теперь лучше, говорят, будет. Теперь революция. Слышал небось?

– Какая еще такая революция?

– Такая, чтобы, значит, всем стало лучше.

– Никогда этого не будет.

– Как не будет? Вот тебе, например, земли дадут.

Он вдруг бросил ломать и пихать, сел, отвалившись назад, на ноги, и, обернувшись ко мне, заговорил уже яростно:

– Знаю. Ну, знаю, слышал. Царя, говорят, сместили?

– Да, сместили. А что ж, разве плохо?

– Я этого не знаю. И знать не хочу. Одно нарушение.

– Нарушение чего?

– Всего. Черти, дураки! Жили легко, без заботы. А теперь, значит, обо всем сам голову ломай?

– Да ведь земли дадут.

– Обещают! Всего обещают! А мне она, может, без надобности? Спросили разве меня?

И, отвернувшись, опять стал смотреть на прогорающий огонь и, опять начав ломать бурьян, заговорил уже спокойнее, хотя все еще сердито:

– Мне хорошего нечего ждать. Мне теперь, слава богу, ничего не надо. А господ нельзя без последствия оставить. Их тоже надо принять к сведению. Разве они умеют работать? И рады бы, да не умеют. А притеснять сдуру нельзя. Говорят – они теперь сами пахать будут! На поле, говорят, всех их будем выгонять! Чего с дурацкой головы не выдумают! Какое это распоряжение? Это что ж – чтоб птица плавала, а рыба летала? Это, значит, притеснять? Нет, тут хорошего никогда не будет. Они, сволочь, измываться хотят. (Повышая голос.) А мне чего ее силком навязывать? Мне ихняя земля не нужна, это одна обуза. Моя земля (стуча пальцем в пол), моя земля вот

где! Мне теперь одна дорога. Мне грехи надо отмаливать, на свободе жить. А то что это было? То молодой был, то, в лета вошел, все погоди да успеется, а теперь вот и силы нету, до церкви не дойду! Так-то и с ним, с окаянным, будет.

– С кем?

– Со всяким.

И, нахмурившись, замолчал. Потом вдруг опять повернулся и внезапно, со старческой милой улыбкой, сказал уже совсем другим тоном:

– И умер бы, может, да умереть-то – попу три рубля, да то да се...

И с улыбкой, еще более задрожавшей:

– А там ну-ка спросят, отчего не пьяный помер, без всякого удовольствия...

– Значит, есть такой указ, чтобы пьяному туда являться?

– А как же? Обязательно! Обязательно, чтоб немножко замолаживало, повеселей да и пооткровеннее, в одних порточках!

И вдруг опять рассердился и опять закричал:

– А про эти дела я ничего не знаю! Не знаю и знать не хочу!

Я долго смотрел на него. Он молчал, глядя в огонь.

– Ну, до свиданья, – сказал я наконец. – Ложись спать, спокойной ночи.

– Налезушь еще в земле, успеется, – отрывисто бросил он, не поворачивая головы. – Иди, иди, прощай...

Я вышел и, опять через сад, пошел на гумно, в поле.

Далеко насквозь виден голый сад.

Низко стоит и мистически-радостно смотрит из-за дальних вековых берез, белеющих стволами возле вала, какая-то крупная звезда.

Приморские Альпы. 1925

В саду

Вечером приехал Иван Василич Чеботарев, липецкий мещанин, снявший в усадьбе сад.

Это небольшой старичок в теплом глубоком картузе и в голубой, слинявшей от времени чуйке ("двадцать осьмой год с плеч не спускаю!"). Всегда горбится – наиграл себе эту манеру в каком-то большом соответствии со всем своим характером. Сколь стар, определить невозможно: "Я его таким спокон веку помню", – говорят про него в Липецке, но вынослив, неутомим на редкость и горбится притворно, играя роль старика, а не от старости, хотя и любит пожаловаться на нее и вообще на свои недуги. Наблюдателен поразительно, жизненный опыт имеет громадный. Курчавится серая жесткая бородка, курчавы черно-серые брови и волосы на носу. Смотрит чаще всего в землю, взглядывает исподлобья. В живых черных глазах ив губах постоянная снисходительная усмешка.

Мужик, привезший его на барский двор со станции, неловко, нелепо остановил телегу как раз посреди двора. Иван Василич легонько покрутил головой на его глупость, не без труда (или притворяясь, что ему трудно) слез, откинул полу чуйки, отвернулся и, еще больше сгорбившись, вытащил из кармана, шаровар очень большой и очень засаленный кошелек. Мужик тупо глядел на серые волосы, курчавившиеся на его шее. Он же не спеша отсчитал медяками восемь гривен и, подумав, прибавил еще две копейки, на магарыч:

– Держи, любезный. С прибавочкой за старанье.

Потом, запахнувшись, пошел, слегка шаркая, в сад, прошел по аллее к шалашу, к караульщикам, которых он прислал из-под Липецка еще в конце мая:

– Здорово, братушки. Ради, не ради, принимайте хозяина.

Караульщики, умиленно улыбаясь, низко, подобострастно раскланялись:

– Милости просим, доброго здоровьица, Иван Василич. В акурат к самоварчику!

Самоварчик дымил по всей аллее густым дымом и уже кипел. Иван Василич сел на лавку возле шалаша, снял картуз, положил его возле себя, предварительно сдунув с лавки, пригладил серые курчавые волосы, оглянулся.

– Ну, как? Все в порядке?

– Пока плохого нету, Иван Василич. Караулим, стараемся...

Чай подали ему (тоже осторожно, почтительно) в толстой чашке с синими разводами, сахар

в жестянке из-под килек. Он выпил две чашки и стал вертеть сигарку, усмехаясь и глядя в землю.

– Ну, и слава богу, что пока все хорошо, – сказал он, закуривая и распространяя сладкий запах «отборной» махорки. – Ну, и слава создателю... А я, братушки, к вам денька на два вырвался. Приехал с большим удовольствием на душе. У вас тут рай. А у меня – избавь бог. В доме ремонт, со штукатурками скандал бесконечный... несродного я характеру с нынешним народом! Ни совести, ни чести, хоть плюй в глаза, все божья роса. В голове один обман да орленый штоф. А сами живем, как цыгане, сбились всей семьей в одной горнице, а я этого не могу. На столе весь день русская картина: самовар не убран, возле самовара тарелка с заваренной горчицей. Бабушка трет ее щербатой ложкой и, понятно, в три ручья плачет от ней. Ух, говорит, и крепка же будет! А на кой ляд мне эта крепость, с похмелья я, что ли, позвольте спросить? А под ногами, на полу, внуки, куча поганных игрушек. А жена наседкой квохчет, все больна чем-то, а дочь скучает, божий свет не мил, а почему – неизвестно: горе от ума Грибоедова, видимое дело. А я этого не могу, я человек эластичный, у меня от этого шум в ушах делается.

– Уж чего хуже! – сочувственно подтвердили караульщики. – От этого шума, говорят, вошь на человека кидается.

Иван Василич помолчал; потом поднялся и пошел за шалаш.

– Вошь, не вошь, а не радость, – сказал он, возвращаясь оттуда, застегивая штаны, поплеывая на кончики пальцев и опять садясь. – За весь день ни покоя тебе, ни удовольствия. А ночью сны одолевают, и, что ни увидишь, все будто, по бабушке, не к добру выходит: я, мол, нынче во сне лисицу видел, а она и привяжется: ох, не хорошо, ох, это к обману, к неприятности. А позвольте спросить, что у нее к приятности? Я, говорит, в соннике читала: видеть во сне автомата к неблагополучию. Но позвольте, бабушка, при чем тут автомат? А вот при том-то, говорит. Да, но никакого автомата я не видал, да и где они, эти автоматы, у нас в Липецке? Все равно, говорит. И пойдет строчить: видеть во сне ельник – к неприятности, очки надевать – к неприятности, сидеть под балдахином – к горести, пить теплую воду – к печали, пить деревянное масло – к смерти, есть блины – к смерти, есть воронье мясо – к пожару, есть драчену – к разлуке, брить бороду – к убытку, петь томным голосом – к зубной боли, еврея видеть – к вредному знакомству... Одно слово, гадай моя голова!

И он даже легонько рукой махнул.

– Выходит, по ее, что одно хорошо: видеть во сне, что декохт пьешь, – это будто к успеху! А с прислугой какая мука? Нанял девку: так не то что сготовить, – свиньям дерьма с хоботьем не замесит и опять же как профан глупа. Морда сиськой, сама как мясопотам какой. А тут еще сосед тронулся – лавочник Шуринов, знаете небось?

– Как не знать, – сказали караульщики. – С чего ж это он? По его достатку только жить бы да жить!

– А вот подите ж, – сказал Иван Василич. – В отделку спятил. Как ни заглянешь – сидит за прилавком в жилетке, голову на руку пристроил и читает. На стене картину прибил: лес зеленый, дремучий, ели лохматые, избушка под ними, а на лавочке под ней угодник, а перед угодником – медведь, ручку ему лижет. "Ой, говорю, Николай Иванович, зачитаешься – в кармане недосчитаешься, печалиться – хвост замочалится". А он в ответ на это чуть не в слезы: "Эх, Иван Василич, не об кармане, говорит, нам с вами думать надобно". – "А об чем же, мол?" – "А об том, говорит, что нонче ты с дружьями, а завтра с червями, нынче в лорфине, а завтра в могиле: жизнь наша яко цвет травный мимо идет. Что такое, к примеру, вампир впивающий? А между тем это есть смерть. Вот, говорит, гляньте, что тут написано: "Горе тебе, человеце, прошли дни твоей юности в неразумии, а также и лета мужества протек ты в нерадении. Видишь ли, какой я есть страшный могильный скелет? Но я был некогда, как ты теперь, и, подобно тебе же, расширял свои владения, пока непреклонная смерть не заключила меня в свои железные объятия. Зри место вечного покоя, жилище тихое мертвецов, для гражданина и героя, для всех адамовых сынов!"

– Понимаете, – сказал Иван Василич, поднимая голову, – любому скорбному старичку не уступит, а глянешь на него – даже жуть берет: ну, прямо буйвол дикий, – а не человек, Миклуха Маклай! Ах, не ладна наша земля, братушки, – сказал он, крутя головой. – Сумасшедный мы народ, с жиру бесимся. Теперь, говорят, его уж под опеку хотят взять да в Тамбов в желтый дом наладить. Да и что ж с ним иначе делать? Теперь, говорят, одно твердит: амигдал да онагр, велбуд да тля, скимен да вретиче... А чего ему не доставало, чем он недоволен? И все мы вот

так-то: все не по-нашему, все не хорошо да недостаточно. Амигдал! Еду давеча по селу со станции, а впереди – здо-оровый болван: рубаха распояской, голова взлохмачена, разодрал гармонию на три версты и орет на всю округу: "Ох, разорю усе именье, сам заруюсь у камня!" – Шутки шутками, а думаю, что неспроста мы так-то шутим: дошутимся!

– Ну, а что ж в городе говорят? – спросил один из караульчиков. – Когда же эта война кончится? Правда, будто и французский царь на нашего колебается?

– Этого не слыхал, – сказал Иван Василич. – Врать не хочу. Этого не слыхал. Да там, говорят, и царя-то никакого нету. Опять же они и союзники наши, эти самые французы. Правда, поумнее нас чуточку будут, – все нороят под немца не свою, а нашу дурацкую башку подставить, мол, помри ты нынче, а я завтра, ну, а все-таки союзники.

– Колебайся не колебайся, – с притворной развязностью и, видимо, желая угодить Ивану Василичу, сказал другой караульщик, – колебайся не колебайся, все равно им, этим царям, теперь шабаш. Куда ж им против нашего, против нашей державы? Вон вчера приходил один какой-то сволочь со станции, – я говорит, по своим делам мимо вас в Ростов пробираюсь... А после того и зачал меня настрачивать: будто царица у нас очень больна, а больна потому, что ей Вильгельма очень жалко" и будто завелся там какой-то мужик, страшный распутный будто бы... Ну, завелся и завелся, говорю, – на здоровье. Да народ, говорит, из-за этого очень волнуется. Опять брешешь, говорю, это, может, господа волнуются, а мне чего волноваться? Нам это даже лестно очень. Да и послал его куда подале, где он у матери был, и балакать с ним больше не стал. Не может того быть, чтобы наша не взяла!

– Не знаю, не знаю, – сказал Иван Василич, глядя в землю. – Не знаю, а верить не верю. Верю, как говорится, только зверю, собаке да ежу, а прочему погожу. Думаю, что навряд, братушки, навряд наше возьмет. Победит один тот, у кого невры хорошие. А наш брат что? Спервоначалу ух как горячо берем, а потом и в кусты, ну его, мол, к черту, надоело. Это как горшок базарный из паршивой глины: нагревается в один секунд, да в один секунд и стынет. Нет, ихний солдат с соображением, со смекалкой. У него в ранце карты, планы всякие, преискурранты, какие надо, и фляжка с ромом, – он знает, по какой местности идет! А главное, он обо всем рассудить может и про отечество понимает, а у нашего что в голове? У нашего в голове мухи кипят, и настрочить его на всякий скандал трынки не стоит. Нет, мы не можем, – решительно сказал Иван Василич. – И никакого согласия у нас нет и отроду не было. Я вон нынче приехал на вокзал, а там безобразие. Станции начальник кричит, и пассажир кричит. Тот ему: "Да вы кто такой, позвольте спросить? Можете вы тут кричать?" А пассажир на него: "А я вас в свою очередь прошу не кричать! Я – грузоотправитель!" – Ну, думаю, и вышел дурак. Подумаешь, чин какой: я грузоотправитель, я вас в свою очередь прошу! А какая такая очередь? Спроси его, что это значит, а он и сам не понимает. Нет, – сказал Иван Василич, поднимаясь, – быть у нас большому черту в стуле!

– Это обязательно, – подтвердили караульщики в один голос. – Такая пойдет, что праху не останется!

– Ну, значит, и давайте пока что на боковую, – сказал Иван Василич. – Сбегайте-ка на барское гумно, украдите соломки да постелите мне в салашу помягче, пожалейте хозяйскую старость...

Приморские Альпы. 1926

Божье древо

14 июня.

Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомоллов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.

Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе – мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается:

– Господам дворянам почтение!

Мы приостановились:

– Доброго здоровья. Караульщик?

Он снял шапку и уже без всякой шутливости, низко, истово поклонился:

– Так точно. Буду караулить, вам и хозяину угожать.

– Так... Надевай шапку-то.

– Ничаго, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог лесу, и то не сравнял.

– А откуда ты и как величать тебя?

– Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.

И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно – по говору. Возраста неопределенного, – лет под пятьдесят, должно быть, хотя можно дать и меньше, – наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки, на ногах лапти, – все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные, умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соответствии с небольшой кое-где седеющей бородой, которая еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся:

– Вот чаек себе налаживаю. Самоварчика, признаться, нету, да эта одна баловство, и из чугуничка попьем...

Мы заглянули в шалаш, – там, конечно, все как полагается: красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек...

– Домок, как у зайца тяремок, – еще раз пошутил он. – Милости просим гостями быть...

В саду было сумрачно от туч, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо:

– А как думаешь, будет дождь?

Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху:

– Кабыть так. Маяго кобелька нынче что-й-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дождю, она, мышь-крыса усякая, перед дождем сильней пахня. Ну, що ж, и помоча маленько, авось не сахарные, не растаем...

Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит: що, каго, яго, маяго, табе, сабе, теперь, но все как-то так, что слушать его большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест.

Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать (вернее, приговаривать):

Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты лятала?

Мы невольно засмеялись – так ловко у него это выходило – и опять приостановились:

– Как, как?

– А вы разве ня зная? – ответил он, тоже засмеявшись. И тотчас же без всякого смущения, с видимой охотой, слегка поднял свой грудной голос:

Где ж ты бывала?
Где ж ты лятала?

И стал пошевеливать плечами, покачивать головой:

Нихто совушку ня знал,
Нихто ее не сползал,
Спознали два луня,
Спознали два друга:
– Ты приветь мне, луня,
Поди замуж за мене!

– А она, значит, не жалае, не хоча, – сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно:

А она не хоча
Ды как захохоча!
Назад сторонилась,
У лес завалилась –
Кверху ногою,
Об пень головою...
Ах, що ж это в лесе?
Каго это беся?

15 июня.

Погода все хмурится, от скуки ездили в Осиновые Дворы, за коновалом. Перед вечером опять пошли в аллею, к шалашу. Посидели, поговорили с Яковом. Спрашиваем:

– А ты, значит, куришь, Яков Демидыч?

– Я-то? – сказал он. – А я все могу. Могу курить, могу и целый год так ходить. Мая душа прямая, все прямая, и мед, и тот прет. На гулянках и покурить ни плохо.

– А насчет водочки как?

– А я человек мирской. Що Илья, то и я, що Евсей, то и все. Кто ж от нее откажется? Не пьют на небеси, а тут кому ни поднеси. Зашел так-то праздник престольный – отчего ж нямножко не погулять, не потратиться? Я ня жадный, я добродушный. Их, денег, жалеть нечево. Понуряя голова и с рублем пропадае!

Потом поговорили о том, что и как, надо полагать, уродится нынешним летом в саду, в поле. Он с удовольствием поддерживает всякий разговор. Очень словоохотлив, однако не болтлив. Главная черта его, кажется, заключается в неизменно ровном и отличном расположении духа. То и дело с неподражаемой легкостью и приятностью надо всем подшучивает, подтрунивает.

Между прочим, спросил:

– А вы що ж, господа, только лето тут, а то все в Москве?

И стал трунить над Москвой, над воображаемыми московскими белоручками, щеголями – и рассказал целую историю о том, как будто бы приехал однажды в деревню некий московский «обуватель», то есть обыватель, как он ничего не ел, не пил, брезгуя всем деревенским, и как неудачно сходил он за нуждой за избу: сел там да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему «причинное место» оторвали.

– Он как вскоча: ах, що ж мне, мол, таперь делать, да за ними, – не успел и штанов подхватить, – а оне по деревне да прямо в народ, на улицу, а там девок целый карогод...

Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться, глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя по ляжкам, затопал лаптями, – бросился, значит, бежать, – и согнулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками.

– Ах, батюшки, да що ж эта такое, вот срам-то, девки!

– А ты был когда-нибудь в Москве? – спросили мы.

– А на що она мне? – сказал он с веселой небрежностью. – Мы люди простые, черные. Там, говорят, нажива одна, людодерство, усе норовят друг над другом поверхность одержать, друг у друга что ни есть ухамить... А вы, я слышал, на степь ездили?

– Да, – ответили мы. – Да это только так говорится степь, а это просто ровная местность. У нас настоящих степей нету.

– Эта правда, у вас тут буераков много, – сказал он. – А вот как выедешь за Елец, за Задонск, прямо душа радуется, конца-краю этой степи не видать, до самого синя-моря идет, до Нагая. И чаво только нету там! И овсы, и ячменя, и твяты (цветы) усякие, и ковыль белый, седатый... Я так полагаю, лучше нашей державы во всем свете нету!

Потом рассказал, где, в каких «странах» он бывал – «за самый Царицын подавался», – какие «народности» видел, и я все дивился, сколько употребляет он слов старинных, Древних даже, почти всеми забытых: изнугряться вместо издеваться, ухамить вместо урвать, варяжить вме-

сто торговать, огонь взгнетать вместо зажигать... Нагайцев он назвал кумане, – древнее название половцев, – конину маханиной. Формы у него тоже свои: «Он неладно думал об мужиков», сказал он, например, про москвича. А про своего кобелька так:

– Он любит воять в темные ночи.

16 июня.

Нынче жарко, парит, на дворе тепло пахнет разогретой муравой, из-за ярко- зеленых вершин сада ослепительно белеют великолепно круглящиеся облака.

Перед завтраком вышел пройтись, иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающихся в солнечном саду, а впереди Яков: тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбами выплескивается порой вода, и вниз по его рубашке и порткам течет пестрая, радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя спрашиваю:

– Что, Яков Демидыч, не весел?

Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли:

– Чем не весел?

– Да как же, – шапка на лоб, идешь грустный.

– Чем грузный?

– Да не грузный, а грустный, скучный.

– Скушный? Никак нет. По чем мне скучать? Скучать не годится. День меркнет ночью, человек печалью. А мне скучать не по чем, я завсегда довольный. Вот добыл водицы в людской избе, сейчас кашку себе совостожу... Я люблю по садам сидеть, люблю, когда ветвей много, а у вас этого вволю, сад отменный. У вас тут благодать, мне тут скучать нечего. Кобель, как говорится, жрет месиво, а и то живет весело. А я хрещеный человек. Я, господа хорошие, – сказал он уже совсем твердо, сдвинув свободной рукой шапку со лба назад и взглянув прямо в лицо мне своими прищуренными бодрими глазами, – я живу, как бог вялит, я, как говорится, божья древо: куды ветер, туда и она...

Я свернул за шалашом в солнечную аллею из акатника. Облака белоснежными зевсоподобными главами вставали из-за столетних берез на валу, за лощиной все великолепнее. На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы, крапива. В фруктовом саду, с блаженной беззаботностью, игриво и томно выводила свои флейтовые переливы иволга... Отчего так особенно прекрасно все старинные, старые березы, например? И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которая кажется мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же, как нарочно, услышал? Яков, спиной ко мне, сидел на корячках перед земляной печуркой, которую он уже вырыл под липой против шалаша, ставил в ярко-оранжевый огонь, распаленный в ней, чугуничик с водой и опять пел, – вполголоса, нежно и жалобно:

Мой стон и грусти люты
Вообрази сабе
И вспомни те минуты,
Как был я люб тебе...

И, приподнявшись, разогнулся и ладно топнул лаптями:

Ах, сыпья, горох,
На двенадцать дорог,
Кода буду помирать,
Тода буду подбирать!

– Яков Демидыч, – сказал я, подходя, – где ты мог эту песню слышать?

– Какую? – спросил он, оборачиваясь.

– А вот эту, про стон и грусти люты? Теперь таких песен не поют, эта песня старинная и к тому же господская.

– Это правда, – ответил он, – эта песня томная. Но только я таких много знаю. Могу эту сыграть: «Я не помню в оный час твоя досады», а еще «От несклонности твоей дух во мне метется», а еще «Мне припятства ни по чем, не спасусь любви». Могу и про девок: «Есть-ли девки все метрессы, бросим мудрости и мы...» Ведь мы, однодворцы, в старые времена тоже, бают,

господа были. Над нами барские и теперь еще смеются: ты, мол, галман, чьих господ барин?

– Кстати, – сказал я, – что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? Есть ли у тебя семья, двор, свое хозяйство, что ты зимой делаешь?

– Да ведь вы мне про то не спрашивали, – ответил он. – А сам я не насмелился. А ну-ка вам это безо всякой надобности? А семьи у mine нету, первая жана померла давно, а другая ушла, не пожелала со мной жить, соскучилась, значит. А сыновья, какие остались, один в солдатах, а другой во двор пошел, сапожничают, пьяница и дурак, по совести сказать, каких мало... Постойте-ка, вас, никак, к столу кличут?

– Ну, видно, до вечера, – сказал я и пошел в дом. Божье древо – это очень неплохо сказано.

17 июня.

Жить, говорит Яков, надо так, как жили деды, прадеды. Новшество, однако, не отвергает:

– Вот, скажем, теперь молотилки пошли. Що ж, эта не беда. Бывалыча, как станем гужом, в двадцать цепов, да как вдарим враз – заслушаешься, до чего ладно выговаривая! Ну, а в сырую погоду, знамо дело, молотилка куда удобней.

Царя ни в чем дурном не винит:

– Министры виноваты. Вроде как господские бурмистры в прежнее время...

Богатым он не желал бы быть: объешься, обопьешься, будешь по перинам валяться, а пух человеку вреден, имеет будто бы свойство «притягивать». Но жить в достатке, конечно, не прочь бы.

Смерти не боится, – по крайней мере, утверждает так. Сказал с нарочитой развязностью:

– Вона, чаго ее бояться! Все равно, никто жалеть не будя. Лес по дереву не тужит!

Беседуя, он все время пристально работал: делал себе лозниковую дудку, я, говорит, люблю эти дудки и жилейки, буду вам играть «Во лузях», лучше этой песни во всем свете нету: «Расцвяли твяты лазоревые, понеслись духи малиновые...»

Пишу в библиотеке. Окна в сад открыты, подоконники горят на солнце. На подоконниках насыпаны и сохнут, сладко пахнут лепестки роз. В саду – радость, зелень, птицы, прекрасное летнее утро. И все время с удовольствием вспоминается присутствие в усадьбе этого милого человека.

18 июня.

Едем в Субботино, на станцию, встречать городских гостей.

Собираться запрягать стали тотчас после завтрака, хотя поезд приходит четверть пятого. Впрочем, запрягали, как всегда, часа два: покуда тарантас выкатили из каретного, покуда его подмазали, покуда сбрую собрали, покуда лошадей вычистили и напоили...

Я, принарядившись, вышел из дому и пошел посмотреть, исправно ли переднее колесо, которое уже два раза посылали к кузнецу. Опять чудесный, праздничный какой-то день. Зной, блеск, потом это детское удовольствие при мысли о поездке. Тарантас уже весь такой горячий, что прикоснуться нельзя, лакированные крылья зеркально сияют, нагретая кожа фартука пихнет необыкновенно приятно... Яков с узелком под мышкой и с вальком в руке шел через двор к воротам.

– Ай в город? – спросил он, с усмешкой щурясь от солнца и приостанавливаясь. – Вот иду на речку по своему вдовьему делу, постирушечка есть кое-какая... А вы в город? Що ж вы в такой вар, в самую жару средидневную? – сказал он, испытывая, видимо, большое удовольствие от этой жары и обилия света.

Я ответил, что едем гостей встречать, на станцию.

Он засмеялся:

– Ну, эта еще вволю на станции насидитесь! Она беспрерывно опоздает, машина-то. Ведь она как идет? Я так-то, кода еду по ней, захочу соскочу, земляники наемся и опять ее догоню... А гостечки, это ничаго, хорошо. Я, прежнее время, эта любил, – погостевать, попить у хорошего соседа. У нас в старину село богатая была, сходка, бывало, соберется – все тузья, бояре, угощали радушно, на полный рот. Бывало, не выдерешься с этого пиру, беседы: только поднялся, – ну, мол, спасибо, соседюшка, сладок мед, да не по две ложки в рот, ко двору пора! – опять силком на лавку валят: стой, сват, давай еще по единой, по стремянной выпьем!

– Это что же за стремянная такая? – насмешливо спросил Илюшка, подходя к тарантасу с

дугой.

– Вот и вышел Иван, – сказал Яков. – Как же ты не знаешь? Эта, значит, по самой последней, когда уж в стремя становишься, ко двору едешь. Это ведь у вас, у барских, бедного на пиру обносят, ложкой кормят, стеблом глаза колят, каждый стаканчик считают...

19 июня.

Погоду сглазили, нынче весь день льет.

Началось еще со вчерашнего вечера. Мы, по счастью, вернулись вовремя, к ужину (проездивши даром, гости обманули). Но едва вошли в дом, как понесло таким вихрем, что свету божьего не стало видно. Весь вечер бушевал настоящий ураган, молнии, удары, ливень ужасные. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемый громом и ослепляемый каким-то жестяным зелено-белым пламенем, до неправдоподобия светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливало чернильным мраком. К десяти стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше, небо над садом расчистилось, в комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых мотающихся ветвей. Месяц был странный совсем оранжевый. В небо над ним быстро неслись лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах, с надеждой на чудесную погоду, – так сладко успокоилось все к полночи и так мирно, счастливо щелкал соловей в таинственно-тихом саду. Однако нынче опять льет, шумит по крыше с самого утра.

После вечернего чаю надели высокие сапоги, накинули резиновые плащи и пошли в шалаш. Это у нас уже входит в привычку, да и некуда больше пойти. Аллея размыта, закидана оборванной листвой, сучьями, всюду все пересыщено водой, – трава, земля, зелень деревьев, черная солома шалаша. Дождь теплый, но все же не настолько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, дувшем в шалаш, без полушубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, положив ногу на ногу и приподняв правое колено, он чинил себе рубаху, неловко, но смело действуя огромной, так называемой, цыганской иглой. Увидев нас, поднял голову:

– Бона, как нарядились! Жидки вы, господа дворяне, на расправу! А дожжок, правда, словно нанялся, прости господи. Мой кобелек и тот не вытерпел: забился в салас, весь день почивает. То, бывало, не докличешься, а нонче и Аниска не мила.

– Какая Аниска?

– А ваша, стряпухина. Он с ней так сдружился, часу не может без ней быть. Набегаются, накатаются по двору – и под водовозку, либо под крыльцо: обнимутся и спят, как брат с сестрой, даже глядеть умильно.

– Умильно-то умильно, – сказали мы, – а вот как ты ухитрился ночевать тут прошлую ночь? Смотри-ка, что у тебя в шалаше, – во все дыры течет. Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится.

– Нет, я ночевал смирно, – ответил Яков. – Она протекать-то как следует стало только нонче. А дожжок, это для хлебов теперь первое дело. Я люблю всякую погоду. Все хорошо, все слава богу. Вы вчера поехали, а я думаю: ой, прихватит моих господ к вечеру! Ну, и правда, и грозу же разыграл господь! Как полыхнет, полыхнет – хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло, у сотского двух ребят убило, у князя в саду самое толстоветное дерево повалило...

– Ну, вот, а ты говоришь, все хорошо, – сказали мы.

– А как же быть-то? – возразил он. – Убило – значит, не подвертывайся. Що, значит, кому назначено, всякому свой жребий, на это обижаться нельзя. Бог и колосьев не сравнивал. Один дурак, другой умный, один богатый, другой побирушка, он помер нонче, а я завтра...

Потом, пристально и с удовольствием следя за своей работой, поднимая рубаху на свет и оглядывая, не протерто ли еще где, стал рассказывать про себя, про свой жребий:

– У нас двор в старину знаменитый был. Да знамо дело – стали делиться, ну и изничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да що ж я, я не жадный. Я своей скудости не стыжусь: чем девчонка виновата, что юпчонка маловата? Одна беда – детей много было. Жанили рано, а она и наваляла мне их – баба, правда, отменная была. Я с ней осемнадцать годов отжил и девять человек наплодил.

– Значит, любишь это дело? – пошутили мы.

Он тотчас же, в угоду нам, подхватил шутку.

– Баб-то? А кто ж их не любит? Да я и теперь не откажусь, подавай какую хочешь. При

старости при такой не требуют никакой, у чужом у краю и с рябой как в раю. Вон, бают, господа какие-то ярусные капли пьют, чтоб, значит, яровитей быть, а я и без них, как дорвусь, в рукавицах не оттащишь: старая кобыла борозды не испортит! А детей, говорю, правда, много нарожал. Ну, только их почти всех бог по одному прибрал, мне и стало посвободнее. А как и жана померла, я семь годов вдовцом ходил. Думал, так и свекую. Ан суседки зачали сбивать, что ж ты, мол, как обсевок какой в поле, рубахи некому постирать... Жанись да жанись, я и послухался. Тут как раз брата моего старшого убили, я и думаю себе...

– Постой, как убили? Кто убил?

Он мотнул головой и засмеялся:

– Казаки убили, пропади они пропадом. Они ведь страшные жадные, аредные, черти. Брат, правда, чуточку неладно сделал – приловчился у них в отарах овечек поворовывать, а они и поймай его. Схоронились так-то в яруге, в балке, а как завидели, что он ярку по полю в сумерках на себе прет, выскочили и давай его нагайками парить, по ушам да по чем попадая глушить... Так до смерти и засекли. Ну, а я в тую пору и жанился. Думал, думал, за кого бы, дескать, посвататься? Кто, думаю, за меня за такого пойдет, за старого и вдового? Ан все случай. Зашел раз к невестке, ко вдове братниной, а там нищенка, дурочка сидит, хлебушка зашла попросить. Я ее и испрашиваю, смеху ради: «Что ж ты, дескать, шатаешься, побирушкой ходишь? Ты бы замуж шла, ты еще здоровая. Авось, мол, ума большого там с тебя не спросят». – «Да что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы». Ишь ты, мол, какая шустрая! За хорошую! При твоей дурости и бедности тебе нечего разбирать. Да вот тебе, к примру, хорошая голова, – дескать, я – пойдешь за меня? Ты, мол, не гляди на мою старость: стар пестрец, да уха сладка. Ну, а она, понятно, рада-радехонька. Кто ж ее такую-то опричь вдовца возьмет? Дундук, бестолковая, побирушка, а красотой так даже я перед ней король. Повенчались наране Успенья, а она пожила осень да зиму, а на Фоминой и пятки салом подмазала: ушла. Меня, говорит, любовники жамками кормили, а ты кобель, у тебя нету ничего... Понятно, обыкла шататься, работой скучает, ну и ушла, слава богу...

– Так ты теперь и живешь один? – спросили мы.

– Так вот и живу, – подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела. – Так и живу, бояре хорошие, – сказал он, легонько вздыхая. – Когда будем помирать, тогда будем горевать. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, волну бью по суседским дворам. Дома я долго не люблю сидеть, к дому у меня охоты нету.

– Ну, а дети твои? Они дома живут?

– Дети у меня никуда, – сказал он. – Один сын, слава богу, на казенных харчах, в солдатах, другой хромой, пьяница, сапожник... Сапожник, сапожник, а родному отцу без пятака латки на сапог не положит! А как у самого нужда – сейчас к отцу. «Батя, помоги!» Ну, и помогаю по силе-мочи...

21 июня.

И вчера весь день лил дождь. Нынче очень свежо, сильный северо-западный ветер, все небо движется сумрачными и величественными облаками, купоросно ярка зелень сада.

Яков вчера отсыпался на печке в людской, – «прозяб маленько!» Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна старновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую, гнилую, пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея вся завалена обломанными бурей ветвями с зеленой листвой... Яков, конечно, не унывает:

– Ничего! Авось не первая волку зима! Мы этих бурей не боимся!

И опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, которая, в одной грязной рубашонке, опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве на дворе.

– Он все будто грызет ее, а она будто боится, отбивается... А вчерась что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут, забежала туда и давай помазком себе голые ноги холить! Явилась в избу – мать так и ахнула...

Перед вечером проглянуло с запада солнце. По низу аллеи, между стволами, стоят золотистые столпы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили, – теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушествует за «чайкём».

– А ты, Яков Демидыч, сказки разные, стихи, былины знаешь?

– Это как побирушки-то на ярмарках кричат? Это я много знаю. Я три лета при свечной лавке жил, ездил торговал с прикащиками по селам, по престольным праздникам, – нас семь подвод было. Они страсть как кричат, эти калеки перехожие. Как поднимут, поднимут «разжалкие папашечки...»

– А ты можешь по-ихнему кричать?

– Вона, еще бы тебе!

И в ту же минуту, поставив чашку с чаем на землю и закрыв глаза, откинув голову назад, стал в нос, на разные голоса вопить:

– Разжалкие папашечки, разжалкие мамашечки, подайте Лазарю убогому, безногую! Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не можа, смальства страдая! Ваша подающая рука, которая подает, та вовек не оскудевает! Ваша подающая на огне не горит и в воде не тонет, ее моль не ест, ни ржа не точа! Вы подайте не ради нашего прошения, а ради своей души спасения! Как вы, разжалкие воспитатели, нам подадите, вы своей души спасенью угодите! Разжалкие сестрицы, братцы, мы, как помрем, ничего с собой не возьмем – ни злата, ни серебра, ни богатства, ни имения! Смальства он, Лазарь, не ходил, не служил, согласен он вам за корку служить, каменные горы бить, чем таким несчастным быть! Небесная птица, не можа ее без крыла по воздуху носить, так бедный калека не можа на своих ножках ходить! Разжалкие наши питатели, вы полайте свое верное подаенье ни другу, ни брату, – подайте самому господу богу святу!

Кончив, он открыл глаза, засмеялся и, опять взявшись за чашку и откусывая от кусочка сахара, назидательно прибавил:

– Вот они как кричат, народ обманывают. Их всех надо по тюрьмам рассажать, они там сытые и на всем готовом будут.

– Ну, а какие ты сказки знаешь? – спросили мы. Он подумал, весело глядя в землю:

– Сказки? Про Конья-горбунья знаю, про молодого Ивана Царевича, как он на охоту ходил, свою царевну добывал, а еще про этого Алексея Божьи человеки...

И, опять прикрыв глаза, начал скороговоркой, мешая сказочный лад речи с обыденным:

– У главном городе у Рыме, при первом царю при Онории, при великом князе Претемьяну, жил, значит, князь со княгинею. Он усердно молился, трудился, просил себе детища у матери госпожи пресвятой богородице. Создай мне, дескать, господи, единую чаду, при младых лет на посмотрение, при старости на призрение. И вскорости, значит, так по его молитве и вышло дело. Алексей Божьи человеки скитался и спасался, а мать с отцом его не узнали, за побирушку почитали. И возговорит он тут отцу-матери, состройте мне, дескать, отхожую келью у красном зялем саду, где всякий мусор мечут и помои свиньям льют. Зачал он в келье трудиться со всеми своими образами, иконами, с пресвятой госпожой богородицей и тут, значит, и век свой молодой скончил. Отворил служка двери, взошел на порог и гроб открыл, а он как живой лежит. И вскричали тут отец с матерью промежду себя: «Сын наш, дескать, возлюбленный, что ж ты над собою сделал? Мы бы тебе в лучшем виде келью отстроили, твою молодость успокоили!»

Когда он кончил и это и, убирая в шалаш чугунчик, хлеб, чашку, сказал, что теперь хорошо бы водочки стаканчик выпить да какой-нибудь закусочки закусить, мы спросили:

– А что ты из закусок больше всего любишь?

– Из закусок-то? – отозвался он. – Да что ж, вот селедочки не плохо закусить, бараинки жареной, пирожка с сомовинкой... ну, еще какой-нибудь там хвостик ветчинки, хунтик колбаски вареной... Да я, по совести сказать, за весь век только один раз сытый был, когда на бойнях у купца в Ельце служил. Там и насчет этого самого щепоточного, насчет баб то есть, было вольно. Ну, только я на это не лстылся. Дома дело другое. Там иной раз займешься с какой-нибудь пожилой старушкой, сделаешь ей за работу безделицу какую, ножницы, скажем, поточишь али вялёк, каким на речке белье колотят, вырубешь, вот и расход весь. И самому лестно, и ей удовольствие...

24 июня.

Дождь, дождь и дождь.

С Яковом не видались давно, только немножко поболтали вчера вечером.

Сидит на соломе, ест кулеш из чугунчика. На пне горит свечка, забитая в какую-то жестянку, на стене шалаша чернеет его большая тень. Снаружи, по шалашу, шуршит ветер с дождем, кругом, в саду, непроглядная чернота... Между прочим, опять попробовали попытать его насчет

смерти:

– Вот ты говоришь, тебе пятьдесят седьмой, значит, лет через десять, может, и помирать придется. Думаешь когда-либо об этом, боишься?

– Нет, не думаю. Двум смертям не быть, одни не миновать. Чаго ж ее бояться!

– Да как же не бояться, ты только представь себе: вот в такую вот ночь да в гробу, в могиле, на кладбище...

Но он опять стал отделяться шутками, – видно, что разговор этот ему пока (то есть пока он здоров) совершенно неинтересен:

– Да авось туда, в могилу-то, не протечет, мелко не положат...

Разговор о боге тоже перевел на шутку, на сказку о солдате, который попал в рай и остался очень им недоволен: «А, вот оно что, этот рай! Да какой же это рай? Ни трубочки, ни водочки! Кабы трубочки, да водочки, да кисет с табакчём, вот это иная была бы статья!»

– А нам думается, – сказали мы, пытая его, – ничего на том свете не будет, ни этого рая, ни ада.

Но тут он не согласился:

– А как же святые-то в раю живут, если его нету? Нет, это вы глупо говорите. Это выходит, что и бога нету? Кабы его не было, вся бы земля пропала. Не дал бы, к примеру сказать, бог травы, кормов, вся бы скотина поколела...

Потом рассказал, как Христос с дьяволом насчет людей делились – «вот как братья на селе делятся»:

– Тебе, говорит Христос, пущай мертвые достанутся, – тебе же лучше будет, мертвых-то ведь больше, а мне, значит, живые... А потом обдумолся да и на попятный: ведь как же, ведь все они, живые-то, тоже когда-нибудь мертвые будут? И, значит, сошлись на том, что которые упасутся – ему, богу, а которые нет – дьяволу...

26 июня.

Дождь. Разговор о цели жизни:

– Яков Демидыч, для чего ты на свете живешь?

– Как для чего? Вот ваш сад караулю.

– Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился, для чего на земле существуешь?

– А господь его знает.

– Значит, не знаешь?

– А кто ж это знает?

– Да ведь надо знать. Надо думать, додумываться.

– Я и думаю.

– Ну, и что ж ты надумал?

– Надумал-то? По совести сказать, не знаю.

– А может, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потомство плодить и жить в свое удовольствие?

– Нет, это я бы заскучал.

– Значит, ты живешь не для этого? Но тогда для чего же?

– А чтоб радость была.

– Радость! А это разве не радость, – сладко есть, сладко пить, с женой красивой спать, богатым и почетным быть?

– Это сама собой.

– Значит, не в этом одно дело?

– Стало быть, что нет.

– А в чем же?

Думает. Потом смеется:

– В чем да в чем! Мы вот так-то возили раз с покойником родителем хлеб с поля, а я и пристань к нему, – что, да как, да зачем, – я тогда еще совсем коростовый был, – а он молчал, молчал, да и говорит, наконец: «Вот как пущу тебе, малый, по ушам кнутом, тогда узнаешь зачем!»

28 июня.

Завтра уезжаю на юг, хотя ехать уже не хочется: опять наступили прекрасные дни. Нынче

Яков сказал мне:

– А народ у вас тут глупый, господа хорошие. Я вчера пошел на деревню серничков купить, иду задворками, а на гумне мужик стоит, а по меже ко ржам во весь дух бежит девочка лет семи али восьми... Бежит и навзрыд плача, спешит изо ржей телушку выгнать, а он стоит и орет на все поле. Длинный, долговязый, морда злая, скучная – и орет безо всякой совести: «Опять телушка во ржи, так-то твою так? Ты так-то за ней глядишь, распротак твою так?» – Я просто диву дался, до чаго свинья, невежа! Можно разве так-то на свое дитя кричать?

– Ну вот, а ты говоришь, что лучше нашей державы и лучше нашего народа во всем свете нету, – сказал я.

– А що ж? – поспешно и бодро ответил он. – Конешно, нету. Только, конешно, нас учить надо. Кабы подойтить к этому самому дураку да дать яму, щоб красные сопли потекли, небось в другой раз не горланил бы так-то! А еще и то сказать: не все ж и у вас подобные. Я вот нынче утром пастуха у вас за гумном видел: ну, до чаго хорош! – сказал он, вдруг засмеявшись и засияв от восхищения. – Сядит на меже и портки себе жжет! Скотина по всему полю разбрелась, а ему и горюшки мало! – Вынул это стекло жгучее и наводит на портки: как солнце из-за облака выйдет – от порток дым столбом! Що ж, ты, говорю, дурак, делаешь, ай маленький? Ведь тебя жанить давно пора! А у него рот до ушей от радости: да уж больно, говорит, чудно, дяденька! – А где ж ты ее взял, это самое стекло? – А мне брат солдат принес... Нет, – сказал он с удовольствием, – наш народ хороший, обоудный!

Я сообщил ему, что завтра уезжаю.

– Ну, що ж, – сказал он весело и равнодушно. – Дай бог час. Живы будем, еще, можа, повидаемся... А далеко едете-то?

Я ответил, что на юг, к морю, купаться.

Он весело изумился:

– Как купаться? Да вы бы дома-то, в речке? А какие же там жители? Наши ай немцы?

– Там больше татары, – ответил я.

– А! – сказал он, немножко насмешливо улыбаясь. – Этих я люблю. Они, слух есть, нами сто лет владали. А известно – конь ездока любит. Опять же смирный народ, ласковый. Скажешь ему: здорово, мол, князь, есть платки? – он так и вскинется весь: «Есть, бачка, есть!» – «А магометовы портки?» – «Тьфу, не хорошо, грех так-то говорить!» И больше ничего. Не то что жида – те страшные обидчивые... А скучать вы не скучайте, – прибавил он неожиданно, уже давно, видимо, угадав, что мне не хочется и немного грустно уезжать, – это всегда так перед отъездом, все будет жалко чего-то, а в дороге, глядь, и разгулялся и забыл всех...

И, поднявшись, бодро пошел к огню, который, как всегда, пылал в земляной печурке против шалаша под липой, и на ходу легонько притопнул лаптями:

Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка!

Приморские Альпы. 1927

Алексей Алексеич

Нелепая, неправдоподобная весть: Алексей Алексеич умер!

Всего нелепее то, до чего неожиданно умер он. Ведь еще только вчера, вернее, прошлой ночью, он был с нами, сидел, ужинал и, как всегда, говорил, говорил – то, что он говорил повсюду, за всеми ужинами.

– Как Чацкий, с корабля на бал, – сказал он вчера, входя в столовую.

Он сказал то, что неизменно говорил, приезжая на вечера к знакомым. Вчера откуда именно приехал он? Но, по совести сказать, разве мы знали когда-нибудь, откуда он приезжает? Да и знали ли мы вообще более или менее точно жизнь Алексея Алексеича, несмотря на то, что, кажется, не было человека во всем нашем петербургском кружке, который не был бы в приятельстве с ним? Знала, может быть, немного больше прочих его старинный друг, княгиня. А все прочие знали только то, что днем у Алексея Алексеича служба, дела, деловые завтраки, заседания, что по вечерам он не пропускает ни одной театральной премьеры, ни одного порядочного кон-

црта, – музыку он действительно любил и понимал, – а ночью непременно где-нибудь ужинает – у Кюба, на Островах, у знакомых, – так что все, бывало, дивятся на него: и когда только успевает он спать?

– Как Чацкий, с корабля на бал, – сказал он вчера, входя в людную и светлую столовую, со своим обычным слегка насмешливым выражением лица.

И, как всегда, едва только он появился и сказал это, все встретили его хором радостных восклицаний:

– А! Наконец-то!

И, с безразличной улыбкой пожимая руки, раскланиваясь, он прошел к своему месту за столом, безразлично поцеловал большую и жилистую руку своей соседки княгини, засунул угол салфетки за открытый жилет, взялся за бутылку и, как всегда, спросил:

– А вам, княгиня, позволите?

Княгиня ответила:

– Пожалуйста. Только немножко.

И он возразил опять-таки так, как всегда возражал в подобных случаях:

– Э, княгиня, что за счеты. Пить умереть и не пить умереть. Уподобимся, государыня моя, стрекоху кузнецу, в зленом злаке сущу. В меру и во благовремении питье вредить не может. Лишь бы не упиваться до отвратности, – сказал он, не думая ни единой секунды о том, что говорит. – Лишь бы не сравняться с пьяницей богомерзким. Ибо что есть пьяница, по учению мужей мудрых? Оный пьяница аки болван, аки мертвец валяется, многожды бо осквернився, мокрым и нальясь, яко мех, до горла, не могил главы своей возвести, смрадом отрыгая от многого локания.

– Не говорите гадостей, я есть не могу, – сказала княгиня.

– Как, это поучения-то святых отцов гадость? – сказал Алексей Алексеич. – А еще в Лавру, княгиня, каждый божий день ездите!

– Нет таких поучений, это вы всё сами выдумываете.

– Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже слушать страшно. Истинно, жена прелестная. А ведь что такое жена прелестная?

– Какая еще такая жена?

– А вообще жена. Что есть жена, сиречь женщина?

– Ох, Алексей Алексеич, и про жену уже тысячу раз слышала.

– Слышали, а каждый раз забываете. Жена, милая княгиня, есть святым обложница, змиино покойище, цвет дьявола, купница бесовская, сковорода подпечаящая. И далее: что есть жена? Сеть утворена прельщающе человеки, светлым лицом и высокими очима намизающе, ногами играюще.

– Боже, какой вздор. И что это значит – наммзающе?

– А черт его знает, я и сом не знаю, милая княгиня. Вот «ногами играюще» – это я понимаю.

– Перестаньте говорить глупости.

– А это не я говорю, это бес в человеке говорит. Ибо что есть человек? В человеке, как всем сие ведомо, есть восемь составов...

– И это знаю, и не трудитесь, пожалуйста, перечислять ваши составы.

– Нельзя, милая княгиня, и рад бы не перечислять, да не могу. От земли у человека тело, и тот человек темен; от моря – кровь, и тот человек прохладен; от огня жар, и тот человек скуп...

– И откуда только берется все это у вас?

– От прилежания, государыня моя, оно же неистощимый, неупиваемый кладезь мудрости. Но позвольте кончить. От солнца у человека очи, и тот человек богатыреват...

– Ничего не понимаю. Что это значит – богатыреват? Дайте-ка мне лучше спичку.

– А вы думаете, я понимаю? – ответил Алексей Алексеич, зажигая спичку и помогая княгине закурить. – От ветра у человека дыхание, и тот человек легкоумен, подобно вашему покорному слуге. От облака мысль, и тот человек похотлив. И наконец: от света – свет, и тот человек не мыслит земного, а лишь небесная.

– Вы, конечно, от облака?

– Сиречь, похотлив? Грех вам, княгиня, говорить так, будучи единственной причиной оной похоти. Вы же отлично знаете, что по отношению ко всем прочим прелестницам я мыслю лишь

небесная.

Княгиня легонько ударила его по руке. Он вынул маленький портсигар, плетенный из китового уса.

– Разрешите, раз уж вы сами курите? И куренье, конечно, не благо, дорогая моя, ибо который человек начнет дерзати табаку, то у того человека мозг крутится...

Так и в таком роде, без конца и без умолку, говорил Алексей Алексеич за ужином. А за кофе, которое мы пили с ликерами в четвергом часу ночи, он уже слегка осовел, сидел с вялой усмешкой на устах и опять приставал к княгине с тем, что она уже тысячу раз слышала и что, однако, ей ничуть не докучало, хотя она и делала вид, что сердится.

– Дитя! – говорил он. – Али не разумеешь, яко вся сия внешняя б... ничто же суть, но токмо прелесть и тма и пагуба?

– Ох, боюсь, Алексей Алексеич, что хозяйка прикажет вас вывести, – сказала княгиня.

– А за что же, позвольте спросить, она прикажет меня вывести? – слегка жалобно возразил Алексей Алексеич. Ведь это же прекрасное старинное русское слово, коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, по даже и при дворе не гнушались. Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже страшно. Ведь это слово у самого протопопа Аввакума в его житии пишется, а уж на что сурьезный был мужик этот протопоп. Мм, сказано там...

– Довольно, довольно, Алексей Алексеич, – сказала княгиня. – Верю и без дальнейших примеров. И перестаньте пить и едем, смотрите, какие у вас мешки под глазами.

– Слушаюсь и повинуюсь, – ответил Алексей Алексеич. – Но повинуюсь не мгновенно, а лишь через четверть часа. Ровно через четверть часа, государыня моя. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, поспешай не торопясь, как советует Кузьма Прутков...

Кончилось тем, что, по обыкновению, вернулся домой и заснул Алексей Алексеич только в семь часов, когда в его кабинете на Конюшенной уже синел грязный утренний сумрак. А проснулся после полудня, часу во втором, и проснулся, по свидетельству его слуги, как-то внезапно, сразу, раскрыв глаза с испугом. Некоторое время после этого он лежал без всякого движения, глядя в стену перед собою, потом позвонил и приказал подать себе сельтерской воды. А выпив воды, попросил помочь ему одеться, а потом – позвать извозчика и, когда доложили, что извозчик готов, вышел из дому и поехал к Потехину...

Потехин! Потехин-то, конечно, и виноват во всем. Вообще, что такое эти визиты к докторам, сидение у них в приемной, ожидание их расспросов, исследований, решения, рецептов, советов! Какой это вообще ужас быть больным! Вот человек вдруг почувствовал, что дело его что-то не ладно, подозрительно... Он перемогается, тщится уверить себя, что это неладное есть нечто случайное, временное, что не стоит думать о нем, не надо поддаваться ему, а сам меж тем думает все чаще, поддается все больше – и наконец не выдерживает, решает воззвать о помощи к этому волхву, именуемому доктором, и либо с трепетом ждет его у себя на дому или томится у него в приемной... Последнее, по-моему, особенно ужасно!

Да, на дом к вам доктор приезжает всегда с большим опозданием, а если вы едете к нему сами, всегда-то он как нарочно занят с другим больным, требующим долгого и серьезного осмотра, или где-то задержался. И вот вы сидите в этой проклятой приемной, в ее напряженной тишине, где всякий почему-то боится вздохнуть, а если говорит, то шепотом, где так дьявольски медленно, важно, спокойно, дремотно отсчитывают время дорогие мраморные часы на камине, так бесстрастно блещут картины на стенах и черная рояль у степы, возле высокой таинственной двери в докторское святилище, и так безжизненно стоит, каменеет мебель в чехлах вокруг круглого стола посреди комнаты. Вы сидите, измученный нетерпением, вы ждете, подавленный вас окружающим, ждущим молчанием. Вы пытаетесь заняться истрепанными книгами, иллюстрированными журналами и проспектами, картинками санаторий, лежащими на круглом столе. Вы заставляете себя читать, осторожно перелистывая эти журналы и проспекты, разглядывая отели в сосновых и снежных горах, виды из салонов, столовых, каких-то стеклянных веранд, уставленных лонгшезами... Но, в сущности, вы ровным счетом ничего не видите и не понимаете, читая, перелистывая и разглядывая: вас погружает в транс, в идиотизм, в какое-то подобие улыбки летаргии эта тишина, этот сложный и смутный шум обычной, будничной жизни города, которой нет ровно никакого дела до вас, до ваших мук, болезней, смертей, которая течет себе и течет никогда не прерывающимся потоком где-то там, за этими двойными, никогда, верно, не открывающимися окнами...

Бедный Алексей Алексеич тоже должен был пережить не менее часа подобного томления, дожидаясь Потехина, который будто бы был вызван куда-то на консультацию, а на самом деле, вероятно, дрых после завтрака в своих дальних, семейных покоях.

Пожилая и аккуратная, точно какая-нибудь классная дама, горничная бесшумно отворила ему дверь, помогла раздеться и очень сдержанно сказала:

– Пожалуйста обождать в приемной. Доктор экстренно вызван на консилиум...

И Алексей Алексеич вошел в пустую приемную и покорно сел в кресло возле круглого стола ждать решения своей участи.

Что он чувствовал, что он думал, сидя в этом роковом кресле?

Конечно, то же самое, что и все мы, грешные, чувствуем и думаем в подобных случаях. Сидел, цепенел, тупо глядел перед собою, задавал разные глупые вопросы... Вот рояль и на ней груды нот, – все, что полагается: и Моцарт, и Бетховен, и Глинка... Но когда и кто играет на этой рояли? Очень возможно, что никто и никогда. Вот люстра в кисейном коконе, подвески которой тихо звенят от продвигающихся по улице ломовых телег, нагруженных чем-то очень тяжелым... Зажигается ли когда-нибудь эта люстра? Бывают ли в этой гостиной обыкновенные, а не больные люди, то есть друзья, знакомые доктора, и вообще живет ли доктор когда-нибудь не докторской, а своей личной, простой жизнью? Вот огромная картина в десятипудовой золотой раме, возвышающаяся над роялью: грозно и великолепно синее дикое ущелье, с шумом клубится, несется пенно-зеленый горный поток, сумрачно и величаво дымятся облаками скалистые и снежные вершины гор... Чья это картина, как и зачем она попала к доктору, что общего у него с этим ущельем? Ущелье синее и синее, поток, нагоняя дремоту, шумит и шумит – неужели это так и будет изо дня в день, из году в год, пока будет жить и принимать доктор? Доктор отдыхает от своих вечных приемов и забот о чужих болезнях, верно, только в августе... Где же именно? На Кавказе, в Швейцарии, то есть опять-таки где-то там, где синие ущелья и пенно-зеленые потоки? Но на кой черт ему они?

И потехинская горничная говорит, что слышала, как Алексей Алексеич будто бы вдруг громко сказал:

– Нам, государь мой, уже давным-давно наплевать на все эти красоты с высокого дерева!

Он, конечно, стучал пальцами по столу, с мукой глядел на часовую стрелку, приближавшуюся к трем, иногда нарочно кашлял, в надежде, что в кабинете что-нибудь скрипнет в ответ на этот кашель, – в консультацию он ни минуты не верил, но высокая дверь кабинета была все так же неподвижна и заповедна, и, конечно, ему уже начинало казаться, что он и вовеки не дожидется той желанной минуты, когда эта дверь внезапно приоткроется и Потехин с нарочитой сухостью и, разумеется, не глядя на пациента, скажет: «Пожалуйста!»

Однако дверь эта (и как раз в ту минуту, когда у Алексея Алексеича лопнуло уже всякое терпение) вдруг приотворилась, – и судьба Алексея Алексеича была решена...

Потехин! Боже, как смалодушествовал Алексей Алексеич, допустив себя так по-детски уверовать в эту тупицу! Ибо что такое Потехин? Человек неуклюжий, сутулый, нарочито грубый; с грубыми, простонародными чертами лица, с крупными свинцовыми волосами, с тяжелым и недружелюбным взглядом маленьких глаз; неизменно медлительный и до наглости самоуверенный, хотя вместе с тем никогда не могущий взглянуть вам в лицо прямо, то и дело густо краснеющий от угрюмой семинарской застенчивости... А потом эта манера защищать себя от своего простого происхождения частым и резким упоминанием о нем!

Это убеждение, что вследствие такого происхождения он будто бы имеет перед вами какие-то преимущества, какое-то право на высокомерие! Это бахвальство, когда разговор заходит, например, о музыке, о стихах, о живописи, особенно новой!

– Ну, здесь я умываю руки, – грубо говорит он в таких случаях. – Я в этом сущий профан. По-моему, это не картина, а яичница с луком, не стихи, а рубленая проза, которую с одинаковым удобством можно читать и с конца. Но что ж, вам и книги в руки: весьма охотно допускаю, что-то гениально, замечательно...

И вот перед таким-то мудрецом и смалодушествовал наш бедный Алексей Алексеич.

Разговор в кабинете Потехина был короткий:

– Здравствуйте, Алексей Алексеич. Садитесь, пожалуйста. На что изволите жаловаться?

– Да как вам сказать, – начал Алексей Алексеич, тщетно пытаясь быть тем самым собою, которым он был всю жизнь и который в этот день вдруг почему-то точно сквозь землю прова-

лился. – Уже давно замечаю, что как будто не совсем в порядке мои, так сказать, сердечные делишки, а вот нынче утром и совсем сдрейфил: схватило, понимаете ли, так, что душа в пятки ушла. Пустяки, конечно, но все же почел за благо явиться перед ваши пресветлые очи...

– Прекрасно. Годочков-то вам сколько?

Алексей Алексеич ответил, все еще стараясь шутить, что, во всяком случае, больше, чем «тлидцать тли», потом сказал серьезно, и дело пошло обычным порядком. Наклонив свою свинцово-густоволосую голову и не глядя на Алексея Алексеича, начал Потехин сухо расспрашивать, не спеша записывать, потом сказал еще суше и неприязненной:

– Разденьтесь, пожалуйста...

И Алексей Алексеич покорно, даже как-то угодливо, униженно, торопливо и очень неловко стал трясущимися руками стаскивать с себя пиджак, жилет, развязывать галстук, отстегивать запонки... Потом он то сидел, то стоял, то глубоко дышал, то совсем не дышал, чувствуя, что вот-вот упадет от головокружения, лежал во всяческих позах на скользкой простыне на холодном клеенчатом диванчике... Наконец Потехин и сам измаялся. Помолчал, глядя в потолок, еще немного помял белый живот Алексея Алексеича своими большими мягкими пальцами уже неизвестно зачем, очевидно, только в силу привычки мять животы, потом встал и, еще больше нахмурясь, сел за стол и в мертвой тишине стал писать рецепт, меж тем как Алексей Алексеич, раздавленный столь неожиданно-зловещим поведением Потехина, с постыдной неряшливостью и поспешностью приводил себя в порядок.

– Ну, что же, доктор, что скажете? – спросил он наконец с усмешкой. – Дрянь дело?

И Потехин ответил, не поднимая головы:

– Дрянь, не дрянь, но не скрою – неважно.

– Сердце?

– Оно самое.

– Ну, годик-то еще попрыгаю? – опять сделал попытку пошутить Алексей Алексеич. – Я, откровенно говоря, этой самой любви к жизни, сладкой привычке бытия не весьма привержен, поелику почитаю оное сплошным свиным корытом... Не обуреваем равным образом и гамлетовскими терзаниями насчет того, что ждет нас там, на противоположных берегах реки, Стиксом именуемой. Но все же, знаете, как-то не того... не хочется спешить выправлять подорожную в место злочно и блаженно, иде же несть ни печали, ни воздыхания, а скука зеленая да шесть пород червей, кои будут трапезовать новопреставленным рабом их. Так уж вы скажите мне, дорогой мой, участь мою без лицепрятия, а то я просто на извозчике околею от неизвестности...

И Потехин, дописав и расчеркнувшись, ответил с истинно хамской беспощадностью:

– Я пророчествами не занимаюсь...

Умер Алексей Алексеич, как вы знаете, именно на извозчике, по дороге домой, и, конечно, вовсе не от неизвестности, а как раз наоборот. Вот тебе и «стрекочущу кузнецу», и Кюба, и Острова, и ужины у друзей-приятелей! И ни одна-то душа из этих друзей-приятелей через два-три дня даже и не вспомнит о нем. Даже и на похоронах-то будут думать только об одном: как бы покурить поскорей!

1927

Благосклонное участие

В Москве, – ну, скажем, на Молчановке, – живет «бывшая артистка императорских театров». Одинока, очень немолода, широкоскула, жилиста. Дает уроки пения. И вот что происходит с ней каждый год в декабре.

Однажды в воскресенье, – положим, в очень морозное, солнечное утро, – раздается в ее передней звонок.

– Аннушка! Звонят! – испуганно кричит она из спальни кухарке.

Кухарка бежит отворять – и даже отступает: так блестящи, нарядны гости – две барышни в мехах и белых перчатках и франт-студент, их сопровождающий, насквозь промерзший в своей легкой шинельке и тонких ботинках.

Гости долго ждут в холодной гостиной, янтарно озаренной сквозь морозные узоры окон, затем слышат быстрые шаги хозяйки и поспешно встают ей навстречу. Она очень взволнованна, – знает, в чем дело, – густо напудрила лицо, надушила крупные, костлявые руки...

— Ради бога, простите, господа, я, кажется, заставила вас ждать, — с очаровательной улыбкой и самой светской непринужденностью говорит она, быстро входя и с трудом преодолевая сердцебиение.

— Это вы нас простите за беспокойство, — с отменной почтительностью перебивает ее студент, кланяясь и целуя ее руку. — Являемся к вам с усердной и покорнейшей просьбой. Комитет по устройству традиционного литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных воспитанников пятой московской гимназии возложил на нас честь ходатайствовать перед вами о вашем благосклонном участии в этом вечере, имеющем быть на третий день рождественских праздников.

— Господа, если можно, увольте! — очаровательно начинает она. — Дело в том...

Но барышни нападают на нее так дружно, горячо и лестно, что она не успевает сделать даже этой слабой попытки отказаться, уклониться...

После того проходит целых три недели.

И целых три недели Москва работает, торгует, веселится, но, среди всех своих разнообразных дел, интересов и развлечений, втайне живет только одним — ожиданием знаменательного вечера двадцать седьмого декабря. Великое множество афиш всех цветов и размеров пестрит на всех ее улицах и перекрестках: «На дне», «Синяя птица», «Три сестры», Шаляпин в «Русалке», Собинов в «Снегурочке», Шор, Крейн и Эрлих, опера Зимина, вечер Игоря Северянина... Но теперь всякому бьет в глаза только та маленькая афиша, на которой крупно напечатаны имя, отчество и фамилия благосклонной участницы литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных учеников пятой московской гимназии. А сама участница безвыходно сидит в это время дома и работает не покладая рук, дабы не обмануть ожиданий Москвы, — без конца выбирает, что петь, с утра до вечера пробует голос, разучивает то то, то другое... Дни идут теперь необыкновенно быстро, и эта быстрота уже приводит ее в ужас: и оглянуться не успеешь, как настанет это страшное двадцать седьмое декабря!

Она прекратила давать уроки, никого не принимает и сама не выходит из дому, боясь схватить бронхит, насморк. С чем именно выступить? Публика и не подозревает, как трудно решение этого вопроса даже для опытного артиста! Какое нужно проявить тут чутье, сколько вкуса, такта, опыта! После долгих и мучительных сомнений, колебаний дело, однако, кончается тем, что она останавливается на своем старом, неизменном репертуаре, — снова проходит три вещи: одну французскую, нежную и грустную, чарующую, как колыбельная песня, где, впрочем, скрыта огромная страсть, сила и боль любящей женской души, безумно жаждущей счастья и жертвенно от этого счастья отрекающейся; другую — полную блеска колоратуры и русской удалы; и затем — свою коронную: «Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц», которой, как всегда, можно блеснуть особенно, дать ее «с огоньком», игриво, молодо и оборвать на таком отчаянно-высоком и ликующем звуке, чтобы весь зал дрогнул от рукоплесканий. Кроме того, она готовит двенадцать вещей на «бис»... Дни мелькают, мелькают, и в душе у нее уже растет такое чувство, точно близится час ее казни. Однако она работает, работает. И вот настает наконец этот последний роковой день!

Утром двадцать седьмого декабря все силы ее доведены до предельного напряжения. Утром еще одна репетиция, но уже последняя, генеральная. Она поет уже как бы на эстраде: полным голосом, со всей выразительностью художественности, проходит с аккомпаниатором всю свою программу — и чувствует: работа не пропала даром! Но кто все-таки знает, что ждет ее вечером? Триумф или гибель? Лицо ее пылает, руки как лед... После репетиции она идет в свою спальню, раздевается и ложится в постель. Аннушка приносит ей нечто совершенно необычное — зернистой икры, холодного цыпленка и портвейну: так, в день выступления, завтракают все большие артисты. Покушав, она велит задернуть шторы, уйти и хранить в доме полнейшую тишину, а сама закрывает глаза и, в темноте, без единого движения, лежит, стараясь ни о чем не думать, ничем не волноваться, час, другой, третий — вплоть до шести часов вечера. В шесть вскакивает: резкий звонок в передней — парикмахер!

С бьющимся сердцем, с пылающими ушами и скулами, накапывает она себе ледяной рукой целых сорок капель эфирно-валерьяновой микстуры и, в халатике, с распущенными волосами, как дева, которую пришли убирать, готовить на заклятие, садится перед зеркалом. Парикмахер входит, предварительно согревши руки над плитой в кухне, и говорит ободряюще:

— Чудная погода! Изрядный морозец, но чудно!

Он работает изысканно и медленно, чувствуя и себя участником предстоящего события, вполне понимая и разделяя ее артистическое волнение, будучи и сам натурой артистической. Он своими небрежно-легкими разговорами, шутками и вообще всей своей опытностью в таких делах, равно и твердой верой в ее предстоящий успех, мало-помалу успокаивает ее, возвращает ей силы, мужество, надежды... Но когда он кончает свое дело и, осмотрев его со всех сторон, убеждается, что лучше уже ничего нельзя сделать из этой великолепной завивки и прически, уходит, а часы в столовой медленно бьют семь, у нее опять начинает замирать сердце: в восемь с половиной за ней явятся!

Затем бьют восемь, а она все еще не готова. Она опять пила капли, – на этот раз гофманские, – она надевает свое лучшее белье, румянится, пудрится... В восемь же с половиной раздастся новый звонок, который поражает ее как громом: приехали! Аннушка тяжело бежит в переднюю, от волнения, – она тоже сама не своя, – не может сразу отворить дверь...

Они – на этот раз два студента – приехали в огромной старозаветной наемной карете, запряженной двумя исполинскими клячами. Они тоже франты и тоже без калош, и ноги у них тоже окаменели с морозу. В гостиной, как всегда, холод и скучно горят пахнущие керосином лампы. Они терпеливо сидят в одних мундирах, блестя зеркальными головами, благоухая фиксатуаром и бриллиантином, с большими бантами из белого атласа на груди, точно шафера. Они сидят молча, ждут вежливо и стойко, смотрят на запертые со всех сторон двери, на мерзлые стекла, мерцающие синими и красными огоньками, на рояль, на портреты великих певцов и певиц по стенам, слушают глухой звон и гул трамваев за окнами, тревожные шаги Аннушки и самой артистки за дверями... И так проходит четверть часа, полчаса, сорок минут... как вдруг одна из дверей неожиданно распахивается. Они, как по команде, вскакивают с мест, а артистка быстро, с очаровательно-беспечной улыбкой, идет к ним навстречу:

– Ради бога, простите, господа, я, кажется, заставила вас ждать... Что, разве уже пора? Ну, что же, едем, если угодно, я готова...

На скулах ее даже сквозь румяны и пудру горят багровые пятна, изо рта пахнет ландышевыми каплями, от рук кремом, от воздушного платья из дымчатого газа духами. Она похожа на Смерть, собравшуюся на бал. На ее сложную и высокую прическу, на завитые и взбитые со всех сторон серые волосы накинута что-то черно-кружевное, испанское, на голые плечи с огромными ключицами – шубка из белой кудрявой козы... И студенты со всех ног кидаются за ней в прихожую. Тот, что худее и выше, хватает ее ботинки и, быстро став на одно колено, ловко надевает их на ее черные атласные туфельки с алмазными пряжками и слышит, как пахнет мышами из-под ее подмышек, когда она наклоняется, чтобы помочь ему, а вместе с тем и скромно одернуть подол на белые круженные зубчики панталон...

Она пела и про тучу, которая с громом повстречалась, и про какое-то убежище, – «в убежище сюда направил нас господь», – и с особенным блеском «Я б тебя поцеловала...». Критикан-старичок, сидевший в первом ряду, едко при этом захихикал, закрутил головой – весьма недвусмысленно: покорно, мол, благодарю, пожалуйста, не целуй... И все-таки остался в дураках: успех артистка имела колоссальный, ее без конца выпивали и заставили бисировать – особенно чуткая молодежь, стоявшая в проходах, кричавшая даже грозно и бывшая в сложенные ковшиком ладони с страшной гулкостью.

1929

Убийца

Дом с мезонином в Замоскворечье. Деревянный. Чистые стекла, окрашен хорошей синева-той краской. Перед ним толпа и большой автомобиль, казенный. В растворенные двери подъезда виден на лестнице вверх коврик, серый, с красной дорожкой. И все толпа смотрит туда с восхищением, слышен певучий голос:

– Да, милые, убила! Вдова молодая, богатого купеческого роду... Любила его, говорят, до страсти. А он только на ее достаток льстился, гулял с кем попало. Вот она и пригласила его к себе на прощанье, угощала, вином поила, все повторяла: «Дай мне на тебя наглядеться!» А потом и всадила ему, хмельному, нож в душу...

Открылось окно в мезонине, чья-то рука в белой перчатке дала знак автомобилю. Машина зашумела, народ раздался. И вот она показалась – сперва стройные ноги, потом полы собольей

накидки, а потом и вся, во всем своем наряде – плавно, точно к венцу, в церковь, стала спускаться вниз по ступенькам. Бела и дородна, черные глаза и черные брови, голова открыта, причесана гладко, с прямым пробором, в ушах качаются, блещут длинные серьги. Лицо спокойно, ясно, на губах ласковая улыбка – ко всему народу... Вошла в машину, села, за ней вошли власти, человек в ловкой шинели строго и недовольно глянул на любопытных; хлопнула дверца, машина сразу взяла с места...

И все, глядя вслед, с восхищением:

– И-их, покатили, помчали!

1930

Людоедка

Нищая девка, сирота, безобразно-миловидная, очень тихая, почти дурочка. Взяли на барский двор, дают самую грязную и трудную работу – надрывается беспрекословно, молча, всячески стараясь угодить. Староста, то есть старшой на дворе, отставной солдат-гренадер, быстро лишил ее невинности – покорила после отчаянного, но жалкого, детского сопротивления. Через месяц забеременела, все всё узнали. Старостиха подняла ад, барыня девку поспешила уволить. Обливаясь слезами, девка кое-как посовала свое добришко в мешок, побежала со двора долой. Старостиха, стоя на пороге людской, дико ликовала: вихляясь, свистала, травила ее собаками, била костью в медный таз, кричала разными голосами:

– Сука! Побирушка! Междворка! Людоедка! Волшебница!

1930

Слезы

Подошла к воротам усадьбы старуха, побирушка. Старушечьи лохмотья, старушечьи прямые чулки на сухих ногах, замученные глаза...

Дал ей полтинник, попробовал разговориться:

– Ну вот, бабушка, везде ты ходишь, везде бываешь, – небось много интересного видишь?

Горько заплакала:

– Да что ж поделаешь, батюшка, конечно, видишь!

Ковылял по выгону дурачок Ваня, седой, стриженный клоками, в одной бабьей рубахе, с сумой через плечо:

– Ваня, здорово! Как поживаешь?

Косноязычно, слюняво и радостно:

– С большими слезами, папаша! С большими слезами!

1930

Капитал

Квасник, лысый, красный, тугопузый, лихо кричит тенором на всю ярмарку:

– Вот квасок, попыривает в носок! Вот кипит, да некому пить!

Высокий русый мужик в теплой шапке на затылок идет в толпе с огромным белым хлебом под мышкой и на ходу набивает им рот, жует, откидывая голову назад, раздувая ноздри:

– А почему этот квасок?

– Орел вся бутылка, семитка стакан!

– А на грош не отольешь?

– На грош, милый, и воробей не мочится!

Мужик жует, думает. Потом со вздохом, но твердо:

– Нет, на семитку не взойду. Капитал не позволяет!

1930

Комета

На дворне и на деревне долго не верили, будто идет какая-то комета: «Это только в старину они бывали!» Наконец однажды ночью уже довольно ярко засеребрился ее прозрачный хвост, косо вскинутый в северный небосклон, за каретным сараем. Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А наутро староста залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно. Услыхав стук, вышли из дому:

– Староста! Что это ты делаешь?

– Окно слуховое забиваю.

– Зачем?

– От кометы.

1930

Стропила

– Здравствуйте, барин, мое почтение. Как поживаю-то? Да не бог весть как. Все мотаюсь, мещанствую. С ярманки на ярманку, с базара на базар... А ведь уж под сорок, – вы не глядите, что я такой борзой, на ногу легкий. Одно спасенье, что своя хибарка есть, – случается, и совсем голодный придешь, ну, а все-таки домой... хотя, по совести сказать, скука мне дома теперь, не приведи бог. Сами знаете наше слободское житье: сушь, жара, дни долгие... А дом пустой: жену схоронил, детей схоронил, одна мамаша покамест жива. Но только и мамаша последнее время не больно радует: едва ноги таскает по горнице, слаба стала до крайности, слухом и зрением и того слабей, интереса или соображения – ни малейшего, худа, хоть в гроб клади. Ведь какая была женщина! По дородству, по статности прямо игуменьей быть. А теперь – никуда: одни стропила остались.

1930

Дедушка

Сед, густоволос, лохмат, весь день курит.

Встает ни свет ни заря, и пока не закурит, не затянется – совершенно шальной, ничего не понимает.

И необыкновенно ненужен, чужд всему миру, всем чадам и домочадцам (хотя и зовут его папашей, дедушкой) я вот-вот скоропостижно помрет, навеки исчезнет из этого мещанского гнезда, из этого уездного захолустья – и поди-ка узнай тогда, Расскажи, чем и для чего жил он в своем вечном табачном дурмане.

И все-то он играет какую-то роль:

– Дедушка, обедать! Лапша простынет!

– Да обедайте, обедайте без меня... Я потом... что останется...

А сам ждет не дождется обеда – с раннего утра.

– Папаша, вы хоть бы кальсоны переменяли, ведь у вас целая укладка белья!

– Вот это спасибо! Целая укладка! Да у меня клока цельного давно не осталось! Небось, кабы было, не стал бы беречь! Мне теперь, милая невестушка, ничего не надо. Пожил, слава богу, пора и честь знать, об одном молю бога – околеть поскорей...

А сам жаден невероятно, над укладкой своей дрожит, и жить хочет ужасно, и твердо надеется прожить никак не менее века.

Зачем?

Но он и сам не знает зачем.

«Чужая душа – потемки». – Нет, своя собственная гораздо темней.

1930

Канун

В городе, по пути на вокзал. Извозчик мчит во весь дух, с горы и на мост, через речку. Под мостом, на береговой отмели, отвернувшись от проезжих под навес моста и как бы для защиты подняв плечи, стоит босяк, спешно, как собака, пожирает из грязной тряпки что-то ироде начинки. А позади грохочут, летят, точно нагоняют, ломовые телеги, трясутся, вися с грядок, страш-

ные сапоги мужиков. Все в муке, – мукомолы, – все великаны, и все рыжие, без шапок, в красных рубашках распояской...

А потом вагон, второй класс. И какой-то сидящий против меня господин лет за сорок, широкий и стриженный бобриком, в золотых очках на плоском носу с наглыми кудрями, все встает и, не глядя на меня, – от пренебрежении ко мне, – все поправляет на сетке свои хорошие, в крепких чехлах чемоданы и чемоданчики. Аккуратный и уверенный в себе господин, спокойный за свое благополучие и строгое достоинство...

Шла, однако, уж осень шестнадцатого года.

1930

Жизнь Арсеньева

Книга первая

I

«Вещи и дела, аще не написани бывают, тмою покрываются и гробу безпамятства предаются, написавши же яко одушевлени...»

Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе.

У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, – тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени, – и, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. «Вот было бы счастье!» – хочется прибавить мне. Но кто знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?

О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и захудалый» и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В Духов день призывает Церковь за литургией «сотворить память всем от века умершим». Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву: – Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрах Авраама, – от Адама даже до днесь послужившая Тебе чисто отцы и братии наши, други и сродники!

Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, участие «с отцы и братии наши, други и сродники», некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие прашуры учение «о чистом, непрерывном пути Отца всякой жизни», переходящего от смертных родителей к смертным чадам их – жизнью бессмертной, «непрерывной», веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был «осквернен», то есть прерван этот «путь», и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым Отцом всего сущего.

Среди моих предков было, верно, не мало и дурных. Но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит. И на лазурном поле его, в середине – перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками.

В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь загложших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда – и не даром – царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на

кресте, в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий к небесному Граду.

II

Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предъосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно, на юг... Только и всего, только одно мгновение! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?

Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое.

Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них... Зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и чему...

Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, – хутор Каменка, – главным имением нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке...

Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечерет летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако... Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто все тот же – только тут еще блещет низкое солнце – и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, – затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жук. Я освобождаю его и с жадностью, с удивленьем разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел, что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, – и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, – и как изящно! – и жук подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки...

А не то вижу я себя в доме и опять в летний вечер и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день: теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого-то старинного столика, – и, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?

III

Детство стало понемногу связывать меня с жизнью, — теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события...

Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называлась городом, и взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая: да когда же наконец запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду? Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в дороге случилось вот что: в одной лощине, — а дело было уже к вечеру и места были очень глухие, — густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника «разбойник», с топором засунутым за пояс, — самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро! Я висел над пропастью, в узком ущельи из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в такой величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса.

Всего же поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом! А потом были еще две великих радости: мне купили сапожки с красным сафьяновым ободком на голенищах, про которые кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово: «в аккурат сапожки!» — и ременную плеточку с свистком в рукоятке... С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна и этой упругой, гибкой ременной плеточки! Дома, лежа в своей кровати, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо!

Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела, проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир — поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля: на самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов, — в нем было великое множество окон и в каждом окне была железная решетка, он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты, — и стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжелое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты... Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек, это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь — есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало: я сам почувствовал, сам угадал, при помощи своего собственного знания, особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым

кустарникам в ложине, с топором за подпояской. Но то был разбойник, — я ни минуты не сомневался в этом, — то было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта решетка...

IV

Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны, хотя все так же скудны, случайны, разрозненны: что, повторяю, мы знаем, что помним, — мы, с трудом вспоминаящие порой даже вчерашний день!

Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства.

Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им и вот уже кое-что узнал о нем: то, что он никогда ничего не делает, — он, и правда, проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского; что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом; что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно-шипящую и восхитительно-колющую в нос воду с кислотой и содой и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем так же внезапно ссаживает, не любя ничего длительного... Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность, он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямою переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок, — он попадал в дву-гривенный, подброшенный в воздух, — и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен...

Заметил я наконец и няньку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую близость к нашей детской этой большой, статной и властной женщины, которая, хотя и называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится (и довольно часто) с нашей матерью лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем не ровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы; зато у меня оказалось две сестры, которых я тоже наконец осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием: я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей, девочкой горячее, легко, как отец, вспыхивающей, но тоже очень доброй, чувствительной, вскоре сделавшейся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого...

С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни.

Все и все, кого любим мы, есть наша мука, — чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, — к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!

В далекой родной земле, одинокая, на веки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет во веки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках? «Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших».

V

Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно – бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете, – я заплакал, я позвал, разбудил отца... Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди.

Я уже заметил, что на свете, помимо лета, есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их, – в детской душе остается больше всего яркое, солнечное, – и поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего две-три темных картины, да и то потому, что были они не обычны: какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами, – ужасным потому, что все говорили, что это всегда так бывает «на Сорок Мучеников», очаровательным же по той причине, что, чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте; потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное: проснувшись, мы увидели странный сумрак в доме, увидели, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, – и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь и от которых работники откапывали нас потом весь день; и наконец какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развевающийся и перекошенный от студеного ветра, который гнал его, несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой неловко зажавшего на груди этот сюртучек... В общем же, повторяю, раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужичками ребятишками из Выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за Провалом, в версте от нас.

Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки. (Все человеческие радости бедны, есть в нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе). Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, – только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч голов, где по часу едешь по селу, по станице, дивясь их белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми Богом, – так они неприхотливы, первобытно-просты, родственны своим лозинам и соломе. И вот я расту, познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю, в долгие летние дни его, и вижу: жаркий полдень, белые облака плывут в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы нагретых хлебов и трав, а там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами, – они так стары, что толстые соломенные крыши их серы и плотны на вид, как камень, а бревенчатые стены стали сизыми, – там зной, блеск, роскошь света, там, отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, сами радуясь своей густоте, буйности, и бегут, бегут по ним тени облаков...

Потом оказалось, что среди нашего двора, густо заросшего кудрявой муравой, есть какое-то древнее каменное корыто, под которым можно прятаться друг от друга, разувшись и бегая белыми босыми ножками (которые нравятся даже самому себе своей белизной) по этой зеленой кудрявой мураве, сверху от солнца горячее, а ниже прохладной. А под амбарами оказались кусты белены, которой мы с Олей однажды наелись так, что нас отпаивали парным молоком: уж очень дивно звенела у нас голова, а в душе и теле было не только желание, но и чувство полной возможности подняться на воздух и полететь куда угодно... Под амбарами же нашли мы и многочисленные гнезда крупных бархатно-черных с золотом шмелей, присутствие которых под землей мы угадывали по глухому, яростно-грозному жужжанию. А сколько мы открыли съедобных корней, сколько всяких сладких стеблей и зерен на огороде, вокруг риги, на гумне, за людской избой, к задней стене которой вплотную подступали хлеба и травы!

VI

За людской избой и под стенами скотного двора росли громадные лопухи, высокая крапива, — и «глухая», и жгучая, — пышные малиновые татарки в колючих венчиках, что-то бледно-зеленое, называемое козельчиками, и все это имело свой особый вид, цвет, запах и вкус. Мальчишка подпасок, существование которого мы тоже наконец открыли, был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие портченки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивал и нас есть Бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал! Кроме того он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута...

Но уж где было настоящее богатство всякой земляной снеди, так это между скотным двором и конюшней, на огородах. Подражая подпаску, можно было запастись посоленной коркой черного хлеба и есть длинные зеленые стрелки лука с серыми зернистыми махорчиками на остриях, красную редиску, белую редьку, маленькие, шершавые и бугристые огурчики, которые так приятно было искать, шурша под бесконечными ползучими плетями, лежавшими на рассыпчатых грядках... На что нам было все это, разве голодны мы были? Нет, конечно, но мы за этой трапезой, сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир. Помню: солнце пекло все горячее траву и каменное корыто на дворе, воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее и теснее и наконец стали подергиваться острым малиновым блеском, стали где-то, в самой глубокой и звучной высоте своей погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и раздражаться мощными ударами да все полновеснее, величавей, великолепнее... О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! Был потом мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом, все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим, в доме у нас закрыли и завесили окна, зажгли «страстную» восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» Зато какое облегчение настало потом, когда все стихло, успокоилось, всей грудью вдыхая невыразимо-отрадную сырую свежесть пресыщенных влагой полей, — когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке, за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее! Мало было в моей жизни мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьянам и, выдернув редьку, жадно куснул ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей его...

А затем, постепенно смелея, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный сарай, гумно, Провал, Выселки. Мир все расширялся перед нами, но все еще не люди и не человеческая жизнь, а растительная и животная больше всего влекли к себе наше внимание и все еще самыми любимыми нашими местами были те, где людей не было, а часами — послеполуденные, когда люди спали. Сад был весел, зелен, но уже известен нам; в нем хороши были только дебри и чащи, птичьи гнезда (особенно если в них, в этих чашечках, сплетенных из прутьев и устланных чем-то мягким и теплым, сидело и зорким черным зернышком смотрело что-нибудь пестро окрашенное) да малинники, ягоды которых были несравненно вкуснее тех, что мы ели с молоком и с сахаром после обеда. И вот — скотный двор, конюшня, каретный сарай, рига на гумне, Провал...

VII

Всюду была своя прелесть!

На скотном дворе, весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свинными закутами.

В конюшне жили своей особой, лошадиной жизнью, заключавшейся в стояньи и звучном жеваньи сена и овса, лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ло-

жаты и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе, – тяжело и неумело ложились лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сено, и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер: что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожидании запряжки, в исполнении своего странного назначения на свете – только возить, только бегать... Пахло и здесь тоже крепко и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне.

А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, в задке тарантаса был необыкновенно занятый и таинственный дорожный ящик, возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки, был непохож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову: «Вот умрешь и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц и еще многого, многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться!» Что до ласточек, то их будет особенно жалко: какая это милая, ласковая, чистая красота, какое изящество, эти «касаточки» с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест накрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетаньем! Ворота сарая были всегда открыты – ничто не мешало забегать в него когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, в возок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко, далеко... Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь?

Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. «В некотором царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель... За горами, за долами, за синими морями... Царь-Девушка, Василиса Премудрая...»

А рига была пленительно-страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что, если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит по ней, носится вокруг нее ветер; там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все таки чорт по ночам прилетал туда, и это соединение – чорта и столь грозной для него дощечки – внушало особенно жуткие мысли. А Провал был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина, с обрывистыми скатами и знаменитым «провалом» на дне, которое заростало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынно-пустыня! Казалось – сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный и по виду и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах, – малиновый Богородичный Цветок с коричневым липким стеблем! И как горестно-нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка! Тю-тю-тю-тю-ю...

VIII

Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в Выселки, был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине...

В усадьбе на восходе солнца, с первым щебетаньем птиц в саду, просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы, с радостью от солнечного утра, – других, повторяю, я все

еще не хочу или не могу замечать, – с нетерпеливым желанием поскорее бежать в вишенник, рвать наши любимые вишни, – наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе, по-утреннему, ново, скрипят в это время ворота, оттуда с ревом, визгом, хлопанием кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серо-кудрявую, плотную, волнующуюся отару овец, гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного, дружного табуна, гудит земля, меж тем как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах и начинается работа стряпух, смотреть и обонять которую лезут под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие...

После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, приноравливая к натуживающейся лошади и себя и тяжело скрипящую соху, на подвои которой лезут серые пласты земли, разутые, без шапок мужики, или выпалывают то просо, то картошки несметные девки, радующие своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, или на зное косят, со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валят густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями и, сгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы... Какой это непередаваемо-очаровательный звук, – звук натачиваемой косы, по блестящему лезвию которой то с одной, то с другой стороны ловко мелькает шершавая от песка, обмокнутая в воду лопаточка! Всегда есть косец, который непременно восхитит – расскажет, что он чуть-чуть не скопил целое перепелиное гнездо, чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил змею. А про баб я уже знаю, что иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная, – днем слишком сухо, сыплется зерно, – и чувствую поэтическую прелесть этой ночной работы...

Много ли таких дней помню я? Очень, очень мало, утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой: жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля, – у отца, у загорелого, с кудрявой рыжей бородой старосты, крупно и валко едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на возу подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блестящих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода... В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на возу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из Новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворе, – что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на возу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она, высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руке, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы; он, в белом картузе, в батистовой косоворотке, с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь...

IX

Помню поездки к обедне, в Рождество. Тут все необычайно, празднично: кучер в желтой шелковой рубаше и плисовой безрукавке на козлах тарантаса, запряженного тройкой; отец с свежевыбритым подбородком и по городскому одетый, в дворянском картузе с красным околышем, из под которого еще мокро чернеют по старинному, косицами начесанные от висков к бровям волосы, мать в красивом, легком платье со множеством оборок; я, напомаженный, в шелковой рубашечке, с праздничной напряженностью в душе и теле...

В поле уже душно, жарко, дорога среди высоких и недвижных хлебов узка и пылит, кучер барственно обгоняет мужиков и баб, тоже наряженных и тоже едущих к празднику. В селе весело замирает сердце от спуска с необыкновенно крутой каменистой горы и от новизны, богатства впечатлений: в селе мужицкие дворы все большие, зажиточные, с древними дубами на гумнах, с псеками, с приветливыми, но независимыми хозяевами, рослыми, крупными однодворцами, а под горой извивается в тени высоких лозин, усеянных орущими грачами, глубокая черная речка, прохладно пахнущая и этими лозинами, и сыростью низины, на которой они растут. На противоположной горе, на которую поднимаешься, переехав каменный затонувший в светлых струях

мост, на выгоне перед церковью – цветистое многолюдство: девки, бабы, гнутые, гробовые старики в чистых свитках и шляпах-черепенниках.

А в церкви – теснота, теплая, пахучая жара от этой тесноты, от пылающих свечей, от солнца, льющегося в купол, и чувство тайной гордости: мы впереди всех, мы так хорошо, умело и чинно молимся, священник после обедни подает нам целовать пахнувший медью крест прежде всех, кланяется подобострастно... Во дворе старика Данилы, ласкового лешего с сивыми кудрями, с коричневой шеей, похожей на потрескавшуюся пробку, мы после обедни отдыхали, пили чай с теплыми лепешками и медом, горой наваленным в деревянную миску, и мне на всю жизнь запомнилось, – оскорбило! – что он однажды взял прямо своими черными негнушимися пальцами кусок текущего, тающего янтарного сота и положил мне в рот...

Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много «промотал» в крымскую кампанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее «затрещит» с молотка; знал, что задонское имение уже «затрещало», что у нас уже нет его; однако у меня от тех дней все таки сохранилось чувство довольства, благополучия. И я помню веселые обеденные часы нашего дома, обилие жирных и сытных блюд, зелень, блеск и тень сада за раскрытыми окнами, много прислуги, много гончих и борзых собак, лезущих в дом, в растворенные двери, много мух и великолепных бабочек... Помню, как сладко спала вся усадьба в долгое послеобеденное время... Помню вечерние прогулки с братьями, которые уже стали брать меня с собой, их юношеские восторженные разговоры... Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как неизъяснимо прекрасен, легкий, светел был под луной южный небосклон, как мерцали в лунной небесной высоте редкие лазурные звезды, и братья говорили, что все это – миры, нам неведомые и, может быть, счастливые, прекрасные, что, вероятно, и мы там будем когда-нибудь... Отец спал в такие ночи не в доме, а на телеге под окнами, на дворе: наваливали на телегу сена, на сене стелили постель. Мне казалось, что ему тепло спать от лунного света, льющегося на него и золотом сияющего на стеклах окон, что это высшее счастье спать вот так и всю ночь чувствовать сквозь сон этот свет, мир и красоту деревенской ночи, родных, окрестных полей, родной усадьбы...

Только одно событие омрачило эту счастливую пору, событие страшное и огромное. Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие с поля рабочих лошадей, и крикнули, что Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадыю в Провал, на дно Провала, в те страшные заросли, где, как говорили, было нечто вроде илистой воронки. Работники, братья, отец, все кинулись туда, спасать, вытаскивать, и усадьба замерла в страхе, в ожидании: спасут ли? Но село солнце, стало темнеть, стемнело – вестей «оттуда» все не было, а когда они пришли, все притихло еще более: оба погибли – и Сенька и лошадь...

Помню страшные слова: надо немедленно дать знать становому, послать стеречь «мертвое тело...» Почему так страшны были эти совершенно для меня новые слова? Значит, я их уже знал когда-то?

Х

Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни). Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть...» Вот к подобным людям принадлежу и я.

Я с особенной чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о «покойниках», отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о «покойном» дяде, о «покойном» дедушке, о том, что «покойники» находятся где-то «на том свете», и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей – и привидений, иначе говоря, все тех же «покойников», оживающих и бродящих по ночам.

Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о Нем, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с Ним было и бессмертие. Бог – в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами,

безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, не взирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью, и я уже знал и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть – вообще еще очень не скоро, но в частности в любое время, особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме, поздним вечером, все вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощения; все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь Страшным Судом, каким-то грозным «Вторым Пришествием» и, что хуже всего, «восстанием всех мертвых». А потом начинался Великий пост, – целых шесть недель отказа от жизни, от всех ее радостей. А там – Страстная неделя, когда умирал даже Сам Спаситель...

На Страстной, среди предпраздничных хлопот, все тоже грустили, сугубо постились, говели – даже отец тщетно старался грустить и говеть, – и я уже знал, что в пятницу поставят пред алтарем в рождественской церкви то, что называется плащаницей и что так страшно – как некое подобие гроба Христа – описывали мне, в ту пору еще никогда не видевшему ее, мать и нянька. К вечеру Великой субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благодатной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник наконец наступал, – ночью с Субботы на Воскресенье в мире совершался некий дивный перелом, Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. К заутрене нас не возили, но все же мы просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью: «Христос Воскресе из мертвых» – и через некоторое время показывались «Христоносцы», молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в белых платках, – эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с торжествующим пением, входили во двор и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, с сознанием чести честью завершеного дела, замолкали, затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами и осторожно вносили крест и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете весенней зари мерцала в главном углу лампадка, и ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы, на новые красивые скатерти, а крест в меру с рождеством. Как прекрасно было все это! Но, увы, было и грустно и жутко немного. Все было хорошо, успокоительно, лампадка в весеннем чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то церковное, Божественное и потому опять соединенное с чувством смерти, печали. И не раз видел я с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами...

О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле? О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем и особенно к нам, ее близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства – и смерть...

Не Сенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по настоящему, почувствовал ее вещественность, то, что она наконец коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истинно как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши «дела и вещи», лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за риги, со стороны Провала. И долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжелое и даже как будто гадкое в той стороне, и все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывалось у меня с Сенькой и с бесплодными вопросами: что случилось с ним после того, как его задавило, и что он теперь такое, и почему именно в этот вечер погиб он?

Дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму... Но что могу я сказать о них? Только нечто общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную.

Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидел себя в небольшое трюмо (в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери) – и на минуту запнулся: на меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлен и даже слегка испуган той переменной, которая с каких то пор, – может быть, за одно лето, как это часто бывает, – произошла во мне и которую я наконец внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне было тогда лет. Полагаю, что случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет семи, а более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выражением лица – и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидел (как посторонний) свою привлекательность, – в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, – свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выражение: внезапно увидел, одним словом, что я уже не ребенок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему...

И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, – что уже само по себе означало не малое, – и совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое ученье. Я перенес первую тяжелую болезнь. Пережил новую смерть – смерть Нади, потом смерть бабушки...

XII

Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе в ледяной и ненастный весенний день, появился у нас снова, – когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода, то есть не просто несчастным, а создавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением, – оказался, словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, который я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Баскаковым, он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше, многих. Однако не даром был он худ, сутул, горбонос, темнолик «точно чорт», как говорили про него: характер у него был сумасшедший, он, еще будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом, затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал раздельный акт, плюнул брату в лицо, крикнув, что он, «когда такое дело», знать не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша, и опять и уже навсегда крепко хлопнул дверью родного дома. С тех пор и началась его скитальческая жизнь: ни на одном месте, ни в одном доме он не мог ужить даже несколько месяцев. Не ужился он и у нас сначала: вскоре после его первого появления на нашем дворе они с отцом чуть не порезались кинжалами. Но во второй раз случилось чудо: Баскаков через некоторое время заявил, что остается у нас навеки, – и прожил у нас целых три года, до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался и я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним.

Повышенная впечатлительность, унаследованная мной не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рождения. Баскаков чрезвычайно помог ее развитию. Как воспитатель и учитель в обычном значении этих слов он был никуда не годен. Он очень

быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу Дон-Кихота, случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг, а что делать дальше, точно не знал, да и не очень интересовался знать. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался всегда почтительно и тонко, он чаще всего говорил по-французски. Мать посоветовала ему выучить меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скоро и с большой охотой, но дальше опять не пошел: заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня учить их наизусть. И вышло так, что его большое воздействие на меня сказалось совсем в другом. Он вообще жил очень замкнуто и дико. Он иногда бывал необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив, остроумен, даже блестящ, неистощим на мастерские рассказы. Но большей частью был он как то едко молчалив, все что-то думал, ядовито усмехаясь, зло бормоча и без конца поспешно шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах. В это время всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой, желчной любезностью или дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался, завидя меня. Он тотчас же спешил ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад или усаживался со мной в каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух, поселяя во мне самые противоположные чувства и представления.

Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его и тогда, когда он читал, всегда, по своему обыкновению, прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. А та противоположность чувств и представлений, которую он поселял во мне, проистекала из того, что для своих рассказов он чаще всего избирал, совсем не считаясь с моим возрастом, все, кажется, наиболее горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующее о людской низости и жестокости, а для чтения – что-нибудь героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных страстях человеческой души, и я, слушая его, то горел от негодования к людям и от мучительной нежности к нему самому, столько от них страдавшему, то млел, замирал от радостных волнений. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то огненно-карие, выражение лица поражало своей напряженностью.

И всегда, когда он ходил или, вернее, бегал, развевались его сухие с проседью волосы и полы неизменного сюртука, чрезвычайно старомодного. «Не желая никому быть в тягость», у него было помешательство на этом, – он курил (и беспрестанно) только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной за отсутствием лакеев, а что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущи и предрассудок, будто люди должны питаться: за столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он...

Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения «с негодьями», о Москве, где он когда-то учился, о дремучих, медвежьих лесах за Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной Дон-Кихота, журнал «Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди», Робинзона... Он рисовал акварелью – и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, – и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквоящую в ветвях и листе, я и умирая вспомню...

XIII

В кабинете отца висел на стене старый охотничий кинжал. Я видел, как отец иногда вытаскивал из ножен его белый клинок и тер его полой архалука. Какой сладострастный восторг охватывал меня при одном прикосновении к этой гладкой, холодной, острой стали! Мне хотелось поцеловать, прижать ее к сердцу – и затем во что-нибудь вонзить, всадить по рукоятку. Отцовская бритва тоже была сталь и еще острее, да я не замечал ее. А вот при виде всякого стального оружия я до сих пор волнуюсь – и откуда они у меня, эти чувства? Я был в детстве добр, нежен – и однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом. Помню,

двор был пуст, в доме почему-то было тоже пусто и тихо, и вот я внезапно увидел большую и очень черную птицу, которая куда-то спешила, боком, неловко, распустив повисшее крыло, прыгала по траве по направлению к амбарам. Я кинулся в кабинет, схватил кинжал, выскочил в окно... Грач, когда я настиг его, вдруг замер, с ужасом в диком блестящем глазу откинулся в сторону, прижался к земле и, широко раскрыв и подняв клюв, ощерясь, зашипел, захрипел от злобы, решив драться со мной, видимо, не на живот, а на смерть... Убийство, впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым событием, я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося со мной, в кровь изодравшего мне руки, и зарезал с страшным удовольствием!

А сколько раз лазил я с Баскаковым на чердак, где, по преданиям, будто бы валялась какая-то дедовская или прадедовская сабля? Карабкались мы туда по очень крутой лестнице, в полутьме, согнувшись. Так же пробирались и дальше, шагая через балки, матицы, груды золы и мусора. Было по чердачному тепло и душно, пахло остывшим дымом, сажей, печами. В мире было небо, солнце, простор, а тут – сумрак и что-то задавленное, дремотное. Полевой ветер вольно шумел вокруг нас по крыше, а сюда его шум доходил глухо, превращаясь в какой-то иной, колдовской, зловещий... Сумрак понемногу редел, мы обходили кирпичный боров и шею трубы и при свете, падавшем из слухового окна, без конца шатались взад и вперед, заглядывали под балки, под косо лежавшие над ними пыльные стропила, рыли золу, то серую, то фиолетовую, в зависимости от места, от освещения... Если б нашлась эта сказочная сабля! Я бы, кажется, задохнулся от счастья! А меж тем на что она мне была? Откуда взялась моя страстная и бесцельная любовь к ней?

Впрочем, ведь и все в мире было бесцельно, неизвестно зачем существовало, и я уже чувствовал это.

Устав от бесплодных поисков, мы отдыхали. Станный человек, деливший их со мной, человек, зачем-то дотла разоривший свою жизнь и бесцельно мотавший ее по свету, единственный, кто понимал мои бесцельные мечты и страсти, садился на матицу, крутил цыгарку и, думая свое, что-то бормотал себе под нос, а я стоял, глядел в слуховое окно. Теперь на чердаке было совсем почти светло, особенно возле окна, и шум ветра не казался в нем таким зловещим. Но все же мы были тут сами по себе, а усадьба сама по себе, и я представлял ее себе, ее мирно текущую жизнь, как посторонний. Прямо подо мной, в солнечном свете, разнообразно круглились серо-зеленые и темно-зеленые верхушки сада, на которые так странно было глядеть сверху. Их осыпали оживленным треском воробы, они, внутри тенистые, сверху стеклянно блестели под солнцем, а я глядел и думал: для чего это? Должно быть, для того только, что это очень хорошо. За садом и за полями, простиравшимися за ним, на самом горизонте, синело, подобно далекому лесу, Батурина, и там неизвестно зачем уже восемьдесят лет жила в своей старосветской усадьбе, в доме с высочайшей крышей и цветными стеклами, бабушка, мать матери. Левее все сияло в солнечной пыли; там, за лугами, были Новоселки, то есть лозины, огороды, скудные мужицкие гумна и ряд жалких изб вдоль длинной улицы... Зачем существовали там куры, телята, собаки, водовозки, пуньки, пузатые младенцы, зубастые бабы, красивые девки, лохматые и скучные мужики? И зачем уходил туда почти каждый день к Сашке брат Николай? Только затем, что ему было почему-то приятно видеть ее ласковое и скромное лицо, милый круглый вырез белой миткалевой рубашки вокруг шеи, длинный стан и босые ноги... Этот вырез и мне нравился и тоже возбуждал какое-то томящее чувство: хотелось что-то с ним сделать, но было непонятно, что именно и зачем?

Да, в те дни больше всего пленяла таившаяся на чердаке сабля. Но нет-нет вспоминалась и Сашка, к которой я однажды, когда она как-то пришла в усадьбу и, стоя с опущенной головой у крыльца, что-то робко говорила матери, вдруг испытал что-то особенно сладостное и томящее: первый проблеск самого непонятного из всех человеческих чувств...

XIV

Дон-Кихот, по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палахом по плечу коленопреклоненного юноши с распущенными волосами, я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В

письмах А. К. Толстого есть такие строки: «Как в Вартбурге хорошо! Там даже есть инструменты 12 века. И как у тебя бьется сердце в азиатском мире, так у меня забилося сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал». Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы и, бродя по ним, не раз дивился: как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из Выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, кутившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать себе их? Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и донине несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) вошел в костел, хотя это был всего на всего костел в Витебске! Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие раскаты, гул и громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские гласы...

А за Дон-Кихотом и рыцарскими замками последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир океанский, тропический. Уж к этому то миру я несомненно некогда принадлежал. Картинки в Робинзоне и во «Всемирном путешественнике», а вместе с ними большая пожелтевшая карта земного шара с великими пустотами южных морей и точками полинезийских островов пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними – все чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину, только вчера сидел возле нее в райской тишине сонного послеполуденного часа. Какие сладкие и яркие виденья и какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками! Пьер Лоти рассказывает о том «волнующем и чудодейственном», что заключалось для него в детстве в слове «колонии». Но ведь он говорит:

«Il y avait une quantité de choses des colonies chez cette petite Antoinette: un perroquet, des oiseaux de toutes couleurs dans une volière, des collections de coquilles et d'insectes. Dans les tiroirs de sa maman, j'avais vu de bizarres colliers de graines pour parfumer; dans les greniers on trouvait des peaux de bêtes, des sacs singuliers, des caisses sur lesquelles se lisaient encore des adresses de villes des Antilles.»

А что же подобное могло быть в Каменке?

В книге «Земля и люди» «были картинки в красках. Помню особенно две: на одной – финиковая пальма, верблюд и египетская пирамида, на другой – пальма кокосовая, тонкая и очень высокая, косой скат длинного пятнистого жирафа, тянувшегося своей женственной косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к ее перистой верхушке – и весь сжавшийся в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу гривастый лев. Все это – и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев – было на фоне двух резко бьющих в глаза красок: необыкновенно яркой, густой и ровной небесной сини и ярко-желтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя, сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту синь и эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости! В тамбовском поле, под тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то, в своих прежних, незапамятных существованиях, что впоследствии, в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: да, да, все это именно так, как я впервые «вспомнил» тридцать лет тому назад!

XV

Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»:

У лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том...

Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор – какое-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то «ученый» кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки и «на неведомых дорожках следы невиданных зверей». Но очевидно, в том-то и дело, что вздор, нечто нелепое, небывалое, а не что-

нибудь разумное, подлинное; в том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и «ученый» в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрестанных движений («и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом») и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей», – только следы, а не самые звери! – и это «о заре», а не на заре, та простота, точность, яркость начала (лукоморье, зеленей дуб, золотая цепь), а потом – сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:

Там лес и дол видений полны, Там о заре прихлынут волны На брег песчаный и пустой, И тридцать рыцарей прекрасных Чредой из волн выходят ясных И с ними дядька их морской...

У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские помещики» и «Страшная месть.» Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав.»

Эти «поющие двери», этот «прекрасный» летний дождь, который «роскошно» шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где «старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей...» А «Страшная месть»!

«Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости...»

«Приехав и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, с молодою женой Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец...»

И дальше:

«Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен... Посреди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца: черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны...»

А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка: «на том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды» (те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь). Вот она «замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи...»

Опять дивлюсь: как мог я тогда, в Каменке, так разительно точно видеть все эти картины! И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно и что не нужно ей! К одному я был холоден и забывчив, другое ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой, – и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса.

«Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака...»

Да, вот это было мне нужно!

«Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегавшей к Днепру. Невысокие у него хоромы; хата на вид как у простых козаков и в ней одна светлица... Вокруг стен, вверх, идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копыя... Под стеною, внизу, дубовые гладко вытесанные лавки; возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило, на лежанке старая прислужница; в люльке тешится и убаюкивается малое дитя; на полу покотом ночуют молодцы...»

Несравненной всего – эпилог:

«За пана Степана, князя Семиградского, жило два козака: Иван да Петро...»

«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки – чувство священной законности возмездия, священной необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается.

Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществленья Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу и к ближнему...

XVI

Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше же всего вымышленной.

Подлинная жизнь была бедна.

Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я.

Колонии! Я знал только «колониальную» лавку в Рождестве. Для меня все колониальное заключалось в корице, которой сдабривали на Страстной пасху, да в черных блестящих рожках, приторный вкус которых я узнал, побывав в Рождестве на ярмарке, да в ярлыках (херес, мадера) на бутылках в тонких проволочных сетках, которыми я забавлялся, растягивая их так и этак, и которых опять стало появляться в нашем доме все больше и больше, потому что отец опять стал запивать все чаще и чаще. В Рождестве же видел я и высшую роскошь: в церкви. Для глаза, привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам, курным избам, лаптям, посконным рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пенью жаворонков, к писку цыплят, к кудахтанью кур, глубокий купол с грозным седовласым Саваофом, простершим длани над сиреневыми клубами облаков и над своими волнистыми, веющими ризами, золотой иконостас, образа в золотых окладах, жарко пылающие светлым, золотым костром, косо и обильно наставленные перед Праздником и друг друга растопляющие тонкие восковые свечи, громкое и нестройное пенье дьячка и пономаря, ризы священника и дьякона, возгласы и чтения на языке возвышенном и не совсем понятном, поклоны и кажденья ладаном, его пряный дым, густо восходящий из кадила, ловко взлетающего вверх и бряцающего серебряными цепочками – все казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу...

Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пядь земли от соседа помещика, и без того с каждым годом все скудевшего? Почему алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босяком, юродом? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебной краткий срок?

Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни: душа ее была в непрестанном и высоком напряжении, царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только приуготовление к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец, Баскаков? Что сделал с своей жизнью Баскаков, я уже говорил. А что делал над собой, над своим благосостоянием наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица небесная, отец? А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства? Брат Николай ради Сашки и прелестей деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по следующему: стал однажды Николай рисовать мне мое будущее, – ну, что ж, сказал он, подшучивая, мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-

что скопишь, купишь домик, — и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался...

XVII

В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь, — впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах, — в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании; испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить; а затем — целые дни и ночи как бы несуществования, иногда только прерываемого снами, виденьями, чаще всего безобразными, нелепо-сложными, как бы сосредоточившими в себе всю телесную грубость мира, которая, в распаде, в яростном борении с самой собой, гибнет среди чего-то горячего, пламенного (несомненно, послужившего для человеческих представлений об адских муках). Ах, как помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя порой и видел то мать в образе какого-то громадного призрака, то, вместо спальни, темный и мрачный овин, где, от свечи, поставленной на пол за изголовье кровати, неслись и дрожали в огненных волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей, растений! И какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения во ад на землю, в ее простую, милую и уже знакомую юдоль! Почему-то в это время я с особенным наслаждением ел черный хлеб, один запах которого приводил меня в восторг и который, по деревенской простоте, давали мне.

Затем умерла Надя — месяца через два после моей болезни, после Святки. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день, с утра до вечера шло у нас разливанное море, дом был полон гостей... Мать была счастлива: высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на Святки приехал. Как вдруг, среди всего этого веселого безобразия, захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытии, горела, и в детской было все то же: завешенные окна, полумрак, свет лампадки... За что, именно ее, радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово — «кончается» — раздалось для меня впервые поздним зимним вечером, в глуши темных снежных полей, в одинокой усадьбе! А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел: в зале на столе, в лампадном могильном свете, лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами... Более волшебной ночи не было во всей моей жизни.

А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни, мать сидела возле раскрытого окна, в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик, верховой, и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицаньем ударила по подоконнику ладонью... Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, — увы, уже знакомая мне, — работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец — одеваться... Нас, детей, они, слава Богу, с собой не взяли...

XVIII

Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, — жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертей, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное, непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя уstraшенная и как будто чем-то глубоко

опозоренная, оскорбленная душа устремила за помощью, за спасеньем к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно – в тайную мольбу к Нему, в непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне то же убежище: – Поусердней надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя! О Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, – говорила она, плача: – она теперь в раю, с ангелами...

И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир: стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму: мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как Божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными власами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру, Мария Египетская, о киевских пещерах, где починут сонмы страсотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола... Я жил только внутренним созерцаньем этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власяницы, пил только воду, ел только черный хлеб...

И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить – как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи, – трудно было не развлекаться ими среди «земных метаний» и коленопреклонений, уже не дававших прежних, полных и искренних молитвенных восторгов! Настал апрель, и в один особенно солнечный день стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживленьем, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой, молодой жизни, и в комнатах запахло свежим и нежным полевым воздухом, землей, ее мягкой сыростью, послышался важный и томный крик уже давно прилетевших грачей... Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи, стали заводить свои дремотные, мечтательные и успокоительные трели лягушки на пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный, теплый дождь... И опять, опять ласково и настойчиво потянула меня в свои материнские объятия вечно обманывающая нас земля...

XIX

В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше. Просто Алеши не стало, – теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии.

К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мной зимою, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел – вполне подстать веселой, сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроенью, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась – даже для матери и няньки – только в прекрасное воспоминанье, в представление о младенчески-ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в вечной небесной обители; мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по иному, чем прежде, – иногда даже с улыбками, – они, случалось, и плакали, но опять таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась; даже более: ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома: во-первых, Батурине принадлежало теперь нам, что очень поправляло наши дела, а, во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех

радовало, как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего былого, кочевых времен.

По рассказам матери, я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда мать с отцом так поспешно прискакали туда: майский день, уютный двор, окруженный старинными службами, старинный дом с деревянными колоннами на двух крыльцах, темно синие и багряные верхние стекла в окнах зала – и под ними, на двух сдвинутых столах, устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная старушка в белом чепце с зубчиками, со сложенными на груди прозрачными ручками, у изголовья которой стоит «черничка», опрятная пожилая отроковица и, не поднимая длинных ресниц, однообразно читает наставительным, высоким и странным голосом, который отец с неприязненной усмешкой назвал серафическим... Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне. Но уже только неприятна – не более. И эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, что это туда приеду я в первый раз на каникулы, – уже, Бог даст, второкласником, и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей.

Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем родным гнездом, находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих, городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах; то и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня; но сейчас же я с радостью говорил себе: все это еще так не скоро! – и с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем: я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга... Больше всего меня ободрял и ободрял картинами этой новой жизни брат Георгий, казавшийся мне совсем необыкновенным существом: был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского Университета, с золотой медалью кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить.

В начале августа меня повезли наконец – на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился – пока она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал: «А может, Бог даст, я еще не выдержу...»

Увы, я выдержал. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто такие были Амаликитяне, попросили «четко и красиво» написать: «снег бел, но не вкусен» да прочесть наизусть: «Румяной зарею покрылся восток...» Тут мне даже кончить не дали: едва я дошел до пробужденья стад «на мягких лугах», как меня остановили, – верно, учителю (рыжему, в золотых очках, с широко открытыми ноздрями) слишком хорошо было известно это пробуждение и он поспешно сказал: – Ну, прекрасно, – довольно, довольно, вижу, что знаешь...

Да, брат был прав: в самом деле «ничего особенно страшного» не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я!

Сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, – все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной, трехэтажное здание гимназии за высокой оградой, в глубине большого мощеного двора, я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Не удивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золо-

тыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену.

После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне дается отпуск до первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, — он страшно соскучился сидеть в «учительской», где испытывали мои знания, — у меня еще более. Все вышло отлично: и выдержал, и целых три недели свободы впереди! Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рождения до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на три недели, а я почувствовал только одно: слава Богу, целых три недели! — точно этим трем неделям и конца не предвиделось. — Ну-с, зайдем теперь поскорей к портному — и обедать! — весело сказал отец, выходя из гимназии.

И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в «шапочное заведение», где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату, какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде: старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз, — в общем нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне наконец превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся, — на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец: — И на чорта ему эти Амаликитяне?

XX

Как-то в конце августа отец надел высокие сапоги, подпоясался поясом с патронами, перекинул через плечо ягташ, снял со стены двустволку, кликнул меня, потом свою любимицу, каштановую красавицу Джальму, и мы пошли по жнивьям вдоль дороги на пруд.

Отец был в одной пестренькой косоворотке и в белом картузе, я, несмотря на жаркую, сухую погоду, в гимназическом. Отец, рослый, сильный, легко шел своим твердым шагом впереди, шурша по желтой щетке жнивья и пуская через плечо дым папиросы, я поспешал сзади, держа правую стороны, как и полагается по правилам охоты, соблюдать которые мне доставляло большое удовольствие. Он поощрительно посвистывал, и Джальма со сдержанной горячностью, мелко и часто мотая, дрожа тугим хвостом, вся превратясь в слух, зрение и чутье, быстрым, извилистым поиском тянула перед нами. Поля были уже пусты, просторны, но еще по-летнему светлы и веселы. Горячий ветерок то совсем упал, — и тогда припекало, слышно было, как горячо сипят, часиками стучат, куют кузнечики, — то дул мягким сухим зноем, усиливался, летел мимо нас и вдруг игриво взвивал по наезженной за рабочую пору дороге облачко пыли, подхватывал, крутил ее и винтом, воронкой лихо уносил вперед. Мы зорко следили за Джальмой, тянувшей однообразно и споро, незаметно уводившей нас за собой все дальше. Время от времени она вдруг замирала, вся подавшись вперед, и, подняв правую лапу, впивалась глазами в то, невидимое нам, что было перед нею. Отец негромко ронял: «пиль!» — она кидалась на это невидимое и тотчас же — ффрр! — тяжело и неловко (от жиру) вырывался из-под нее крупный кургузый перепел и, не успев пролететь и пяти шагов, комом падал опять в жнивье под выстрелом. Я бежал, подбирая его, клал отцу в ягташ...

Так прошли мы все ржаное поле, потом картофельное, миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестящий своей удлиненой поверхностью вправо от нас, в ложине среди голых, выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как то бесприютно, на юру, в раздумьи, сидели грачи. Тут отец поглядел и сказал, что вот уже и грачи по осеннему стали собираться на советы, подумывать об отлете, и меня на минуту опять охватило чувство близкой разлуки не только с уходящим летом, но и со всеми этими полями, со всем, что было мне так дорого и близко во всем этом глухом и милом краю, кроме которого я еще ничего не видал на свете, в этой тихой обители, где так мирно и одиноко цвело мое никому в мире неведомое и никому ненужное младенчество, дет-

ство...

Потом мы взяли левее, пошли на Заказ, по межам среди необозримой черной пашни, которую скородили. Это было все еще наше поле, и одну борону влек по сухим комьям сухого чернозема гнедой стригун, когда-то, еще тонконогим сосуном, у которого еще шелковисто кудрявилась репка хвоста, подаренный мне, а теперь бессовестно, без спросу, без моего разрешения, уже пущенный в работу. Дул жаркий ветерок, над пашней блестело августовское солнце, еще как будто летнее, но уже какое-то бесцельное, а стригун, уже очень выросший, высокий, – хотя высокий еще как-то странно, по мальчишески, – покорно шел по пашне, таща веревочные постромки, и за ним виляла, прыгала решетка бороны, разбивавшая землю косыми железными клевцами, и, неумело держа веревочные вожжи в обеих руках, ковылял подросток в лаптях. И я долго смотрел на эту картину, опять чувствуя непонятную грусть...

Заказ был довольно большой полевой лес, принадлежавший полусумасшедшему помещику, который одиноко и враждебно всему миру, точно в крепости, сидел в своей усадьбе возле Рождества, охраняемой свирепыми овчарками, вечно судился с рождественскими и новосельскими мужиками, никогда не сходил с ними в цеха на работу, так что нередко случалось, что у него оставались целые косяки хлебов некошенными или до глубокой осени гнили в поле, а потом гибли под снегом тысячи копен. Так было и теперь. Мы шли к Заказу по некошеным желтым овсам, перепутанным и истоптанным скотиной. Тут Джальма подняла еще несколько перепелов; я опять бегал, поднимал их и мы опять шли дальше, обходя Заказ по густому просянному полю, шелковисто блестящему под солнцем своими коричневыми склоненными к земле кистями, полными зерна, которые особенно сухо и звонко, бисером шумели под нашими ногами. Отец расстегнул ворот, покраснелся, – ужасная жара и ужасно пить хочется, пойдем в Заказ на пруд, сказал он. И, перепрыгнув через канаву, которая отделяла поле от лесной опушки, мы пошли по лесу, вошли в его августовское, светлое, легкое, уже кое-где желтеющее, веселое и прелестное царство.

Птиц было уже мало, – одни дрозды стаями, с веселым, притворно-яростным взвизгиваньем и сытым квохтаньем, перелетали там и сям; в лесу было пусто, просторно, лес был не частый, далеко видный насквозь, солнечный. Мы шли то под старыми березами, то по широким полянам, на которых вольно и свободно стояли могучие ветвистые дубы, уже далеко не такие темные, как летом, с поредевшей и подсохшей листвой. Мы шли в их пестрой тени, дыша их сухим ароматом, по скользкой, сухой траве и глядели вперед, где жарко сияли более открытые поляны, а за ними канареечно желтела и трепетала небольшая чаща молодой кленовой поросли. Когда мы вошли на тропинку, пролежавшую среди этой чащи к пруду, из подседа, из лапчатых орешников, вдруг с треском вырвался почти из под ног у нас золотисто-рыжий вальдшнеп. Отец был так поражен столь ранним гостем, что даже растерялся, – выстрелил, разумеется, мгновенно, но промахнулся. Подивившись, откуда мог взяться в такую пору вальдшнеп, и подосадовав на промах, он подошел к пруду, положив ружье, присел на корячки и стал горстями пить. Потом, с удовольствием отдуваясь и вытирая рукавом губы, лег на берегу и закурил. Вода в пруде была чистая, прозрачная, особенная лесная вода, как есть вообще нечто особенное в этих одиноких лесных прудах, почти никогда никем, кроме птицы и зверя, не посещаемых. В ее светлой бездонности, похожей на какое-то зачарованное небо, спокойно отражались, тонули верхушки окружавшего ее березового и дубового леса, по которому с легким лепетом и шорохом тянул ветер с поля. И под этот шорох, лежа с подставленной под голову рукой, отец закрыл глаза и задремал. Джальма тоже напилась в пруде, потом бухнулась в него, немножко проплыла, осторожно держа голову над водой с повисшими, как лопухи, ушами, и, внезапно повернув назад, как бы испугавшись глубины, быстро выскочила на берег и крепко встряхнулась, осыпав нас брызгами. Теперь, высунув длинный красный язык, она сидела возле отца, то вопросительно поглядывая на меня, то нетерпеливо оглядываясь по сторонам... Я встал и бесцельно побрел среди деревьев в ту сторону, откуда мы подходили к лесу по овсяному полю...

XXI

Там, за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев, неправильно и чудесно округлилось в синеве, медленно текло и менялось не-

известно откуда взявшееся большое белое облако. Пройдя несколько шагов, я тоже лег на землю, на скользкую траву, среди разбросанных, как бы гуляющих вокруг меня светлых, солнечных деревьев, в легкой тени двух сросшихся берез, двух белоствольных сестер в сероватой мелкой листве с сережками, тоже подставил руку под голову и стал смотреть то в поле, сиявшее и ярко желтевшее за стволами, то на это облако. Мягко тянуло с поля сушью, зноем, светлый лес трепетал, струился, слышался его дремотный, как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда возрастал, усиливался и тогда сетчатая тень пестрела, двигалась, солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле и в деревьях, ветви которых гнулись и светло раскрывались, показывая небо...

Что я думал, если это только были думы? Я думал, конечно, о гимназии, об удивительных людях, которых я видел в ней, которые назывались учителями и принадлежали как бы к какой-то совсем особой породе людей, все назначение которых – учить и держать учеников в вечном страхе, и меня охватывал недоуменный ужас, зачем везут меня в рабство к ним, разлучают с родным домом, с Каменкой, с этим лесом... Я думал о стригуне, которого я видел в бороне на пашне.

Я смутно думал так: да, вот как все обманчиво на свете, – я воображал, что стригун-то мой, а им распорядились, не спросив меня, как своей собственностью... да, вот был тонконогий мышастый жеребенок, трепетный, пугливый, как все жеребята, но и радостный, доверчивый, с ясными черносливыми глазами, привязанный только к матери, всегда со сдержанным удовольствием и лаской ржавшей при виде его, во всем же прочем бесконечно вольный, беззаботный... этого жеребенка мне в один счастливый день подарили, навсегда отдали в мое полное распоряжение, и я радовался на него некоторое время, мечтал о нем, о нашем с ним будущем, о близости, которая не только будет, но уже образовалась между нами оттого что мне его подарили, а потом стал понемногу забывать о нем – и мудрено ли, что и все забыли, что он мой? Я ведь в конце-концов совсем забыл о нем, – вот как забуду я, верно, и Бскакова, и Олю, и даже может быть отца, которого я сейчас так люблю, с которым такое счастье ходить на охоту, да забуду и всю Каменку, где мне знаком и дорог каждый уголок... И прошло два года, – точно их и не бывало никогда! – и где он теперь, этот глупый и беспечный жеребенок? Есть трехлеток, стригун – и где его прежняя воля, свобода? Вот он уже ходит в хомуте по пашне, таскает за собой борону... И разве не случилось и со мной того же, что с этим жеребенком?

На что мне были Амаликитяне? Я то и дело ужасался и дивился, но что ж я мог? Облако из-за берез блистало, белело, все меняя свои очертанья... Могло ли оно не меняться? Светлый лес струился, трепетал, с дремотным лепетом и шорохом убежал куда-то... Куда, зачем? И можно ли было остановить его? И я закрывал глаза и смутно чувствовал: все сон, непонятный сон! И город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства – все сон! Грустный ли, тяжелый ли? Нет, все таки счастливый, легкий... И, как бы подтверждая это, за мной вдруг тяжело бухнул и по всему лесу, гремящим кольцом охватывая его, раскатился выстрел, вслед за которым послышался особенно яростный взвизг и квохт, видимо, огромной стаей взлетевших дроздов и бешено-радостный лай Джальмы: стрелял проснувшийся отец. И, сразу забыв все свои думы, я со всех ног кинулся к нему – подбирать убитых, окровавленных и еще теплых, сладко пахнувших дичью и порохом дроздов.

Книга вторая

I

В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию, – по новой для меня, Чернавской дороге, – я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой, старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозой остов. На ней сидел, черной

головней чернел большой ворон, и отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет и что, может быть, этот ворон жил еще при татарах... В чем заключалось очарование того, что он сказал и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя родина? В ощущении связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему?

Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай, а потом – что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его, после того, как он наконец был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время, между Становой и нами, влево от большой дороги, шел еще никогда не виденный мной поезд. Сзади нас склонялось к закату солнце и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города как бы заводную игрушку – маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма, и зеленые, желтые и синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них, их окошечки, блестящие против солнца, этот быстрый и мертвый бег колес – все было очень странно и занятно; но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое, то, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины таинственной и страшной Становой. Татары, Мамай, Митька... Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней...

II

Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы.

Вот хотя бы эта Становая. Впоследствии я не раз бывал в Становой и вполне убедился, что уже давно нет в ней никаких разбойников. Однако, никогда не установилось у меня совсем простого взгляда на нее, все казалось, что недаром ее обитатели все еще имеют славу прирожденных злодеев. А затем – пресловутый Становлянский верх. Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по нашему, верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему, в какое-бы время года ни проезжал он ее, и не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой. Много было на Чернавском тракте славных мест, – таких, где когда-то, в свой заветный час, из разных потаенных буераков и водомоин, выходили под дорогу добрые молодцы, чутким ухом слышав в ночной тишине дальний плач колокольчика или стук простой телеги; но Становлянский верх славился больше всех. Ночью возле него всегда невольно замирала душа, и неизвестно, что было хуже: гнать-ли лошадей во весь опор или вести их шагом, ловя малейший звук? Все представлялось: глядь, а они и вот они – не спеша идут наперерез тебе, с топориками в руках, туго и низко, по самым косякам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно-спокойно приказывают: «Постой-ка минутку, купец...»

И что было страшней: услышать их приказ в мирном безмолвии, в тихом сумраке летних ночных полей, или сквозь шум зимнего ветра, слепящего белой вьюгой, или под осенними ледяными и острыми звездами, в полусвете которых далеко видна чернеющая окрест мертвая земля и так страшно грохочут твои собственные колеса по застывшей, как камень, дороге?

После Становой большую дорогу пересекало шоссе, и тут была застава, шлагбаум: тут нужно было останавливаться и ждать, пока николаевский солдат, выйдя из траурно-полосатой будки, освободит такую же полосатую перекладину, и она, звеня цепью, медленно потянется оголовком вверх (за что нужно было платить казне две копейки дани, которую все проезжие почитали денным грабежом). Дальше дорога шла вдоль старинной Беглой Слободы, потом мимо необозримого болота нечистот, имевшего совершенно непристойное название, и наконец по шоссе между острогом и древним монастырем. Самый город тоже гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простиралась «земли дикие, неизвестные», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал

к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарева страшных ночных и дневных пожарищ, ими запалемых, первые давали знать Москве о грядущей беде и первые ложились костями за нее. В свое время он, конечно, не раз пережил все, что полагается: в таком-то веке его «дотла разорил» один хан, в таком-то другой, в таком-то третий, тогда-то «опустошил» его великий пожар, тогда-то голод, тогда-то мор и трус... Вещественных исторических памятников 79 он при таких условиях, конечно, не мог сохранить. Но старина в нем все же очень чувствовалась, сказывалась в крепких нравах купеческой и мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях его слобожан, то есть жителей Черной Слободы, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался некогда вместе со своим аргамачом какой-то татарский князь. А какой пахучий был этот город!

Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден был он со всеми своими несметными церквами, блестящими вдаль в огромной низменности, уже пахло: сперва болотом с непристойным названием, потом кожевенными заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, где в базарные дни станом стояли съезжавшиеся на торг мужики, а там уже и не разберешь чем: всем, что только присуще старому русскому городу...

III

В гимназии я пробыл четыре года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой и бедной среде: попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались.

Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, барчук, считал, конечно, очень низкими и которые однако вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной, — уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка; но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений, он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку, дико и упорно молчал, со звериной недоверчивостью поглядывая на меня исподлобья, да и я не спешил навязываться в дружбу к нему — между прочим и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше: я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало накрапывать, бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста, а на полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона, на высокой колокольне, поднимавшейся вдаль за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пело и играло что-то...

Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину, — «терпеть не могу этого чертового уныния!» Но тут огня не зажигали, за стол когда попало не садились, — тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь: огонь зажгли, когда уже совсем стемнело и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя и для других твердые правила, какой-то «не нами, глупцами, а нашими отцами и дедами» раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он отсутствовал, в его доме, в его семье (состоявшей из миловидной и спокойной жены, двух тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и шестнадцатилетнего сына) неизменно царило то, что было установлено его суровым и благородным духом: безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове... Теперь, в эти грустные сумерки, хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукодельем, сторожко ждали его к ужину. И как только стукнула наружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. — Маня, Ксюша, накрывайте, — негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню.

Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно-приветливое жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он неспеша вытер руки, с сумрачной усмешкой кинул полотенце ей на голову, – она при этом радостно вспыхнула, – и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол...

Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне – и не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом, на деревянном круге, серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам – соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что, так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: – Надо ко всему привыкать, барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету...

И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полновесно и внушительно, – и тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии: гордостью.

IV

Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма не редко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильнее, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли Ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидел, что очень и очень многим, а теперь вижу и другое: то, что была она тогда даже некоторым знамением времени, чувствовалась в ту пору особенно и не только в одном нашем городе.

Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один Ростовцев говорит в таком роде, то и дело слышал эти мнимо-смирненные речи, – мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит, – а теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, – как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланясь; с игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью, одно чувство не редко сменялось другим, противоположным; но что все-таки преобладало?

Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом: – Что нам вексель! Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было, записывал торговый человек, кто сколько ему должен, вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз, торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой – остерегал: ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз, а то возьму да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет!

Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был «кулак», но кулаком себя, понятно, не считал да и не должен был считать: справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам, своим нахлебникам, и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь: – А стихи вам нынче задавали?

Мы говорили:

Задавали.

Какие же?

Мы бормотали: – «Небо в час дозора – обходя луна – светит сквозь узоры – мерзлого окна...» – Ну, это что-й-то не складно, – говорил он. – «Небо в час дозора обходя луна» – я этого что-й-то не понимаю.

Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно. И мы не знали, что сказать, а он опять спрашивает: – А еще? – А еще «тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях, переломанных бурей, она кров и покой находила...» – Ну, это ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте энти про всенощную и «под большим шатром».

И я смущенно начинал:

«Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всенощной, к молитве благостной...» Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром голубых небес, вижу, даль степей расстилается...» Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешенья этого описания: «Это ты, моя Русь державная, моя родина православная!» – Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. – Да, вот это стихи! – говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. – Вот это надо покрепче учить! И ведь кто писал-то? Наш брат мещанин, земляк наш!

Прочие «торговые люди» нашего города, и большие и малые, были, повторяю, не Ростовцевы, чаще всего только на словах были хороши: не мало в своем деле они просто разбойничали, «норовили содрать с живого и мертвого», обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью походя, над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шляется весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью, на мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, «объегоривали» их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева, – всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости Россией и всем русским, то ее было еще раз говорю, даже в излишестве. И не один Ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная!» – или говоря про Скобелева, про Черняева, про Царя-Освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминовение «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого Государя нашего Александра Александровича» – почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, «мирного и благоденственного жития», висится русская корона.

V

Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что мнилось: все кончено! Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное, и уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были! Все с иголочки, все прочно, ловко, все радует: расчищенные сапожки, светло-серое сукно панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синие блестящие картузики на чистых стриженных головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради... А потом – резкая и праздничная новизна гимназии: чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы, с каким то сугубым возбуждением вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед ученьем в сборной зале, первый развод «попарно и в ногу» по классам, – ведет и, командуя, бойко марширует впереди настоящий военный, отставной капитан, – первая драка при захвате мест на партах и наконец

первое появление в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой... Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы...

Учился я легко; хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным – посредственно, отделяваясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было равно ни на что нам не нужно, не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные, среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и два-три настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен: он был страшно молчалив, страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения, ходил всегда по середине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него братья за дверную ручку, за стул перед кафедрой; он был маленький, шуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство печально и тихо устремленными глазами...

Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное ученье по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска, – ах, если бы поскорей мелькали они!

VI

Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу, – меня не смеют сажать учить уроки и драть за уши, как Глебочку, который становится все озлобленней и поэтому все ленивей и упрямее. В душе грусть о промелькнувшем лете, которое, казалось, будет бесконечным и сулило осуществление тысячи самых чудесных планов, грусть своей отчужденности от всех, кто идет, едет по улице, торгует на базаре, стоит в рядах возле лавок... У всех свои дела, свои разговоры, все живут своей привычной жизнью взрослых людей, – не то, что одинокий и грустный гимназист, еще не принимающий в ней никакого участия. Город ломится от своего богатства и многолюдства: он и так богат, круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, с Ревелем, теперь же и того богаче – с утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи, с утра до вечера идет по всему городу ссыпка хлеба, базары и площади завалены целыми горами всяких плодов земных. То и дело встречаешь мужиков, которые спешат по середине улицы с громким говором довольных, отдыхающих людей, обделавших наконец все свои городские дела, уже дернувших по шкалику и теперь, на ходу, по дороге к своим телегам, закусывающих «подрукавничком». С оживленным говором идут по тротуарам и те, что весь день обрабатывали этих мужиков, – загорелые, запыленные, вечно бодрые мещане-перекупщики, с утра выходящие в город навстречу мужикам, друг у друга их перебивающие и потом разводящие за собой по базарам и лабазам; они тоже отдыхают теперь, направляются по трактирам попить чайку. А прямая, как стрела, Долгая улица, ведущая вон из города, к острогу и монастырю, тонет в пыли и слепящем блеске солнца, заходящего как раз в конце ее пролета, и в этом пыльном золоте течет поток идущих и едущих, возвращающихся с рысистых бегов, которыми тоже знаменит город, – и сколько тут франтов из всяких писцов и приказчиков, сколько барышень, разряженных точно райские птицы, сколько щегольских шарабанов, в которых красуются перед народом толстозадые купчики, сидя рядом со своими молодыми женами и сдерживая своих рысачков! А в соборе звонят ко всенощной, и бородатые, степенные кучера везут в тяжелых и покойных колясках, на раскормленных лошадях, старых купчих с восковыми свечами в руках, поражающих или желтой пухлостью и обилием драгоценностей, или гробовой белизной и худобой...

Вот «табельный» день, торжественная обедня в соборе. Наш капитан, перед тем как вести нас, собравшихся во дворе гимназии, осматривает каждую нашу пуговицу. Учителя – в мундирах, в орденах, в треуголках. Идя по улицам, мы с удовольствием чувствуем, что прохожие смотрят на нас как на что-то казенное, полувоенное, принимающее непосредственное участие во

всем том параде, которым должен быть ознаменован этот день. К собору отовсюду сходятся и съезжаются другие «ведомства», то есть опять мундиры, ордена, треуголки, жирные эполеты. Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и торжественнее гул соборного колокола. Но вот и паперть – «шапки долой!» – и теснясь, расстраивая ряды, мы вступаем в прохладное величие широко раскрытого портала, и тысячепудовый звон ревет и гудит уже глуше, над самой головой, широко и благостно-строго встречая, принимая и покрывая тебя. Какое многолюдство, какое грузное великолепие залитого сверху до низу золотом иконостаса, золотых риз причта, пылающих свечей, всякого чина, теснящегося возле ступеней амвона, устланного красным сукном! Для отроческого сердца было все это нелегко: голова мутилась от длительности и пышности службы, от этих чтений, каждений, выходов и выносов, от зычного грома басов и сладких альтовых замираний на клиросе, изысканно щеголяющем то мощью, то нежностью, от горячей и жуткой плотности больших тел, со всех сторон надвинувшихся на тебя, от вида до ужаса скованной своим коротким мундиром и серебряным поясом кабаньей туши полицеймейстера, возвышающегося прямо над тобою...

По вечерам в такие дни город багрово пылал, дымился и вонял плошками, расставленными по тротуарам, дома, украшенные флагами, горели в темноте огненно-сквозными вензелями и коронами, – это, среди моих первых городских впечатлений, одно из самых памятных. Тогда в городе бывало большое гулянье. И вот сын Ростовцева, – он был тоже гимназист, шестиклассник, – однажды взял нас с Глебочкой на такое гулянье в городской сад, и меня поразила несметная, от тесноты медленнодвигающаяся по главной аллее толпа, пахнущая пылью и дешевыми духами, меж тем как в конце аллеи, в сияющей цветными шкаликами раковине, томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои медные трубы и литавры военный оркестр. Ростовцев в этой аллее вдруг остановился, лицом к лицу столкнувшись с хорошенькой барышней, шедшей навстречу нам с подругами, и, покраснев, шутя щелкнул каблуками и отдал ей честь, а она вся озарилась под своей затейливой шляпкой откровенно-радостной улыбкой. Перед раковиной, на площадке, бил среди большого цветника, орошая его прохладным водяным дымом, раскидистый фонтан, и мне навсегда запомнилась его свежесть и прохладный, очаровательный запах обрызганных им цветов, которые, как я узнал потом, назывались просто «табак»: запомнились потому, что этот запах соединился у меня с чувством влюбленности, которой я впервые в жизни был сладко болен несколько дней после того. Это благодаря ей, этой уездной барышне, я до сих пор не могу без волнения слышать запах «табака», а она и понятия не имела никогда обо мне и о том, что я всю жизнь вспоминал от времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и звуки военной музыки, как только слышал этот запах...

VII

А вот и первые холода: скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топил печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый, наследственный быт, которым он живет столетия, – повторяемость времен года и обычаев. – Гуси летят, – с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. – Сейчас целый косяк видел... Купил у мужика два воза капусты, прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье капуста, качан к качану...

И на душе у меня делается хорошо и так грустно, грустно. Я оставляю Вальтер Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь, – мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там, при въезде в него, – древний мужской монастырь... все говорят, что в нем, в каждой келье, у каждого монаха, всегда есть за образом и водочка и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи под рясами штаны, я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно-восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того почему-то томлюсь мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары: я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке...

Затем, если идти от монастыря назад, в город по Долгой улице, то влево будут бедные и грязные улицы, спускающиеся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат,

гноят кожи: он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, остро и пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, – могучих, невероятно сальных и грубых... Это тоже очень старинные места, им лет триста, четыреста, и меня томит желание и о них, об этих мерзких местах, сказать, выдумать что-то чудесное... Дальше, за притоком, – Черная Слобода, Аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущая под ними на далекий юг, к низовьям Дона, река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь: о нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах; его, говорят, покарала чудотворная икона Божьей Матери, и доныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи, – тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампы и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шали, крепко прижав щепоть ко лбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстия которого видна узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше небольшой и такой-же темный средневековый Лик, смиренно и горестно склоненный к левому плечу под серебряным кружевным, колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах... А за рекой, за городом, широко раскинулось на низменности Заречье: это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой в даль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном, звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами, – жареных пирожков, самоваров, кофе, – смешанными с запахом каменноугольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России...

Я помню не мало таких дней, скудных, коротких, сладко и грустно томивших и домашним уютom и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то, что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мещанских комнаток, спокойствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комode Любoви Андреевны, покрытом вязанной скатерткой, но даже мелкий треск коклюшек под руками Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев, – шли медленно, однообразно и вдруг сразу обрывались: в некие особенно печальные сумерки неожиданно хлопала наружи калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей – и внезапно на пороге появлялся отец в меховой шапке с наушниками и распахнувшейся енотовой шубе, и я со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его милые теплые губы под холодными и влажными с морозу усами и с восторгом чувствуя: Боже, как не похож он ни на кого во всем городе, какой он совсем, совсем другой, чем все прочие!

VIII

Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень оживлена, – тут к ней примыкал базар и находилось все, что полагается: трактиры, ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы, между прочим и та, что стояла на углу Долгой, – Дворянская, недаром называвшаяся так: в ней останавливались только помещики, из окон ее подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторанный-кухонный чад, видели поваров в белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда – широкую лестницу, устланную красным сукном.

Отец в мои гимназические годы переживал свой последний подъем: переселившись в Батурино, заложив его и продав Каменку, – все будто бы с мудрыми хозяйственными планами, – он опять чувствовал себя богатым баринoм и поэтому, приезжая в город, опять стал останавливаться только в Дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот, когда он приезжал, я из дома Ростовцева сразу попадал на два, три дня совсем в другой мир, опять на время становился барчуком, которому все улыбались, кланялись – и «резвые» у подъезда, и швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам бритый Михеич в широком фраке и белом галстукe, бывший шереметьевский крепостной, всего когда-то отдававший на своем веку, – и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, – а теперь достойно и печально доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то Дворянской гостинице, где даже настоящие хорошие господа только при-

творялись теперь господами, а прочие – просто «уездные моншеры», как он называл их, люди с преувеличенно-барскими замашками, с подозрительно-развязной требовательностью, с низкими больше от водки, чем от барства голосами. – Зравствуйте, Александр Сергеич, – на перебой кричали отцу «резвые» у подъезда Дворянской. – Извольте приказать обождать, – может, в цирк вечером поедете?

И отец, не могший, конечно, не чувствовать своей фальшивой роли будто бы прежнего, богатого человека, все-таки был доволен этими криками и приказывал обождать, хотя извозчиков возле Дворянской всегда было сколько угодно, так что не имело ровно никакого смысла платить за обожданье.

А за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающе светло от ярких ламп, сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех, кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, чорт возьми, графу, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленное восклицанье, притворно-радостно выкатывал холодные ястребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери великан в дохе, похожий на мужика и на удельного князя, и отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку: – Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь! Сердечно будем рады!

А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причесанными белесыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, который хрипло и громко, поспешно и необыкновенно родственно (хотя родства между нами совсем не было) кричал еще издали: – Дядя, дорогой, сколько лет, сколько зим! А я слышу: «Арсеньев, Арсеньев», а ты ли это, не знаю... Здравствуйте, милая тетя, – говорил он без передышки, целуя руку матери так родственно, что она принуждена была целовать его в висок, – здравствуй, Александр, – живо обращался он ко мне, как всегда, перевирая мое имя, – да ты совсем молодец стал! А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сижу, жду эту анафему Кричевского – обещал дать для уплаты в банк, а сам, чорт его знает зачем, в Варшаву сбежал и когда назад будет, один Мордахай ведает... Ты что, уже обедал?

Пойдем вниз, там целое собрание...

И отец радушно целовал его и ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе, тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок и вин... Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш! Как шумно и немолчно говорил, восклицал, хохотал, изумлялся! До сих пор слышу его хриплый крик, его беспрестанную и запальчивую фразу: – Но неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?!

А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев Труцци, резко и приятно вонявшем всем тем, чем всегда воняет цирк. Резко, попугаями, вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики и со всего размаху шлепаясь с притворной неловкостью животом в песок, широкоштантные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными волосами, за ними тяжело вырывалась старая, белая лошадь, на широчайшей, вогнутой спине которой стоя неслась вся осыпанная золотыми блестками коротконогая женщина в розовом трико, с розовыми тугими ляжками под торчащей балетной юбочкой. Музыка с беззаботной удалью нажаривала: «Ивушка, ивушка, зеленая моя», чернобородый красавец-директор во фраке, в ботфортах и в цилиндре, стоя и вращаясь посреди арены, равномерно и чудесно стрелял длинным бичем, лошадь, круто, упрямо выгнув шею, вся завалившись наискось, тяжким галопом мчалась по самому краю круга, женщина выжидательно пружинила на ней и вдруг с каким-то коротким, кокетливым криком взвизывалась и с треском прорывала бумажный щит, вскинутый перед ней шталмейстерами в камзолах. А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала наконец с лошади на изрытый песок арены, с чрезвычайнейшей грацией приседала, делала ручками, как-то особенно вывертывая их в кисти, и, под бурю аплодисментов, с преувеличенной детскостью, уносилась за кулисы, музыка вдруг смолкала (хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене с видом бесприютных дурачков, картаво кричали: «еще полпорции камаринского!») и весь цирк замирал в сладком ужасе: шталмейстеры с страшной поспешностью бежали на арену, таща за собой огромную железную клетку, а за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный рык, точно там кого-то мучительно тошнило, рвало, и затем такой мощный, царственный выдох, что до основания сотрясаясь весь шатер братьев

Трущи...

IX

После отъезда отца с матерью, в городе наступали как бы великопостные дни.

И почему-то часто уезжали они в субботу, так что в тот же день вечером я должен был идти ко всенощной, в церковь Воздвиженья, стоявшую в одном из глухих переулков близ гимназии.

Боже, как памятливы мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами! По обычаю, привели нас задолго до начала службы, и мы ждем ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас – только несколько темных старушечьих фигур, коленопреклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота да осторожного потрескивания редких свечей и лампад у алтаря.

Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее синее, лиловоет умирающий вечер... Вот и мягкие шаги священнослужителей, в теплых рясах и глубоких калошах проходящих в алтарь. Но и после этого долго еще длится тишина, ожидание, идут в алтарь, за закрытыми красным шелком Царскими Вратами, какие-то таинственные приготовления, потом, по открытии их, – которое всегда немного неожиданно и жутко, – долгое и безмолвное каждение Престола, пока не выйдет наконец на амвон диакон со сдержанно-торжественным призывом: «Возстаните!» – пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный и грустный, зачинающий голос: «Слава святей и единосущней и животворящей и нераздельней Троице» – и не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора: «Аминь...»

Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого, а за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующее, их покрывающее «аминь», что все это стало как бы частью моей души, и она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо, с вящей родственной готовностью. «Слава святей, единосущней» – слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и по всему моему телу проходит сладостный трепет, и уже всю службу стою я потом, как зачарованный.

«Приидите поклонимся, приидите поклонимся... Благослови, душе моя, Господа», слышу я, меж тем как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам, и у меня застилают глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле, что, если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего витязя, благоверного князя Александра Невского, во весь рост и в полном воинском доспехе написанного на злаченном столпе возле меня, в страхе Божиим и благоговении приложившего руку к груди и горе поднявшего грозные и благочестивые очи...

И течет, течет святая мистерия. Закрываются и открываются Царские Врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами Рая, то новое лицезрение его, читаются дивные Светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наши домогания наставить нас на пути Божий, озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя и озарения человеческих сердец надеждою, с крепкой верою в щедроты Божий звучат земные прошения великой ектений:

«О свышнем мире и спасении душ наших... О мире всего мира и благостояния святых Божиих церквей...» А там опять, опять этот слабый, смиренный и все мирно разрешающий голос: «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, ныне и присно и во веки веков...»

Нет, это неправда – то, что говорил я о готических соборах, об органах: никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке Воздвиженья в эти темные и глухие вечера, проводив отца с матерью и войдя истинно как в отчую обитель под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак,

стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке и слушая скорбно-смирненное «Да исправится молитва моя» или сладостно-медлительное «Свете Тихий – святыя славы бессмертного – Отца небесного – святого, блаженного – Иисусе Христе...» – мысленно упиваясь видением какого-то мистического Заката, который представлялся мне при этих звуках: «Пришедше на запад солнца, ви-девши свет вечерний...» – или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глубокая тишина во всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно зачинается как бы отдаленное, предрассветное: «Слава в вышних Богу – и на земли мир – в человецех благоволение...» – с этими страстно-горестными и счастливыми троекратными рыданиями в середине: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим!»

X

А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны, – первобытно подвержен русский человек природным влияниям! – и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью...

Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными, азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась»: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черновороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев... В такие морозы замерзла однажды на паперти собора нищая дурочка Дуня, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть не царские похороны...

Как это ни странно, тотчас же вслед за этим мне вспоминается бал в женской гимназии, – первый бал, на котором я был. Дни стояли тоже очень морозные. Возвращаясь после ученья домой, мы с Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок. Солнце садилось, все было чисто, молодо и все розовело – снежная улица, снежные толстые крыши, стены домов, их блестящие золотой слюдой стекла и самый воздух, тоже молодой, крепкий, веселящим эфиром входивший в грудь. А навстречу шли из гимназии гимназистки в шубках и ботиках, в хорошеньких шапочках и капорах, с длинными, посеребренными инеем ресницами и лучистыми глазами, и некоторые из них звонко и приветливо говорили на ходу: «Милости просим на бал!» – волнуя этой звонкостью, будя во мне первые чувства к тому особенному, что было в этих шубках, ботиках и капорах, в этих нежных возбужденных лицах, в длинных морозных ресницах и горячих, быстрых взглядах, – чувства, которым суждено было впоследствии владеть мной с такой силою...

После бала я долго был пьян воспоминаниями о нем и о самом себе: о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостно-молодецким холодком в душе мешался с нарядной и густой девичьей толпой, носился по коридору, по лестницам, то и дело пил оршад в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемой с хор торжествующе-звучными громами военной музыки, дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшейся на глаза легкой туфелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юной грудью, высоко поднимавшейся от блаженного головокруженья после вальса....

XI

В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии. На уроке греческого языка, пока учитель что-то объяснял нам, писал на доске,

крепко, ловко и с большим от этой ловкости удовольствием стуча мелом, я, вместо того, чтобы слушать его, в сотый раз перечитывал одну из моих любимейших страниц в Одиссее – о том, как Навзикая поехала со своими служанками на морской берег мыть пряжу. Внезапно в класс вошел директор, имевший привычку ходить по коридорам и заглядывать в дверные стекла, направился прямо ко мне, вырвал у меня из рук книгу и бешено крикнул: – Пошел до конца урока в угол!

Я поднялся и, бледнея, ответил: – Не кричите на меня и не говорите мне ты. Я вам не мальчик...

В самом деле, мальчиком я уже не был. Я быстро рос душевно и телесно. Я жил теперь уже не одними чувствами, приобрел некоторое господство над ними, стал разбираться в том, что я вижу и воспринимаю, стал смотреть на окружающее и на переживаемое мной до известной степени сверху вниз. Нечто подобное я испытал при переходе из детства в отрочество. Теперь испытывал с удвоенной силой. И, бродя в праздничные дни с Глебочкой по городу, замечал, что рост мой почти равен росту среднего прохожего, что только моя отроческая худоба, стройность да тонкость и свежесть безусого лица отличают меня от этих прохожих.

В начале сентября того года, когда я перешел в четвертый класс, неожиданно захотел вступить со мной в приятельство один из моих товарищей, некто Вадим Лопухин. Как-то на большой перемене он подошел ко мне, взял меня за руку выше локтя и сказал, прямо и пусто глядя в глаза мне: – Послушай, хочешь войти в наш кружок? Мы образовали кружок гимназистов-дворян, чтобы не мешаться больше со всякими Архиповыми и Заусайловыми. Понимаешь?

Он был во всех отношениях гораздо старше меня, потому что в каждом классе непременно сидел два года, был уже юношески высок и широк в кости, белокур, светоглаз, с пробивающимися золотистыми усиками. Чувствовалось, что он уже все знает, все испытал, чувствовалась его порочность и то, что он весьма доволен ею, как признаком хорошего тона и своей зрелости: на переменах он рассеянно и быстро прогуливался в толпе своим барски-легким, несколько пружинным и шаркающим шагом, небрежно и развязно подавшись вперед, засунув руки в карманы широких и легких панталон, все посвистывая, все поглядывая вокруг с холодным и несколько насмешливым любопытством, подходил, что бы поболтать, только к «своим», при встрече с надзирателем кивал ему как знакомому...

Я в ту пору уже начал приглядываться к людям, наблюдать за ними, мои расположения и нерасположения стали определяться и делить людей на известные сорта, из коих некоторые навсегда становились мне ненавистны. Лопухин определенно принадлежал к ненавистным. И все таки я был польщен, ответил полным согласием на счет кружка, и тогда он предложил мне прийти нынче же вечером в городской сад: – Ты, во-первых, должен поближе сойтись кое с кем из наших, – сказал он, – а во-вторых, я познакомлю тебя с Налей Р. Она еще гимназистка, дочка очень чванных родителей, но уж прошла огонь и воду и медные трубы, умна, как бес, весела, как француженка, и может выпить бутылку шампанского без всякой посторонней помощи. А сама аршин ростом, и ножка – как у феи... Понимаешь? – сказал он, как всегда, глядя мне в глаза и думая или делая вид, что думает о чем-то другом.

И вот, тотчас же после этого разговора, случилось со мной нечто совершенно необыкновенное: впервые в жизни я вдруг почувствовал не только влюбленность к той Нале, которую я вообразил себе со слов Лопухина, – влюбленность уже совсем не похожую на то мимолетное, легкое, таинственное и прекрасное, что коснулось меня когда-то при взгляде на Сашку, а потом при встрече молодого Ростовцева с барышней на гуляньи в царский день, – но уже и нечто мужское, телесное. Как трепетно ждал я вечера! Вот оно, мерещилось мне, – наконец-то! Что наконец-то, что именно? Какая то роковая и как будто уже давно вожаденная грань, через которую наконец и я должен переступить, жуткий порог какого-то греховного рая...

И мне уже казалось, что все это будет или, по крайней мере, начнется нынче же вечером. Я сходил к парикмахеру, который постриг меня «бобриком» и, надушив, вздрал этот бобрик сально и пряно вонявшей круглой щеткой, я чуть не час мылся, наряжался и чистился дома и, когда шел в сад, чувствовал, как у меня леденеют руки и огнем пылают уши. В саду опять играла музыка, сыпал прохладной пылью высокий, раскидистый фонтан и с какой-то женственной роскошью пахло цветами в бодром и студенном воздухе багряного осеннего заката, но народу было мало, отчего мне еще стыднее было ходить отдельно от прочих, на виду у всех, в этом избранном «кружке дворян-гимназистов» и поддерживать с ними какой-то особый дворянский разговор, – как вдруг меня словно ударило что-то: по аллее, навстречу нам, быстро шла мелкими шажками, с

тросточкой в руках, маленькая женщина-девочка, очень ладно сложенная и очень изящно и просто одетая. Когда она быстро подошла к нам и, приветливо играя агатовыми глазами, свободно и крепко пожала нам руки своей маленькой ручкой в узкой черной перчатке, быстро заговорила и засмеялась, раза два мельком, но любопытно взглянув на меня, я впервые в жизни так живо и чувственно ощутил все то особенное и ужасное, что есть в женских смеющихся губах, в детском звуке женского голоса, в округлости женских плечей, в тонкости женской талии, в том непередаваемом, что есть даже в женской щиколке, что не мог вымолвить ни слова. – Образуйте его нам немножко. Наля, – сказал Лопухин, спокойно и развязно кивая на меня и так бесстыдно-многозначительно на что-то намекая, что у меня холодной мелкой дрожью задрожало внутри и чуть не стукнули зубы...

К счастью, Наля через несколько дней уехала в губернский город – неожиданно умер ее дядя, наш вице-губернатор. К счастью, и из кружка ничего не вышло. К тому же вскоре случилось у нас в семье огромное событие: арестовали брата Георгия.

XII

Событие это даже отца ошеломило.

Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался «итти против царя», образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром Вторым и даже убийство его, все еще оставался образом «земного Бога», вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист» – в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что «социалисты» появились даже и в наших местах, – братья Рогачевы, барышни Субботины, – это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа. Потом произошло нечто еще более ужасное: оказалось, что и сын Алферова, нашего ближайшего соседа, вдруг пропал из Петербурга, где он был в военно-медицинской академии, потом объявился под Ельцом на водяных мельницах, простым грузчиком, в лаптях, в посконной рубахе, весь заросший бородой, был узан, уличен в «пропаганде», – это слово звучало тоже очень страшно, – и заключен в Петропавловскую крепость. Отец наш был человек вовсе не темный, не косный и уж далеко не робкий во всех отношениях; много раз слышал я в детстве, с какой дерзостью называл он иногда Николая Первого Николаем Палкиным, бурбоном; однако слышал я и то, с какой торжественностью и столь же искренно произносил он на другой день совсем другие слова: «В Бозе почивающий Государь Император Николай Павлович...» У отца все зависело от его барского настроения, а что все таки преобладало? И потому даже и он только руками растерянно разводил, когда «схватили» этого юного и бородатого грузчика. – Несчастный Федор Михайлыч! – с ужасом говорил он про его отца. – Вероятно, этого голубчика казнят. Даже непременно казнят, – говорил он со своей постоянной страстью к сильным положениям. – Да и поделом, поделом! Очень жалко старика, но церемониться с ними нечего. Этак мы и до французской революции достукаемся! И как я был прав, когда твердил, что, помните мое слово, будет этот крутолобий, угрюмый болван острожником, позором всей своей семьи!

И вот, такой же позор, ужас вдруг свалился и на нашу семью. Как, почему? Ведь уж братато никак нельзя было назвать крутолобым, угрюмым болваном. Его «преступная деятельность» казалась еще нелепее, еще невероятнее, чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и хорошему дворянскому роду, все-таки просто могли быть сбиты с толку, по своей девичьей глупости, какими-нибудь Рогачевыми.

В чем заключалась «деятельность» брата и как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии под руководством какой-то «замечательной личности», какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им, говорил о его «ригоризме», о его железной воле, о «беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу»; но была ли хоть одна из этих черт у брата, почему он восхищался?

Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуща была дворянскому племени и не покидала Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов

даже и до седых волос; потому, что черты Доброхотова считались высокими, героическими; и наконец по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность, – праздник ощущения этой юности, праздник «преступной», а потому сладостно-жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, праздник соборщ, песен, «зажигательных» речей, опасных планов и предприятий...

Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, – не просто наслаждения, а именно упоения, – как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких в ней все возрастало. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирующий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидимой, неспешной, серой? Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что, – «карету мне, карету!»

Брату и в гимназии и в университете пророчили блестящую научную будущность. Но до науки ли было ему тогда! Он, видите ли, должен был «всецело отказаться от личной жизни, всего себя посвятить страждущему народу». Он был добрый, благородный, живой, сердечный юноша и все таки тут он просто врал себе или, вернее, старался жить – да и жил – выдуманными чувствами, как жили тысячи прочих. Чем вообще созданы были «хождения в народ» дворянских детей, их восстание на самих себя, их соборща, споры, подполья, кровавые слова и действия? В сущности дети были плоть от плоти, кость от кости своих отцов, тоже всячески прожигавших свою жизнь. Идеи идеями, но ведь сколько, повторяю, было у этих юных революционеров и просто жажды веселого безделья под видом кипучей деятельности, опьянения себя сходками, шумом, песнями, всяческими подпольными опасностями, – да еще «рука об руку» с хорошенькими Субботинскими, – мечтами об обысках и тюрьмах, о громких процессах и товарищеских путешествиях в Сибирь, на каторгу, за полярный круг!

Что побуждало брата, превосходно кончившего и гимназию и университет только в силу своих совершенно необыкновенных способностей, весь жар своей молодости отдавать «подпольной работе?» Горькая участь Пилы и Сысойки? Несомненно, читая о ней, он не раз проследил. Но почему же, подобно всем своим соратникам, никогда даже не замечал он ни Пилы ни Сысойки в жизни, в Новоселках, в Батурине? Во многом, во многом был он сын своего отца, не даром говорившего после двух-трех рюмок водки: – Нет, отлично! Люблю выпить! Замолаживает!

Замолаживает – это слово употреблялось когда-то на винокурнях, и человек выпивший хотел им сказать, что в него вступает нечто молодое, радостное, что в нем совершается некое сладкое брожение, некое освобождение от рассудка, от будничной связанности и упорядоченности. Мужики так и говорят про водку:

«Как можно! От ней в человеке развязка делается!» Знаменитое «Руси есть веселие пити» вовсе не так просто, как кажется. Не родственно ли с этим «веселием» и юродство, и бродяжничество, и радения, и самосжигания, и всяческие бунты – и даже та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература?

ХІІІ

Брат долго скрывался, меняя местожительство, под чужим именем. Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурине. Но тут, на другой же день, его арестовали; донес о его приезде приказчик одного из наших соседей.

Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурине явились жандармы, этого приказчика убило деревом, которое, по его распоряжению, рубили в саду. Так навсегда и осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда: большой старый сад, весь уже по осеннему проредевший, живописно обезображенный осенними дождями, бурями и первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющий стволами и сучьями и пестреющий остатками желтого и красного убора, свежее и яркое утро, ослепительный солнечный свет, блещущий на полянах и теплыми, золотистыми столпами падающий среди стволов вдаль в сырой холодок и тень ни-

зов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не совсем испарившегося утреннего тумана, перекресток двух аллей и на нем – великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной раскрытой вершиной, черным узором сучьев с кое-где повисшими на них большими зубчатыми лимонными листьями и в могучий, закамневший от времени ствол которого, с удовольствием акая, все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в шапках на затылок, меж тем как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева. Может быть, он задумался о том, как ловко подсел он социалиста?

А дерево вдруг крякнуло, макушка внезапно двинулась вперед – и с шумом, все возрастая в быстроте, тяжести и ужасе, ринулась сквозь ветви соседних деревьев на него...

В этом имении я бывал впоследствии много раз. Оно когда-то принадлежало нашей матери. Отец, имевший неутомимую страсть все сбывать с рук, давно продал и прожил его. После смерти нового владельца оно перешло к какой-то «кавалерственной даме», жившей в Москве, и было заброшено: земля сдавалась мужикам, а усадьба предоставлена воле Божией. И часто, проезжая мимо нее по большой дороге, от которой она была в какой-нибудь версте, я сворачивал, ехал по широкой дубовой аллее, ведущей к ней, въезжал на просторный двор, оставлял лошадь возле конюшен, шел к дому... Сколько заброшенных поместий, запущенных садов в русской литературе и с какой любовью всегда описывались они! В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустенье, глушь, распад? Я шел к дому, проходил в сад, поднимавшийся за домом... Конюшни, людские избы, амбары и прочие службы, раскинутые вокруг пустынного двора, – все было огромно, серо, все разрушалось и дичало, как дичали, зарастали бурьяном, кустарником и огороды, гумна, простирившиеся за ними и сливавшиеся с полем.

Деревянный дом, обшитый серым тесом, конечно, гнил, ветшал, с каждым годом делаясь все пленительнее, и особенно любил я заглядывать в его окна с мелкорешетчатыми рамами... как передать те чувства, что испытываешь в такие минуты, когда как бы воровски, кощунственно заглядываешь в старый, пустой дом, в безмолвное и таинственное святилище его давней, исчезнувшей жизни! А сад за домом был, конечно, наполовину вырублен, хотя все еще красовалось в нем много вековых лип, кленов, серебристых итальянских тополей, берез и дубов, одиноко и безмолвно доживавших в этом забытом саду свои долгие годы, свою вечно-юную старость, красота которой казалась еще более дивной в этом одиночестве и безмолвии, в своей благословенной, божественной бесцельности. Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть свое выражение, свои очертания, своя душа, своя дума, – можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не сводя глаз с их бесконечно разнообразных вершин, ветвей, листьев, томаясь желанием понять, разгадать и навсегда запечатлеть в себе их образы, сидел, думал о них на просторном косогоре под садом, среди огромных дубовых пней, грубо черневших на нем в нежной высокой траве и цветах, над светлыми прудами, все еще полноводно лежавшими под косогором в долине... Как отрешалась тогда душа от жизни, с какой грустной и благой мудростью, точно из какой-то неземной дали, глядела она на нее, созерцала «вещи и дела» человеческие! И каждый раз непременно вспоминался мне тут и этот несчастный человек, убитый старым кленом, погибший вместе с ним, и вся несчастная, бессознательно испорченная им, этим человеком, судьба брата, и тот далекий осенний день, когда привезли его два бородача на просторном косогоре под садом, среди огромтурина в город, в тот самый острог, где так поразил меня когда-то мрачный узник, глядевший из-за железной решетки на заходящее солнце...

Отец с матерью прискакали в этот день в город, вслед за казенной тройкой брата, совершенно вне себя. Мать даже не плакала, ее темные глаза горели сухо, страшно. Отец старался не глядеть ни на меня ни на нее, все только курил и повторял: – Вздор, пустяки! Поверьте, что через несколько дней вся эта ерунда разъяснится...

В тот же день вечером брата увезли дальше, в Харьков, где было то подполье, за причастность к которому и был он арестован. Мы ездили на вокзал провожать его. Кажется, больше всего поразило меня то, что, приехав на вокзал, мы должны были идти в зал третьего класса, где брат, под надзором жандармов, дожидался отхода поезда, уже не смея сидеть с приличными, свободными людьми, уже лишившись воли распоряжаться собой, возможности пить чай или есть пирожки вместе с ними. И как только мы вошли в этот безобразно, беспорядочно людный, шумный зал, меня так и ударил в сердце вид брата, его арестантская обособленность и несправедливость: он и сам хорошо понимал ее, чувствовал всю свою униженность и неловко улыбался. Он

одинокое сидел в самом дальнем углу возле дверей на платформу, юношески милый и жалкий своей худошавостью, своим легким сереньким костюмчиком, на который была накинута отцовская енотовая шуба. Возле него было пусто, – жандармы то и дело отстраняли баб, мужиков и мещан, толпившихся вокруг и с любопытством, со страхом глядевших на живого социалиста, слава Богу, уже попавшего в клетку. Особенно любопытствовал какой-то сельский батюшка, длинный, в высокой бобровой шапке и глубоких пыльных калошах, не сводивший с брата расширенных глаз и таинственной скороговоркой засыпавший жандармов вопросами, на которые они не отвечали. Они поглядывали на брата, как на провинившегося мальчика, которого они волей неволей должны стеречь и везти куда приказано, и один из них с ласковой и снисходительной усмешкой сказал нашей матери: – Не беспокойтесь, сударыня, все, Бог даст, обойдется... Пожалуйте, посидите с ними, до поезда еще минут двадцать... Вот младший сейчас пойдет запасется кипятком, купит им на дорогу, какой прикажете, закуски... Это вы хорошо сделали, что шубу им дали, – в вагоне ночью прохладно будет...

Помню, что тут мать наконец заплакала, – села на скамейку возле брата и вдруг зарыдала, зажимая рот платком, отец же, болезненно сморщив лицо, махнул рукой и быстро пошел прочь. Он не переносил страданий, неприятностей, всегда, в силу невольной самозащиты, спешил как-нибудь уклониться от них, – он даже мало-мальски тяжелых разлук избегал, всегда неожиданно их обрывая, поспешно хмурясь и бормоча, что долгие проводы – лишние слезы. Он ушел в буфет, выпил несколько рюмок водки, пошел искать станционного жандармского полковника с просьбой разрешить брату ехать в первом классе...

XIV

В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения... Но вот брата увезли, отец с матерью уехали... Мне понадобилось после того не мало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг.

Отец с матерью уехали почему-то на другой же день утром. Было солнечно, как часто бывает у нас в октябре, но даже в городе насквозь прохватывал резкий северный ветер, и все было необыкновенно чисто, ясно, просторно – пролеты улиц, дали пустых окрестностей, точно совсем лишенных воздуха, яркое небо, кое-где сиявшее острой прозеленью между быстро плывущими дымчато-белыми облаками... Я проводил уезжающих до монастыря и острога, между которыми убегало в холодные и нагие, пестрые от солнца и облачных теней поля уже подмерзшее, крепко закаменевшее шоссе. Тут тарантас остановился. Солнце, поднявшееся, покуда собрались и выехали, немного выше, то и дело выглядывало из-за облаков; но его слепящий свет не грел, а с выезда в поле с севера дуло так пронзительно, что кучер на козлах гнул голову, у отца, сидевшего в шубе и в зимней шапке, трепались усы и на глаза, в которых рябило от ветра, выступали слезы. Я слез, и мать вновь горько заплакала, прижавшись к моему лицу серым теплым капором, отец же только торопливо перекрестил меня, сунул к моим губам озябшую руку и крикнул в спину кучеру: – Пошел!

Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел, могучий бурый коренник задрал голову и затряс залившийся под дугой колокольчик, гнедые пристяжные дружно и вольно взяли вскачь, подкидывая крупы, а я еще долго стоял на шоссе, провожая глазами этот верх, глядя на убегающие задние колеса, на косматые бабки коренника, быстро пляшущие между ними под кузовом тарантаса, и на высоко и легко взвизгивающиеся по его бокам подковы пристяжных, – долго с мукой слушал удаляющийся поддужный плач. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемый ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером, за ужином в номере Дворянской, наливая себе портеру: – Вздор, пустяки! – говорил он твердо. – Эка, подумаешь, важность! Ну, арестовали, ну, увезли и, может, в Сибирь сошлют, – даже наверное сошлют, – да мало ли их нынче ссылают и чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск хуже Ельца, Воронежа? Да и вообще все вздор и пустяки! Пройдет дурное, пройдет и хорошее, как сказал Тихон Задонский, – все пройдет!

Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них. Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все пустяки, – однако оттого, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел, стал огромным, бессмыс-

ленным, и мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его, меж тем как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем! Как же пустяки, когда оказалось, что я люблю, — да и всегда, очевидно, любил, — того милого и жалкого «социалиста», что сидел вчера арестантом на вокзале в своем сереньком пиджачке и накинута на плечи енотовой шубе, а его куда-то увезли, лишили свободы, счастья, разлучили с нами и со всей обычной жизнью? Все в мире как будто по-прежнему, как всегда, и все свободны и счастливы, а он один в неволе и в несчастье. Вот, подгоняемая этим ледяным и буйным ветром, бежит вдоль шоссе в город, бочком трусит какая-то скромная, чем-то своим озабоченная рыжая собачонка; а его уже нет, он теперь где-то там, в бесконечной и пустой, сияющей южной дали, едет в замкнутом купе солнечного вагона под надзором двух вооруженных жандармов, везущих его в какой-то Харьков. Вот спокойно стоит против солнца, глядит через шоссе на монастырь своими решетчатыми окнами желтый острожный дом, такой же жуткий, ото всех особенный, как и тот, что ждет его в Харькове, и вчера в этом доме сидел несколько часов и он, а нынче в нем его уже нет, — чувствуется только скорбный остаток его присутствия. Вот из-за высокой и зубчатой монастырской стены в мраморном от облаков небе дивно блестят тускло-золотые соборные маковки и сквозят, чернеют сучья древних кладбищенских деревьев, а он уже не видит этой красоты, не делит со мной радости глядеть на них... На громадных запертых воротах монастыря, на их створах, во весь рост были написаны два высоких, могильно-изможденных святителя в епитрахиях, с зеленоватыми печальными ликами, с длинными, до земли развернутыми хартиями в руках: сколько лет стоят они так — и сколько веков уже нет их на свете? Все пройдет, все проходит, будет время, когда не будет в мире и нас, — ни меня, ни отца, ни матери, ни брата, — а эти древне-русские старцы со своим священным и мудрым писанием в руках будут все также бесстрастно и печально стоять на воротах... И, сняв картуз, со слезами на глазах, я стал креститься на ворота, все живее чувствуя, что с каждой минутой мне становится все жалче себя и брата, — то есть, что я все больше люблю себя, его, отца с матерью, — и горячо прося святителей помочь нам, ибо, как ни больно, как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен и нам все таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга...

Я пошел назад, часто останавливаясь, оборачиваясь. Ветер дул как будто еще крепче и холоднее, но солнце поднималось, сияло, день веселел, требовал жизни, радости, и надо всем, — над городом, над пустой Щепной площадью, над заповедным, безмолвным помещьем монастыря с его высокой стеной, кладбищенской рощей и золотыми соборными главками, и над той необозримой степной равниной, куда к прозрачно-зеленому северному небосклону убегало шоссе, — плыли в бледно-голубом, в жидком и ярком осеннем небе крупные и красивые лиловатые облака, и все было светло и пестро, по всему картинно и легко, то и дело чередуясь с солнцем, шли воздушные дымчатые тени. Я стоял, смотрел и шел дальше... Где только я не был в этот день!

Я обошел кругом весь город. Я шел по той черной слободе, что спускалась от Щепной площади к кожевенным заводам, перешел по горбату, от древности полуразрушенному каменному мосту через зловонный речной приток, заваленный гниющими в нем бурыми шкурами, поднялся на противоположную гору к женскому монастырю, — он так и сиял против солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древне-русской иконописной красоты, что я, пораженный, даже остановился, — потом пошел к Аргамаче, опять опустился к притоку и поднялся к собору... На обрыве за собором я стоял, глядя на гнилые тесовые крыши мещанских лачуг, лепившихся внизу по буграм вдоль реки, на внутренности их грязных и убогих дворишек, и все что-то думал о человеческой жизни, о том, что все проходит и повторяется, что, верно, и триста лет тому назад были тут все такие же черные тесовые крыши и всякая сорная дрянь, что растет на пустырях, на глинистых буграх, потом мысленно видел отца с матерью, скачущих на тройке по светлым, пустынным полям, видел Батурине, где все так мирно, родственно, теперь, конечно, очень, очень грустно, а все таки несказанно мило, отрадно, видел брата Николая, черноглазую десятилетнюю Олю, нашу с ней заветную ель перед окнами зала и пустой, обнаженный, по-осеннему печальный сад, буйный ветер и вечеряющее солнце в нем, — всей душой стремился туда, но за всеми этими думами и чувствами все время неотступно чувствовал брата. Я смотрел на реку, серой рябью равномерно шедшую к желтым скалам, делавшую под ними поворот на юг и пропадавшую вдаль, опять думал о том, что даже и при печенеггах все так же шла она — и старался не смотреть на Заречье, на краснеющий на его окраине вокзал, с которого вчера

в сумерки увезли брата, не слышать грустно-требовательных паровозных криков, сквозь ветер доносившихся оттуда в ледяном вечернем воздухе... Как мучительно мешалось с братом все, что я видел и переживал в этот странный день, больше же всего, кажется, то сладкое

восхищение, с которым я вспоминал о монашке, выходявшей из калитки монастыря.

Мать в это время дала Богу, за спасение брата, обет вечного поста, который она и держала всю жизнь, вплоть до самой своей смерти, с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее: через год брата освободили и, к ее великой радости, выслали на трехлетнее жительство в Батурине, под надзор полиции...

XV

Через год вышел на свободу и я, – бросил гимназию и тоже возвратился под родительский кров, чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной.

Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...

Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним, внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершившимся во всем моем существе.

Удивителен весенний расцвет дерева. А как он удивителен, если весна дружная, счастливая! Тогда то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки – и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. А там надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень – и опять, еще раз совершается диво: дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь... Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни –

Когда в таинственных долинах, Весной, при кликах лебединых, Близ вод, сиявших в тишине, Являться стала муза мне...

Ни лицейских садов, ни царско-сельских озер и лебедей, ничего этого мне, потому что «промотавшихся отцов», в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость «всех впечатлений бытия», но долины, всегда и всюду таинственные для юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой – все это у меня было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, «расцветал» я, очень не походило на царско-сельские парки. Но как пленительно, как родственно звучали для меня тогда пушкинские строки о них! Как живо выражали они существенность того, чем полна была моя душа, – те тайные лебединые клики, что порою так горячо и призывно оглашали ее! И не все ли равно, что именно извлекало их? И что с того, что ни единым словом не умел я их передать, выразить!

XVI

Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих... Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу.

Как в старинных стихах:

Мне возвращен был кров родимый, Дарован мир степной глуши, Привычный быт и круг любимый И жар восторженной души...

Почему я возвратился под этот кров, почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, и как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого на первый взгляд ничтожного события?

Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто «по вольности дворянства», как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенрав-

вию. Но говорил он и другое, – суждения его всегда были крайне противоречивы, – то, что я поступил вполне «логично», – он произносил это слово очень точно и изысканно, – сделал так, как требовала моя натура. – Нет, – говорил он, – призвание Алексея не гражданское поприще, не мундир и не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать-то, слава Богу, уже не над чем. А тут, кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет?..

В самом деле, многое сложилось против моего казенного учения: и та «вольность», которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству и которой не мало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание «к поэзии души и жизни», уже ясно определившееся в ту пору, и наконец то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурине.

Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери, но тут быстро стали развиваться отцовские, – его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам, той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые и крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого, его своенравие. То, весьма в сущности неважное, что произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, – «нельзя жить плакучей ивой», что «жизнь все-таки великолепная вещь», как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо-чудесное – словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение – во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурине и стать «вторым Пушкиным или Лермонтовым», Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные.

Всю эту зиму я старался вести жизнь трудовую, бодрую, а весной мне уже и стараться не нужно было. За зиму со мной, несомненно, что-то случилось, – в смысле прежде всего телесного развития, – как неожиданно случается это со всеми подростками, у которых вдруг начинает пробиваться пушок на щеках, грубо начинают расти руки и ноги. Грубости у меня, слава Богу, ни в чем не проявилось даже и в ту пору, но пушок уже золотился, глаза засинели ярче и гуще и лицо, черты которого стали определенной, точно покрылось легким и здоровым загаром. Экзамены я поэтому держал совсем не так, как прежде. Я зубрил по целым дням, сам наслаждаясь своей неутомимостью, подтянутостью, с радостью чувствуя все то молодое, здоровое, чистое, что делает иногда экзамены похожими на Страстную неделю, на говенье, на приготовление к исповеди и причастию. Я спал по три, по четыре часа, по утрам вскакивал с постели легко и быстро, мылся и одевался особенно заботливо, молился Богу с уверенностью, что Бог непременно поможет мне даже в аористах, выходил из дому с твердым спокойствием, крепко держа в уме и сердце все то, что было завоевано вчера и что нынче требовалось донести и передать куда следует стойко и полностью. А когда весь этот искус благополучно кончился, меня ждала другая радость: ни отец, ни мать на этот раз не приехали, чтобы везти меня в Батурине, а только прислали за мной, как за взрослым, тарантас парой, которой правил молодой и смешливый работник, за дорогу быстро ставший моим сердечным другом. А в Батурине, – это была большая и довольно зажиточная деревня с тремя помещичьими усадьбами, потонувшими в садах, с несколькими прудами и просторными выгонами, – все уже цвело, зеленело, и я вдруг ощутил, понял эту счастливую красоту, эту пышность и яркость зелени, полноводность прудов, озорство соловьев и лягушек уже как юноша, с чувственной полнотой и силой...

Летом женился брат Николай, натуре которого, самой все-таки трезвой из всех наших натур, наскучило наконец безделье, – взял дочь немца, управляющего казенным имением в селе Васильевском. Думаю, что эта женитьба, тот праздник, в который она превратила для нас все лето, а затем присутствие в доме молодой женщины тоже способствовали моему развитию.

А вскоре после того неожиданно явился в Батурине брат Георгий. Был июньский вечер, во дворе уже пахло холодеющей травой, в задумчивой вечерней красоте, как на старинной идиллической картине, стоял наш старый дом со своими серыми деревянными колоннами и высокой крышей, все сидели в саду на балконе за чаем, а я спокойно направлялся по двору к конюшне седлать себе лошадь и ехать кататься на большую дорогу, как вдруг в наших деревенских воро-

тах показалось нечто совершенно необычное: городской извозчик! До сих пор помню ту особенную острожную бледность, которой меня поразило знакомое и вместе с тем совсем какое-то новое, чужое лицо брата...

Это был один из счастливейших вечеров в жизни нашей семьи и начало того мира, благополучия, которое в последний раз воцарилось в ней на целых три года перед ее концом, рассеянием...

XVII

Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте в Васильевское, всю прелесть их: вольный бег тройки в предвечернее время, по проселкам, среди все густеющих ржей, кукованье кукушки в далекой березовой роще, еще полной травы и цветов, вид причудливых облаков на золотом западе, вечерние смешанные запахи села, его изб, садов, реки, винокурного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего, резкие, подмывающие звуки аристана, на котором играли для нас его младшие дочери, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках, все то веселое, немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающуюся, родственную близость к нам той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушки, которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи и уже говорила мне ты...

Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне, когда я, затянутый в новый блестящий мундир, в белых перчатках, с сияющими глазами и напояженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу в шелковом скользком чулке, а потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в Знаменье. Каждый день шли дожди, лошади несли, разбрасывая комья синей черноземной грязи, тучные, пресыщенные влагой ржи клонили на дорогу мокрые серо-зеленые колосья, низкое солнце то и дело блистало сквозь крупный золотой ливень, — это, говорили, к счастливому браку, — алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты, в ее коробке было тесно, я с наслаждением задышался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула, глядел в ее заплаканные глаза, неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее благословили...

А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, ветхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасно в деревенской церкви, под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой, под нестройно-громкие, ликующие крики сельского клира, при открытых на вечернее зеленеющее небо дверях, в которых теснится толпа восхищенных баб и девок... Когда же то новое и как будто счастливое, что вошло в наш дом с молодыми, завершилось неожиданным приездом брата Георгия и вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии, мысль о возвращении в гимназию стала для меня совсем нелепа.

Осенью я воротился в город, опять стал ходить в классы, но уроки едва просматривал и все чаще отказывался отвечать учителям, которые с ядовито-вежливым спокойствием выслушивали мои ссылки на головную боль и с наслаждением ставили мне единицы. Я, убивая время, шатался по городу, по Слободам, в Заречье встречал и провожал поезда на станции, в толкотне и суете приезжающих и уезжающих, завидовал тем, кто, спеша и волнуясь, усаживались с множеством вещей в вагоны «дальнего следования», замирал, когда огромный швейцар в длинной ливрее, выйдя на середину залы, пел зычным, величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей, строгой грустью, куда и какой поезд отправляется...

Так дожил я до святков. А как только получил отпуск, сломя голову прибежал домой, в пять минут собрался, едва простился с Ростовцевыми и Глебочкой, — он еще должен был дожидаться лошадей из деревни, а я ехал по железной дороге, через Васильевское, — схватил свой чемоданчик и, выскочив на улицу, кинулся в мерзлые санки первого попавшегося извозчика с сумасшедшей мыслью: навсегда прощай гимназия! Шершавая кляча его подхватила со всех ног, санки неслись, разлетаясь во все стороны на раскатах, морозный ветер рвал поднятый воротник моей шинели, осыпая лицо острым снегом, город тонул в мрачных выюжных сумерках, а у меня захватывало дух от радости. По случаю заносов, целых два часа я сидел, ждал на вокзале, наконец дождался... Ах, эти заносы, Россия, ночь, мятель и железная дорога! Какое это счастье —

этот весь убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непроглядная вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, едва видной из-за крутящегося с низу и с крыш снежного дыма, а там опять отчаянный крик паровоза куда-то во тьму, в бурную даль, в неизвестность и первый толчок вновь двинувшегося вагона, по мерзлым, играющим бриллиантами окнам которого проходит удаляющийся свет платформы – и снова ночь, глушь, буран, рев ветра в вентиляторе, а у тебя покой, тепло, полусвет фонаря за синей занавеской, и все растущий, качающийся, убаюкивающий на бархатном пружинном диване бег и все шире мотающаяся на вешалке перед дремотными глазами шуба!

От нашей станции до Васильевского было верст десять, а приехал я на станцию уже ночью и на дворе так несло и бушевало, что пришлось ночевать в холодном, воняющем тусклыми керосиновыми лампами вокзале, двери которого хлопали в ночной пустоте особенно гулко, когда входили и уходили закутанные, занесенные снегом, с красными коптящими фонарями в руках, кондуктора товарных поездов. А меж тем и это было очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, спал крепко, но поминутно просыпался от нетерпеливого ожидания утра, от буйства вьюги и чьих-то дальних грубых голосов, долетавших откуда-то сквозь клокочущий, кипящий шум паровоза, с открытым огнедышащим поддувалом стоявшего под окнами, – и очнулся, вскочил при розовом свете спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью...

Через час я был уже в Васильевском, сидел за кофе в теплом доме нашего нового родственника Виганда, не зная куда девать глаза от счастливого смущенья: кофе наливала Анхен, его молоденькая племянница из Ревеля...

XVIII

Прекрасна – и особенно в эту зиму – была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к варку, конюшне и прочим службам, окружающим двор... Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом, наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую чернозеленую верхушку в синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине, между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами... На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие; приветливо, щурясь от слепящего, веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам... Скрипя мерзлыми валенками по затвердевшему на ступеньках снегу, поднимаешься на главное, правое крыльцо, проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую и черную от времени дубовую дверь, проходишь темные длинные сени... В лакейской, с большим грубым ларем у окна, еще прохладно, синевато, – солнце в ней не бывает, окно ее на север, – но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печь. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив – высокие, тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топят, – там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного, темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого, в мундире с красными отворотами, императора Павла, и насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой, давно упраздненной буфетной, заглядывать в полустеклянную дверку которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем и на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят, плаваются лиловые и гранатовые пятна – отражения верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадной липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома: за этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава... Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи! Войдешь – огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом, а она, густая, в своем хвойном, траурном от снега облачении, царственно высится за стеклами, уходит острием в чистую, прозрачную и бездонную куполообразную синеву, где белеет, серебрится широко раскинутое созвездие Ориона, а ниже, в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрогается лазурными

алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери... Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным тeneвым решеткам от окон, лежавшим на полу, сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможного-гордые державинские строки:

На темноглубом эфире Златая плавала луна...

Сквозь окна дом мой озаряла И палевым своим лучем Златые стекла рисовала На лаковом полу моем...

Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня, в поездках в Васильевское и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В батурином доме книг почти не было. Но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения с винокуренным заводом, где был управляющим Виганд. Сестра была замужем за Писаревым, и мы много лет не бывали у нее в доме – старик Писарев, ее свекор, был, в полную противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился.

В этом году сношения между нашими домами возобновились, – старик умер, – и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках – Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Баратынский...

Как восхитительны были их романтические виньетки, – лиры, урны, шлемы, венки, – их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано! С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее, сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал: «На брань летит певец молодой», или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой», или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду», я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и нагую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать... Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из под моего собственного пера в это же самое время!

И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхен была простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней-ли было дело? Была она кроме того неизменно весела, ласкова, очень добра, искренно и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь, у вас горячие и чистые чувства!» Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее, – как только она, во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платица и юной миловидности, вышла ко мне, насквозь промерзшему за дорогу со станции, в вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас же дрогнуло и решило: вот оно! Я уехал в Батурине совершенно счастливый: на второй день святок Виганды должны были приехать к нам. И вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревне, зимой, с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботинки и валенки. А вечером подъехали и другие гости и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам ряжеными. Шумно нарядились во что попало, – больше всего мужиками и бабами, – мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной жженой пробкой неизменные черные усики, – и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже стояло в темноте несколько саней и розвальней, расселись и, смеясь, крича, под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И конечно, я очутился в розвальнях с Анхен...

Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков, эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых, ночных, зимних порождений! Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые, горячие руки вынутую из меховой перчатки теплую девичью руку – и уже ответно, любовно мерцающие

сквозь сумрак девичьи глаза!

XIX

А потом пришла весна, самая необыкновенная во всей моей жизни.

Помню как сейчас – я сидел с Олей в ее комнате, выходявшей окном во двор. Было часов пять солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застегивая полушубок, вошел с обычной своей бодростью отец, – усы у него были теперь уже седые, но он по-прежнему держался молодцем, – и сказал:

– Нарочный из Васильевского. С Писаревым что-то вроде удара. Сейчас еду туда, – хочешь со мной?

Я поднялся, пораженный счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхен, и мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. «А ты все таки пей-то поменьше», сказал ему отец на другой день на прощанье в прихожей. «Пустяки!» ответил Писарев, усмехаясь своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок. – как сейчас вижу его, стройного, смуглого, чернобородого, в шелковой красной косоворотке на выпуск, в черных легких шароварах и красных, шитых серебром чуваках. Мы спокойно воротились домой, а тут вскоре пошла полая вода, такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на две совсем прервалось.

На первый день Пасхи стало везде совсем сухо, зазеленели лозинки и выгоны. Мы все собрались ехать в Васильевское и уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь, за ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Петр Петрович Арсеньев.

– Христос Воскресе, – сказал он, подъезжая, с каким-то преувеличенным спокойствием. – Вы в Васильевское? Как нельзя более во время. Писарев приказал долго жить. Проснулся нынче, вошел к сестре, сел вдруг в кресло – и каюк...

Писарева только что обмыли и убрали, когда мы вошли в его дом. Он лежал, являя обычную картину покойника, только что положенного на стол, – картину, поражавшую еще только своей странностью, – в том самом зале, где две недели тому назад он стоял и улыбался на пороге, шурясь от вечернего солнца и своей папиросы. Он лежал с закрытыми глазами, – до сих пор вижу их лиловато-смуглую выпуклость, – но пока совсем как живой, с великолепно расчесанными, еще мокрыми смольными волосами и такой же бородой, в новом сюртуке, в крахмальной рубашке, с хорошо завязанным черным галстуком, по пояс прикрытый простыней, под которой обозначались его прямо стоящие связанные ступни. Я спокойно и тупо глядел на него, даже пробовал его лоб и руки, – они были почти теплы.

К вечеру однако все очень изменилось. Я уже понял, что случилось, и сам не свой вошел в зал, когда позвали на первую панихиду. В окна зала еще алел над дальними полями темный весенний закат, но сумерки, поднимавшиеся с темной речной долины, с темных сырых полей, со всей темной холодеющей земли, снизу затопляли его все гуще, в темном зале, полном народу, было мутно от ладана, и сквозь эту темноту и муть у всех в руках золотисто горели восковые свечки, а из-за высоких церковных свечей, дымивших вокруг смертного одра красным пламенем, зловеще звучали возгласы священнослужителей, странно сменявшиеся радостно и беззаботно настойчивым «Христос воскрес из мертвых.» И я пристально смотрел то вперед, туда, где в дымном блеске и сумраке тускло и уже страшно мерцал как-то скорбно-поникший, потемневший за день лик покойника, то с горячей нежностью, с чувством единственного спасительного прибежища находил в толпе личико тихо и скромно стоявшей Анхен, тепло и невинно озаренное огоньком свечи снизу.

Ночь я спал тревожно и скорбно, одолеваемый все одними и теми же противоестественно яркими и беспорядочными видениями какого-то суетливого многолюдства, жутко и таинственно связанного с тем, что случилось: все поспешно – и, что всего ужаснее, как будто под молчаливым руководством самого покойника – ходили по всем комнатам, что-то друг другу торопливо советовали, перетаскивали столы, кресла, кровати, комоды... Утром я вышел на крыльцо как пьяный. Утро было тихое, теплое, ясное. Солнце пригревало сухое крыльцо, ярко и нежно зеленеющий двор, и еще низкий, сквозной, однако уже по весеннему сереющий в мягком блеске сад. Но я вдруг взглянул вокруг – и с ужасом увидал совсем рядом с собой длинную, стоймя прислоненную к стене новую темно-фиолетовую крышку гроба. Я сбежал с крыльца, ушел в сад, долго

ходил по его нагим, светлым и теплым аллеям, сел в аллее акаций на скамейку...

Пели зяблики, желтела нежно и весело опушившаяся акация, сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы, однообразно, важно и торжественно, не нарушая кроткой тишины сада, орали грачи вдали на низах, на старых березах, там, где в оливковый весенний дымок сливалась еще голая ивовая поросль... И во всем была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью! Почему-то вдруг вспомнилось начало «Вильгельма Телля», – я перед тем все читал Шиллера: горы, озеро, плывет и поет рыбак... И в душе моей вдруг зазвучала какая-то несказанно сладкая, радостная, вольная песня каких-то далеких, несказанно счастливых стран...

Как во хмелю провел я и весь день, все время державший в непрестанном напряжении: опять были панихиды, опять многолюдство, приезжающие и уезжающие соседи, а там где-то, в затворенной со всех сторон солнечной детской, беззаботные игры ничего еще не понимающих детей, под скорбным и ласково невнимательным присмотром то и дело тихо плачущей няньки...

И вот опять стало смеркаться и опять стали сходиться, собираться в зал, ждать новой панихиды, осторожно переговариваться... Приход священнослужителей и вслед за тем воцарившееся молчание, зажигание свечей и облачение в этой тишине, все это таинственно-церковное приготовление к службе, а потом первый взмах кадила и первый возглас – все это показалось мне теперь, в этот последний для покойника вечер, столь многозначительным, что я уже глаз не мог поднять на то, что было впереди, на этот пышный, бархатный гроб, воздвигнутый на составленные столы, и на то церковно-страшное, картинно-погребальное, что наклонно возвышалось в гробу во всем зловещем великолепии своего золотого покрова, золотой иконки на груди и новой, жестко-белой подушки, – во всей сумрачной тьме непробудного гробового сна этого чернородого лика с запавшими и почерневшими веками, металлически лоснящегося сквозь теплый, душный дым и горячий, дрожащий блеск...

На ночь нам с братом Георгием опять постелили в его бывшем кабинете. Двери в опустевший, еще полный ладана зал, где негромко и однообразно читал под нагоревшими свечами дьячок, затворили со всех сторон, дом затих, успокоился. Брат, потушив свечу, заснул. Но я даже не мог раздеться, лег не раздеваясь и, как только тоже дунул на свечу и на миг забылся, тотчас же увидел себя в зале – и в диком ужасе очнулся. Я сел и с бьющимся сердцем стал смотреть в темноту, слушать малейший шорох. Все было необыкновенно, страшно тихо, – слышалось только отдаленное, невнятное чтение в зале... Я сделал над собой крайнее усилие, скинул ноги с дивана, распахнул дверь кабинета, на цыпочках перебежал темный коридор и прильнул ухом к двери, под которой светилось из зала: – Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом, – негромко, деревянно и поспешно говорил за дверью дьячок. – Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои... В начале Ты основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают и, как одежду, Ты переменишь их... Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о делах Своих!

Дрожь восторженных слез охватила меня, я пошел поспешно по темному коридору в темную заднюю прихожую и на заднее крыльцо. Я обошел дом и остановился среди двора. Было темно и как-то особенно, как бывает только ранней весной, чисто, свежо, тихо. Земля подмерзла, была тугая. Какое-то тончайшее и чистейшее дыхание чуть серебрилось между землей и чистым звездным небом. В тишине, вдали, мерно и глухо шумела в долине весенняя река. Я посмотрел в темноту за долину, на противоположную гору, – там, в доме Виганда, одиноко краснел, светился поздний огонек: – Это она не спит, – подумал я. – «Возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои», – подумал я, – и огонек лучисто задрожал у меня в глазах от новых слез – слез счастья, любви, надежд и какой-то иступленной, ликующей нежности.

Книга третья

Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон.

Я заснул в эту ночь лишь под утро. Я не в силах был вернуться в дом сразу, – слишком зловеще темнели в звездном свете его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба... Я ушел в поле, долго шел в темноте куда глаза глядят... Вернулся я, когда на востоке уже белело и по

всему селу пели петухи, прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако, вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут, и я вдруг опять вскочил, не проспав и трех часов. Дом все еще делился на два совершенно разных мира: в одном была смерть, был зал с гробом, в другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон отделенных от него запертыми дверями, как попало шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидя, что брат, спавший со мной в кабинете покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня, меж тем как по коридору за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса, какие-то короткие вопросы и такие же ответы.

Вошла Марья Петровна, старшая горничная, внесла поднос с чаем, молча поклонилась, не глядя на нас, и, поставив поднос на письменный стол, озабоченно вышла. Я, дрожащими руками, стал одеваться. В кабинете, оклеенном старенькими золотистыми обоями, было все просто, буднично и даже весело, плавал, говоря о нашей мужской утренней жизни, пахучий папиросный дым. Брат курил и рассеянно посматривал на те самые кавказские туфли Писарева, в которых я видел его, во всей его бодрой цыганской красоте, две недели тому назад, и которые мирно стояли теперь под письменным столом. Я тоже взглянул на них: да, его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть сто лет! И где он теперь и где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими, сказочными бабушками и дедушками, и кто он такой теперь? Неужто это он – то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемое среди бела дня тупым огнем до коротких обрубков догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках, – он, который всего позавчера, вот в такое же утро, входил с только что расчесанной, еще свежей после умыванья черной бородой к жене в соседнюю комнату, на полу которой через полчаса после того уже обмывали его голое, еще почти живое, податливо и бессильно падающее куда угодно тело?

И все таки это он, подумал я, и это нынче, вот сейчас, произойдет с ним то последнее, церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего общего при жизни, то самое дивное в мире, в чем я буду участвовать впервые за все свое молодое существование, то есть переживать осуществление тех самых необыкновенных слов, которые я, в гимназии, должен был зачем-то учить наизусть:

«Через трое суток по кончине христианина следует его вынос во храм... Приготовлением к сему служат, при стечении близких, друзей и сродников усопшего, усиленные каждения вокруг него и пение тропарей о его упокоении до Страшного Суда Господня и восстания всех мертвых от гроба.» Я с великим изумлением подумал вдруг, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев, и ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться что-то уже совершенно невообразимое, не имеющее ни смысла, ни цели и никаких сроков...

II

Вынос я наблюдал жадно и трепетно. Работники, празднично сытые и чистые, были сильны и молоды, но с каким неловким и боязливым напряжением, отворачивая головы, сдвинули они со столов и на белых полотнищах подняли свой тяжкий груз, когда настал наконец последний час разлуки Писарева с родным домом и всем миром! Мне опять показалось тогда, что в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками лежит нечто священное, но вместе с тем и непристойно-земное, непотребное. Это нечто, с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками, деревянно покачивающее мертвой головою, низко и наклонно поплыло по чужой воле над полом, среди тесноты, праздничных риз, ладана и нестройного пения, ногами к настежь раскрытым дверям, – да никогда не переступит оно вновь порога этого дома! – сперва в прихожую, потом на крыльцо, на яркий свет и зелень весеннего двора, где над толпой высилось Распятие и два мужика держали на головах крышку гроба. Тут работники приостановились, оттягивая полотнищами свои густо покрасневшие шеи, причт запел громче, – «в знамение того, что усопший переходит в царство бесплотных духов, окружа-

ющих престол Вседержителя и немолчно воспевающих Ему трисвятую песнь», – ас верхушки колокольной, глядевшей из-за надворных построек прямо против крыльца и медленно ронявшей до этой минуты тонкие, жалостные и все строже густевшие звуки, вдруг резко сорвалась короткая, нарочито нелепая, трагическая разноголосица, на которую дружным и нестройным лаем и воем ответили испуганные борзые и гончие, наполнявшие двор. Это было так безобразно, что сестра в своем длинном крепе зашаталась и зарыдала, бабы в толпе заголосили и отец, тоже неловко поддерживавший гроб, весь исказился отвращением и болью.

В церкви я все смотрел на трупный лик покойника, лежавшего как раз против царских врат, под круглым глухим куполом, разрисованным каменными сизыми облаками, среди которых, из грубого синего треугольника, продолговато, жестко и загадочно взирало Всевидящее Око. Шло уже отпевание, и лик этот, с его обострившимся носом, черной сквозящей бородой и такими же усами, под которыми блестели плоские слипшиеся губы, был уже могильно увенчан пестрым бумажным венчиком. Я смотрел, думая: он похож теперь на древнего великого князя, он теперь навеки приобщен как бы к лику святых, к сонму всех праотцев и прашуров наших... Над ним уже пели: «Блаженны непорочнии, в путь ходящий в законе Господне», я же, с мукой и болью за него и с умилением за себя, думал: вот сейчас всунут в его тугие пальцы с почерневшими ногтями «отпуск», польют его «елеем», крестообразно посыплют «перстью», покроют кисеей и крышкой, вынесут и закопают, и уйдут и забудут, и пойдут годы, и будет длиться моя долгая и счастливая жизнь где-то там, в моем туманном и светлом будущем, а он, или, вернее, его череп и кости все будут лежать и лежать в земле за этой церковью, в высокой траве под березкой, которую нынче посадят в его возглавии и которая станет некогда большим и прекрасным белоствольным деревом со своей низко струящейся и сладко трепещущей в долгий летний день серо-зеленой верхушкой... Воздавая ему «последнее целование», я коснулся венчика губами – и, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня и как потрясла меня своей ледяной твердостью темно-лимонная кость лба под этим венчиком в непостижимую противоположность тому живому, весеннему, теплomu, чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви!

Я пристально глядел потом, стоя за церковью, среди старых могильных плит и памятников всяких бригадиров и секунд-майоров, в глубокую и узкую яму, тускло и угрюмо блестевшую своими твердо и ровно обрезанными боками: грубо и беспощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая, первобытная земля на фиолетовый бархат, на крест из белого позумента. Мне хотелось кощунственно ожесточить себя, я вспоминал холодное Всевидящее Око в каменно-облачном небе церковного купола, думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю, даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое... Но веры в это не было ни малейшей, могилу уже сравнивали с землею, на Анхен было новое батистовое платье... ласково и беззаветно, все разрешая и во всем обнадеживая, звучало последнее песнопение, опять праздничное, опять Христово, терявшееся в теплом солнечном воздухе... Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него...

III

Когда возвращались с кладбища, сестра шла, спотыкаясь, прижимая платок к глазам, ничего не видя перед собой. Но отец крепко держал ее под локоть и, принаравливаясь к ее шагу, настойчиво говорил ей все то пустое, милое, что спокон веку говорят в таких случаях:

– Душа моя, утешать тебя бесполезно, но одно скажу: помни, что отчаяние есть смертный грех, что ты не одна в мире, что у тебя есть люди, бесконечно любящие тебя, что у тебя есть дети, дающие тебе высокую цель в жизни, и главное, что ты так еще молода, что у тебя все впереди...

Возле отца шел, держа в руках дворянский картуз, его старый друг, круглый и плотный помещик, загорелый и смуглый, у которого были какие-то золотисто-табачные пятна на желтоватых белках карих глаз, с самого детства занимавшие меня. Ему было жарко от непривычного ему сюртука, от крахмальной рубашки, от своей крепкой полноты и тех чувств, которые волновали его. И он, свистя легкими от поспешности и удушья, говорил то же, что и отец:

– Вера Петровна, позвольте и мне сказать: я покойному вторым отцом был по смерти его батюшки, я его и крестил, и вырастил, и под венец с вами благословлял, вы понимаете, что я ис-

пытываю... Потом, вы ведь знаете: я и сам рано овдовел...

Но Александр все-таки тысячу раз прав. Знаете, как говорят мужики? «Смерть как солнце, на нее не глянешь...» Да, не глянешь, и не надо глядеть, иначе нельзя жить...

Мне вот стыдно, что его нету, а я все иду и хриплю, да разве это наша воля?

И я смотрел на его стриженую сизосеребристую голову с широким затылком, на старое, истончившееся обручальное кольцо на его темной маленькой руке... Я смотрел и чувствовал, что и всем нам в той или иной мере стыдно, неловко, а все таки бесконечно сладко возвращаться к жизни после той ужасной обузы, которая тяготела на нас целых три дня, и ловил себя на том, как мне приятно ступать по мягкой весенней земле, идти с раскрытой головой под греющим солнцем, слушать непрестанный, разноголосый крик грачей, с буйным и страдальчески-счастливым упоением орущих и хлопочущих во всех окрестных садах, глядеть какими-то новыми, чуть не влюбленными глазами на сестру, на ее траур, на красоту ее молодости и горя, думать с замиранием сердца, что у нас с Анхен назначено нынче свидание в низах сада...

Дом тоже помолодел, освободившись от хозяина. Все полы и стекла были в нем вымыты, всюду было прибрано и настезь раскрыты окна на солнце и воздух. Едва переступив порог зала, где были расставлены и убраны столы для поминального обеда, я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба. Но запах этот как-то особенно возбуждающе мешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом, и празднично, для пира жизни, а не смерти, блестя на столах скатерти, приборы, рюмки и графины... Все же как ужасен был этот долгий и грубо обильный обед, который то и дело прерывали своими уже нескладными, хмельными головами причетники, встававшие и умиленно певшие вечную память непонятному существу, только что зарытому ими в землю за церковью! Прав был отец, говоря мне за обедом:

— Знаю, знаю, душа моя, каково тебе теперь! Мы то уж все обстреляны, а вот на пороге жизни да еще с таким несовременным сердцем, как у тебя... Воображаю, что ты чувствуешь!

IV

После похорон я пробыл в Васильевском еще с полмесяца, продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимый и ужасный конец которой я только что видел воочию.

Мне в те дни было тем мучительней, что предстояло пережить еще одно испытание – разлуку с уезжавшей домой Анхен (хотя я и в этом находил какую-то пронзительно-горькую утеху).

Отец и Петр Петрович решили, ради сестры, остаться в Васильевском еще на некоторое время. Остался и я – и не только ради Анхен, страсть к которой усиливалась во мне с каждым днем: мне зачем-то хотелось длить те двойственные чувства, которые владели мной и заставляли не расставаться с «Фаустом», нечаянно попавшим тогда в мои руки среди писаревских книг и совершенно пленившим меня:

Потоками жизни, в разгаре деяний, Невидимый, видимо всюду присущий, Я радость и горе, Я смерть и рождение, Житейского моря Живое волнение – На шумном станке мироздания От века сную без конца И в твари и в недрах созданья Живую одежду Творца...

Двойственна была и жизнь в Васильевском. Она была еще обвеяна грустью, но как-то удивительно быстро приходила опять в порядок, приобретая что-то особенно приятное вследствие тех перемен, которые в ней произошли и происходили среди расцветающей и крепнущей весенней красоты. Все чувствовали, что пора возвращаться к жизни с новыми и даже удвоенными силами. Поддерживали особую чистоту во всем доме, многое изменив в нем, – убрав на чердак некоторую слишком старую мебель, кое-что переставив из комнаты в комнату, устроив сестре новую спальню возле детской, а прежнюю, супружескую, за маленькой гостиной, совсем упразднив и сделав из нее просторную диванную... Потом куда-то попрятали почти все вещи покойного, – я раз видел, как возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку... Новые порядки начались и в хозяйстве: им распоряжались теперь отец и Петр Петрович, и на дворне, как всегда это бывает между господами и работниками на первых порах, всем хотелось усердно подчиняться им, надеяться, в силу этой новизны, что все пойдет теперь как-то по-иному,

по-настоящему. Это меня, помню, очень трогало. Всего же трогательней было постепенное возвращение к жизни сестры, то, как она понемногу приходит в себя, становится спокойнее и проще и уже иногда слабо улыбается за столом глупым и милым вопросам детей, а Петр Петрович и отец сдержанно, но неизменно ласковы и внимательны к ней...

И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздно вечером с Анхен, сладко замученный бесконечным прощанием с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увести Анхен куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда гуляли с нами девочки, младшие дочки Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам...

В полдень я возвращался домой к обеду, после обеда все перечитывал «Фауста» – и ждал вечерней встречи... По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи. Анхен садилась ко мне на колени, обнимала меня и я слышал стук ее сердца, впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела...

Она наконец уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхен, плакал я!

А вечером, когда, уже отупев от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхен на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я, с месяц тому назад, впервые послал стихи. Я на ходу развернул его и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени...

На другой день, рано утром, я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком, среди блестящих в утреннем пару пашен, потом по писаревскому лесу, солнечному, светло-зеленому, полному птичьего весеннего пенья, прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей... Когда я явился в Батурине, мать даже руками всплеснула, увидав мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал и пошел в свою комнату, шатаясь от усталости и не узнавая знакомого дома, дивясь тому, какой он стал маленький и старый...

V

В ту весну мне шел всего шестнадцатый год. Однако, воротясь в Батурине, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную, совершеннолетнюю жизнь завершилось.

Мне еще зимой казалось, будто я уже знаю многое, необходимое всякому взрослому человеку: и устройство вселенной, и какой-то ледниковый период, и дикарей каменного века, и жизнь древних народов, и нашествие на Рим варваров, и киевскую Русь, и открытие Америки, и французскую революцию, и байронизм, и романтизм, и людей сороковых годов, и Желябова, и Победоносцева, не говоря уже о множестве навеки вошедших в меня лиц и жизней вымышленных, со всеми их чувствами и судьбами, то есть всех этих тоже будто бы всякому необходимых Гамлетов, Дон-Карлосов, Чайльд-Гарольдов, Онегиных, Печориных, Рудиных, Базаровых... Теперь жизненный опыт мой казался мне огромным. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жить отныне какой-то уже совсем «полной» жизнью. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал, что в том, что бы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. «Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием...» С прекрасным упованием входил и я в нее... хотя какие были у меня на то основания?

Было чувство того, что у меня «все впереди», чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости, – как, например, ездил я верхом! Было сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрения ко всякой низости. Был повышенный душевный строй, как прирожденный, так и благоприобретенный за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что «поэзия есть Бог в святых мечтах земли», что «искусство есть ступень к лучшему миру». Была какая-то душу поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я по-

вторял в иные минуты и нечто совсем противоположное— едкие строки Лермонтова и Гейне, жалобы Фауста, обращающего к луне за готическим окном свой предсмертный, во всем разочарованный взор, или веселые, бесстыдные изречения Мефистофеля... Но разве я не сознавал порой, что мало иметь крылья, чтобы летать, что для крыльев нужен еще воздух и развитие их?

Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати. Но я не мог не знать и того, что одна ласточка весны не делает. Отец в минуты раздражения называл меня «недорослем из дворян»; я утешал себя тем, что не я один учился «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь»; но ведь я хорошо понимал, сколь это утешение сомнительно. Я втайне (вопреки тому, что уже был заражен, благодаря чтению и брату Георгию, множеством свободных мнений) еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы. Но я не мог не помнить в то же время нашей все растущей бедности и того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры. Я вырос и оставался в странном убеждении, что, при всех достоинствах братьев, особенно Георгия, все таки я главный наследник всего того замечательного, чем, при всех его недостатках, так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец. Но отец был уже не тот, что прежде; он, казалось, на все махнул рукой теперь, был чаще всего во хмелю — и что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, разбитые туфли, оборванный архалук севастопольских времен? А какую боль причиняли мне порой мысли о стареющей матери, о подрастающей Оле! Жестокую жалость испытывал я часто и к самому себе, пообедав, например, одной окрошкой и возвратясь в свою комнату, к своим книгам и единственному своему богатству — дедовской шкатулке из карельской березы, где хранилось все самое заветное мое: исписанные «элегиями» и «стансами» листы серой, пахнущей мятной махоркой, бумаги, купленной в нашей деревенской лавчонке...

Я думал порой о молодости отца: какая страшная разница с моей молодостью! Он имел почти все, что подобало счастливому юноше его среды, звания и потребностей, он рос и жил в безопасности вполне естественной по тому еще большому барству, которым он так свободно и спокойно пользовался, он не знал никаких преград своим молодым прихотям и желаниям, всюду с полным правом и веселым высокомерием чувствовал себя Арсеньевым. А у меня была только шкатулка из карельской березы, старая двустволка, худая Кабардинка, истертое казацкое седло...

Как хотелось порой быть нарядным, блестящим! А мне, собираясь в гости, нужно было надевать тот самый серенький пиджачок брата Георгия, в котором некогда везли его в тюрьму в Харьков и за который я в гостях втайне мучился острым стыдом. Я был лишен чувства собственности, но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними! Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской красоте, о дружбе с какими-то воображаемыми чудесными юношами, сверстниками и товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам...

А разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего уездного города, что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и косогородами, что вижу я только мужиков и баб, что весь круг наших знакомств ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским, а приют всех моих мечтаний — моей старой угловой комнатой с гниющими подъемными рамами и цветными верхними стеклами двух окон в сад?

VI

Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон в моей комнате, которая стала мне еще милее прежнего стариной этих окон, составленных из мелких квадратов, темным дубовым потолком, дубовыми креслами и такой же кроватью с гладкими и покатыми отвалами... Первое время я только и делал, что лежал с книгой в руках, то рассеянно читая, то слушая соловьиное цоканье, думая о той «полной» жизни, которой я должен жить отныне, и порой нежданно засыпая коротким и глубоким сном, очнувшись от которого я всякий раз как то особенно свежо изумлялся новизне и прелести окружающего и так хотел есть, что вскакивал и шел или за вареньем в буфетную, то есть в заброшенную каморку, стеклянная дверь которой выходила в зал, или за черным хлебом в людскую, где днем всегда было пусто, — лежал только в темном углу на горячей и сорной печи один Леонтий, длинный и неверо-

ятно худой, густо заросший желтой щетиной и весь шелушившийся от старости, бывший бабушкин повар, уже много лет зачем то отстаивавший от неминуемой смерти свое непонятное, совсем пещерное существование... Надежды на счастье, на счастливую жизнь, которая вот-вот должна начаться! Но для этого часто бывает достаточно вот так очнуться после внезапного и короткого сна и побежать за коркой черного хлеба или услышать, что зовут на балкон к чаю, а за чаем подумать, что сейчас надо пойти оседлать лошадь и закатиться куда глаза глядят по вечереющей большой дороге...

Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее, когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, что, казалось, я просыпался от чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх, – вдруг вспоминался Писарев, чудилась высокая тень возле двери в гостиную... Но через мгновение тени этой уже не было, виден был только просто угол, темнеющий сквозь тонкий сумрак комнаты, а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое безмолвное царство лунный сад. И я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную, видел в сумраке глядевший на меня со стены портрет бабушки в чепце, смотрел в зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой... он казался теперь таинственней и ниже, потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в него, да и сам он стал сумрачней: липа за его северными окнами, густо покрывшаяся листвой, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным шатром... Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи: что же это такое и что с этим делать!

Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что же было тогда, когда все это было внове, когда было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от запаха сырой травы! Необыкновенно высокий треугольник ели, освещенный луной только с одной стороны, по-прежнему возносился своим зубчатым острием в прозрачное ночное небо, где теплилось несколько редких звезд, мелких, мирных и настолько бесконечно далеких и дивных, истинно Господних, что хотелось стать на колени и перекреститься на них. Пустая поляна перед домом была залита сильным и странным светом. Справа, над садом, сияла в ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящейся белизной лица. И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно чего-то друг от друга ожидая... Чего? Я знал только то, что чего-то нам с нею очень не достает...

Потом я шел вместе со своей тенью по росистой, радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущей к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь, – она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел – и луна стояла, глядела. Возле берега, подо мной, была зыбкая, темно-зеркальная бездна подводного неба, на которой висели, чутким сном спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней, утки; за прудом влево темнела вдали усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка; за прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше – по-ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним изб... Какое молчание – так может молчать только что-нибудь живое! Дико-тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собой свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам... Когда же я медленно шел дальше, вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев...

И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе – и все об одном: о загадочном, томительно-любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Что осталось от бабушки, кроме ее портрета на стене в гостиной? Так и Писарев: думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома, портрет той поры, когда он только что женился (и, верно, надеялся жить бесконечно!). Еще приходило в голову прежнее: где теперь этот человек, что с ним случилось, что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение, в них было даже что-то утешающее: где он – ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, что-бы жить и быть счастливым.

Анхен мучила дольше. Даже днем, — на что бы я ни глядел, что бы ни чувствовал, ни читал, ни думал, — за всем была она, нежность к ней, воспоминания, связанные с нею, боль, что уже некому сказать, как я ее люблю и сколько на свете прекрасного, наслаждаться которым мы могли бы вместе; про ночь же и говорить нечего — тут она владела мной всецело. Но время шло — и вот постепенно стала превращаться в легенду, утрачивать свой живой облик и Анхен: уже как то не верилось, что когда-то она была со мной и что где-то есть она и теперь; уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе, смешанном с образами поэм Пушкина, Лермонтова, Байрона...

VII

Как-то в начале лета я прочел в «Неделе», которую выписывал в тот год, о выходе в свет полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя! Я кое что из Надсона уже читал и, сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. «Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет» — это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная осока растет над прудом и даже склоняется над ним «зелеными ветвями». Но все равно — Надсон был «безвременно погибший поэт», юноша с прекрасным и печальным взором, «угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного южного моря...» Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, «утопавший в цветах», отправлен для торжественного погребения «в морозный и туманный Петербург», я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. — Ах, только-то и всего? — удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Надсона.

И сердито прибавил с облегчением: — Какой вздор лезет тебе однако в голову! Теперь заметка «Недели» снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Надсона возросла еще пуще. И мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, не медля ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он, помимо своей поэтической смерти, все таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем: Кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худы и безобразны, — нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее тридцати верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге без отдыха и часа в три уже входил в библиотеку на Торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скупавшая в узкой комнате, заставленной сверху до низу книгами в обитых переплетах, взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. — На Надсона очередь, — сказала она небрежно. — Раньше как через месяц не дождетесь...

Я опешил, растерялся, — каково отмахать тридцать верст задаром! — однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня: — Но ведь вы тоже поэт? — тотчас же прибавила она, усмехаясь. — Я вас знаю, я вас еще гимназистом Видала... Я вам дам свой собственный экземпляр...

Я рассыпался в благодарностях и, весь красный от смущения и от гордости, так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет пятнадцати в сереньком холстинковом платье, только что вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей, — все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад.

Еще странней был кучер, сутуло сидевший на козлах: донельзя сухой, поджарый и донельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с заломленной назад коричневой папай. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучовом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно, девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшем в ее черных чахоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно-болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «ах, простите ради Бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице, к базару, с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встрече этой не суж-

дено было кончиться так просто.

Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: – Да никак это наш барчук? Барчук! Милости просим к нам! Не побрезгуйте! Подсаживайтесь!

Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой, и действительно они тотчас же предложили подвезти меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подводы их за городом, на кирпичных заводах возле Беглой Слободы, и что «вечерком» они трогаются обратно. Вечерок однако весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел на пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной за шоссе, а мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем, а они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости, как вдруг один мужик насмешливо сказал, через силу таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головой на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: – А вон барыня Бибикова едет. Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе гостить и баранчика на зарез торговал... Другой подхватил: – Верно, она и есть. Вон и этот живодер на козлах...

Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайно тревожило меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда: тревожила она, эта худенькая девочка. Услыхав, что она едет как раз к нам, в Батурине, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое: что барыня Бибикова мать этой девочки и что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже, – мужики называли институт «дворянским заведением», – что живут они в своем «именьишке» под Задонском бедно-пребедно, что они родня Уварову, что лошадей им дал их другой родственник, их задонский сосед Марков, что его пегие лошади на всю губернию известны, равно как и живодер кавказец, который был у Маркова сперва, как обыкновенно, объездчиком, а потом «прижился» у него, стал его закадычным другом, связавшись с ним страшным делом: он до смерти заporол однажды нагайкой конокрада-цыгана, хотевшего угнать из марковского табуна самую главную матку...

Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, – сколько позволяла малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была! В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром, стало быстро и как-то неверно, тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч, стало тяжело греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами... Через полчаса наступила крошечная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами, с невероятным грохотом и сухим, шипящим треском разражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом, молнии засверкали по тучам, во всю высоту их, зубчатыми, до бела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом – и хлынул обломный ливень, с яростным гулом секший нас под удары уже непрерывные, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков... На мне, лежавшем на холодных кирпичках и укрытом всеми веретями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через пять минут. Да что мне был этот ад и потоп! Я был уже в полной власти своей новой любви...

VIII

Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни.

Когда он вошел в меня? Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать ино-

гда читала мне (певуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел» – и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я» – и я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме... Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным.

Никак не отделим был от нее и Лермонтов:
Немая степь синеет, и кольцом
Серебряным Кавказ ее объемлет,
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет.
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит, не умолкая...

Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу! И все таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил!

Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклижаю вместе с ним: «мороз и солнце, день чудесный» – с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:

Еще ты дремлешь, друг прелестный...

Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он:

Вопросами: тепло ль? утихла ли метель,
Пороша есть иль нет?
И можно ли постель
Оставить для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?

Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной, выражает мою заветную мечту:

Спеши моя краса,
Звезда любви золотая
Взошла на небеса!

Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?

Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», – в самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка, – и кто это изливает свою юношескую любовь или, вернее, жажду ее – я или он?

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!

А там опять «роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы» – той самой, которой с такой страстью предаюсь и я:

Как быстро в поле, вокруг открытом,
Подкован вновь, мой конь бежит,
Как звонко под его копытом
Земля промерзлая стучит!

Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мгlisto-красная луна
– и опять звучат во мне дивные слова:

Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла, –

и душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот тихий час – К брегам, потопленным шумящими волнами...

IX

Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия.

Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне принадлежавшее к нашей среде.

Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах.

Я видел, как беднел наш быт, но тем дороже был он мне; я даже как-то странно радовался этой бедности... может быть, потому, что и в этом находил близость с Пушкиным, дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую:

Обоями худыми Кой-где прикрытая стена, Пол нечиненный, два окна И дверь стеклянная меж ними, Диван пред образом в углу Да пара стульев...

Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батуристине, бедный быт наш был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купаньем в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвою, гибкими глянцевиными ветвями... Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купанья, с июньскими картинами и запахами, – жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучи и горьки на вкус, теплой воды и тины нагретого солнцем пруда...

Я к Уваровым в то лето не ходил, – Глебочка проводил лето в земледельческой школе, куда его перевели в виду его малых успехов в гимназии; не бывали и Уваровы у нас, были с нами в натянутых отношениях, – вечная история мелких деревенских ссор; однако Уварова все таки попросила у нашего отца позволения купаться в пруду с нашей стороны и приходила вместе с Бибиковыми почти каждый день, а я то и дело как бы нечаянно встречался с ними на берегу и особенно учтиво раскланивался, при чем госпожа Бибикова, ходившая всегда как-то милостиво-важно, с поднятой головой, в широком балахоне и с мохнатой простыней на плече, отвечала мне уже довольно приветливо и даже с усмешкой, вспоминая, верно, как я тогда, в городе, выскочил из библиотеки.

Сперва застенчиво, а потом все дружелюбней и живей отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроске и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку с заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать и Уварова; но она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью, и я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна...

И опять наступили лунные ночи, и я выдумал уже совсем не спать по ночам, – ложиться только с восходом солнца, а ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, по-

том бродить в саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда... Днем на этой плотине часто стояли бабы и девки и, наклонясь к большому плоскому голышу, лежавшему в воде на берегу, подоткнувшись выше колен, крупных, красных, а все таки нежных, женских, сильно и ладно, переговариваясь быстрыми, бойкими голосами, колотили вальками мокрые серые рубахи; иногда они разгибались, вытирали о засученный рукав пот со лба, с шутливой развязностью, на что то намекая, говорили, когда мне случалось проходить мимо: «Барчук, ай потерял что?» – и опять наклонялись и еще бодрей колотили, шлепали и чему-то смеялись, переговариваясь, а я поскорей уходил прочь: мне уже трудно было смотреть на них, склоненных, видеть их голые колени...

Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни, и одна из них, младшая, Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом, и незаметно я стал довольно частым гостем в этой усадьбе, вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной, как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня, мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками, при чем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю, а она поминутно останавливалась и, необыкновенно мило не выговаривая буквы «л», кричала на меня в полном отчаянии: «Ах, какой глупый, Боже, какой глупый!» – больше же всего любили скакать под вечер по большой дороге, и уже не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку, видел ее румянец и растрепавшиеся волосы, чувствовал наше с ней одиночество в поле, меж тем как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле и тугая икра левой ноги, упертой в стремя, все время мелькала под развевающимся подолом амазонки...

Но то было днем, вечером. А ночи свои я посвящал поэзии.

Вот уже совсем темно в поле, густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой, проезжаем по деревне, пахнувшей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной Кабардинки работнику и бегу в дом к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон за пруд или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным мягким теплом. А после прогулки я остаюсь наконец один. Все затихло – дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу. Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озаренного, колеблет огни оплывающих свечей. Ночные мотыльки роями выются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески одолеваю, осиливаю ее...

И к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь, в июне, луна ходила по летнему, ниже. Она стояла за углом дома, широкая тень далеко лежала от него по полю, и из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна. Опять тянуло только теплом, – как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на восточном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился. Тянуло оттуда, из за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину... Двор уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом – с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебошкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный, густой, подступающий прямо к ним... Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящийся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле!

одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине, – вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к Асе – и что же услышал?

– А мы завтра в Крым уезжаем, – тотчас сказала она, завидя меня, и так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать.

В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жнивье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижимый зной, мерный шум кос; густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно склоненными, полными колосьями, а на него, друг за другом, наступают, в раскорячку идут и медленно ровно уходят вперед мужики распояской, широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жнивья, широкие пустые полосы – мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали...

– Что ж так-то даром сидеть, барчук? – грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. – Берите-ка мою другую косу, заходите с нами...

И я встал и, ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло...

Сперва было великое мученье.

От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой – с согнутой, изломанной спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью:

– Завтра опять косить!

За косьбой же наступила возка. Эта работа еще трудней. Это еще хуже – всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху, до боли в животе, вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпавшую тебя острым зерном, на высокий и все растущий на все уменьшающейся телеге огромный, отовсюду торчащий охвостьем снопов воз... а потом опутывать его тяжело-зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом гору жесткими веревками, изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку... а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому, ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся под возом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бояться, что на все лады скрипящая под своим страшным грузом тележенка не выдержит где-нибудь на повороте, заест слишком круто подвернувшееся колесо – и весь этот груз безобразно рухнет на бок... Это все не шутка да еще с раскрытой под солнцем головой, с горячей, потной грудью, разъеденной ржаным сором с дрожащими от переутомления ногами и с полыньей во рту!

А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие, бедные дни. В риге с раннего утра до позднего вечера ревела, гудела, засыпала соломой и густо дымила хоботьем молотилка, бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза, другие мерно стучали в темном углу веялкой, за ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья и все время однообразно и жалобно-сладко пели, а я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагребать из под веялки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый, подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками, и неизвестно, чем бы все это кончилось, – уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умелей и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно-грустной задушевностью, намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь за новые ножницы, например, – если бы не случилось в моей жизни нового события: я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов, очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей да еще получил за это почтовую повестку на целых пятнадцать рублей. Нет, сказал я себе, потрясенный и тем и другим, довольно с меня этой риги, пора опять за книги, за писанье – и тотчас же пошел седлать Кабардинку: съезжу в город, получу деньги – и за работу... Уже вечерело, но я все таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге... В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо, а какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная, одинокая душа!

XI

В поле хмуро темнело, дул суровый ветер, а я всей грудью вдыхал его предзимнюю свежесть, с наслаждением чувствовал его здоровый холод на своем молодом горячем лице и все гнал и гнал Кабардинку. Я всегда любил резвую езду, – всегда горячо привязывался к той лошади, на которой ездил, а меж тем всегда был ужасно безжалостен к ней. Тут же я ехал особенно шибко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно? Но в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, охотнее отдается тайной работе души. И я хорошо помню, что всю дорогу до города моя как-то мужественно-возбужденная душа неустанно работала над чем-то. Над чем? Я еще не знал, только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремление куда-то...

Помню, под Становой я на минуту приостановился. Наступала ночь, в поле стало еще угрюмей и печальней. Ни души, казалось, не было не только на этой глухой, всеми позабытой дороге, но и на сотни верст кругом. Дичь, ширь, пустыня... Ах, хорошо, подумал я, опуская повод. Кабардинка стала, глубоко повела боками и замерла. Я, с застывшими коленками, слез с нагретого, скользкого седла, зорко и сторожко оглядываясь, вспоминая старые разбойничьи предания Становой и втайне даже желая какой-нибудь страшной встречи, жуткой схватки с кем-нибудь, подтянул подпруги, подтянул ременный пояс на поддевке и поправил кинжал на нем... Ветер круто, надавливая, точно холодной водой дул мне в бок, бил, гудел в ухо, тревожно и воровски шуршал в неверном сумраке полей, в сухих бурьянах и жнивье; Кабардинка, с висящими по ее бокам стремянами и торчащими седельными рогами, стояла с какой-то чудесной стройностью, остро подняв уши, тоже как будто чувствуя всю недобрую славу этих мест и тоже внимательно и строго глядя куда-то по дороге. Она уже вся потемнела от горячего пота, похудела в ребрах, в пахах, но я знал ее выносливость, то, что ей достаточно единственного глубокого вздоха, которым она вздохнула, остановясь, чтобы снова пуститься в путь во всю меру своих уже немолдых сил, своей неизменной безответности и любви ко мне. И, с особенной нежностью обняв ее тонкую шею и поцеловав в нервный храп, я опять взмахнул в седло и еще шибче погнал вперед...

А потом надвинулась ночь, темная, черная, настоящая осенняя, и, как во сне, стало казаться, что и конца не будет этому мраку, ветру навстречу и ладному топоту копыт в густой темноте под ногами... Потом открылись и долго точно на одном месте стояли, с той особенной зоркостью и четкостью, которая бывает только в осенние ночи, дальние городские и пригородные огни... Наконец они стали ближе, больше, зачернели вдоль темной дороги слободские тесовые крыши, заманчиво и уютно глянули из под них светлые окошечки, светлые внутренности изб, люди, семейственно ужинающие в них... а там явственно запахло всеми сложными, людными запахами города, замелькали вокруг другие многочисленные огни и освещенные окна – и подковы Кабардинки весело и возбуждающе зазвенели уже по мостовой, по улицам...

В городе было тише, теплей, был еще вечер, а не та черная слепая ночь, что уже давно была в полях, и я попал на постоялый двор Назарова прямо к ужину...

Чего только не было в моей душе в тот вечер! Нельзя сказать, чтоб я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей – я, помню, принял это почти как должное. Я был только как-то крепко и хорошо возбужден, был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью, и мне все доставляло удивительное наслаждение:

и этот осенний вечерний город, и то, как я, рысью подъехав к воротам Назарова, задержал за кольцо ржавую проволоку, висевшую из дыры в верее, громко зазвонив по двору колокольчиком, и то, как послышался по камням за воротами постукивающий шаг хромого дворника, отворившего мне ворота, и уют навозного двора, где в темноте, под черными навесами и под открытым среди них небом, стоял целый табор чьих-то телег и звучно жующих лошадей, и какое то особое, уездное, старое зловоние отхожего места в непроглядном мраке в сенцах, куда я одеревеневшими от стужи ногами взбежал по гнилым ступеням деревянного крыльца и где я долго нашаривал скобку двери в дом, и вдруг открывшаяся потом светлая, людная и теплая кухня, густо пахнущая жирной горячей солониной и ужинающими мужиками, а за нею – чистая полови-

на, в которой, за большим круглым столом, ярко освещенным висячей лампой, во главе с толстой рябой хозяйкой с длинной верхней губой и стариком хозяином, строго-унылым мещанином, крупным и костистым человеком, похожим своими бурыми прямыми волосами и суздальским носом на старообрядца, тоже ужинало много каких-то загорелых, обветренных людей в жилетках и косоворотках, выпущенных из под жилеток... Все, кроме хозяина, пили водку, хлебали наваристые щи с мясом и лавровым листом из огромной общей чашки... Ах, хорошо, почувствовал я, ах, как все хорошо – и та дикая, неприветливая ночь в поле, и эта вечерняя дружелюбная городская жизнь, эти пьющие и едящие мужики и мещане, то есть вся эта старинная уездная Русь со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью, и мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, о Москве и знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом примусь за щи с мягким, белым городским подрукавником!

И действительно, я так закусил и выпил, что потом (когда уже все разошлись по своим местам, улеглись где кто попало спать и на дворе, и в кухне, в горнице, потушили огонь и крепко заснули, отдав себя в полное распоряжение клопам и тараканам) долго сидел без картуза на ступеньках крыльца, освежая свою слегка кружащуюся голову воздухом октябрьской ночи, слушая в ночной тишине то колотушку, ловко, на плясовой лад что-то выделяющую где-то вдали, вдоль пустынной улицы, то мирный хруст жующих под навесами лошадей, прерываемый иногда их короткой дракой и злым визгом, и все что-то обдумывая, решая своей блаженно-хмельной душой...

В этот вечер я впервые замыслил рано или поздно, но непременно покинуть Батурино.

XII

Одни хозяева спали отдельно, в своей спальне, похожей на часовню от множества золотых и серебряных икон в киоте, какой-то черной стоячей гробницей возвышавшемся в переднем углу за большой малиновой лампадой, а все мы, то есть я и пять человек прочих чистых постояльцев, в той же горнице, где вчера ужинали. Трое ночевали на полу, на казанских войлоках, трое, в числе которых, к несчастью, был и я, на диванах, жестких, как камень, с прямыми деревянными спинками. И, конечно, клопы (какие-то мелкие, особенно ядовитые, подло разбегавшиеся по подушке, как только я зажигал спичку) ели всю ночь и меня, а в теплой и вонючей темноте вокруг стоял крепкий храп, от которого ночь казалась безнадежной, безрасветной, а неугомонная колотушка проходила иногда своим отчаянно-громким, распутно-залихватским, каким-то круглым, полым треском под самыми окнами, а двери из хозяйской спальни были прикрыты только на половину, так что лампадка краснела оттуда мне прямо в глаза, составляя из своего черного крестообразного поплава, темного лучистого мерцания и теней, колеблемых им, подобие какого-то сказочного паука в середине огромной паутины... Встал я однако как ни в чем не бывало, лишь только послышалось, что проснулись хозяева, начали зевать, подниматься, натягивать сапоги спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий и крепко, вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркало.

Через час после того я был уже на почте и получил наконец и свой первый гонорар и ту удивительную, от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девственно свежей обложке цвета яичного желтка, где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими, – так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за тем мне предстояло дело – зайти, по поручению отца, к некоему Ивану Андреевичу Балавину, скупщику хлеба, чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цену на них и, если можно, сделать запродажу. И вот, с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем картузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой и совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место развернутой перед его глазами книги.

Балавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. Амбар его в хлебных рядах выходил растворами прямо на мостовую. Приказчик провел меня по этому амбару куда-то в глубину, к стеклянной дверке, изнутри завешенной кумачным лоскутом, и несмело стукнул. – Входи! – неприятно крикнул кто-то

из-за двери.

И я вошел и навстречу мне приподнялся из-за большого письменного стола человек неопределенных лет, одетый по европейски, с очень чистым и как бы прозрачным желтоватым лицом, с белесыми волосами, аккуратно причесанными на прямой ряд, с желтыми тонкими усами и быстрым взглядом светло-зеленых глаз. – В чем дело? – спросил он сухо и быстро.

Я назвал себя, поспешно и неловко вытащил из карманов поддевки два маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. – Садитесь, – как-то вскользь сказал он, садясь за стол, и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал, потом сделал то же самое с другим. – Сколько всего? – спросил он невнимательно. – То есть четвертей? – спросил я. – Да не вагонов же, – сказал он насмешливо.

Я вспыхнул, но он не дал мне ответить: – Впрочем, это не суть важно. Цены сейчас слабы, вы их, небось, сами знаете...

И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. – Я на эту цену согласен, – сказал я, краснея. – Можно получить задаток?

Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне сторублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. – Прикажете расписку? – спросил я, краснея еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью.

Он усмехнулся, ответил, что, слава Богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен, и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор кончен, раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. – Благодарю вас, я не курю, – сказал я.

Он закурил и опять как-то вскользь спросил: – Это вы пишете стихи?

Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить: – Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь, – сказал он с усмешкой. – Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт. Даже когда-то книжку выпустил. Теперь, понятно, лиру оставил в покое, – не до нее, да и таланту оказалось мало, – пишу только корреспонденции, как, может быть, слышали, но интересоваться литературой продолжаю, выписываю много газет и журналов... Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале? Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать собой. – То есть как? – спросил я, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. – А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни и большое образование, а что ж у вас есть? Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, малый я был не глупый, еще мальчишкой видел столько, сколько дай Бог любому туристу, а что я писал?

Вспоминать стыдно!

Родился я в глуши степной,
В простой и душной хате,
Где вместо мебели резной
Качались полати...

– Позвольте спросить, что за оболтус писал это?

Во-первых, фальшь, – ни в какой степной хате я не рожался, родился в городе, во-вторых, сравнивать полати с какой-то резной мебелью верх глупости и, в-третьих, полати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал, но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности... – Мое почтение, – сказал он, вдруг поднимаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. – Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава – карьера не блестящая. А у вас замечен хороший талант и впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятное...

И вдруг опять стал сух и серьезен: – До свидания, – опять как-то невнимательно сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садясь за свой стол. – Прошу передать поклон вашему батюшке...

Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслам покинуть Ба-турино.

XIII

Замыслы эти осуществились однако не скоро. Жизнь моя снова пошла по прежнему и даже еще более беспечно, день за день. Я превращался, – по крайней мере с виду, – в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования, ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу ходил от скуки на деревню, в излюбленные избы, коротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване, вслух мечтал о чем-нибудь с сестрой, болтал с братьями... И так прошел еще год. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться.

Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в ту зиму уже не с нами, а в алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была, по своей бедности и бездомности, разлучиться с мужем: он был шорник, и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку, а она поступила к брату.

Ей было лет двадцать. На деревне звали ее галкой, дикой, считали (за молчаливость) совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие и сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку: прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею, любил, как крепко и быстро она топает ногами, неся на стол самовар или миску с супом, как бессмысленно взглядывает: этот топот и взгляд, грубая чернота волос, прямой ряд которых был виден под оранжевым платком, сизые губы слегка удлиненного рта, смуглая молодая шея, покато переходящая в плечи, – все неизменно вызывало во мне томящее беспокойство. Случалось, что, встретясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я, шутя, ловил ее находу, прижимал к стене... Она молча вывертывалась – и тем дело и кончалось. Никаких любовных чувств мы друг к другу не испытывали.

Но вот, гуляя как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей, совсем темной, особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела грудой раскаленных углей только что истопленная печка, а Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, берцы которых блестели против света своей гладкой кожей, сидела на полу прямо против ее устья, вся в ее пламенно-темном озарении, держала в руках кочергу, огненно-белый конец которой лежал на углях, и, слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли, на их малиновые, хрупко-прозрачные горки, кое-где уже меркнувшие под сиреневым тонким налетом, а кое-где еще горевшие сине-зеленым эфиром. Я, входя, стукнул дверью – она даже не обернулась. – Что-й-то у вас темно, ай дома никого нету? – спросил я, подходя.

Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. – Будто не знаете! – сказала она насмешливо. – Что не знаю? – Да уж будет, будет... – Что будет? – Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли... – Я гулял, не видал их. – Знаем мы ваше гулянье...

Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову, уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что любуюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет... потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол, поймал ее уклоняющиеся горячие от огня губы... Кочерга загремела, из печки посыпались искры...

На крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство, перевел дыханье и быстро оглянулся, – не идет ли кто? Но никого не было, все было просто и тихо; на деревне, в обычной зимней темноте, с неправдоподобным спокойствием, – точно ничего и не случилось, – горели по избам огни... Я взглянул, прислушался – и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой от двух совершенно противоположных чувств: страшной, неправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего, победоносного торжества...

Ночью, сквозь тревожный сон, меня то и дело томила смертельная тоска, чувство чего-то ужасного, преступного и постыдного, внезапно погубившего меня. Да, все пропало! – думал я,

просыпаясь, с трудом приходя в себя. Все, все пропало, все погублено, испорчено, но, видно, так тому и быть, все равно теперь этого уже не поправишь...

Проснувшись утром, я какими-то совсем новыми глазами взглянул вокруг, на эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь: солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось. Но мысль эта уже не испугала меня, ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было. Напротив. Как же я теперь выйду к чаю? – подумал я. – И вообще как теперь быть? Но никак не быть, подумал я, никто ничего не знает и не узнает никогда, а на свете все по-прежнему и даже особенно хорошо: на дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым сучьям, весь завален белыми сугробами, в комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, и теперь ровно гудящей и потрескивающей печки, с дрожью тянущей в себя медную заслонку... горько и свежо пахнет сквозь тепло мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу...

А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться, – ведь мне уже семнадцать лет... И меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости. Как глупо все, что лезло мне в голову ночью! Как это дивно и ужасно, то, что было вчера! И это опять будет, может быть, даже нынче же! Ах, как я люблю и буду любить ее!

XIV

С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее помешательство, всецело поглощавшее все мои душевные и телесные силы, жизнь только минутами страсти или ожиданием их и муками жесточайшей ревности, совершенно разрывавшей мне сердце, когда к Тоньке приходил повидаться муж и она должна была по вечерам уходить из дому, где она спала обычно, спать с ним в людскую.

Любила ли она меня? Первое время любила, была сокровенно, но так счастлива этой любовью, что не могла, сколько ни старалась, скрыть своего тайного восхищения мною, блеска своих узких опущенных глаз, даже когда видела меня при брате и невестке, прислуживая нам. Потом то любила, то нет, – временами бывала не только равнодушна, холодна, но даже враждебна, – и эти постоянные смены чувств, всегда непонятные, неожиданные, совершенно изнуряли меня. Я порой тяжело ненавидел ее, а вместе с тем даже и тогда одна мысль о ее серебряных сережках, о том нежном и милом, еще очень юном, что было в ее губах, в овале нижней части лица и в опущенных узких глазах, одно воспоминание о грубом запахе ее волос, смешанном с запахом платка, приводило меня в трепет. Я готов был тогда – и даже с какой-то жадной радостью – на всякое унижение перед нею, лишь бы хоть на минуту возвратились первые счастливые дни нашей близости.

Я всеми силами старался жить хотя бы в некоторой мере так, как жил когда-то, но все дни мои уже давно превратились только в жалкую видимость моей прежней жизни.

Прошла зима, наступила весна... я ничего не замечая, зачем-то упорно изучал английский язык...

Бог спас меня неожиданно.

Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной, на балконе, слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы. Так и подмывало сбежать хоть на минуту в алферовскую усадьбу, благо брат с женой у нас, и Тонька, верно, одна в доме. И вместе с тем душу давило такое тяжелое сознание своего крайнего падения, было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти.

Сад то сиял жарким солнцем и гудел пчелами, то стоял в какой-то тончайшей голубой тени: в бесконечно-высокой, еще молодой, весенней и вместе с тем яркой и густой синеве порой круглилось, закрывало солнце бесконечно высокое облако, и воздух медленно темнел, синел, небо казалось еще больше, еще выше, и в этой вышине, в счастливой весенней пустоте мира, начинало вдруг как-то благостно и величественно, с постепенно возрастающей и катящейся звучностью и гулкостью, погромыхивать... Я взял карандаш и, все думая о смерти, стал писать на учебнике:

И вновь, и вновь над вашей головой, Меж облаков и синей тьмы древесной, Налъется высь

эдемской синевой, Блаженной, чистою, небесной, И вновь, круглясь, заблещут облака Из-за деревьев горными снегами И шмель замрет на венчике цветка И загремит державными громами Весенний бог, а я – где буду я?

– Ты дома? – каким-то строгим, необычным тоном сказал брат Николай, подходя к моему окну. – Выйди-ка ко мне на минутку, мне нужно кое-что сказать тебе...

Я почувствовал, что бледнею, однако встал и выпрыгнул в окно. – Что сказать? – спросил я неестественно спокойно. – Пойдем немного пройдемся, – сухо сказал он, идя впереди меня вниз, к пруду. – Только, пожалуйста, отнестись к моим словам разумно...

И, приостановившись, обернулся ко мне: – Вот что, друг мой, ты, конечно понимаешь, что вся эта история уже давно ни для кого не тайна... – То есть какая история? – с трудом спросил я. – Ну, ты отлично понимаешь... Так вот, я и хочу тебя предупредить: я ее нынче утром рассчитал. Иначе дело кончилось бы, вероятно, смертоубийством. Он вчера вернулся и пришел прямо ко мне. «Николай Александрович, я все давно знаю, отпустите Антонину сию же минуту, не то плохо будет...» И, понимаешь, белый, как мел, губы так пересохли, что едва говорит... Очень советую тебе опомниться и не пытаться больше ее видеть. Да впрочем это и бесполезно – нынче они уезжают куда-то под Ливны...

Я не сказал ни слова в ответ, обошел его и пошел к пруду, сел в траве на берегу под молодыми блестящими ветвями ив, дугой склонявшихся к зеркально-светлой, серебристой воде...

Опять величественно загремело где-то в бездонной пустой вышине, вокруг меня что-то крупно и быстро зашуршало, запахло мокрой свежестью весенней зелени... Прямой, редкий дождь длинными стеклянными нитями засверкал из нового большого облака, бесконечно высоко вставшего над самой моей головой своими снежными клубами, и по недвижной и ровной поверхности зеркально-белой воды, быстро шумя и пестря ее темными точками, запрыгали бесчисленные гвозди...

Книга четвертая

I

Мои последние батуринские дни были вместе с тем и последними днями всей прежней жизни нашей семьи.

Мы все понимали, что прежнее на исходе. Отец говорил матери: «Разлетается, душа моя, наше гнездо! В самом деле, Николай это гнездо уже бросил, Георгий собирался бросать, – срок его поднадзорности кончился; оставался один я; но шел и мой черед.

И все таки, как водится, никто из нас (кроме, конечно, матери) ничего не додумывал, я тем более.

II

Опять, еще раз была весна. И опять казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое.

Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь наконец уже полностью ту простоту, будничность, которая и есть здоровье, возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какою-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я, по молодости, не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил и все то здоровое, молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы – утро было уже похоже на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему мягкому и чистому воздуху, запахам солнечного сада со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорное непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай, – он часто приходил к

нам по утрам. И он говорил – очевидно, обо мне: – Да что ж тут думать? Конечно, надо служить, поступить куда-нибудь на место... Думаю, что Георгию все таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится...

И эти слова еще более умиротворяли меня. «Ну, что ж, служить так служить. А потом, все это еще так не скоро. Георгий уедет не раньше осени, а до осени еще целая вечность...»

Какие далекие дни! Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными при всей той близости их мне, с которой я все думаю о них за этими записями и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем.

Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Станные и сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его поблекших карточек! Прежде всего – чувство необыкновенной отчужденности от этих лиц, ибо необыкновенно бывает чужд человек человеку в иные минуты. А потом – происходящая из этого чувства повышенная острота ощущения их самих и их времени. Что это за существа, эти лица? Это все люди когда-то и где-то жившие, каждый по своему, разными судьбами и разными эпохами, где было все свое: одежды, обычаи, характеры, общественные настроения, события... Вот суровый чиновный старик с орденом под двойным галстуком, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и мясистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена с подвитыми волосами и с бакенбардами, с цилиндром в руке, в широком сюртуке и таких же широких панталонах, ступня которого кажется от них маленькой. Вот бюст грустно-красивой дамы: затейливая шляпка на высоком шиньоне, шелковое платье с рюшами, плотно обтягивающие грудь и тонкую талию, длинные серьги в ушах... А вот молодой человек семидесятих годов: высокие, широко расходящиеся воротнички крахмальной рубашки, не скрывающие кадыка, нежный овал чуть тронутого пушком лица, юная томность в загадочных больших глазах, длинные волнистые волосы... Сказка, легенда все эти лица, их жизни и эпохи!

Точно те же чувства испытываю я и теперь, воскрешая образ того, кем я был когда-то. Выли в само деле? Был молодой Вильгельм Второй, был какой-то генерал Буланже, был Александр Третий, грузный хозяин необъятной России... И была в эти легендарные времена, в этой навсегда погибшей России весна, и был кто-то, с темным румянцем на щеках, с синими яркими глазами, зачем-то мучивший себя английским языком, день и ночь таивший в себе тоску о своем будущем, где, казалось, ожидала его вся прелесть и радость мира.

III

В начале лета я как то встретил на деревне невестку Тоньки. Она приостановилась и сказала: – А вам один человек поклон прислал...

Воротясь домой, вне себя от этих слов, я оседлал Кабардинку и пустился куда глаза глядят. Помню, был в Малиновом, доехал до Ливенской большой дороги... Наступал один из тех безмятежных вечеров начала лета, когда в полях царит какая-то особенная полнота мира, красоты, благоденствия. Я постоял возле дороги, подумал: куда еще? – пересек ее и поехал целиком дальше. Я ехал на блеск уже низкого солнца, въехал в чей-то большой лес, начинавшийся длинной ложиной с заросшими оврагами и буераками, где цветы и травы, уже свежавшие и пахнувшие к вечеру лесной и луговой свежестью, были по брюхо лошади. Кругом, по всем кустам и чащам, сладко голосили и цокали соловьи, где-то далеко вдали мерно и настойчиво, как бы убежденная среди всех этих тщетных соловьиных восторгов в правоте только своей одинокой, бездомной печали, не смолкая куковала кукушка, и ее гулко-полый голос казался то ближе, то дальше, грустно и дивно чередуясь с еще более дальними откликами вечерющего леса. И я ехал и слушал, потом стал считать, сколько лет нагадает мне она, – сколько еще осталось мне всего того непостижимого, что называется жизнью, любовью, разлуками, потерями, воспоминаниями, надеждами...

И она все куковала и куковала, суля мне что-то бесконечное. Но что таило в себе это бесконечное? В загадочности и безучастности всего окружающего было что-то даже страшное. Я смотрел на шею Кабардинки, на ее гриву, откинутую на сторону и ровно, в лад с ходом мотающуюся, на всю эту поднятую конскую голову, когда-то, в дни сказочные, порой говорившую ве-

щим голосом: страшна была ее роковая бессловесность, это во веки ничем не могущее быть расторгнутым молчание, немота существа, столь мне близкого и такого же как я, живого, разумного, чувствующего, думающего, и еще страшней – сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание... И с бессмысленно-жуткой радостью голосили кругом соловьи, и с колдовской настойчивостью куковала вдали кукушка, тщетно весь свой век взыскующая какого-то заветного гнезда...

IV

Летом я был в городе на Тихвинской ярмарке и еще раз случайно встретился с Балавиным. Он шел с каким-то барышником. Барышник был на редкость грязен и оборван, он же особенно чист и наряден – во всем с иголочки, в новой соломенной шляпе и с блестящей тросточкой. Барышник, поспешая рядом с ним, яростно клялся ему в чем-то, поминутно взглядывал на него дико и вопросительно, – он шел, не слушая, холодно и жестко глядя перед собой своими светло-зелеными глазами. «Все брехня!» – кинул он наконец невнимательно и, поздоровавшись со мной, – так, как будто мы не два года тому назад, а только вчера виделись, – взял меня под руку и предложил зайти «попить чайку и немножко побеседовать.» И мы зашли в один из чайных балаганов, и за беседой он стал с усмешкой меня расспрашивать, – «ну-с, как же поживаете, в чем преуспеваете?» – а потом заговорил о «бедственном положении» наших дел, – он откуда-то знал их лучше нас самих, – и опять о том, как быть лично мне. Я после того простился с ним настолько расстроенный, что даже решил тотчас же домой уехать. Уже вечерело, в монастыре звонили ко всенощной, ярмарка, стоявшая на выгоне возле него, разъезжалась, коровы, уводимые за скрипучими телегами, выбиравшимися на шоссе, ревели как-то угрожающе, захлебываясь, обратные извозчики, ныряя по пыльным ухабам выгона, бесшабашно неслись мимо...

Я вскочил на первого попавшегося и погнал его на станцию, – был как раз вечерний поезд в нашу сторону. Да, что же делать? – думал я, вспоминая речи Балавина и все больше убеждаясь, что смысл их был, собственно, отчаянный. «И ума не приложу, как вам быть далее, – говорил он мне. – Отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали, к разным иностранным коллегиям приписывались, а вам куда скакать или приписываться? Вы, вообще, я полагаю, служить не можете – не те у вас мечтания. Вы, как говорится в оракулах, слишком в даль простираетесь. На счет Батурина один исход вижу: продать как ни можно скорей, пока с молотка не продали. В этом случае у вашего батюшки в кармане хоть грош, а все-таки останется. А на счет себя вы уж как-нибудь сами подумайте...» Но что же я могу выдумать? – спрашивал я себя. – В амбар к нему что ли поступить?

Эта встреча несколько охладила даже мою работу над «Гамлетом». Я переводил его для себя, прозой, – он никак не был в числе произведений, близких мне. Он просто попался мне под руку – как раз тогда, когда мне так хотелось снова начать чистую, трудовую жизнь. Я не медля взялся тогда за работу, и она вскоре увлекла меня, стала радовать, возбуждать своей трудностью. Кроме того, родилась во мне тогда мысль стать вообще переводчиком, открыть себе впоследствии источник не только неизменных художественных наслаждений, но и существования. Теперь, воротясь домой, я вдруг понял всю сомнительность подобных надежд. Понял и то, что дни идут, а все мои «мечтания», которые Балавин, сам того не желая, вновь взволновал во мне, так и остаются мечтаниями. О нашем «бедственном положении» я быстро забыл. Другое дело были «мечтания»... В чем собственно состояли они? Да вот упомянул, например, Балавин случайно про Кавказ – «отцы ваши в таких обстоятельствах на Кавказ служить скакали» – и опять стало казаться мне, что я бы полжизни отдал, лишь бы быть на месте отцов...

На ярмарке гадала мне по руке молоденькая цыганка. Уж как не новы эти цыганки! Но чего только не перечувствовал я, пока она держала меня за руку своими цепкими черными пальцами, и сколько думал потом о ней! Вся она была, конечно, необыкновенно пестра разноцветностью своих желтых и красных лохмотьев и все время слегка поводила бедрами, говоря мне обычный вздор, откинув шаль с маленькой смоляной головы и томя меня не только этими бедрами, сонной сладостью глаз и губ, но и всей своей древностью, говорившей о каких-то далеких краях, и тем еще, что опять тут были мои «отцы», – кому же из них не гадали цыганки? – моя тайная связь с ними, жажда ощущения этой связи, ибо разве могли бы мы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас.

V

В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: все таки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в беспредельности прошлого и будущего и вместе с тем в каком-то Батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени? И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями; есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть (да и то неизвестно зачем и как) удерживается в нас; есть непрерывное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще – нечто такое в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и выразить, и – связанное с ним вечное ожидание: ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем (когда настанет оно) эта суть, этот смысл вдруг наконец обнаружится. «Вы, как говорится в оракулах, слишком в даль простираетесь...» И впрямь: втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?

VI

Брат Георгий уехал опять в Харьков и опять, как когда-то, бесконечно давно, когда его везли в тюрьму, в светлый и холодный октябрьский день. Я провожал его на станцию. Мы резво катили по набитым, блестящим дорогам, отгоняли бодрими разговорами о будущем грусть разлуки, ту тайную боль о прожитом сроке жизни, которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. – Все, Бог даст, устроится! – говорил брат, себялюбиво не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. – Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас же выпишу тебя. А там видно будет, что и как... Хочешь папиросу? – сказал он и с удовольствием стал глядеть, как я неловко, в первый раз в жизни, закуриваю.

Возвращаться домой, одному, было особенно грустно и странно. Даже как-то не верилось, что то, чего мы все так долго втайне боялись, совершилось, что вот брата уже нет, что я еду один и один проснусь завтра в Батурине. А дома меня ожидало еще и большое несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была Кабардинка, всю дорогу не дававшая отдыху шедшему крупной рысью кореннику. Приехав, я о ней не подумал, ее, не выведив, напоили, потная, она смертельно продрогла, простояла морозную ночь без попоны и под утро пала. В полдень я пошел в лужки за садом, куда ее стащили. О, какая жестокая, светлая пустота была в мире, какое гробовое солнечное молчание, какая прозрачность воздуха, холод и блеск пустых полей! Кабардинка безобразно чернела в лужках своей мертвой грудой, высоко вздутым боком и тонкой длинной шеей с далеко откинутой лежащей головой. Собаки уже работали над ее брюхом, сладострастно мотали, рвали его, стая старых воронов выжидательно торчала подле, как-то свирепо взлетая порой, когда собаки, беспокойно рычавшие даже в самый разгар своих мерзких хлопот, вдруг кидались на нее с оскаленными и окровавленными мордами...

А после завтрака, когда я тупо лежал на диване в своей комнате, за мелкими квадратными стеклами которой ровно синело осеннее небо и чернели нагие деревья, слышались по коридору быстрые и тяжелые шаги и внезапно вошел ко мне отец. В руках у него была его любимая бельгийская двустволка, единственная драгоценность, оставшаяся ему от прежней роскоши. – Вот, – сказал он, решительно кладя ее рядом со мной. – Дарю, что могу, чем богат, тем и рад. Может быть, это тебя хоть немного утешит...

Я вскочил, схватил его руку, но не успел поцеловать – он отдернул ее и, быстро наклонившись, неловко поцеловал меня в висок. – И вообще ты не очень убивайся, – прибавил он, стараясь говорить с обычной своей бодростью. – Это я уж не о лошади, конечно, говорю, а вообще о твоём положении... Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе? Больше всех думаю! Я перед всеми вами виноват, всех вас по миру пустил, да у тех хоть что-нибудь есть. Николай все таки хоть немного обеспечен, у Георгия есть образование, а у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный, Георгий всегда вечным студентом

останется, а вот ты...

И хуже всего то, что не удержишь ты долго с нами, и что тебя ждет, один Бог ведает! А все таки помни мое: нет беднее беды, чем печаль...

VII

В ту осень пусто, тихо было в нашем доме. Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери, но только одна сестра Оля спасала меня в те дни от чувства одиночества, с особенной силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней – и с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослей, развитей и душевно и умственно и гораздо ближе мне, чем я мог полагать. Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней, детской близости...

Отец сказал про меня: «Что ждет тебя, один Бог ведает!» А что ждало ее, со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батурине?

Впрочем, я тогда думал больше всего о себе.

VIII

Работу я бросил. Много времени проводил на деревне, по избам, много охотился – то с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалась только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъездное поле, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады, – вернее, нашим скитаньям за ним по осенним полям, на осеннем воздухе.

Так скитался я однажды, в конце ноября, под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один. Выдался необыкновенно теплый, солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно: грустно потому, что уже слишком тихо и голо было всюду и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью, а безнадежно по причине недавних дождей: было так грязно и вязко, – и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жнивьях – что и мне и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной и собаки – бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю, если бы даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут: всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый, ясный блеск, в котором по осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности, – все эти клетчатые от жнивий, зеленей и пашен перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова...

И от Лобанова я повернул наконец назад. Проехал Шипово, потом въехал в ту самую Кроптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон, за выгоном – давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимавший в бледно-голубом небосклоне, за небольшим старым домом, свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Кроптовку, смотрел и думал: да ужели это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь прожил тут его родной отец? – Говорят, продают, – сказал мужик, тоже глядя на усадьбу и щурясь. – Говорят, ефремовский Каменев торгует...

И, взглянув на меня, еще более сощурился: – А вы как? Не продаете еще? – Это дело отца, – ответил я уклончиво. – Конечно, конечно, – сказал мужик, думая что-то свое. – Я это только к тому, что все, мол, теперь продают, плохое пришло господам житье. Народ избаловался, – и свое-то и то как попало работают, а не то, что господское, – а цена на руки в горячее время – приступу нет, а загодя, под заработки, барину не из чего дать – нужда, бедность...

Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едуци, как-то особенно крепко задумался вообще о великой

бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой – и дивился ее заброшенности, пустынности. Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы: хоть шаром покати не только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских улицах и на пустых усадебных дворах. Даже непонятно: да где же люди и чем убивают они свою осеннюю скуку, безделье, сидя по этим избам и усадьбам? А потом я опять вспомнил бессмысленность и своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее, вдруг вспомнив вместе с тем Лермонтова. Да, вот Кроптовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без каких-то бесконечно-грустных и неизъяснимых чувств...

Вот бедная колыбель его, наша общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томила его младенческая душа, «желанием чудным полна», и первые стихи, столь же, как и мои, беспомощные... А потом что? А потом вдруг «Демон», «Мцыри», «Тамань», «Парус», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...» Как связать с этой Кроптовкой все то, что есть Лермонтов? Я подумал: что такое Лермонтов? – и увидел сперва два тома его сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением и не только внешнюю форму их, но и картины, с ними связанные, то есть то, что и казалось мне земными днями Лермонтова: снежную вершину Казбека, Дарьяльское ущелье, ту, неведомую мне, светлую долину Грузии, где шумят, «обнявшись точно две сестры, струи Арагвы и Куры», облачную ночь и хижину в Тамани, дымную морскую синеву, в которой чуть белеет вдаль парус, молодую ярко-зеленую чинару у какого-то уже совсем сказочного Черного моря... Какая жизнь, какая судьба! Всего двадцать семь лет, но каких бесконечно-богатых и прекрасных, вплоть до самого последнего дня, до того темного вечера на глухой дороге и подошвы Машука, когда, как из пушки, грянул из огромного старинного пистолета выстрел какого-то Мартынова и «Лермонтов упал, как будто подкошенный...» Я подумал все это с такой остротой чувств и воображения и у меня вдруг занялось сердце таким восторгом и завистью, что я даже вслух сказал себе, что довольно наконец с меня Батурина!

IX

Я думал о том же и на другой день, возвратившись домой.

Ночью я сидел в своей комнате и, думая, читал вместе с тем, – перечитывал «Войну и мир.» Погода за день круто изменилась. Ночь была холодная и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топились печка, пылала и гудела тем жарче, чем злей и сумрачней налетал на сад, на дом и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе, с грустным наслаждением чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве. Кругом чернел шумный сад, над поляной стоял бледный свет. Ночь была лунная, но какая-то мучительная, оссиановская. Ветер, ледяной, северный, свирепствовал, верхушки старых деревьев мрачно и слитно ревели, кусты шумели остро, сухо и как будто бежали вперед; по небу, замазанному чем-то белесым, по небольшому лунному пятну в огромном радужном кольце быстро неслись с севера, где было особенно зловеще и угрюмо, темные и странные, какие-то не наши, а как будто морские облака, вроде тех, что изображали старинные живописцы ночных кораблекрушений. И я, то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то гонимый им в спину, стал ходить и опять думать – с той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так: – Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал! Впрочем, а «Казачья», Ерошка, Марьянка? Или пушкинское «Путешествие в Арзрум»? Да, как они были все счастливы, – Пушкин, Толстой, Лермонтов! – Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъездное поле чья-то охота вместе с охотой молодых Толстых. Как это удивительно – я современник и даже сосед с ним! Ведь это все равно, как если бы жить в одно время и рядом с Пушкиным. Ведь это все его – эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей: «Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне, и величия чего-то непонятного, но важнее...» Пьеру кто-то все говорил: «Жизнь есть любовь... Любить жизнь – любить Бога...» Это кто-то и мне всегда говорит, и как люблю я все, даже вот эту дикую ночь! Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю, всех Наташ и Марьянок, я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться!

В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее все больше грустнел и туманился на белесой мути неба, в вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик, дымные, свинцовые, а то и совсем темные облака... с севера, из-за ревающего сада, поднималась черная туча и дико пахло по ветру снегом. А я ходил и думал: – Да, больше нельзя так жить. Я не мог бы, если бы даже имел десять незаложенных Батуриных.

Как это ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, о семье, о хозяйстве! А вот теперь все твердят о «работе на пользу народа», о «возмещении своего долга перед народом...» Но никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Ни жертвовать собой за народ, ни «служить» ему, ни играть, как говорит отец, в партии на земских собраниях я не могу и не хочу... Нет, надо наконец на что-нибудь решиться!

Я тщетно искал, на что именно должен решиться я, и вернулся в дом, совсем запутавшись в беспорядочном и бесплодном думаньи. Печка потухла, лампа выгорела, пахла керосином и светила уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо – и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в орловском «Голосе...»

X

Это письмо и решило мою судьбу.

Выехав я, конечно, не «на днях», – нужно было сперва собрать хоть какие-нибудь деньги в дорогу, – но все равно: наконец выехал.

Помню мой последний завтрак дома. Помню, что лишь только был он кончен, как послышался глухой шорох бубенчиков под окнами, и выросла за ними, совсем с ними рядом, пара деревенских зимних, лохматых лошадей, – лохматых и от снега, который непроглядно валил в тот день густыми молочными хлопьями... Как, Боже мой, старо все это, все подобные отъезды, а как мучительно-ново было для меня! Мне показалось, что даже и снег валил в тот день какой-то совсем особенный – так поразил он меня своей белизной и свежестью в ту минуту, когда, отягченный отцовской енотовой шубой и сопровождаемый всем домом, я вышел садиться.

А потом был точно сон – долгая, безмолвная дорога, мерное покачивание саней в этом бесконечно-белом царстве снежных хлопьев, где не было ни земли, ни неба, а только какая-то неустанно текущая вниз белизна, да очаровательные зимние дорожные запахи: лошадиной вони, мокрого енотового воротника, серника и махорки при закуриваньи... А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб, показались занесенные снегом, торчащие из придорожных сугробов щиты, то есть, уже начало какой-то иной, не степной жизни, то, для русского человека всегда особое, волнующее, что называется железной дорогой...

Когда пришел поезд, я, простившись с работником, отдав ему шубу и наказав доправить в Батурине тысячу поклонов, вошел в людный третьеклассный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, которому и конца не предвиделось. Я даже долго дивился тому равнодушию, с которым одни из пассажиров пили чай и закусывали, другие спали, третьи, от нечего делать, все подбрасывали дрова в железную печку, и без того уже докрасна раскаленную, на весь вагон дышавшую пламенем. Я сидел и наслаждался даже этим сухим металлическим жаром, его березовым и чугунным запахом, а за окнами все валил и валил сизо-белый снег, и все время как будто близились сумерки...

То чувство, с которым я вошел в вагон было правильно – впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь, целые годы скитаний, бездомности, существования безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного, словом, всего того, что, очевидно, и подобало мне и что, быть может, только с виду было так бесплодно и бессмысленно...

XI

Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине; я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие, видел свою опустевшую

комнату, как бы хранившую в своем почти набожном молчании нечто уже навеки завершённое — меня прежнего. Но была в этой грусти и большая тайная радость, счастье наконец-то осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения (к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно). И все росли эти чувства с каждой новой станцией, так что все слабели первые, пока не отступило наконец куда-то вдаль (во что-то милое, но уже почти чуждое) все прошлое, покинутое, и не осталось одно настоящее, которое понемногу делалось все интересней и явственней: вот я уже несколько освоился со множеством этих чужих, грубых жизней и лиц вокруг себя, несколько разобрался в них, и вместе с чувствами своими, личными, стал жить и чувствами к ним, стал делать о них всякие предположения, различать то махорки табак Асмолова, узел на коленях бабы от расписанной под дуб укладки, стоящей против меня под локтем новобранца; вот я уже заметил, что вагон довольно нов и чист, что он желтый и рубчатый от планок, составляющих его нагретые чугунок стены, и очень душен от этих разных табачных дымов, в общем очень едких, хотя и дающих приятное чувство дружной человеческой жизни, как-то оградившей себя от снегов за окнами, где встает и никнет, плывет и не кончается телеграфная проволока; а вот мне уже хочется наружу, на снег и на ветер, и я, качаясь, иду к двери... Полевой снежный холод дует в сенцы вагона, кругом белизна каких-то теперь уже совсем неизвестных полей. Снег наконец редее, стало светлей и еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается: какой-то глухой полустанок, тишина, — только горячо сипит паровоз впереди, — и во всем непонятная прелесть: и в этом временном оцепенении и молчании, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно за красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути, на обтаявших рельсах, среди которых спокойно, по-домашнему ходит и поклевывает курица, осужденная мирно провести весь свой куринный век почему-то именно на этом полустанке и совсем неинтересующаяся тем, куда и зачем едешь ты со всеми своими мечтами и чувствами, вечная и высокая радость которых связывается с вещами внешне столь ничтожными и обыденными...

Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно — в ожидание первой большой станции. И задолго до нее я опять зяб в сенцах, пока не увидел наконец впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней, во все стороны расходящихся рельс, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзала с черной от толпы платформой... Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий и светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами!

Последствие всего этого были довольно неожиданные: с большим удовлетворением сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре, думал я о том, что вот, как это ни странно, скоро и цель моего путешествия, тот самый Орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там, вдоль вокзала, — великий пролет по всей карте России: на север — в Москву, в Петербург, на юг — в Курск и в Харьков, а главное — в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь... И я вдруг сказал себе: да ужели и правда, что я еду в какой-то «Голос», на какую-то службу? Там, конечно, тоже было нечто такое, что влекло ужасно, — какая-то редакция, какая-то типография. Но Курск, Харьков, Севастополь... «Нет, все это вздор! — вдруг сказал я себе. — В Орел я лишь заеду, познакомлюсь, узнаю, что мне предложат, скажу, что мне надо подумать, повидаться с братом... Заеду — и дальше, в Харьков!»

Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я предполагал: как нарочно попал я в Орел с опозданием, как раз к приходу сверху поезда на Харьков. И поезд, как нарочно, был чудесный, никогда еще невиданный мной — скорый, с американским страшным паровозом, весь из тяжелых и больших вагонов лишь первого и второго класса, с шерстяными занавесками на окнах, с полутемным светом из-под синего шелка, со всем тем теплом и уютом богатого мира, провести ночь в котором (да еще в пути на юг) мне показалось уже совсем неотразимым счастьем...

XII

В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир.

В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к

малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове: мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас. Я вышел из вокзала, сел в извозчиьи сани, – извозчики, оказалось, ездили тут парой, с глухарями-бубенчиками и разговаривали друг с другом на вы, – оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежно и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше во всяком случае, чем полагалось для декабря, и его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе: запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыханье на парных лошадях бубенчиков, ласковое зазыванье баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семечки, серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло...

Однако все это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее: такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал, столько знакомств за всю жизнь не делал. Бывает так, что в первый же день по приезде куда-нибудь попадаешь на редкое обилие впечатлений и встреч. Так было и со мной в тот день.

В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое, – он тут, в Харькове, был как будто какой-то другой, чем в Батурине, как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странна была его харьковская жизнь! Пусть и впрямь был он «вечный студент», по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В какой-то узкой улочке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина... Правда, даже и это было страшно хорошо своей новизной, но все же я был поражен. – Ну, как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня! – сказал брат, расцеловавшись со мной. – Хотя, собственно, зачем ты приехал? – тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят в нашей семье.

Я ответил, что и сам не знаю, зачем... затем, конечно, чтобы посоветоваться наконец серьезно, как же мне в самом деле быть с собой? Но брат уже не слушал, – «обдумаем как-нибудь!» уверенно сказал он, – и тотчас же стал торопить меня умыться, приодеться и идти обедать с ним в кухмистерскую какого-то «пана» Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая что попало говорить с обычной в таких случаях беспорядочностью, меж тем как у меня, – одетого уже горожанином и очень это чувствующего, – глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня: после полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло, тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу...

А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок, стойка с превосходными и удивительно дешевыми закусками, – особенно хороши были как огонь горячие и страшно перченые блинчатые пирожки по две копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди уже и совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые (как будто совсем особые от всех прочих) люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла: и от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет и видны были всяческие ноги идущих взад и вперед по улице, и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшемся чрезвычайно интересным мне: о знаменитом статистике Анненском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием...

Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид имевшей, вероятно, даже глупости и отупения! Очень выделялся и брат. И он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие, несмотря на всю близость к

ним; и он казался моложе и как будто наивней всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык.

Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичны и по внешности и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем: один, очень длинный и узкогрудый, был слишком близорук и все сутулился, все держал руку в кармане штанов и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога; другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много, горячо и вдохновенно и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее; а следующий все чему-то едко ухмылялся, делая то, что мне было особенно неприятно: все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной... Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы: поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, кутивший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу дрожащей рукой; огромный ростом и живописно-кудрявый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя; бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик, известней всех и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса; затем некто Падалка, маленький востроносенький, в очках, до нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще более, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин, – статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики, – крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, – он и был из мужиков, – хохотавший раскатисто и заразительно, говоривший крупно, окая... И ужасную неприязнь возбуждали два человека: бывший рабочий Быков, коренастый парень в блузе, в кудрявой голове которого, в толстой шее и выкаченных глазах было и впрямь что-то бычье, и еще один, по фамилии Мельник: весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях, – много лет спустя оказавшийся, к моему крайнему изумлению, большим лицом у большевиков, каким-то «хлебным диктатором...»

XIII

В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму (да и многие годы впоследствии).

Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она.

Замечательней всего было то, что члены ее, пройдя еще на школьной скамье все то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих «движениях» и в той или иной «работе», затем высылку, тюрьму или ссылку и так или иначе продолжая эту «работу» и потом, жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы и за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике), чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое, особое и непоколебимое: свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России: отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было «бороться». В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, «любви» к народу и ненависти к его «врагам», но и по всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедывали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие «униженные и оскорбленные»; все злое – направо, все доброе – налево; все светлое – в народе, в его «устоях и чаяниях»; все беды – в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); все спасение – в перевороте, в конституции или республике...

И вот к этой-то среде и присоединился я в Харькове. Уж как не подobaла она мне! Но к какой другой мог присоединиться я? Никакой связи с другими кругами у меня не было, да я и не искал ее: над желанием проникнуть в них преобладало чувство и сознание, что, если и есть мно-

гое, что совсем не по мне в моем новом кругу, то очень и очень многое будет в других кругах не по мне еще более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками? Да многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром – сборище на службе, где не мало чаепития, куренья и споров; затем оживленная трапеза, так как обедали почти все компаниями, по кухмистерским; вечером – новое сборище: на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь... Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного, затем у Шкляревич, богатой и красивой вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о «вильном казацтве» и даже свою марсельезу – «До зброи, громада!»

А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим и даже порой не скрывал своего возмущения, пускался в горячий и, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу, благо большинство любило меня и прощало мне мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов, а что нахожу в своем? Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию, сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за «политическое безразличие», Толстого всячески поносят за «постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания», за то, что он «носит с Богом, как с писанной торбой», и, поиграв в пахаря или сапожника, садится за «роскошный» стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви к которому он так распинается, «пухнет с голоду»; о художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать, а вот это никому не нужно, а вот это (о бедном Макаре или о жизни ссыльных) единственно необходимо; всегда готовы на все за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение; времена «Отечественных Записок» считают золотым веком, а их закрытие одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни, свое же время называют безвременьем – «бывали хуже времена, но не было подлей» – и уверяют, будто бы вся Россия от этого безвременья «задыхается»; клеймят «ренегатом» всякого, кто хоть мало-мальски усумнился в чем-нибудь ими узаконенном и поминутно издеваются над чьей-нибудь «умеренностью и аккуратностью»; пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение – «об огнедышащих горах»; на вечеринках поют даже бородатые: «Вихри враждебные веют над нами» – а я чувствую такую ложь этих «вихрей», такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать, и меня спрашивают:

– А вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы?

Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать нога за ногу. У Богдановых большой вечер, в маленькой квартире их многолюдство и табачный дым, со стола не сходит самовар, углы полны опустевшими пивными бутылками: собрались в честь тайно приехавшего в Харьков старого, знаменитого «борца», прославившегося своей огромной и жестокой деятельностью, без счета сидевшего по крепостям, несколько раз попадавшего за полярный круг и отовсюду убежавшего, человека с виду совсем пещерного, густобородого и неуклюжего, с волосами в ноздрах и ушах, маленькие глазки которого глядят, однако, чрезвычайно умно и проницательно, а речь льется с удивительной плавностью, точно по писаному. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью: кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала! Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и бойка, на язык остра и находчива, отбрить может всякого с редкой логикой, тонка и моложава, на вечеринки принаряжается, подвигает кудряшки на лбу.

Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я «губы кривлю», потому, что, вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятье, на борьбу всех борцов позовем!» – Мне тяжело, неловко, и хозяйка, сидящая возле меня на диване с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается. Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить, и она, не дожидаясь моего от-

вета, звонко затягивает: «От ликующих, праздно болтающих, обагрющих руки в крови...» Мне это кажется просто ужасно – да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обагрят! А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством: «Из страны, страны далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда...» Я даже отворачиваюсь от этой Волги-матушки и славного труда и вижу, как Браиловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямоотой ненависти...

Я не был правее их в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человеческого, справедливого, но я просто не мог слушать, когда мне даже шутя (а все-таки, разумеется, наставительно) напоминали: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» – когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедывали, что весь смысл жизни заключается «в работе на пользу общества», то есть мужика или рабочего.

Я из себя выходил: как, я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечают так же мало, как любого едущего по улице извозчика, в то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуриных Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику, робко и неловко бредущему по городу с мешком и пилой за плечами и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость: «Работки у вас, барчук, не найдется какой?»

Я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, «честно поработав на пользу общества.» Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об Иудушках, о городе Глупове и градоначальниках, въезжающих в него на белом коне, зубы стискивал, видя на стене чуть не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого, как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандармам.

Были кроме того в этом кругу и Быковы, Мельники... Трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ.

И был еще один, известный под кличкой Макс, от времени до времени появлявшийся откуда-то в Харькове: рослый, на кривых и крепких, как дубовые корни, ногах, в толстых швейцарских ботинках, подбитых гвоздями, очень спокойный и деловитый, очень точный на слова, с загорелым грубоватым лицом и с большим, кругло и круто расширяющимся над ним горшком черепа. Он необыкновенно мало ел, мало спал и все ехал и ехал куда-то без всякой усталости...

XIV

Так прошла зима.

По утрам, пока брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих и проезжих, о том, что почти все они, верно, по своему счастливы и спокойны – заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены, меж тем как я только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни умения взяться и что я все откладываю на какое-то будущее, а беден настолько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту – купить хорошенькую записную книжку: это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит очень многое – вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно было записать в нее! Уже наступала весна, я только что прочел собрание малорусских «Дум» Драгоманова, был совершенно пленен «Словом о полку Игореве», нечаянно перечитав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту, и вот меня уже опять тянуло в даль, вон из Харькова: и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще, казалось, стоит на городской стене, все на той же древней ранней утренней заре, молодая Княгиня Евфросиния, и на Черное море казацких времен, где на каком-то «білом каміні сидит какой-то дивный «сокіл-білозірець», и опять в молодость отца, в Севастополь...

Так убивал я утро, а потом шел к пану Лисовскому – возвращался к действительности, к этим застольным беседам и спорам, уже ставшим для меня привычными. Потом мы с братом от-

дышали, болтали и валялись на постелях в нашей каморке, где после обеда особенно густо пахло сквозь двери еврейской трапезой, чем-то теплым, душисто-щелочным. Потом мы немного работали, – мне тоже давали иногда из бюро кое-какие подсчеты и сводки. А там мы опять шли куда-нибудь на люди...

Я любил бывать у Ганского. Он был прекрасный музыкант, иногда играл для нас по целым вечерам. Станный, совершенно дотоле неведомый мне, сладостно и мучительно возвышенный мир открывал он мне, мир, в который вступал я с восторженной и жуткой радостью при первых же звуках, чтобы тотчас же вслед за тем обрести тот величайший из обманов (мнимой божественной возможности быть всеблаженным, всемогущим, всезнающим), который дают только музыка да иные минуты поэтического вдохновенья! И странно было видеть и самого Ганского, человека столь крайнего в своей революционности, – хотя он реже и сдержанней всех проявлял ее, – сидящим за пианино, с губами уже до черноты спекшимися от той все разгорающейся, напряженной страсти, с которой всегда играл он. Звуки куда-то вели, шли такт за тактом, настойчиво, изысканно-плавно, ликующе, так бессмысленно-божественно-весело, что становились почти страшными, и чудесно-трагический образ вставал перед моим воображением: мне все думалось, что непременно сойдет когда-нибудь Ганский с ума и тогда, в своей узкой камере с решеткой в окне, со своими горящими губами, с экстатическим взором и серым халатом, будет уже непрерывно жить и без музыки в подобном же бессмысленно-радостном, обманчиво-возвышенном мире...

Ганский однажды рассказывал, как он, еще юношей, был в Зальцбурге в доме Моцарта и видел его старинные, узенькие клавикорды, а рядом – стеклянную витрину, где лежал его череп. Я подумал: «Еще юношей! А я?» И мне стало так горько, так обидно, что я едва усидел на месте – такое страстное желание внезапно овладело мной тотчас же бежать домой, сесть, не теряя ни минуты, за какую-то поэму или повесть, написать что-то необыкновенное, сразу прославиться, стать знаменитым – и уехать в Зальцбург, чтобы собственными глазами увидеть и эти клавикорды и этот череп...

Много лет спустя я осуществил эту мечту, всегда жившую во мне с тех пор среди множества прочих, давних и заветных: видел и Зальцбург, и череп, и клавикорды. Клавиши их были совершенно одного цвета с черепом, и мне все хотелось наклониться и поцеловать их, приложиться к ним. А сам череп был неправдоподобно мал, совершенно младенческий...

XV

Ранней весной я поехал в Крым.

Мне достали бесплатный билет, я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего... В больших лишениях проходила моя молодость!

Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал, в ночном почтовом поезде, прямо страшном своей длиной. Он и пришел переполненный, а на платформе в Харькове осадил его новая несметная орда ехавших на юг на заработки, со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и онучами, с чайниками и вонючими съестными запасами: ржавыми таранками, печеными яйцами... Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь, затем долгий день, а там новая ночь без сна... Но я шел на все – где-то там, вдали, ждала меня отцовская молодость.

Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно-давний светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны: какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного времени, что называлось «крепостным» временем, и смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца полковника, человека богатого и блестящего, память которого была в нашей семье всегда окружена легендой. А главное – был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм, а на этом холме, среди камней, какие-то белые цветы вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца:

– А мы, бывало, в Крыму, в это время цветочки рвали в одних мундирчиках!

Что же я нашел в действительности?

Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции, уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнца еще не было, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко-безобразную картину как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже, какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток, в воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной, на рассвете, в степи; в тишине свежо и сладостно, по-весеннему, поют невидимые в небе жаворонки, вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган... До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, ни по тому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. – Ишь, как в старину-то люди хоронились – сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал, сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запущенными, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым заросшего, что составляло его лицо. – В старину люди хоронились, чтобы память была! – твердо сказал он. – Богатые были.

И, помолчав, добавил: – А может, это татары нас так закапывали? Ведь всего бывало на свете, – и плохого и хорошего...

А второй рассвет был милый, еще удивительней. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции – и увидел уже что-то райское: белое летнее утро – тут было уже совсем лето – и что-то очень тесное и сплошь цветущее, росистое и благовонное, какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами, какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним, и какие-то густые, тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны... И как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда-же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон, что-то тяжко-синее, почти черное, влажно-мглистое, еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных недр ночных, – и я вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно – вспомнил, узнал!

Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом! Как горячи, как блещут рельсы перед ним! Небо от зноя даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное, мужицкое, что везли мы с собой, по дороге растаяло. А вот и я, почти один, выхожу наконец из поезда, опять с моим длинным именем, и, шатаюсь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде пустота, огромный буфетный зал (мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими!) чист и тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них... Я не мог больше удерживаться, быть, как был весь путь, нищенски расчетливым, – спросил себе кофе, калач. Мне все это подали, искоса на меня поглядывая – вид мой и впрямь был подозрителен. Но все равно, – я опять был я, я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом – и вдруг увидал: из открытых на яркую платформу дверей неожиданно, но совсем просто, гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки... С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким.

Но где же было то, за чем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения – ничего от дней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них, вновь отстроенный, белый, нарядный и жаркий, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей к Графской пристани, к зеленой морской воде со стоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское – то, что называлось Северной стороной, Братской Могилой; и только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого...

И вот, я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине, в грошевой гостинице, и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я был уже за Балаклавою. Как странен был этот

нагой горный мир! Белое шоссе без конца, голые, серые долины впереди, голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие и куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными горами, знойным и таинственным сном своим... Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал. Чабан татарченек с высоким крюком в руке стоял вдали, возле серой отары овец, похожей на густо насыпанные голыши. Он что-то жевал. Я пошел к нему, увидел, что он ест брынзу и хлеб, вынул двугривенный. Он, жуя, не сводя с меня глаз, замотал головой, протянул весь мешок, через плечо висевший на нем. Я взял, – он нежно и радостно осканился, блеснул всем своим черноглазым лицом, уши, торчавшие под его круглой шапочкой, двинулись назад... А по белому шоссе мимо нас катилась коляска тройкой, с топотом копыт и звоном колокольчиков: на козлах – татарин ямщик, в коляске – чернобровый старик в полотняном картузе, а рядом с ним, вся закутанная, вся восковая, желтая, с темными и страшными глазами, девушка... Верно, не раз я видал, много лет спустя, ее мраморный крест на горе над Ялтой, среди множества прочих крестов, под кипарисами и розами, в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня...

У Байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнаты, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами, в бесконечной темной пропасти, всю ночь шумело море – довременно, дремотно, с непонятным, угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота: край земли и крошечная тьма, крепко дует пахучим туманом и холодом волн шум то стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора... Бездна и ночь, что-то слепое и беспокойное, как-то утробно и тяжело живущее, враждебное и бессмысленное...

XVI

Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твоё отсутствие что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением: во-первых, отец запродавал Батурине, прислал нам денег, написал необыкновенно грустно, покаянно... Я на мгновение вспыхнул от радости, – опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать, – но тотчас же это чувство сменилось болью: значит, совсем конец всей нашей прежней жизни! – и горькой жалостью к отцу, к матери, к Оле: мы тут веселы, беспечны, у нас весна, люди, город, а они там в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности... Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти, не мог слушать его оправданий в том, что он «пустил нас по миру»: я в такие минуты всегда готов был кинуться руки его целовать даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же, после Севастополя, едва удержался от слез... К счастью, оказалось, что он запродавал только землю, без усадьбы.

А вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее: «Прости, что я скрывал это, я не хотел и теперь не хочу, чтоб об этом знали наши... Дело в том, что я женат... Не церковно, конечно, – она даже продолжает, ради ребенка, жить вместе с мужем, – но ты понимаешь меня... Теперь она в Харькове, завтра уезжает... Переодевайся и пойдем сейчас к ней, она тебя знает и заранее любит...»

И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных свободолюбивых и народнических мечтах, рано вышла замуж, чтобы начать «рука об руку с любимым человеком» жить только для народа, в борьбе за народ... «Любимый человек», став, благодаря ей, человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям, меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее, счастливую, такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались... С братом она встретилась на юге, – он тогда скрывался, жил под чужим именем... Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море, спасена была только случайно, рыбаками...

Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь и отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата, во мне росла враждебность к его героине, – уж слишком все это было романтично. Однако, я был удивлен еще более, едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она мне навстречу, как

нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо, легко заговорила! Во всей милой простоте ее обращения была тонкость породы, воспитания, прекрасного сердца, застенчивая, женственная и вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть, в движениях мягкость и точность, в грудном, слегка певучем и гармонически-изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, — необъяснимое очарование...

И все таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас ото всех сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким со всей своей молодостью среди всего того весеннего, что окружало меня, испытал какую-то горечь, разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе: «Ну, что ж, тем лучше для меня, я теперь уже совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне...» Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, — наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его, были Святополки и Игори, печенег и половцы, — меня даже одни эти слова очаровывали, — потом века казачьих битв с турками и ляхами, Пороги и Хортица, плавни и гирла херсонские... «Слово о Полку Игореве» сводило меня с ума:

«Хощу бо, рече, копіе преломити конецъ поля Половецкаго с вами, Русици... Не буря соколы занесе чрез поля широкая; галици стады бежать к Дону великому... Комони ржуть за Сулою; звенить слава в Києве; трубы трубят в Новеграде; стоять стязи в Путивле... Тогда вступи Игорь князь в злат стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; ночь стонуши ему грозою птичь убуди... Див кличеть вреху древа, велить послушати земли незнаеме, Влезе и Поморію, и Посулію, и Сурожу...»

«Кричать телеги полунощи, рци лебеди распущени, Игорь вои к Дону ведеть... Орли клектом на кости звери зовуть, лисици брешуть на чреленые щиты... О русьская земле! уже за шеломянем еси...»

«Другого дни велми рано кровавыя зори свете поведаяють; чреныя тучя с моря идуть: в них трепещут синія молніи, быти грому великому, ийти дождю стрелами...»

И потом:

«Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями?»

«Святеслав мутен сон виде: в Києве на горах си ночь с вечера одевахуть мя, рече, чорною паполомою, на кровати тисов. Черепахуть ми синее вино с трудом смешено...»

«Прысну море полунощи... Игореву Князю Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русьскую, к отню злату столу. Погасоша вечеру зори:

Игорь спить, Игорь бдитъ, Игорь мыслію поля мерить от Великого Дона до Малого Донца...»

И вскоре я опять пустился в странствия. Был на тех самых берегах Донца, где когда-то кинулся из плена Князь «горностаем в тростник, белым гоголем на воду»; потом был на Днепре, как раз там, где «пробил он каменные горы сквозь землю Половецкую», плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих приднепровских низин, вверх, к Киеву — и как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной и песней об Игоре? «Солнце светится на небеси, Игорь Князь в Русьской земли! Девицы поють на Дунай. Вьются голоса через море до Києва...»

А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. «Седлай, брате, свои борзьи комони, а мои ти готови, оседлани у Курська наперед...» Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого: в те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был «Курськ» только скучнейшим губернским городом, а пыльный Путивль был, верно, и того скучней! Разве не та же глушь, пыль была и тогда, когда на ранней степной заре, на земляной стене, убитой кольями, слышен был «Ярославнин глас»?

«Ярославна рано плачет Путивлю городу: полечю, рече, зегзицею, омочю бебрян рукав в Каяле реце, утру Князю кровавыя раны его...»

Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда: кочевая страсть моя была до поры до времени несколько насыщена, мне хотелось отдыха и работы, и лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным – так богат я был самыми лучшими надеждами, планами и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней...

Короче сказать, по пути я заехал в Орел.

Тут я почувствовал свои странствия почти конченными: еще несколько часов – и я в Батурине. Оставалось только взглянуть на самый Орел – город Лескова и Тургенева – да узнать наконец, что же такое редакция и типография.

Бодрость я чувствовал необыкновенную. Но почернел, похудел, как цыган, побывавший на пяти ярмарках: столько ходил пешком, столько плыл по Днепру и все на палубе, в радостной жаре солнца, блеска воды, раскаленной паровой трубы, над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее, стеклянное, в духоте и густом тепле, людском, машинном и кухонном. Надо было поэтому хоть несколько вознаградить себя. И вот, выйдя в Орле, я велел везти себя в лучшую гостиницу... Были пыльно-сиреневые сумерки, везде вечерние огни, за рекой, в городском саду, духовая музыка... Известны те неопределенные, сладко волнующие чувства, что испытываешь вечером в незнакомом большом городе, в полном одиночестве. С этими чувствами я и обедал в пустой зале той старой и почтенной губернской гостиницы, в которую привезли меня, и сидел потом на железном балкончике своего номера, над уличным фонарем, горевшим под деревом, сквозившая зелень которого, благодаря ему, казалась металлической. Внизу взад и вперед шли с разговором, смехом и огоньками папирос гуляющие, напротив, в больших домах, были открыты окна, а за ними видны освещенные комнаты, люди, сидящие за чайным столом или что-то делающие, – чья-то чужая, манящая жизнь, на которую глядишь в такие часы с особенно обостренной наблюдательностью... Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения и многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне в ту теплую ночь в Орле с этой полковой музыкой, порой доносившейся ко мне из за реки то своей певучей томностью, то печально-восторженным грохотом...

Я совсем отвык спать по-человечески, – мне даже странной показалась в ту ночь большая, покойная и чистая кровать, темнота, тишина и простор моего номера. Я и проснулся по дорожному – чуть стало светать. Этим и объясняется то, что пришел я в редакцию «Голоса» совсем в неурочный час.

Утро было жаркое. Главная улица, белая, голая, была еще пуста. Чтобы как-нибудь приблизить тот срок, когда можно было, не слишком нарушая приличия, явиться в редакцию, я пошел сперва вниз по этой улице, перешел какой-то мост, вышел на другую, большую, торговую, со всякими старыми складами и амбарами, скобяными, железными, москательными и колониальными лавками и вообще всем тем грузным обилием благосостояния, от которого ломились тогда русские города. В лад с этим обилием и густым утренним солнцем, густо и важно-благостно звонили к обедне в тяжелой и высокой церкви возле Орлика. Под этот гудящий звон, – он гудел даже во мне во всем, – я перешел еще один мост, поднялся на гору к присутственным местам, к домам николаевских и александровских времен, перед которыми вдоль длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея еще по-утреннему свежих, прозрачно-тенистых лип. Я знал улицу, где была редакция «Голоса», спросил, далеко ли она, у встречного: – Вон там, в двух шагах, – сказал он мне, и я вдруг почувствовал сердцебиение: сейчас буду в редакции!

Простота этой редакции была однако истинно провинциальная. За площадью шли сплошные сады, тихие тенистые улицы, совсем утонувшие в них и заросшие густой травой. В такой же улице, в большом саду, стоял и тот длинный серый дом, где помещалась редакция. Я подошел, увидел полуоткрытую прямо на улицу дверь, дернул за ручку звонка... Он задребезжал где-то вдали, но не произвел никакого действия: дом казался необитаемым, как впрочем и все вокруг: тишина, сады, милое светлое утро губернского степного города... Я опять позвонил, подождал еще и наконец решил войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидел большой, низкий и необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанный и усеянный рванными сальными бумагами. Машины были все в движении, мерно рокотали, взад и вперед катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и валиками, мерно

поднимая и опуская какие-то решетки, лист за листом откладывая большие бумажные листы, с исподу еще белые, а сверху уже покрытые как бы зернью черной блестящей икры, и от всех этих машин, рокот и шум которых сливался порой с перекрикивающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром, крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масел – всем тем, что тотчас же стало для меня (и уже навсегда) таким особенным. – Редакция? – сердито крикнул кто-то мне из этого ветра, шума и рокота. – Тут типография! Эй, проводи в редакцию!

И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, с круглой, густо заросшей свинцовым ежом головой мальчишка: – Сюда пожалуйте!

И я, волнуясь, поспешил за ним назад в сени и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой женщиной, а потом в столовой, совсем по домашнему, за кофе. Меня то и дело угощали и все расспрашивали, сказали несколько лестных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках, звали сотрудничать в «Голосе»... Я краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженное удовольствие от такого неожиданно-чудесного знакомства, несколько дрожащими руками брал какие-то печенья, быстро и сладко таявшие во рту... Кончилось все это тем, что хозяйка вдруг приостановилась, услышав за дверью оживленные голоса, засмеялась и сказала: – А вот и мои заспавшиеся красавицы! Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями, моей кузиной Ликой и ее подругой Сашенькой Оболенской...

И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто-расшитых русских нарядах с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами, до локтя открывавшими их молодые круглые руки...

XVIII

Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня, началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мук, горестей, отняло столько душевных и телесных сил!

Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее.

Но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбней и внимательней, заговорила проще и живей, чем Оболенская... И в кого, вообще, так быстро влюбился я? Конечно, во все; в то молодое, женское, в чем я вдруг очутился; в тувельку хозяйки и в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно-округлыми коленями; во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад; даже в то наконец, что нянька привела с гулянья в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстигивала ему курточку...

Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку, а хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла, а Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла «Собачий вальс...» Словом, я ушел из редакции только в три часа, совершенно изумленный, как быстро все это прошло: я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени есть первый признак начала так называемой влюбленности, начала всегда бессмысленно-веселого, похожего на эфирное опьянение...

XIX

Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. И начало это ознаменовалось случаем вдвойне удивительным.

Я покидал Орел как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание. Нужно же было быть тому, что как раз в этот день экстренно проходил через Орел некий траурный поезд чрезвычайной важности! Он проходил ровно в два часа, всего за час до моего поезда, и потому мой новый друг, хозяйка «Голоса», которой необходимо было присутствовать при встрече его, предложила подвести меня на вокзал и тем самым дать мне возможность видеть редкое зрелище. И вот, все так

же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей, перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат, прибытия того величавого и жуткого, что где-то там уже шло, близилось, – среди всяких знатных представителей города и губернии, фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и целого синклита блистающих риз и митр.

Всякий попадающий в подобное торжественное-напряженное общество тотчас заражается некоторым оцепенением, так что, постояв на платформе с полчаса, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг, с шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами, а потом замелькало перед глазами что-то великолепное, темно-синее, с большими чистыми стеклами и шелковыми занавесками, с золотыми орлами гербов... Тут вся толпа встречающих подалась назад, а из среднего вагона тотчас вслед затем мягко и точно остановившегося поезда быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разостланное на платформе, молодой, ярко-русый гигант гусар в красном доломане, с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергично и как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего гордо и легко откинутой назад головой в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепко и красиво выющейся рыжей острой бородкой...

Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз!

XX

Целая жизнь прошла с тех пор.

Россия, Орел, весна... И вот, Франция, юг, средиземные зимние дни.

Мы с ним уже давно в чужой стране. В эту зиму он мой близкий сосед, тяжело больной. Однажды поутру, развернув местный французский листок, я вдруг опускаю его: конец. Я долго и напряженно следил за ним по газетам и все смотрел с своей горы на тот дальний горбатый мыс, где все время чувствовалось его присутствие. Теперь этому присутствию конец.

Утро светло и холодно. Я выхожу из дому в уступчатый сад, на усыпанную гравием площадку под пальмами, откуда видна целая страна долин, моря и гор, сияющая солнцем и синевой воздуха. Огромная лесистая низменность, все повышаясь своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к тем предгорьям Альп, где я. Подо мной, вправо от меня, на крутом каменистом отроге, громоздится вокруг остатков своей древней крепости с первобытно-грубой сарацинской башней одно из самых старых гнезд Прованса, то есть тоже нечто весьма грубое, серое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. На горизонте впереди – высоко поднимающаяся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. А тот горбатый мыс – левей, тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его... Я долго смотрю туда. Поднимающийся мистраль прилетает дорой в сад, волнует жесткую и длинную листву пальм, сухо, знойно-холодно, точно в могильных венках, шелестит и шуршит в ней... Ехать ли туда? Это непостижимо-странно – встретиться всего два раза в жизни и оба раза в сообществе смерти. Да и все непостижимо. Неужели это солнце, что так ослепительно блещет сейчас и погружает вон те солнечно-мглистые горы в равнодушно-счастливые сны о всех временах и народах, некогда виденных ими, ужели это то же самое солнце, что светило нам с ним некогда?

XXI

Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный зимний блеск.

К вечеру как будто стихает.

В четыре часа я уже на мысу, иду дальше.

Дорога долго поднимается среди сплошных южных садов, по длинному проспекту. Наконец вот и оно, это большое старинное поместье и этот белый большой дом в глубине обширного и просторного сада, за раскрытыми настежь воротами, в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Предвечернее солнце, весь свет и блеск западного неба – за домом.

Это первое, что жутко, – эти так широко и свободно для всякого раскрытые смертью воро-

та и множество автомобилей, стоящих возле них.

Аллея пуста, все уже в доме. Быстро иду к нему. Под ногами шуршит гравий.

Пусто и возле крыльца. Сюда?

Но я произношу это слово только потому, что вдруг теряюсь: внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых десять лет и что поражает меня как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной вся моя прежняя жизнь: светлоглазого русского офицера в гимнастерке, в погонах...

Высокие стеклянные двери крыльца тоже настежь открыты. За дверями – полутемный вестибюль и такие же другие двери, а дальше полусвет большого французского салона, что-то странное и красивое: гранатом сквозящие на солнце, скрытом за ними, спущенные на высоких и полукруглых окнах шелковые шторы и необычно зажженная в такой еще ранний час, палевым жемчугом сияющая под потолком люстра.

В вестибюле молчаливая и тесная толпа. С какой-то особой покорностью пробираюсь ко вторым дверям, затем поднимаю глаза – и тотчас же вижу лежащий в непомерно длинном гробу, в желтом дубовом саркофаге, большой желто-серый лик, большой романовский лоб, всю эту старческую мертвую голову, уже седую, а не русую, но все еще властную и гордую: поседевшая борода слегка выдвинута, ноздри вырезаны тонко и как бы чуть презрительно...

Затем вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, спущенные, красно просвечивающие предвечерним солнцем шторы, жемчужно сияющая люстра, тонкие и бледные, чуть дрожащие огни высоких церковных свечников. И тут народ, но только по стенам, а чуть не вся середина салона занята им. У стены налево стоймя стоит прислоненная к мраморному камину с завешенным зеркалом, высится и блистает желтым лакированным дубом гробовая крышка необычной формы, – в боках расширенная. В глубине угла, за гробовым возглавием, робко и нежно, как в детской спальне, теплится на столике перед древним серебряным образом лампадка.

Чуть не все остальное занято гробом-саркофагом. Он тоже странно расширен в боках, необыкновенно долог и глубок, блещет своей новизной, полировкой, ладностью – и страшен тем, что в нем заключен еще другой, цинковый гроб, который внутри обит белым рытым бархатом. Вокруг застыл в своих напряженно-щегольских воинских позах его последний почетный караул, офицерская и казачья стража: шашки наголо, к правому плечу, на согнутой левой руке – фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Сам же он, вытянутый во весь свой необыкновенный рост и до половины покрытый трехцветным знаменем, лежит еще неподвижнее. Голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески проста и простонародна. Поседевшие волосы мягки и слабы, лоб далеко обнажен. Голова эта кажется теперь велика, – так детски худы и узки стали его плечи. Он лежит в старой, совсем простой рыже-серой черкеске, лишенной всяких украшений, – только георгиевский крест на груди, – с широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, – длинной и плоской, – открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени... Я подхожу и становлюсь возле самого гробового изножия, у пальмовых ветвей и венков, прислоненных к нему.

Тотчас же вслед за тем начинается служба. Из внутренних покоев выходят близкие, облачается в ризу священник, в руках у нас тепло и ласково зажигаются огни восковых свечей... Как все это уже привычно мне теперь – это негромкое, стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные, горестно-умиленные возгласы и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле! Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед! – Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков... – Миром Господу помолимся... – О приснопамятном рабе Божиим... Я все еще думаю о том, кто когда-то в жаркий солнечный день, был на вокзале в Орле. Но лишь на миг мелькает передо мной это яркое видение. Горестно и несмело звучат моления о «Благоверном Государе, Великом Князе», новопреставленном в сонме всех «чающих Христова утешения» и ждущем теперь «покоя, тишины, блаженные памяти», уповающим «неосужденным предстать у страшного престола Господа Славы...»

Мертвый лик, уже обращенный к чему-то нам недоступному, все еще выразителен, но уже покоен и тих. Выпуклые веки закрыты, бесцветные губы сжаты, пепельно белеют под усами... Я

вижу слегка вздувшиеся вены на его старчески крупных висках, – завтра они уже почернеют, думаю я... Я думаю о его протекшей жизни, такой большой и сложной, думаю и о своей собственной... – Еще молимся о упокоении души усопшего раба Твоего... и о еже простится ему всякому согрешению, вольному же и невольному... – Милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим...

Потом взгляд мой опять останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску, видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней черным крестом, эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, их фуражки, клинки и погоны, уже десять лет мной невиденные... – Образ есмь неизреченные Твоя славы – ущебри создание Твое, Владыко, и вождь Отчество подаждь ми...

Когда мы все выходим, уже вечер. Солнце только что село, сзади, за черными пальмами, темно-розовое зарево. А впереди, вдали, огромная картина этих вечных средиземных берегов. В глубине ее, в смутном и холодном, розово-синем восточном небе, надо всем мертвенно царят снежные хребты Верхних Альп, уже гаснущие, сумрачно малиновые, всему живому бесконечно чуждые, уходящие в свою дику зимнюю ночь, снизу уже до половины потонувшие в сизой густой мгле. Сурово, холодно посинело к ночи море под ними..

XXII

Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистраля. Я просыпаюсь внезапно. Я только что видел или думал во сне о том, как, во время прощания после панихиды, последней из числа близких ему прощалась худенькая, высокая девушка вся в черном, с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно-любовно, на минуту закрыв легким концом ее край саркофага и старчески-детское плечо в черкеске... Стремительно несется мистраль, ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то... Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом, над головой разверзается черновороненное, в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед, вперед...

Я кладу на себя медленное крестное знамение, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной.

Книга пятая

I

Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества.

В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути, – одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу, – ив необычный для города час: едва стало светать. Но на другой уже поздней – как все. Заботливо одевался, гляделся в зеркало... Вчера, в редакции, я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид, благо обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились: я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял, – горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя: «Как, он опять пришел? И опять с утра?!» – Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Волховской, с Волховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шел по ней, пока она, за какими-то запыленными триумфальными воротами, не стала пустынной и бедной, свернул с нее в еще более бедную Пушкарную Слободу, оттуда вернулся опять на Московскую. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам, по

всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара, навстречу мне, на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвонном, прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки осенявший влево и вправо всех встречающих.

В редакции было опятьлюдно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшись мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий, веселый, после завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояли, потом качался с ней и с Оболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидел на стене портрет, — из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый, в очках, с костлявыми широкими плечами. «Мой покойный муж», вскользь сказала Авилова, — и я слегка оторопел: так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой, хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу, Лика нарядилась, сказала нам, — тем своим языком, некоторые особенности которого я уже заметил с неловкостью за нее: — «Ну, дети мои, я исчезаю!» — и куда-то ушла, а мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую, сказала, что ей нужно зайти там к белошвейке, и мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением.

С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос; у белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» — спросила она. Я замаялся, — потому, что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. — «Ну, все равно, сказала она, это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в «Дворянском гнезде». Хотите посмотреть?» — И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где, на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе... Лиза, Лаврецкий, Лемм... И мне страстно захотелось любви.

Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре, — я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре и на сцене, на какой то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стукались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки и королевские латники, а после театра тут же, в саду, ужинали, — я в первый раз в жизни попал в летний ресторан, сидел на просторной и людной террасе, за бутылкой вина во льду, с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, — кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания: это был человек, доставивший мне впоследствии — тоже совершенно невнимательно — много душевных мук, очень высокий офицер с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любят, и я уже не мог спокойно смотреть на них, я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке.

В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал с Авиловой, — она почему-то поехала провожать меня, — чувство гордости от коляски и от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь к которой я уже совсем верил, и то чувство, которое преобладало надо всеми прочими, — чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в Орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики, крупны были все те парадные, отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались, при всем блеске их церковного убранства, лица духовенства, с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих. В то мгновение, когда всей своей тяжелой силой низвергся, наконец, на вокзал великокняжеский поезд, и всех ослепил красный доломан выскочившего из него ярко-рыжего гиганта, все как-то смешалось, спуталось, — не помню дальше ничего, кроме мрачно-угрожающего торжества панихиды. Потом маслянисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотала мощными, державными толчками своей вновь задышавшей трубы, и длинно, плавно потянулся назад полосой белой стали локоть его поршня, поплыли вперед сине-зеркальные стены вагонов с золотыми

орлами...

Я глядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, – и видел уже только одно: то, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью долгого быстрого пути с юга, из Крыма. Поезд, грохоча, скрывался, продолжая свой величественно-траурный бег через Россию, куда-то туда, к ее возглавию, я же весь был в этом сказочном Крыму, в пленительных гурзуфских днях легендарного Пушкина.

Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидеть меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке, она коснулась губами моей щеки. Я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся, я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая...

В пути после того все казалось мне трогательно: и этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции и полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то, уже свое, знакомое, что снова окружало меня: косыми буграми идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты... Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом.

II

Из Орла я увозил одну мечту: как-то продолжить – и, насколько возможно, скорей – то, что началось в Орле. Однако, чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля, на долгий апрельский закат. И вот в вагоне уже совсем сумерки, сумерки и за окнами, в этом редком дубовом лесу, что идет слева от поезда, – голом, корявом, засыпанном рыжей прошлогодней листвой, только что вышедшей из под зимних снегов. И я уже стою, держу свою сумку в руках, все больше волнуясь: это уже Субботинский лес, за которым тотчас станция Писарева. Поезд предостерегающе и печально кричит куда-то в пустоту; я спешу на площадку: как-то первобытно сыро, свежо, накрапывает дождь, перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, и я еще на ходу соскакиваю. Потом бегу по платформе, прохожу слабо освещенный, бесконечно печальный, затоптанный мужиками вокзал, выхожу на темный подъезд. В круглом дворе перед ним – жалкий и грязный после зимы палисадник, чуть видная в сумраке лошаденка мужика-извозчика. Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седока, кидается ко мне со всех ног, восторженно соглашается с каждым моим словом, готов скакать со мной хоть на край света и за все, что угодно – «авось, не обидите!» – и через минуту я уже покорно трясусь в его мелкой тележке: сперва по дикой и темной деревне, потом – все тише и тише – в темных, молчаливых, всему миру чужих полях, в черном море земли, за которым брезжит в бесконечной дали под тучками на северо-западе что-то зеленоватое. Дует навстречу ночной полевой ветерок, жидкий, дождевой, апрельский, где-то далеко – и все как будто меняя под ветром места – хлопает перепел. Мелькают в тучках, в низком русском небе, редкие звезды... Опять перепела, весна, земля – и моя прежняя, глухая, бедная молодость! Дорога мучительно долга: десять верст в поле с русским мужиком неближний путь. Мужик стал тих, загадочен, пахнет избой, сухой овчиной своего вытертого полушубка, на просьбы поспешать молчит, а как только изволок, соскакивает с передка и ровным шагом идет с веревочными вожжами в руках рядом со своей едва плетущейся кобыленкой, лицо отворачивает... При въезде в Васильевское казалось, что уже глубокая ночь: нигде ни огня, все безжизненно. Глаз привык к темноте и хорошо видно каждую избу, каждую голую лозинку перед избой на той широкой улице, по которой въезжаешь в село; потом видишь и чувствуешь спуск в апрельскую сырость низменности, влево мост над рекой, а справа дорогу вверх, к неприветливо чернеющей усадьбе. Чувства опять очень острые:

как все страшно знакомо и вместе с тем ново – этой своей весенней деревенской чернотой, убожеством, равнодушием! Мужик совсем омертвел, тащась на гору. Вдруг там, из-за сосен палисадника, блеснул в окне огонь. Слава Богу, еще не спят! Радость, нетерпение – и мальчишеский стыд, когда наконец тележка останавливается возле крыльца и надо слезать, отворять дверь в прихожую, входить и видеть, как тебя с улыбкой рассматривают...

Из Васильевского я ехал на другой день верхом, под тихим и светлым утренним дождиком, который то переставал, то опять сыпался, среди пашен и паров. Мужики пахали и сеяли. Пахарь, босиком, шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми ступнями в мягкую борозду, лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь, за сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей, за грачем большим, ровным шагом шагал старик без шапки, с севалкой через плечо, широко и благородно-щедро поводя правой рукой, правильными полукружиями осыпая землю зерном.

В Батурине было даже больно от той любви, радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры, — я не чаял такой прелести любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна вся — своей чистотой, юностью, как невинна, свежа была даже своим новеньким платьицем, в первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом — своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так, точно я только что вышел из нее: все на тех же местах, — даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом: черные образа в углу, за старинными окнами с цветными верхними стеклами (лиловыми и гранатовыми) видны деревья и небо, — кое где голубеющее и сыплющее мелким дождем на зеленеющие ветви и сучья, — в комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко... потолок темный, деревянный, гладкий, из таких же темных, гладких бревен и стены... гладки и тяжки круглые отвалы дубовой кровати...

III

Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог: нужно было отвезти проценты в банк. И я повез, но заплатил только часть, остальное растратил. Это был поступок не шуточный, но сомной что-то делалось — я не придавал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно-счастливой решительностью. Едучи в Орел, опоздал к пассажирскому поезду — и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное, стою и смотрю. Машинисты в чем-то сверх меры засаленном, железно блестящем; так же засалены, блестящи и лица их, негритянски разительны белки, словно нарочно, как у актеров, подмазаны веки. Молодой резко гремит железной лопатой в каменном угле, наваленном на полу, с громом откидывает заслонку топки, откуда адски вырывается красный огонь, и размашисто осаживает этот ад чернотой угля с лопаты, старший перетирает пальцы ужасающей по своей сальности тряпкой и, швырнув ее, что-то дергает и что-то повертывает...

Раздается раздирающий уши свист, откуда то горячо обдаёт и окутывает ослепляющий пар, оглушает что то вдруг загрохотавшее — и медленно тянет вперед... Как дико грохочет этот грохот потом, как все растёт и растёт наша сила, прыть, как все вокруг трясется, мотается, прыгает! Застывает, напряженно каменеет время, ровно трепещет по буграм с боков огненный, драконий бег — и как скоро кончается каждый перегон! А на каждой передышке после него, в мирной тишине ночи и станции, пахнет лесным ночным воздухом и из всех окрестных кустов бьет, торжествует, блаженствует соловьиное пение... В Орле я непристойно нарядился, — тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз, — купил дорогое кавалерийское седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять на Писарево — с целью купить еще лошадь — там как раз в эту пору была в селе конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, тоже все в поддевках и дворянских картузах, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу (хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца, — «купи, барин, Мишу, век будешь любить меня за Мишу!»). Лето после того стало для меня сплошным праздником — я и трех дней подряд не проводил в Батурине, все гостил у своих новых друзей, а когда она вернулась из Орла, стал пропадать в городе: как только получил от нее краткую записку: «вернулась и жажду свидания», тотчас поскакал на станцию, несмотря на неприятность от глупого остроумия этой записки и на то, что был уже вечер и надвигались тучи, а в вагоне, как пьяный, радовался шибкому ходу поезда, казавшемуся еще шибче от уже бушевавшей грозы, от того, что грохот вагона сливался с ударами грома, с

шумом ливня по крыше, и все это среди синего пламени, поминутно затоплявшего черные стекла, по которым, пенясь, хлестала и свежо пахла дождевая вода.

Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч. Но вот, – это было уже в конце лета, – один из этих друзей, живший с сестрой и стариком отцом в именье недалеко от города, на обрывистом берегу Исты и тоже бывавший у нее, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. За ней он приехал сам, она ехала с ним в шарабанчике, я сзади, верхом. Радовал солнечный, сухой простор полей, открытые и как бы песчаные поля были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало чего то отчаянно-ловкого. Я безбожно горячил и сдерживал лошадь, потом пускал ее и на всем скаку махал через копны, в кровь рассекая ей бабки острыми подковами. Именинный обед на прогнившем балконе длился до вечера, вечер незаметно слился с ночью, с лампами, вином, песнями и гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада, она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки, – я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение... Быстро посерело после того в саду, хрипло и как то беспомощно-блаженно стали кричать в усадьбе молодые петушки, а еще через минуту стал светел весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной низменностью... Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью, и она, глядя на солнечно разгорающийся небосклон и уже не замечая меня, пела «Утро» Чайковского. Оборвав на высоком, недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки цвета куропатки и побежала к дому. Я остановился, растерянный, но уже неспособный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Я отошел под старую березу, стоявшую на скате обрыва в сухой траве, и прилег под ней. Был уже день, солнце взошло и, как всегда в конце лета, в погожую пору, сразу наступило светлое жаркое утро. Я положил голову на корни березы и тотчас заснул. Но солнце разгоралось все жарче, – вскоре я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, пошел искать тени. Весь дом еще спал, стоя в сухом ослепительном свете. Не спал один старый хозяин. Из открытого окна его кабинета, под которым густо разрослась одичавшая сирень, слышался его кашель, в котором чувствовалось старческое наслаждение первой утренней трубкой, утренним стаканом крепкого чаю со сливками. На мои шаги и шум воробьев, ливнем сорвавшихся от меня с блестящей под солнцем сирени, он выглянул в окно, запахивая на груди старенький халатик из турецкого узорчатого шелка, показал свое страшное от запухших глаз и громадной седой бороды лицо и улыбнулся с необыкновенной добротой. Я виновато поклонился, прошел по балкону в раскрытые двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней тишиной и пустотой, летающими в ней бабочками, синими старинными обоями, креслами и диванчиками, лег на один из этих диванчиков, на редкость неудобный своей изогнутостью, и опять заснул глубоким сном. Но тут, – будто бы тотчас же, хотя спал я долго, – кто то подошел ко мне и, смеясь, что то стал говорить, путать мне волосы.

Я очнулся – передо мной стояли молодые хозяева, брат и сестра, оба черные, огнеглазые, по-татарски красивые, он в желтой шелковой косоворотке, она в такой же кофточке. Я вскочил и сел: они как-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уехала, и не одна, а с Кузьминым, и подали мне записочку. Я тотчас вспомнил глаза Кузьмина, – бойкие, дерзкие, какие-то пестрые, цвета пчелы, – взял записочку, пошел в старинную «девичью», – там смиренно ждала меня над табуретом с тазом, держа в худой руке, покрытой гречкой, кувшин с водой, какая-то старушка во всем темненьком, – на ходу прочел: «не старайтесь больше меня видеть» – и стал умываться. Вода была ледяная, острая – «у нас ведь ключевая-с, колодезна», сказала старушка и подала мне длиннейшее льняное полотенце. Я быстро прошел в прихожую, взял картуз и нагайку, пробежал через жаркий двор в конюшню... Лошадь тихонько и горестно заржала мне навстречу из сумрака, – она так и осталась под седлом, стояла возле пустых яслей, с подведенными пахами, – я схватил повод, вскочил в седло, все еще как-то дико-восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. За усадьбой я круто свернул в поле, понесся куда глаза глядят по шуршащему жнивью, осадил лошадь под первой попавшейся копной и, сорвавшись с седла, сел под ней. Лошадь шумела, хватая зубами и таща к себе снопы за сыплющиеся точно стеклянным зерном колосья, тысячами часиков знойно торопились в жнивьи и в снопах кузнечики, точно песчаной пустыней простирались вокруг светлые поля – я ничего не слышал, не видал, мысленно твердя одно: или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, за-

шумевшие от ее замолкавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим!

С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них я поскакал в город.

IV

Я надолго остался после того в городе, по целым дням сидел с ней в запыленном садике, что был в глубине двора при доме ее вдового отца, – отец (беспечный человек, либеральный доктор) ни в чем ее не стеснял. С той минуты, когда я прискакал к ней с Истры, и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильнее, счастливей, бессмысленней, – моя или ее (тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся). Наконец, чтобы хоть немного дать друг другу отдохнуть, мы решили на время расстаться. Это было необходимо тем более, что, живя на мелок в Дворянской гостинице, я впал в неоплатный долг. Пошли к тому же дожди. Я оттягивал разлуку всячески – напоследок собрался с силами и пустился под ливнем домой. Дома я сперва все только спал, тихо скитался из комнаты в комнату, ничего не делая, ни о чем не думая. Потом стал задумываться: что же это происходит со мной и чем все это кончится? Однажды пришел брат Николай, вошел в мою комнату, сел, не снимая картуза, и сказал: – Итак, мой друг, романтическое существование твое благополучно продолжается. Все по прежнему: «несет меня лиса за темные леса, за высокие горы», а что за этими лесами и горами – неведомо. Я ведь все знаю, многое слышал, об остальном догадываюсь – истории-то эти все на один лад. Знаю и то, что тебе теперь не до здравых рассуждений. Ну, а все-таки: какие же твои дальнейшие намерения?

Я ответил полушутя: – Всякого несет какая-нибудь лиса. А куда и зачем, конечно, никому неизвестно. Это даже в Писании сказано: «Иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои!»

Брат помолчал, глядя в пол и как бы слушая шепот дождя по осеннему жалкому саду, потом грустно сказал: – Ну, иди, иди...

Я все спрашивал себя: что делать? Было ясно, что именно.

Но чем настойчивее старался я внушить себе, что завтра же надо написать решительное, прощальное письмо, – это было еще возможно, последней близости между нами еще не было, – тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелестью ее глаз, лица, смеха, голоса... А через несколько дней, в сумерки, появился вдруг во дворе усадьбы верховой, мокрый с головы до ног посыльный подавший мне мокрую депешу: «Больше не могу, жду». Я не спал до рассвета от страшной мысли, что через несколько часов увижу, услышу ее...

Так, то дома, то в городе, провел я всю осень. Я продал седло, лошадь, в городе жил уже не в Дворянской гостинице, а на подворьи Никулиной, на Щепной площади. Город был теперь другой, совсем не тот, в котором шли мои отроческие годы. Все было простое, будничное, – только иногда, проходя по Успенской улице мимо сада и дома гимназии, ловил я что-то как будто близкое душе, когда-то пережитое. Уже давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской, где когда-то сидел с такой детской покорностью, искоса поглядывая, как под непрерывно стрекочущими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой почти всегда в одиночестве: доктор с утра уезжал, гимназист, ее брат, уходил в гимназию, после завтрака доктор спал и опять куда-нибудь уезжал, а гимназист занят был бешеной игрой, бегом со своим рыжим Волчком, который, притворно ярясь, лая, захлебываясь, носился вверх и вниз по деревянной лестнице во второй этаж. Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей – она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых, а я стал сидеть на диване один, слушая крики, хохот, топот гимназиста и театральный лай Волчка, бесившегося на лестнице, сквозь слезы глядел в полузавешанные окна на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой... Потом опять что-то случилось с ней: опять она стала сидеть дома, стала так ласкова, добра ко мне, что я совсем потерял понятие, что она за человек. «Что ж, миленький, сказала она мне однажды, видно, так тому и быть!» – и, радостно морщась, заплакала. Это было после завтрака, когда в доме все ходили на цыпочках, оберегая отдых доктора. – «Мне только папу страшно жалко, для меня никого в мире нет дороже его!» – сказала она, как всегда, удивляя меня своей чрезмерной любовью к отцу. И, как нарочно, тотчас же после того прибежал гимназист,

рассеянно пробормотал, что доктор просит меня к себе. Она побледнела. Я поцеловал ее руку и твердо пошел.

Доктор встретил меня с ласковым весельем отлично выспавшегося и только что умывшегося после сна человека, напевая и закуривая. – Мой молодой друг, – сказал он, предлагая курить и мне, – давно хотел поговорить с вами, – вы понимаете, о чем. Вам отлично известно, что я человек без предрассудков. Но мне дорого счастье дочери, от души жаль и вас, и потому поговорим начистоту, как мужчина с женщиной. Как это ни странно, но ведь я вас совсем не знаю. Скажите же мне: кто вы такой? – сказал он с улыбкой.

Краснея и бледнея, я стал усиленно затягиваться. Кто я такой? Хотелось ответить с гордостью, как Гете (я только что прочел тогда Эккермана): «Я сам себя не знаю, и избави меня, Боже, знать себя!» Я, однако, сказал скромно:

Вы знаете, что я пишу... Буду продолжать писать, работать над собой...

И неожиданно прибавил: – Может быть, подготовлюсь и поступлю в университет... – Университет, это, конечно, прекрасно, – ответил доктор. – Но ведь подготовиться к нему дело не шуточное. И к какой именно деятельности вы хотите готовиться? К литературной только или и к общественной, служебной?

И снова вздор полез мне в голову – снова Гете:

«Я живу в веках, с чувством несносного непостоянства всего земного... Политика никогда не может быть делом поэзии...» – Общественность не дело поэта, – ответил я. Доктор взглянул на меня с легким удивлением: – Так что Некрасов, например, не поэт, по-вашему? Но вы все-таки следите хоть немного за текущей общественной жизнью, знаете, чем живет и волнуется в настоящий момент всякий честный и культурный русский человек?

Я подумал и представил себе то, что знал: все говорят о реакции, о земских начальниках, о том, что «камня на камне не оставлено от всех благих начинаний эпохи великих реформ»... что Толстой зовет «в келью под елью»... что живем мы поистине в чеховских «Сумерках»... Я вспомнил книжечку изречений Марка Аврелия, распространяемую толстовцами:

«Фронтон научил меня, как черствы души людей, слывающих аристократами...» Вспомнил печального старика-хохла, с которым плыл весной по Днепру, какого-то сектанта, все твердившего мне на свой лад слова апостола Павла: «Як Господь посадив одесную Себя Христа на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, так брань наша не против крови и плоти, но против начальств, мироправителей тьмы века сего...» Я почувствовал свое уже давнее тяготение к толстовству, освобождающему от всяких общественных уз и вместе с тем ополчающемуся на «мироправителей тьмы века сего», ненавистных и мне, – и пустился в проповедь толстовства.

– Так что, по-вашему, единственное спасение от всех зол и бед в этом пресловутом неделании, непротивлении? – спросил доктор с преувеличенным безразличием.

Я поспешил ответить, что я за делание и за противление, «только совсем особое». Мое толстовство складывалось из тех сильных противоположных чувств, которые возбуждали во мне Пьер Безухов и Анатолий Куракин, князь Серпуховской из «Холстомера» и Иван Ильич, «Так что же нам делать» и «Много ли человеку земли нужно», из страшных картин городской грязи и нищеты, нарисованных в статье о московской переписи, и поэтической мечты о жизни среди природы, среди народа, которую создавали во мне «Казак» и мои собственные впечатления от Малороссии: какое это счастье – отряхнуть от ног прах всей нашей несправедливой жизни и заменить ее чистой, трудовой жизнью где-нибудь на степном хуторе, в белой мазанке на берегу Днепра! Кое-что из всего этого, опустив мазанку, я и сказал доктору. Он слушал, казалось, внимательно, но как-то черезчур снисходительно. Одну минуту у него помутились сонно отяжелевшие глаза и задрожали от приступа зевоты сжатые челюсти, но он одолел себя, зевнул только через ноздри и сказал: – Да, да, я вас слушаю... Значит, вы не ищете лично для себя никаких, так сказать, обычных благ «мира сего»?

Но ведь есть же не только личное. Я, например, далеко не восхищаюсь народом, хорошо, к сожалению, знаю его, весьма мало верю, что он есть кладезь и источник всех премудростей и что я обязан вместе с ним утверждать землю на трех китах, но неужели все-таки мы ничем ему не обязаны и ничего не должны ему? Впрочем не смею поучать вас в этом направлении. Я во всяком случае очень рад, что мы побеседовали. Теперь же вернусь к тому, с чего начал. Скажу кратко и, простите, совершенно твердо. Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью

и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее: она, конечно, совершенно свободна, но, буде, пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне, я желаю вам всяческих благ, но это так. Почему? Отвечу совсем по-обывательски: не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании. И потом, позвольте говорить уж совсем откровенно: что у вас общего? Гликерия девочка хорошенькая и, нечего греха таить, довольно переменчивая, – нынче одно увлечение, завтра другое, – мечтает, уж конечно, не о толстовской келье под елью, – посмотрите-ка, как она одевается, не взирая на наше захолустье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорченная, я только думаю, что она, как говорится, совсем не пара вам...

Она ждала меня, стоя под лестницей, встретила меня вопрошающими и готовыми к ужасу глазами. Я поспешно передал ей последние слова доктора. Она опустила голову: – Да, против его воли я никогда не пойду, – сказала она.

V

Живя на подворьи Никулиной, я иногда выходил и без цели шел по Щепной площади, потом по пустым полям сзади монастыря, где стояло большое кладбище, обнесенное старыми стенами. Там только ветер дул – грусть и глушь, вечный покой крестов и плит, всеми забвенных, заброшенных, что-то пустое, подобное одинокой, смутной мысли о чем-то. Над воротами кладбища была написана безграничная сизая равнина, вся изрытая разверзающимися могилами, наискось падающими надгробиями, подымающимися из-под них зубастыми и ребрастыми скелетами и незапамятно-древними старцами и старицами в бледно-зеленых саванах. И огромный ангел с трубой возле уст летел, трубил над этой равниной, полосами развевая свои блекло-синие одежды, согнув в коленях голые девичьи ноги, вскинув сзади себя длинные меловые ступни... На подворье царил осенний уездный мир, было тоже пусто – подъезду из деревень почти не было. Я возвращался, входил во двор – навстречу мне, из-под навесов двора, несла петуха стряпуха в мужицких сапогах: «Вот в дом несу, говорила она, неизвестно чему смеясь, – совсем очумел от старости, нехай теперь со мной квартирует...» Я поднимался на широкое каменное крыльцо, проходил темные сенцы, потом теплую кухню с нарами, шел в горницы, – там была спальня хозяйки и та комната, где стояли два больших дивана, на которых спали редкие приезжие из мещан и духовенства, а чаще всего один я. Тишина, в тишине мерный бег в спальне хозяйки будильника... «Прогулялись?» – ласково, с улыбкой милого снисхождения, спрашивает хозяйка, выходя оттуда. Какой очаровательный, гармонический голос! Она была полная, круглоликая. Я порой не мог спокойно смотреть на нее – особенно в те вечера, когда она, вся алая, возвращалась из бани и долго пила чай, сидела с еще темными влажными волосами, с тихим и томным блеском глаз, в белой ночной кофточке, свободно и широко покоя в кресле свое чистое тело, а ее любимая шелковисто-белая с розовыми глазами кошка мурлыкала в ее полных, слегка расставленных коленях. Снаружи слышался стук: стряпуха затворяла с улицы крепкие сплошные ставни, гремела, продевая оттуда в комнату, в круглые отверстия по бокам окон, железные шкворни коленчатых баутов, – нечто, напоминающее старинные, опасные времена. Никулина поднималась, вставляла в дырочки на концах баутов железные клинушки и опять бралась за чай, и в комнате становилось еще уютнее...

Дикие чувства и мысли проходили тогда во мне: вот бросить все и навсегда остаться тут, на этом подворье, спать в ее теплой спальне, под мерный бег будильника! Над одним диваном висела картина: удивительно зеленый лес, стоящий сплошной стеной, под ним бревенчатая хижинка, а возле хижинки – кротко согнувшийся старчик, положивший ручку на голову бурого медведя, тоже кроткого, смиренного, мягколапого; над другим – нечто совершенно нелепое для всякого, кто должен был сидеть или лежать на нем: фотографический портрет старика в гробу, важного, белоликого, в черном сюртуке, – покойного мужа Никулиной. Из кухни, в лад долгому осеннему вечеру, слышался дробный стук и протяжное: «У церкви стояла карета, там пышная свадьба была...» – это пели и рубили на зиму острыми сечками свежие тугие кочаны капусты слободские девки-поденщицы. И во всем, – в этой мещанской песне, в мерном хозяйственном стуке, в старой лубочной картине, даже в покойнике, жизнь которого все еще как бы длилась в этом бессмысленно-счастливом житии подворья, – была какая-то сладкая и горькая грусть...

VI

В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы условились встретиться в Орле: она выедет туда первого декабря, я-же, для приличия, хоть неделей поздней. А первого, в морозную лунную ночь, поскакал в Писарево, чтобы сесть там как раз в тот ночной поезд, с которым она должна была ехать из города. Как вижу, как чувствую эту сказочно-давнюю ночь! Вижу себя на полпути между Батуриным и Васильевским, в ровном снежном поле. Пара летит, коренник точно на одном месте трясет дугой, дробит крупной рысью, пристяжная ровно взвывает и взвывает зад, мечет и мечет вверх из-под задних бело-сверкающих подков снежными комьями... порой вдруг сорвется с дороги, ухнет в глубокий снег, зашпешит, зачистит, путаясь в нем вместе с опавшими постромками, потом опять цепко выскочит и опять несет, крепко рвет валец... Все летит, спешит – и вместе с тем точно стоит и ждет: неподвижно серебрится вдаль, под луной, чешуйчатый наст снегов, неподвижно белеет низкая и мутная с морозу луна, широко и мистически-печально охваченная радужно-туманным кольцом, и всего неподвижней я, застывший в этой скачке и неподвижности, покорившийся ей до поры до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание: вот такая же ночь и такой-же путь в Васильевское, только это моя первая зима в Батурине, и я еще чист, невинен, радостен – радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, их стансов, посланий, элегий, баллад:

Скачут. Пусто все вокруг.
Степь в очах Светланы...

«Где все это теперь!» думаю я, не теряя, однако, ни на минуту своего главного состояния, – оцепенелого, ждущего. «Скачут, пусто все вокруг», говорю я себе в лад этой скачке (в ритм движения, всегда имевшего такую ворожащую силу надо мной) и чувствую в себе кого-то лихого, старинного, куда-то скачущего в кивере и медвежьей шубе, и о действительности напоминает только засыпанный снегом работник, в армяке поверх полушубка стоящий в передке, да пересыпанная снежной пылью, мерзлая, пахучая овсяная солома, набитая под передком в моих застывших ногах... За Васильевским, на раскате в ухаб, упавший коренник переломил оглоблю, – я, пока работник связывал ее, замирал от ужаса, что опоздаю к поезду. Приехав, тотчас на последние деньги купил билет первого класса, – она ездила в первом, – и кинулся на платформу. Помню мутный от морозного пара лунный свет, в котором терялся желтый свет ее фонарей и освещенных окон телеграфа. Поезд уже подходил, я глядел в мутную снежную даль, чувствуя себя точно стеклянным от мороза и ледяного внутреннего трепета. Неожиданно и гулко забил колокол, резко завизжали и захлопали двери, туго и резко заскрипели быстрые шаги выходящих из вокзала – и вот как-то космато зачернел вдаль паровоз, показался медленно идущий под его тяжелое дыхание страшный треугольник мутно-красных огней... Поезд подошел с трудом, весь в снегу, промерзлый, визжа, скрипя, ноя... Я вскочил в сенцы вагона, распахнул дверь в него – она, в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке, под задернутым вишневым занавеской фонарем, совсем одна во всем вагоне, глядя прямо на меня...

Вагон был старый, высокий, на трех парах колес; на бегу, на морозе, он весь гремел и все падал, валился куда-то, скрипел дверями и стенками, замерзшие стекла его играли серыми алмазами... Мы были уже где-то далеко, была поздняя ночь... Все произошло как-то само собой, вне нашей воли, нашего сознания... Она встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в угол...

VII

Зиму мы жили в Орле.

Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона, вошли в редакцию, втайне соединенные нашей новой, жуткой близостью!

Я поселился в маленькой гостинице, она по-прежнему у Авиловой. Там мы проводили почти весь день, а заветные часы – в этой гостинице.

Это было счастье нелегкое, изнурительное и телесно и душевно.

Помню: как-то вечером она была на катке, я сидел и занимался в редакции, – мне там уже стали давать кое-какую работу, некоторый заработок, – в доме было пусто и тихо, Авилова уехала на какое-то собрание, вечер казался бесконечным, фонарь, горевший за окном на улице, грустным, никому не нужным, приближающиеся и удаляющиеся шаги прохожих, их скрип по снегу, точно уносили, отнимали что-то от меня; сердце мне томила тоска, обида, ревность, – вот я тут сижу один, за какой-то нелепой, недостойной меня работой, до которой я унизился ради нее, а ей где-то там, на этом ледяном пруду, окруженном белыми снежными валами с черными елками, оглушаемом полковой музыкой, залитом сиреневым газовым светом и усеянным летающими черными фигурами, – ей там весело...

Вдруг раздался звонок и быстро вошла она. На ней был серый костюм, серая беличья шапочка, в руках она держала блестящие коньки, и все в комнате сразу радостно наполнилось ее морозной молодой свежестью, красотой раскрасневшегося от мороза и движения лица. – «Ох, сказала она, устала я!» – и прошла в свою комнату. Я пошел за ней, она бросилась на диван, с усмешкой изнеможения откинулась, все еще держа коньки в руках. Я с мучительным и уже привычным чувством смотрел на ее высокий зашнурованный подъем, на ногу, обтянутую серым чулком и видную из-под короткой серой юбки, – даже одна эта плотная шерстяная материя вождеденно мучила меня, – стал упрекать ее, – ведь мы не видались весь день! – потом вдруг, с пронзительным чувством нежности и жалости, увидел, что она спит... Очнувшись, она ласково и грустно ответила: «Я почти все слышала. Не сердись, я вообще очень устала. Ведь я слишком много пережила за этот год!»

VIII

Чтобы найти предлог для жизни в Орле, она начала учиться музыке. Я тоже нашел предлог: работу в «Голосе». Первое время это меня даже радовало: радовала хоть некоторая правильность, наставшая в моем существовании, успокаивала некоторая обязательность, которая вошла в мою лишенную всяких обязательств жизнь. Потом все чаще стало мелькать в уме: о такой ли жизни я мечтал! Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами! Все это только пока, теперь? Ну, а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности: этот «вечный раздор между мечтой и существенностью», вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне.

Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях. Когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, и я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбок и ног, музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Турчаниновым, – тем противоестественно-высоким офицером в черных полубачках, с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно высока, – все-таки он был на две головы выше ее и, тесно обняв и плавно, длительно кружа ее, как-то настойчиво смотрел на нее сверху вниз, а в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное, прекрасное и вместе с тем бесконечно ненавистное мне. Как молил я тогда Бога, чтобы произошло нечто невероятное, – чтобы он вдруг наклонился и поцеловал ее и тем сразу разрешил, подтвердил тяжкие ожидания, замиранья моего сердца! – Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему, – сказала она раз. – Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя...

И точно: по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, сострадающей нежности, я жестоко не любил – особенно на-людях – минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать – и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же подетски вспухали губы. В обществе я, действительно, чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, проницательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел я близости с ней и как страдал, не достигая ее!

Я часто читал ей стихи. – Послушай, это изумительно! – восклицал я. – «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!»

Но она изумления не испытывала: – Да, это очень хорошо, – говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. – Но почему «как месяц над рощей»? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.

Я негодовал: описаний! – пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась: – Это только пауки, миленький, так живут!

Я читал:

Какая грусть!
Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли...

Она спрашивала: – Какие змеи?

И нужно было объяснить, что это метель, поземка.

Я, бледнея, читал:

Ночь морозная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей...
За горами, лесами, в дыму облаков,
Светит пасмурный призрак луны...

– Миленький, – говорила она, – ведь я-же этого ничего никогда не видала!

Я читал уже с тайным укором:

Солнца луч промеж туч был и жгуч и высок,
Пред скамьей ты чертила блестящий песок...

Она слушала одобрительно, но, вероятно, только потому, что представляла себе, что это она сама сидит в саду, чертя по песку хорошеньким зонтиком. – Это, правда, прелестно, – говорила она. – Но достаточно стихов, поди ко мне... Все-то ты недоволен мной!

Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре: она слушала с беспощадным безучастием. Я хотел от нее грусти, умиления, рассказывая о той бедности, которая наступала порой в жизни нашей семьи, – о том, например, как однажды мы сняли все старинные ризы со всех наших образов и повезли их закладывать в город Мещериновой, одинокой старухе страшного восточного вида, горбоносой, усатой, с выкаченными белками, в шелках, шалях и перстнях, в пустом доме которой, загроможденном всяким музейным убранством, весь день диким и мертвым голосом кричал попугай: и что же видел вместо грусти, умиления? – Да, это ужасно, – невнимательно говорила она.

Чем дальше жил я в городе, тем больше чувствовал себя в нем как-то совершенно ни к чему, – даже Авилова почему-то изменилась ко мне, стала суха, насмешлива; чем темней и скучней становилась моя городская жизнь, тем чаще тянуло меня быть наедине с ней, – что-нибудь читать, рассказывать, высказываться. В моей комнате в гостинице было узко, серо, страшно грустно за себя – за чемоданишко и несколько книжек, составлявших все мое богатство, за одинокие ночи, которые так бедно и холодно не то что спал, а скорее одолевал я в ней, все сквозь сон поджидая рассвета, первого морозного, зимнего удара в колокол на соседней колокольне. В ее комнате тоже было тесно, она была в конце коридора, возле лестницы в мезонин, зато окнами выходила в сад, была тиха, тепла, хорошо убрана; в сумерки в ней топилась печка, она же умела лежать в подушках дивана удивительно приятно, вся сжавшись и подобрав под себя свои на редкость хорошенькие туфельки.

Я говорил:

Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне,
Мы сели с ней друг против друга,
Валежник свистал на огне...

Но все эти вьюги, леса, поля, поэтически-дикарские радости уюта, жилья, огня были особенно чужды ей.

Мне долго казалось, что достаточно сказать: «знаешь эти осенние накатанные дороги, тугие, похожие на лиловую резину, иссеченные шипами подков и блестящие под низким солнцем слепящей золотой полосой?», чтобы вызвать ее восторг. Я рассказывал ей, как мы однажды с братом Георгием ездили поздней осенью покупать на сруб березу: в поварской у нас вдруг рухнул потолок, чуть не убил древнего старика, нашего бывшего повара, вечно лежавшего в ней на печи, и вот мы поехали в рощу, покупать эту березу на матицу. Шли непрерывные дожди (все мелкими, быстро сыплющимися сквозь солнце каплями), мы рысью катили в телеге с мужиками сперва по большой дороге, потом по роще, которая стояла в этом дробном, дождевом и солнечном сверкании на своих еще зеленых, но уже мертвых и залитых водою полянах с удивительной вольностью, картинностью и покорностью... Я говорил, как несказанно жаль было мне эту раскидистую березу, сверху до низу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапо и грубо обошли, оглядели ее кругом и потом, поплевав в рубчатые, звериные ладони, взяли за топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны и черни ствол... «Ты не можешь себе представить, как страшно мокро было все, как все блестело и переливалось!» – говорил я и кончил признанием, что хочу написать об этом рассказ. Она пожала плечами: – Ну, миленький, о чем же тут писать! Что ж все погоду описывать!

Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее! Как изнемогала душа от восторженно-самоотверженной нежности к ней! Как хотелось жить долго, долго! Часто я думал, слушая: «Если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без нее! Как я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью, радостью!» Но насчет того, что мне не нравилось, я был так резок в суждениях, что она выходила из себя: – Надя! – кричала она Авиловой, бросая клавиши и круто повертываясь к соседней комнате. – Надя, послушай, что он здесь несет! – И буду нести! – восклицал я. – Три четверти каждой из этих сонат – пошлость, гам, кавардак! Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты! Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады! Эти феи одно из самых ненавистных мне слов! Хуже газетного «чреватый»!

Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его, все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях, с подобострастными ужимками и сладким говорком изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука; эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацкие, эти Фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы; эти Гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными, подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями, – все это приводило меня просто в содрогание. А опера! Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь вопреки всем законам естества и связанными в коленках! Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами: «Ты взойдешь, моя заря», мельник из «Русалки» с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак!

В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались: теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в Орле, выступает в «Записках сумасшедшего», и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате, с неумеренно-небрityм бабьим лицом, долго, мучительно-долго молчит,

замирая в каком-то идиотски-радостном и все растущем удивлении, потом тихо, тихо подымает палец и наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом:

«Се-го-дня-шнего дня...» Вот, на другой день, он еще великолепно притворяется Любимом Торцовым, а на третий – сизоносый, засаленный Мармеладовым:

«А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» – Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо – вдруг решила написать что-то роковое и, быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала три длинных линии по бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фартучке: «Немедленно отправьте это с посыльным!» – Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой, до трех часов ночи, и я клянусь уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского... – Но, допустим, вы правы, – кричит она, уже бледная, с потемневшими глазами и потому особенно прелестная, – почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его! – Потому, – кричу я в ответ, – что за одно то, как актер произносит слово «аромат» – «а-ро-мат!» – я готов задушить его!

И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал: – Если б ты знала, сколько у меня врагов! – Каких? Где? – спросила она. – Всяких, всюду: в гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале... – Кто же эти враги? – Да все, все! Какое количество мерзких лиц и тел! Ведь это даже апостол Павел сказал «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов...» Некоторые просто страшны! На ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон, точно они только вчера поднялись с четверенек. Вот я вчера долго шел по Волховской сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его толстой спины в шинели, с икр в блестящих крепко выпуклых голенищах: ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбруе! – Как тебе не совестно! – сказала она с брезгливым сожалением. – Неужели ты, правда, такой злой, гадкий? Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей!

IX

И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее, а под вешалкой – милые серые ботики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидеть ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, – просматривал и правил провинциальные корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним «собственные телеграммы», чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных беллетристов, а сам слушал, ждал – и вот наконец: быстрые шаги, шелест юбки! Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Так же забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочко-холодное лицо, обнимая под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем, она, смеясь, увертывалась, – «пусти, я по делу пришла!» – звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему...

Я однажды нечаянно услышал ее разговор с Авиловой, – они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая что я в типографии. Авилова спрашивала: – Лика, милая, но что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему, он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась... Но дальше-то что?

Я точно в пропасть полетел. Как, я «очень мил», не более! Она всего-навсего только «увлеклась»! Ответ был еще ужаснее: – Но что же я могу? Я не вижу никакого выхода...

При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столо-

вую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле, – как вдруг она опять заговорила: – Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его! А потом, ты его все-таки не знаешь, – он в тысячу раз лучше, чем кажется...

Да, я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадал в тоску, в отчаяние; однако, легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает: тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, подкрахмаленные складки которой расклеивались, разрывались с восхитительным треском! Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность! Каждый раз перед балом я переживал жестокие минуты, – нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой, совершенно, правда, новый, кажется, ни разу не надеванный и все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывались – стоило только выйти из дома, дохнуть морозом, увидеть пестрое звездное небо, быстро сесть в извозчицьи санки...

Бог знает, зачем украшали ярко блиставшие входы бальных собраний какими-то красно-полосатыми шатрами, зачем разыгрывалась перед ними такая щеголеватая свирепость квартальных, командовавших съездом! Но все равно – это был уж бал, этот странный вход, ярко и бело заливавший каленым светом перемешанный сахарный снег перед ним, и вся эта игра в быстроту и в лад, четкий полицейский крик, мерзлые полицейские усы в струну, блестящие сапоги, топчущиеся в снегу, как-то особенно вывернутые и спрятанные в карманы руки в белых вязаных перчатках. Чуть не все подъезжавшие мужчины были в формах, – много форм было когда-то в России, – и все были вызывающе возбуждены своими чинами, формами, – я еще тогда заметил, что люди, даже всю жизнь владеющие всякими высшими положениями и титулами, никогда за всю жизнь не могут к ним привыкнуть. Эти подъезжавшие всегда и меня возбуждали, тотчас становились предметом моей мгновенно обостряющейся неприязненной зоркости. Зато женщины были почти все милы, желанны. Они очаровательно освобождали себя в вестибюле от мехов и капоров, быстро становясь как раз теми, которыми и надлежало идти по красным коврам широких лестниц столь волшебными, умножающимися в зеркалах толпами. А потом – эта великолепная пустота залы, предшествующая балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющей алмазным сиянием, огромные нагие окна, лоск и еще вольная просторность паркета, запах живых цветов, пудры, духов, бальной белой лайки – и все это волнение при виде все прибывающего бального люда, ожидание звучности первого грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширь еще девственной залы, – пары всегда самой уверенной в себе, самой ловкой.

Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд, внизу еще заваливали служителей пахучими шубами, шубками, шинелями, воздух везде был резок для тонкого фрака. Тут я, в этом чужом фраке, с гладкой прической, стройный, как будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий, – какой-то странно-гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции – чувствовал себя сперва так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все людней и шумней, музыка гремела привычней, в дверях залы уже теснились, женщин все прибывало, воздух становился гуще, теплей, и я как бы хмелел, на женщин смотрел все смелее, а на мужчин все заносчивее, скользил в толпе все ритмичней, извинялся, задевая какой-нибудь фрак или мундир, все вежливей и надменней...

Потом вдруг видел их, – вот они, осторожно, с полуулыбками, пробираются в толпе – и сердце обрывалось родственно и как-то неловко и удивленно: они и не они, те и не те. Особенно она – совсем не та! Меня каждый раз поражала в эту минуту ее юность, тонкость: схваченный корсетом стан, легкое и такое непорочно-праздничное платьице, обнаженные от перчаток до плечей и озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки, еще неуверенное выражение лица... только прическа высокая, как у светской красавицы, и в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовое к свободе от меня, к измене мне и даже как будто к сокровенной порочности. Вскоре к ней кто-нибудь подбегал, с привычной бальной поспешностью низко кланялся, она передавала веер Авиловой и как будто рассеянно, с грацией клала руку ему на плечо и, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в кружащейся толпе, шуме, музыке. И я как-то прощально

и уже с холодом враждебности смотрел ей вслед.

Маленькая, живая, всегда вся крепко и весело собранная Авилова тоже удивляла меня на балу своей молодостью, сияющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, что ведь ей всего двадцать шесть лет, и впервые, не решаясь верить себе, догадался о причине странной перемены, происшедшей в ее обращении со мной в эту зиму, – о том, что она может любить и ревновать меня.

Х

Потом мы надолго расстались.

Началось с того, что неожиданно приехал доктор.

Войдя однажды в солнечное морозное утро в прихожую редакции, я вдруг почувствовал крепкий запах каких-то очень знакомых папирос и услышал оживленные голоса и смех в столовой. Я приостановился – что такое? Это, оказалось, накурил на весь дом доктор, это говорил он – громко, с оживлением того сорта людей, которые, достигнув известного возраста, так и оставались в нем без всяких перемен на целые годы, наслаждаясь отличным самочувствием, непрерывным курением и немолчной говорливостью. Я оторопел – что значит этот внезапный приезд? Какое-нибудь требование к ней? И как войти, как держать себя? – Ничего страшного не произошло, однако, в первые минуты. Я быстро справился с собой, вошел, приятно изумился... Доктор, по своей доброте, даже несколько смутился, поспешил, смеясь и как бы извиняясь, сказать, что приехал «отдохнуть на недельку от провинции». Я тотчас заметил, что и она была возбуждена. Почему-то возбуждена была и Авилова. Все же можно было надеяться, что всему причиной доктор, как неожиданный гость, как человек, только что явившийся из уезда в губернию и потому с особенным оживлением пьющий после ночи в вагоне горячий чай в чужой столовой. Я уже начал успокаиваться. Но тут-то и ждал меня удар: из всего того, что говорил доктор, я вдруг понял, что он приехал не один, а с Богомолковым, молодым, богатым и даже знаменитым в нашем городе кожевником, давно уже имевшим виды на нее; а затем услышал смех доктора: – Говорит, что влюблен в тебя, Лика, без ума, приехал с самыми решительными намерениями! Так что теперь судьба сего несчастного в твоём полном распоряжении: захочешь – помилуешь, не захочешь – на веки погубишь...

А Богомоллов был не только богат: он был умен, характером жив и приятен, кончил университет, живал за границей, говорил на двух иностранных языках; с виду он мог в первую минуту почти испугать: красно-рыжий, гладко причесанный на прямой ряд, нежно круглолицый, он был чудовищно, нечеловечески толст, – не то какой-то до противоестественной величины разросшийся и сказочно упитанный младенец, не то громадный, весь насквозь светящийся жиром и кровью молодой йоркшир; однако, все в этом йоркшире было такое великолепное, чистое, здоровое, что даже радость охватывала: в голубых глазах – небесная лазурь, цвет лица – несказанный по своей девственности, во всем же обращении, в смехе, в звуке голоса, в игре глаз и губ что-то застенчивое и милое; ножки и ручки у него были трогательно маленькие, одежда из английской материи, носки, рубашка, галстук – все шелковое. Я быстро взглянул на нее, увидел ее неловкую улыбку... И все вдруг мне стало чужим, далеким, сам себе я вдруг показался всему этому дому постыдно лишним, ненужным, к ней меня охватила ненависть...

После того мы никогда и часу в день не могли провести наедине, она не расставалась то с отцом, то с Богомолковым. Авилову не покидала загадочно-веселая усмешка, она проявила к Богомолкову такую любезность, приветливость, что он с первого же дня стал совсем своим человеком в доме, появлялся в нем с утра и сидел до позднего вечера, в гостинице только ночевал. Начались кроме того репетиции любительского драматического кружка, которого Лика была членом, – кружок готовился к спектаклю на маслянице и через нее привлек на маленькие роли не только Богомоллова, но и самого доктора. Она говорила, что принимает ухаживания Богомоллова только ради отца, ради того, чтобы не обижать его резким отношением к Богомоллову, и я всячески крепился, делал вид, что верю ей, даже заставлял себя бывать на этих репетициях, стараясь скрывать таким образом свою тяжкую ревность и все те другие мучения, которые я испытывал на них: я не знал, куда глаза девать и от стыда за нее, за ее жалкие попытки «играть». И какое это было вообще страшное зрелище человеческой бездарности! Репетициями руководил профессионал, безработный актер, мнивший себя, конечно, большим талантом, упивавшийся своим гнус-

ным сценическим опытом, человек неопределенного возраста, с лицом цвета замазки и в таких крупных морщинах, что они казались нарочно сделанными.

Он поминутно выходил из себя, давая указания, как нужно вести ту или иную роль, ругался так грубо и бешено, что на висках у него веревками вздувались склеротические жилы, сам играл то мужские, то женские роли, и все выбивалось из сил в подражании ему, терзая меня каждым звуком голоса, каждым движением тела: как ни нестерпим был актер, его подражатели были еще нестерпимее. И почему, зачем играли они? Была среди них присущая каждому провинциальному городу полковая дама, костлявая, самоуверенная, дерзкая, была ярко рядившаяся девица, всегда тревожная, всегда чего-то ждущая, усвоившая себе манеру накусывать губы, были две сестры, известные всему городу своей неразлучностью и разительным сходством между собою: обе рослые, грубо-черноволосые, с черными сросшимися бровями, строго-молчаливые – настоящая пара вороных дышловых лошадей, был чиновник особых поручений при губернаторе, совсем еще молодой, но уже лысеющий блондин с вылупленными голубыми глазами в красных веках, очень высокий, в очень высоких воротничках, изнурительно вежливый и деликатный, был местный знаменитый адвокат, дородный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступнями, – когда я видал его на балах, во фраке, я всегда принимал его за главного лакея, – был молодой художник: черная бархатная блуза, длинные индусские волосы, козлиный профиль с козлиной бородкой, женственная порочность полузакрытых глаз и нежных ярко-красных губ, на которые было неловко смотреть, женский таз...

Потом настал и самый спектакль. До поднятия занавеса я сунулся было за кулисы: там сходили с ума, одеваясь, гримируясь, крича, ссорясь, выбегая из уборных, наталкиваясь друг на друга и не узнавая друг друга, – так странно все были наряжены, – кто-то был даже в коричневом фраке и фиолетовых штанах, – так мертвы были парики и бороды, неподвижны размалеванные лица с пластырно-розовыми наклейками на лбах и носах, с подведенными, блестящими глазами, с начерченными, крупными и тяжело, как у манекенов, моргающими ресницами. Я, столкнувшись с ней, тоже не узнал ее, поражен был ее кукольностью – каким-то розовым грациозно-старомодным платьицем, густым белокурым париком, лубочной красотой и детскостью конфетного лица...

Богомоллов играл желтоволосого дворника, – его нарядили с особенной изобразительностью, подобающей созданию «бытового типа», – а доктор старого дядюшку, отставного генерала: он и начал спектакль, сидя на даче, в плетеном кресле, под досчатым зеленым деревом, стоящим на голом полу, в новеньком чесучовом костюме, тоже весь розово намалеванный, с огромными молочными усами и подусниками, откинувшись в кресле и надутو глядя в широко раскрытую газету, весь, несмотря на прекрасное летнее утро декораций, ярко освещенный снизу лампочками ramпы и при всех своих седилах изумительно моложавый; он должен был сказать, почитавши газету, что-то густо-ворчливое, но все только глядел, ничего не мог сказать, несмотря на отчаянный шип из суфлерской будки: только тогда, когда она выскочила наконец из-за кулис (с детски-игривым, очаровательно-резвым смехом) и кинулась на него сзади, захватила ему глаза руками, крича: «угадай, кто?» – только тогда закричал и он, отчеканивая каждое слово: «Пусти, пусти, коза, отлично знаю, кто!»

В зале было полутемно, на сцене солнечно, ярко. Я, сидя в первом ряду, взглядывал то на сцену, то вокруг себя; ряд состоял из самых богатых, удушаемых своей полнотой штатских и самых видных чинами и фигурами полицейских и военных, и все они были точно скованы тем, что творилось на сцене, – напряженные позы, недоконченные улыбки... Я не мог досидеть даже до конца первого действия. Как только что-то стукнуло на сцене, – знак, что скоро занавес, – я быстро пошел вон. Там, на сцене, разыгрались уже вовсю, – в светлый и естественный коридор, где ко всему привычный старик помогал мне одеваться, особенно неестественно доносились неумеренно бойкие восклицания артистов. Я наконец выскочил на улицу. Чувство какого-то гибельного одиночества достигло во мне до восторга. Было безлюдно, чисто, огни фонарей блестели неподвижно. Я шел не домой, – там, в моей узкой комнате, в гостинице, было уж слишком страшно, – а в редакцию. Я прошел вдоль присутственных мест, свернул на пустую площадь, посреди которой поднимался собор, теряясь чуть блестевшим золотым куполом в звездном небе... Даже в скрипе моих шагов по снегу было что-то высокое, страшное... В теплом доме была тишина, мирный, медленный стук часов в освещенной столовой. Мальчик Авиловой спал, нянька, отворившая мне, сонно взглянула на меня и ушла. Я прошел в эту уже столь знакомую мне и

столю для меня особенную комнату под лестницей, сел в темноте на знакомый, теперь какой-то роковой диван... Я и ждал, и ужасался той минуты, когда вдруг придут, шумно войдут, наперебой станут говорить, смеяться, садиться за самовар, делиться впечатлениями, – всего же больше боялся того мгновения, когда раздастся ее смех, ее голос... Комната была полна ею, ее отсутствием и присутствием, всеми ее запахами, – ее самой, ее платьев, духов, мягкого халатика, лежавшего возле меня на валике дивана... в окно грозно синела зимняя ночь, за черными сучьями деревьев в саду сверкали звезды...

На первой неделе поста она уехала с отцом и Богомолковым (отказав ему). Я давно перестал даже разговаривать с ней. Она собиралась в отъезд, все время плача, каждую минуту надеясь, что я вдруг задержу, не пушу ее.

XI

Шли провинциальные великопостные дни. Извозчики без дела стояли на углах, зябли, иногда отчаянно махали крест-накрест руками, несмело окликали проходящего офицера: «Ваше благородие! На резвой?» Галки, чуя, что все-таки скоро весна, болтали нервно, оживленно, но вороны каркали еще жестко, круто.

Разлука казалась особенно ужасна по ночам. Просыпаясь среди ночи, я поражался: как теперь жить и зачем жить? Ужели это я, – тот, кто почему-то лежит в темноте этой бессмысленной ночи, в каком-то губернском городе, населенном тысячами чужих людей, в этом номере с узким окном, всю ночь сереющим каким-то длинным немым дьяволом! Во всем городе единственно близкий человек – Авилова. Но точно ли близкий? Двойственная и неловкая близость...

Теперь я приходил в редакцию поздно. Авилова, из приемной увидав меня в прихожей, радостно улыбалась, – она опять стала мила, ласкова, оставила усмешки надо мною, я неизменно видел теперь ее ровную любовь ко мне, постоянное внимание, заботливость, часто проводил целые вечера с ней вдвоем, – она подолгу играла для меня, а я полулежал на диване, все закрывая глаза от подступающих слез музыкального счастья и всегда особенно обостряющейся вместе с ним любовной боли и всепрощающей нежности. Войдя в приемную, я целовал ее маленькую крепкую руку и шел в комнату для постоянных сотрудников. Там курил передовик, глупый, задумчивый человек, высланный в Орел под надзор полиции, довольно странный с виду: просто-народно-бородатый, в бурой сермяжной поддевке и смазных сапогах, вонявших очень крепко и приятно, притом левша: половины правой руки у него не было, остатком ее, скрытым в рукаве, он прижимал к столу лист бумаги, а левой писал: долго сидит, думает, густо курит, а там вдруг прижмет лист покрепче и застрочит, застрочит, – сильно, быстро, с обезьяньей ловкостью. Потом приходил коротконогий старичок в изумленных очках, иностранный обозреватель; в прихожей он снимал казакинчик на заячем меху и финскую шапку с наушниками, после чего, в своих сапожках, шароварчиках и фланелевой блузе, подпоясанной ремешком, оказывался таким маленьким и щуплым, точно ему было десять лет; густые серо-седые волосы его торчали очень грозно, высоко и в разные стороны, делали его похожим на дикообраза; грозны были и его изумленные очки; он приходил всегда с двумя коробками в руках, коробкой гильз и коробкой табаку, и за работой все время набивал папиросы: привычно глядя в столичную газету, накладывал, наминал в машинку, в ее медную створчатую трубочку, светлого волокнистого табаку, рассеянно нашаривал гильзу, ручку машинки втыкал себе в грудь, в мягкую блузу, а трубочку – в папиросную дудку гильзы и ловко стрелял на стол. Потом заходили метранпаж, корректор. Метранпаж входил спокойно, независимо; он был удивителен по своей вежливости, молчаливости и непроницаемости; был необыкновенно худ и сух, по-цыгански черен волосом, лицом оливково-зелен, с черными усиками и гробовыми пепельными губами, одет всегда с крайней аккуратностью и чистоплотностью: черные брючки, синяя блуза, большой крахмальный воротник, лежавший поверх ее ворота, – все блистало чистотой, новизной; я иногда разговаривал с ним в типографии: тогда он нарушал свою молчаливость, ровно и пристально смотрел мне в глаза своими темными глазами и говорил, как заведенный, не повышая голоса и всегда одно и то же: о несправедливости, царящей в мире, – всюду, везде, во всем. Корректор заходил то и дело – постоянно чего-нибудь не понимал или не одобрял в той статье, которую правил, просил у автора статьи то разъяснения, то изменения: «тут, простите, что-то не совсем ловко сказано»; был толст, неуклюж, с мелко-кудрявыми и как бы слегка мокрыми волосами, горбился от нервности и страха, что все

видят, как он тяжело пьян, наклонился к тому, у кого просил разъяснения, затаивая алкогольное дыхание, издали указывая на непонятную ему или неудачную по его мнению строку трясущейся и блестящей, распухшей рукой. – Сидя в этой комнате, я рассеянно правил разные чужие рукописи, а больше всего просто смотрел в окно и думал: как и что писать мне самому?

Теперь у меня было еще одно тайное страдание, еще одна горькая «неосуществимость». Я опять стал кое-что писать, – теперь больше в прозе, – и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания – какое это редкое счастье – и какой душевный труд! И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с «неосуществимостью», в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследование его, в непрерывное думанье о нем.

К полудню приходила почта. Я выходил в приемную, опять видел красиво и заботливо убранную, неизменно склоненную к работе голову Авиловой и все то милое, что было в мягком лоске ее шагреновой туфельки, стоящей под столом, в меховой накидке на ее плечах, на которой тоже лоснился отблеск серого зимнего дня, зимнего окна, за которым серело воронье снежное небо. Я выбирал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал ее...

Новый рассказ Чехова! В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, – даже начала не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось. В приемной появлялось и сменялось между тем все больше народу: приходили заказчики объявлений, приходило множество самых разнообразных людей, которые тоже были одержимы похотью писательства: тут можно было видеть благообразного старика в пуховом шарфе и пуховых варежках, принесшего целую кипу дешевой. бумаги большого формата, на которой стояло заглавие: «Песни и думы», выведенное со всем канцелярским блеском времен гусиных перьев, молоденького, алого от смущения офицера, который передавал свою рукопись с короткой и вежливо-четкой просьбой просмотреть ее и при печатании ни в коем случае не обнаруживать его настоящей фамилии, – «поставить лишь инициалы, если это допустимо по правилам редакции», за офицером – потного от волнения и шубы пожилого священника, желавшего напечатать под псевдонимом Spectator свои «Деревенские картинки», за священником – уездного судебного деятеля...

Деятель был человек необыкновенно аккуратный, он до странности неторопливо снимал в прихожей новые калоши, новые перчатки на меху, новое хорьковое пальто, новую боярскую шапку и оказывался на редкость худ, высок, зубаст и чист, чуть не полчаса вытирал усы белоснежным носовым платком, меж тем как я жадно следил за каждым его движением, упиваясь своей писательской проницательностью: – Да, да, он непременно должен быть так чист, аккуратен, нетороплив, заботлив о себе, раз он редкозуб и с густыми усами... раз у него уже лысеет этот яблоком выпуклый лоб, ярко блестят глаза, горят чахоточные пятна на скулах, велики и плоски ступни, велики и плоски руки с крупными, круглыми ногтями!

К завтраку нянька приводила с гулянья мальчика. Авилова выбегала в прихожую, ловко присаживалась на корточки, снимала с него белую барашковую шапочку, расстегивала синюю, на белом барашке, поддевичку, целовала в свежее, раскрасневшееся личико, а он рассеянно глядел куда-то в сторону, думал что-то свое, далекое, безучастно позволяя раздевать и целовать себя, – и я ловил себя на зависти ко всему этому: к блаженной бессмысленности мальчика, к материнскому счастью Авиловой, к старческой тишине няньки. Я уже завидовал всем, у кого жизнь наполнена готовыми делами и заботами, а не ожиданием, не выдумываньем чего-то для какого-то самого странного из всех человеческих дел, называемого писанием, завидовал всякому, кто имеет в жизни простое, точное, определенное дело, исполнив которое нынче, он мог быть совершенно спокоен и свободен до завтра.

После завтрака я уходил. На город густо валил дремотными хлопьями тот великопостный снег, что всегда обманывает своей нежной, особенно белой белизной, будто уж совсем близка весна. По снегу мимо меня бесшумно летел беззаботный, только что, должно быть, где-нибудь на скорую руку выпивший, как бы весь готовый к чему-то хорошему, ладному, извозчик... Что, казалось бы, обыкновенное? Но теперь меня все ранило – чуть не всякое мимолетное впечатление – и, ранив, мгновенно рождало порыв не дать ему, этому впечатлению, пропасть даром, исчезнуть бесследно, – молнию корыстного стремления тотчас же захватить его в свою собствен-

ность и что-то извлечь из него. Вот он мелькнул, этот извозчик, и все, чем и как он мелькнул, резко мелькнуло и в моей душе и, оставшись в ней каким-то странным подобием мелькнувшего, как еще долго и тщетно томит ее! Дальше – богатый подъезд, возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты, видны как бы сальные шины больших задних колес, погруженных в старый снег, мягко засыпаемый новым, – я иду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах толстоплечего, по-детски подпоясанного под мышки кучера в толстой, как подушка, бархатной конфедератке, вдруг вижу: за стеклянной дверцей кареты, в ее атласной бонбоньерке, сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь, какая-то премилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант. И опять, точно молния, радость: ах, не забыть – настоящий бант!

Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому не нужна! Старый, заброшенный дом, огромные голые сенцы, холодная лестница во второй этаж, обитая по войлоку рваной клеенкой дверь. Три сверху до низу установленных истрепанными, лохматыми книгами залы. Длинный прилавок, конторка, маленькая, плоскогрудая, неприветливо-тихая заведующая в чем-то черненьком, постном, с худыми, бледными руками, с чернильным пятном на третьем пальце, и запущенный отрок в серой блузе, с мягкой, давно не стриженной мышиной головой, исполняющий ее приказания... Я проходил в «кабинет для чтения», круглую, пахнущую угаром комнату с круглым столом по середине, на котором лежали «Епархиальные Ведомости», «Русский Паломник»... За столом сидел, гнул, как-то затаенно перелистывал страницы толстой книги один неизменный читатель – тощий юноша, гимназист в короткой изношенной шинели, все время осторожно подтиравший нос комочком платка... Кому еще было тут сидеть, кроме нас двоих, одинаково удивительных по своему одиночеству во всем городе и по тому, что оба читали? Гимназист читал нечто для гимназиста совершенно дикое – о «Сошном письме». Да и на меня не раз глядела заведующая с недоумением: я спрашивал «Северную Пчелу», «Московский Вестник», «Полярную Звезду», «Северные Цветы», «Современник» Пушкина... Брал, впрочем, и новое – всякие «Биографии замечательных людей»: все затем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми... «Замечательные люди!» Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей, а сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечные! Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарка... Шекспир, Байрон, Шелли, Гете... Расин, Мольер... Все тот же «Дон-Кихот», все та же «Манон Леско»... В этой комнате я, помню, впервые прочел Радищева – с большим восхищением. «Я взглянул окрест – душа моя страданиями человечества уязвлена стала!»

Выйдя под вечер из библиотеки, я тихо шел по темнеющим улицам. Там и сям падал медленный звон. Томимый грустью и о себе, и о ней, и о далеком родном доме, я заходил в церковь. Тут тоже было что-то никому не нужное. Пусто, сумрак, огоньки редких свечей, несколько старух, стариков. За свечной кассой стоит церковный староста, неподвижный, истовый, с мужицким прямым рядом в серых волосах, поводит глазами с торговой строгостью. Сторож еле таскает разбитые ноги, в одном месте поправляя наклонившуюся и слишком жарко тающую свечу, в другом дуя на догорающую, распространяя запах гари и воска, потом тиская ее в старческом кулаке в один восковой комок с прочими огарками, – и видно, как глубоко надоело ему все это наше непонятное земное существование и все таинства его: крещения, причастия, венчания, похороны и все праздники, все посты, из году в год идущие вечной чередой. Священник в одной рясе, без ризы непривычно тонкий, по-домашнему и по-женски простоволосый, стоит лицом к закрытым царским вратам, глубоко поклоняется им, так что отвисает, отделяется от груди епитрахиль, и со вздохом возвышает голос, отдающийся в грустном, покаянном сумраке, в печальной пустоте: «Господи, Владыко живота моего...»

Тихо выйдя из церкви, я опять вдыхал предвесенний зимний воздух, видел сизые сумерки. Низко, с притворным смирением, клонил передо мной густую седую голову нищий, приготовив ковшиком ладонь, когда же ловил и зажимал пятак, взглядывал и вдруг поражал: жидкобирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос – тройной, состоящий из трех крупных, бугристых и пористых клубник... Ах, как опять мучительно-радостно: тройной клубничный нос!

Я шел вниз по Волховской, глядя в темнеющее небо – в небе мучили очертания крыш старых домов, непонятная успокаивающая прелесть этих очертаний. Старый человеческий кров –

кто об этом писал? Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно... Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы «бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!» Я ускорял шаги, спускался к Орлику. Вечер уже переходил в ночь, газовый фонарь на мосту горел уже ярко, под фонарем гнулся, запустив руки подмышки, по-собачьи глядел на меня, по-собачьи весь дрожал крупной дрожью и деревянно бормотал: «ваше сиятельство!» стоявший прямо на снегу босыми красными лапами золоторотец в одной рваной ситцевой рубашке и коротких розовых подштанниках, с опухшим угреватым лицом, с мутно-льдыстыми глазками. Я быстро, как вор, хватал и затаивал его в себе, совал ему за это целый гривенник... Ужасна жизнь! Но точно ли «ужасна»? Может, она что-то совершенно другое, чем «ужас»? Вот я на-днях сунул пятак такому же босяку и наивно воскликнул: «Это все-таки ужасно, что вы так живете!» – и нужно было видеть, с какой неожиданной дерзостью, твердостью и злобой на мою глупость хрипло крикнул он мне в ответ: «Ровно ничего ужасного, молодой человек!» – А за мостом, в нижнем этаже большого дома, ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешанная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешенной сверху до низу. «Социальные контрасты!» думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины... На Московской я заходил в извозничью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь – только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!

XII

Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота, уездная ночная глушь. И вот я мысленно видел какой-то уездный городишко, неведомый, несуществующий, только вообразившийся мне, но так, точно вся моя жизнь прошла в нем. Видел широкие, занесенные снегом улицы, чернеющие в снегу хибарки, красный огонек в одной из них... И с восторгом твердил себе: да, да, вот так и написать, всего три слова: снега, хибарка и лампада в ней... больше ничего! – Полевой зимний ветер уже доносил крики паровозов, их шипение и этот сладкий, до глубины души волнующий чувством дали, простора запах каменного угля. Навстречу, чернея, неслись извозчики с седоками – уже пришел московский почтовый? И точно – буфетная зала жарка от народа, огней, запахов кухни, самовара, носятся, развевая фалды фраков, татары-лакеи, все кривоногие, темноликие, широкоскулые, с лошадиными глазами, с круглыми, как ядра, стриженными сизыми головами... За общим столом – целое купеческое общество, едят холодную осетрину с хреном скопцы: большие и тугие бабьи лица цвета шафрана, узкие глаза, лисьи шубы...

В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование, – и вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, тянусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворинских книг. Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней, по той, с кем бы я мог быть так несказанно счастлив в пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию. Как хорошо всегда это смешение – сердечная боль и быстрота! Сидя в санках, вместе с ними ныряя и стучаясь из ухаба в ухаб, поднимаю голову – ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькает, бежит, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему! Тучи идут, открывают его, опять заволакивают – ему все равно, нет никакого дела до них! Я до боли держу голову закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из туч: какое оно? Белая маска мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Так и скажу где-нибудь! В прихожей наталкиваюсь на удивленную Авилову: «Ах, как кстати! Едем на концерт!» На ней что-то черно-кружевное, очень красивое, сделавшее ее еще меньше, стройней, открывающее плечи, руки и нежное начало груди, она причесана у парикмахера, слегка напудрена, отчего глаза кажутся ярче, темней. Я одеваю ее шубкой, с трудом удер-

живаясь, чтобы вдруг не поцеловать это столь близкое голое тело, подвитые пахучие волосы... На эстраде блещущей всеми люстрами залы Дворянского собрания – столичные знаменитости: красавица певица и огромный брюнет певец, поражающий, как все певцы, удивительным здоровьем, грубо-великолепной силой молодого жеребца. Он, блистая лаковыми туфлями на больших ступнях, удивительно сшитым фраком, белой грудью и белым галстуком, вызывая и героически гремит отвагой, мужественностью, угрожающей требовательностью. Она, то расходясь, то сливаясь с ним, поспешно отвечает ему, перебивает его нежными упреками, жалобами, страстной печалью и восторженной радостью, торопливо-блаженными, хохочущими фиоритурами...

XIII

Часто я вскакивал чем свет. Взглянув на часы, видел, что еще нет семи. Страстно хотелось опять завернуться в одеяло и еще полежать в тепле; в комнате холодно серело, в тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее – как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорный, стучает по пуговицам. Но охватывал такой страх опять даром истратить день, охватывало такое нетерпение как можно скорей – и нынче уже как следует! – засесть за стол, что я кидался к звонку, настойчиво гнал по коридору его зовущее дребезжание. Как все чуждо, противно – эта гостиница, этот грязный коридорный, шаркающий где-то там щеткой, убогий жестяной умывальник, из которого косо бьет в лицо ледяная струя! Как жалка моя молодая худоба в жиденькой ночной рубашке, как застыл голубь, комком сжавшийся за стеклами на зернистом снегу подоконника! Сердце вдруг загоралось радостной, дерзкой решимостью: нет, нынче же вон, назад, в Батуристине, в родной, прелестный дом! Однако, наспех выпив чаю, кое-как прибрав несколько книжечек, лежавших на нищем столике, приставленном возле умывальника к двери в другой номер, где жила какая-то поблекшая, печально-красивая женщина с восьмилетним ребенком, я весь погружался в свое обычное утреннее занятие: в приготовление себя к писанию – в напряженный разбор того, что есть во мне, в выискивание внутри себя чего-то такого, что вот-вот, казалось, определится, во что-то образуется... ждал этой минуты – и уже чувствовал страх, что опять, опять дело кончится только ожиданием, все растущим волнением, холодеющими руками, а там полным отчаянием и бегством куда-нибудь в город, в редакцию. В голове уже опять путалось, шло что-то мучительное по своей произвольности, беспорядочности, по множеству самых разнородных чувств, мыслей, представлений... Основное было всегда свое, личное, – разве и впрямь занимали меня тогда другие люди, как бы напряженно ни следил я за ними? Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе? Но как? Вроде «Детства, отрочества»? Или еще проще? «Я родился там-то и тогда-то...» Но, Боже, как это сухо, ничтожно – и не верно! Я ведь чувствую совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то, называемое солнцем, потом земля... Но что это такое? Что я знаю обо всем этом, кроме пустых слов? Земля была сперва газообразной, светящейся массой... Потом, через миллионы лет, этот газ стал жидкостью, потом жидкость отвердела, и с тех пор прошло еще будто бы два миллиона лет, появились на земле одноклеточные: водоросли, инфузории... А там – беспозвоночные: черви, моллюски... А там амфибии... А за амфибиями – гигантские пресмыкающиеся... А там какой-то пещерный человек и открытие им огня... Дальше какая-то Халдея, Ассирия, какой-то Египет, будто бы все только воздвигавший пирамиды да бальзамировавший мумии... Какой-то Артаксеркс, приказавший бичевать Геллеспонт... Перикл и Аспазия, битва при Фермопилах, Марафонская битва... Впрочем, задолго до всего этого были еще те легендарные дни, когда Авраам встал со стадами своими и пошел в землю обетованную... «Верую Авраам повиновался призыванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет...» Да, не зная! Вот так же, как и я! «Верую повиновался призыванию...» Верой во что? В любовную благодать Божьего веления. «И пошел, не зная, куда...» Нет, зная: к какому-то счастью, то есть, к тому, что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви-жизнь...

Так ведь и я жил всегда – только тем, что вызывало любовь, радость...

За дверью возле столика уже слышались голоса, женский и детский, стучала педаль умывальника, плескалась вода, заваривался чай, начинались уговоры: «Костенька, кушай же булочку!» Я вставал и принимался ходить по комнате. Вот еще этот Костенька... Мать, напоив его ча-

ем, уходила куда-то до полудня. Возвратясь, что-то готовила на керосинке, кормила его и опять уходила. И что это было за мучение – смотреть, как этот Костенька, ставший каким-то общим номерным ребенком, весь день шатается по номерам, заглядывает то к одному, то к другому жильцу, если тот сидит дома, что-то несмело говорит, порой старается подольститься, сказать что-нибудь угодливое, а его никто не слушает, иные даже гонят скороговоркою: «Ну, иди, иди, братец, не мешай, пожалуйста!» В одном номере жила маленькая и старенькая дама, очень серьезная, очень приличная, считавшая себя выше всех прочих жильцов, всегда проходившая по коридору не глядя ни на кого из встречающих, часто, даже слишком часто запиравшаяся в уборной и потом шумевшая в ней водой. Дама эта имела крупного, широкоспинного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вылупленными стеклянно-крыжевыми глазами, с развратно переломленным носом, с чванной, презрительно-выдвинутой нижней челюстью и прикусенным между двумя клыками жабым языком. У него обычно было одно и то же выражение морды – ничего не выражающее, кроме внимательной наглости, – однако, он был до крайности нервен. И вот, если Костенька, кем-нибудь удаленный из номера, попадался в коридоре этому мопсу, тотчас же слышно было, как мопса схватывает за горло злое удушье, клекотанье, хрип, быстро переходивший в негодующее бешенство и разрешавшийся громким и свирепым лаем, от которого Костенька закатывался истерическим воплем...

Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности, пронзительной сложностью. Теперь мне хотелось что-то сказать уже о Костеньке и еще о чем-то в этом роде. Вот, например, на подворье Никулиной однажды с неделю жила, работала швея, пожилая мещанка, что-то все кроила на столе, заваленном обрезками, потом прилаживала сметанное в швейную машину и начинала стрекотать, строчить... Чего стоит одно то, как она, когда кроила, всячески кривила свой крупный сухой рот, следуя ходу, изгибам ножниц, как она наслаждалась за самоваром чаем, все стараясь сказать что-нибудь приятное Никулиной, как она, притворно-оживленно заговаривая ее, тянула – будто бы бессознательно – свою крупную, рабочую руку к корзиночке с ломтями белого хлеба и косилась на граненую вазочку с вареньем! А хромоножка на костылях, что встретил я на-днях на Карачевской? Все хромые, горбатые ходят вызывающе, заносчиво. Эта скромно ныряла навстречу мне, держа черные палки костылей в обеих руках, при нырянье равномерно упираясь в них и вскидывая плечи, под которыми торчали черные рогульки, и пристально смотрела на меня... шубка коротенькая, как у девочки, глаза умные, ясные, чистые, темно-карие и тоже как у девочки, а меж тем все уже знающие в жизни, в ее печалих и загадочности... Как прекрасны бывают некоторые несчастные люди, их лица, глаза, из которых так и смотрит вся их душа!

Потом я опять пытался погрузиться в обдумывание того, с чего надо начать писать свою жизнь. Да, с чего! Все-таки надо же прежде всего сказать, если уж не о вселенной, в которой я появился в ее известный миг, то хотя бы о России: дать понять читателю, к какой стране я принадлежу, в итоге какой жизни я появился на свет. Однако, что же я знаю и об этом? Родовой быт славян, раздоры славянских родов... Славяне отличались высоким ростом, русыми волосами, храбростью, гостеприимством, боготворили солнце, гром и молнию, почитали леших, русалок, водяных, «вообще силы и явления природы»... Что еще? Призвание князей, Царьградские послы у князя Владимира, свержение Перуна в Днепр при общем народном плаче... Ярослав Мудрый, уособицы его сыновей и внуков... какой-то Всеволод Большое Гнездо... Но мало того, – я ровно ничего не знаю даже о теперешней России! Ну, да, разоряющиеся помещики, голодающие мужики, земские начальники, жандармы, полицейские, сельские священники, непременно, по словам писателей, обремененные многочисленным семейством... А дальше что? Вот Орел, один из самых коренных русских городов, – хоть бы его-то жизнь, его людей узнать, а что же я узнал?

Улицы, извозчики, разъезженный снег, магазины, вывески, – все вывески, вывески... Архиерей, губернатор... гигант, красавец и зверь пристав Рашевский... Еще Палицын: слава Орла, один из столпов его, один из тех зубров-чудаков, которыми искони славится Россия: стар, родovit, друг Аксакова, Лескова, живет в чем-то вроде древнерусских палат, бревенчатые стены которых покрыты редкими древними иконами, ходит в каком-то широком кафтане, расшитом разноцветными сафьянами, стрижется в скобку, туголик, узкоглаз, очень остер умом, начитан, по слухам, удивительно... Что еще знаю я об этом Палицыне? Ровно ничего!

Но тут меня охватывало возмущение: да почему я обязан что-то и кого-то знать с совершенной полнотой, а не писать так, как знаю и как чувствую! Я опять вскакивал и принимался

ходить, радуясь своему возмущению, хватаясь за него, как за спасение... И неожиданно видел Святогорский монастырь, где был прошлой весной, разноплеменный стан богомольцев возле его стен на берегу Донца, послушника, за которым гонялся по двору монастыря, напрасно домогаясь, чтобы он устроил меня где-нибудь на ночь, то, как он, пожимая плечами, бежал от меня и весь набегу развевался, – руки, ноги, волосы, полы подрясника, – и какая у него была тонкая, гибкая талия, юношеское, все в веснушках, лицо, испуганные зеленые глаза и совершенно необыкновенная пышность, взбитость легких, тонких, каждым волоском выющихся светло-золотых волос... Потом видел эти весенние дни, когда я, казалось, без конца плыл по Днепру... Потом рассвет где-то в степи... то, как я проснулся на жесткой вагонной лавке, весь закованный от этой жесткости и утреннего холода, увидел, что за белыми от пота стеклами ничего не видно, – совершенно неизвестно, где идет поезд! – и почувствовал, что это-то и восхитительно, эта неизвестность... с утренней резкостью чувств вскочил, открыл окно, облокотился на него: белое утро, белый сплошной туман, пахнет весенним утром и туманом, от быстрого бега вагона бьет по рукам, по лицу точно мокрым бельем...

XIV

И вот однажды случилось так, что почему-то проспал я свой положенный срок. А проснувшись, остался лежать, как лежал, глядя напротив, в окно, на ровный белый свет зимнего дня и чувствуя редкое спокойствие, редкую трезвость ума и души и какую-то малость, простоту всего окружающего. Я долго лежал так, чувствуя, как легка мне комната, – насколько она меньше меня, ничем и никак не связана со мной. Потом встал, умылся и оделся, привычно покрестился на образок, висевший над изголовьем моей дешевенькой железной кровати, – тот самый, что, как это ни удивительно, и теперь висит в моей спальне: темно-оливковая, гладкая, окаменевшая от времени дощечка в серебряном грубом окладе, означающем своими выпуклостями трех сидящих за трапезой Авраама ангелов, восточно-дикие, запеченные лики которых коричнево глядят из его округлых дыр, – наследие рода моей матери, ее благословение мне на жизненный путь, на исход в мир из того подобия иночества, которым было мое детство, отрочество, время первых юных лет, вся та глухая, сокровенная пора моего земного существования, что кажется мне теперь совсем особой порой его, заповедной, сказочной, давностью времени преображенной как бы в некое отдельное, даже мне самому чужое бытие... Покрестившись на образок, я пошел за покупкой, которую выдумал лежа. По дороге вспомнил сон, который видел в эту ночь: была масляница, я опять жил у Ростовцевых, сидел с отцом в цирке, глядел на арену, на которую бежало целое маленькое стадо черных пони, целых шесть штук... они были нарядно подседланы маленькими медными седелками с бубенчиками и очень круто взнузданы, – красные бархатные поводья уздечек были так натянуты к седелкам, что они в дугу гнули толстые короткие шеи, на которых черной щеткой торчали коротко подстриженные гривки, – а из челок торчали у них красные султаны... они бежали дружно, ровным рядом, мелкой рысцей, звеня бубенчиками, зло, упрямо согнув черные головы, – все масть в масть, рост в рост, все одинаково бокастые, коротконогие, – и, выбежав, вдруг уперлись, грызя удила и тряся султанами... директор во фраке долго вскрикивал, долго стрелял бичем, пока наконец заставил их упасть на колени и закланяться публике, после чего вдруг заскакавшая обрадованным галопом музыка быстро понесла, погнала их вереницу вдоль круга арены, точно преследуя... Я сходил в писчебумажный магазин, купил толстую тетрадь в черной клеенке. Возвратясь, стал пить чай, думая: «Да, довольно. Буду только читать да иногда, без всяких притязаний, кое-что вкратце записывать – всякие мысли, чувства, наблюдения...» И, обмакнув перо, старательно и четко вывел: – Алексей Арсеньев. Записи.

Потом долго сидел, думая, что бы записать, накурив всю комнату, но не мучился, был только грустен и тих. Наконец стал записывать: – В редакцию заходил известный толстовец, князь Н., просил напечатать его отчет по сбору и расходам на тульских голодающих. Небольшой, довольно полный. Какие-то мягкие, вроде кавказских, сапоги, каракулевая шапка, пальто с каракулевым воротником, – все старое, вытертое, но дорогое и чистое, – мягкая серая блуза, подпоясанная ремешком, под которым круглится живот, и золотое пенснэ. Держался очень скромно, но мне было очень неприятно его благообразное, холеное, молочное лицо и холодные глаза. Я сразу его возненавидел. Я, конечно, не толстовец. Но все-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу

только то, что мешает этому. – Недавно я шел вверх по Волховской, и была такая картина: закат, морозит, расчищается западное небо, и оттуда, из этого зеленого, прозрачного и холодного неба озаряет весь город светлый вечерний свет, непонятную тоску которого невозможно выразить; а на тротуаре стоит оборванный, синий от холода старик-шарманщик и оглашает этот морозный вечер звуками своей дряхлой шарманки, ее флейтовыми свистами, переливами, хрипами и вырывающейся из этих свистов и хрипов романтической мелодией, какой-то дальней, чужеземной, старинной, которая тоже мучит душу – какими-то мечтами и сожалениями о чем-то... – Я везде испытываю тоску или страх. У меня до сих пор стоит перед глазами то, что я видел недели две тому назад. Это было тоже вечером, только темным и пасмурным. Я случайно зашел в одну небольшую церковь, увидел огоньки, которые горели в темноте возле амвона очень низко от полу, подошел – и замер: три восковых свечи, прилепленные к изголовью детского гробика, печально и слабо освещали этот розовый, с бумажными кружевными краями гробик, и смуглого крутого ребенка, лежавшего в нем.

Совсем было бы похоже, что он спит, если бы не что-то фарфоровое в личике, что-то сиреневое в выпуклых закрытых веках и в треугольнике ротика, если бы не та бесконечно-спокойная, вечная отчужденность от всего в мире, с которой он лежал! – Я написал и напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно: один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею, другой на пошлую тему о помещичьем разорении и тоже с выдумкой, между тем как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р., и еще про неподвижное чучело ястреба, которое стоит у него в кабинете на шкапе и вечно, вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестро-коричневые крылья. Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность. Бедные поля, бедные остатки какой-нибудь усадьбы, сада, дворни, лошадей, охотничьих собак, старики и старухи, то есть «старые господа», которые ютятся в задних комнатах, уступив передние молодым, – все это грустно, трогательно. И еще сказать, каковы эти «молодые господа»: они неучи, бездельники, нищие, все еще думающие, что они голубая кровь, единственное высшее, благородное сословие. Дворянские картузы, косоворотки, шаровары, сапоги... Когда собираются, сейчас выпивка, куренье, хвастовство. Водку пьют из старинных бокалов для шампанского, с хохотом заряжают холостыми зарядами ружья и стреляют в зажженные свечи, тушат их выстрелами. Некто П. из таких «молодых господ» совсем переселился из разоренной усадьбы на свою водяную мельницу, которая, конечно, давно не работает, живет там в избе с любовницей-бабой, у которой какой-то едва заметный нос. Спит с ней на нарах, на соломе, или «в саду», то есть под яблонкой возле избы. На суке яблонки висит кусочек разбитого зеркала, в котором отражаются белые облака. Со скуки сидит и все бросает камнями в мужицких уток, плавающих в затоне возле мельницы, и от каждого камня утки все сразу, всей стаей, с криком и страшным шумом кидаются по воде. – Наш бывший дворовый, слепой старик Герасим, ходил, как все слепые, приподняв лицо и как бы прислушиваясь, по наитию шупая палкой дорогу. Он жил в избе на краю деревни, бобылем, только с перепелом, который сидел в лубяной клетке и все бился в ней, подпрыгивал в крышку из холстины, облысел, ударяясь в нее изо дня в день. Каждую летнюю зорю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поля ловить перепелов, наслаждаться их переключкой, разносимой по полям теплым ветром, дующим в слепое лицо. Он говорил, что нет ничего на свете милей замиранья сердца в те минуты, когда перепел, все ближе подходя к сети, через известные промежутки времени бьет все горячее, все громче и все страшней для ловца. Вот был истинный, бескорыстный поэт!

XV

Идти завтракать в редакцию не хотелось. Я пошел в трактир на Московской. Там выпил несколько рюмок водки, закусывая селедкой; ее распластанная головка лежала на тарелке, я глядел и думал: «Это тоже надо записать – у селедки перламутровые щеки». Потом ел селянку на сковородке. Народу было немало, пахло блинами и жареными сметками, в низкой зале было чадно, белые половые бегали, танцую, выгибая спины и откидывая назад затылки, хозяин, во всем являвший собой образец тоже русского духа, внимательно косил за каждым из них глазами, картинно стоя за стойкой, играя давно усвоенную роль строгости и благочестия; между столиками, занятыми мещанами, тихо ходили в грубых башмаках с ушками и тихо кланялись низенькие

черные монашенки, похожие на галок, протягивали черные книжечки с галунным серебряным крестом на переплете, и мещане, хмурясь, выбирали из кошельков какие похуже копейки... Все это было как бы продолжением моего сна, я, слегка хмелея от водки, селянки и воспоминаний детства, чувствовал близость слез... Воротясь домой, лег и заснул. С грустью и раскаянием в чем-то очнувшись в сумерки, посмотрелся, причесываясь, в зеркало, с неудовольствием заметил излишнюю артистичность своих длинных волос и пошел в парикмахерскую. В парикмахерской сидел под белым балахоном кто-то низкорослый, с голым черепом, с торчащими ушами, – нетопырь, которому парикмахер удивительно густо и пышно намыливал верхнюю губу и щеки. Ловко сняв всю эту млечность бритвой, парикмахер опять немножко взмылил и опять снял, – на этот раз исподнизу, небрежными, короткими толчками, и нетопырь раскорякой привстал, потянул за собой балахон, наклонился, багрово покраснел и стал одной рукой придерживать его на груди, другой умываться. – Спрыснуть прикажете? – спросил парикмахер. – Вали, – сказал нетопырь.

И парикмахер зашипел душистым пульверизатором, легонько похлопал по мокрым щекам нетопыря салфеткой. – Пожалуйте-с, – сказал он четко, раскидывая балахон. И нетопырь встал и оказался довольно страшен: череп ушастый, большой, лицо худое и широкое, красно-сафьянное, глаза после бритья младенчески блестящи, дыра рта черна, а сам низок, плечист, туловище короткое, паучиное, ноги тонки и по-татарски кривы. Сунув парикмахеру на чай, он надел отличное черное пальто и котелок, закурил сигару и вышел. Парикмахер обратился ко мне: – Знаете, кто это? Первейший богач, купец Ермаков. Знаете, сколько он всегда дает на чай? Вот-с:

Он раскрыл ладонь и, весело смеясь, показал: – Ровно две копейки!

Потом я, по своему обыкновению, пошел бродить по улицам. Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь, – уже образовалась от одиночества, от грусти привычка к церквям. Там было тепло и грустно-празднично от блеска свечей, жарко горевших целыми пучками на высоких подсвечниках вокруг налоя, на налое лежал медный крест с фальшивыми рубинами, перед ним стояли священнослужители и умиленно-горестно пели: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...»

В сумраке возле входа стоял большой старик в длинной чуйке и кожаных калошах, грубый и крепкий, как старая лошадь, сурово (в назидание кому-то) гудел, подпевая. А в толпе возле налоя стоял странник, тепло освещенный спереди золотым восковым светом. Он был пещерно худ, склоненного лица его, иконописно тонкого и темного, почти не видно было за прядями длинных темных волос, первобытно, иночески и женски висевших вдоль щек; в левой руке он твердо держал высокий деревянный посох за долгие годы натертый до блеску, за плечами у него был черный кожаный мешок, он стоял одиноко, неподвижно, отрешенно от всех.

Я глядел, и опять слезы наворачивались мне на глаза – от неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства родины, России, всей ее темной древности. Кто-то сзади, снизу, легонько постучал мне по плечу свечкой: я обернулся – за мной гнулась старушка в салопчике и Большой шали, с одним добрым торчащим зубом:

«Кресту, батюшка!» Я с радостной покорностью взял свечку из ее холодной, мертвой ручки с синеватыми ноготками, шагнул к слепящему подсвечнику, неловко и стыдясь за свою неловкость, кое-как пристроил свечку к прочим и вдруг подумал: «Уеду!» И, отступив и поклонившись, скоро и осторожно пошел в сумрак к выходу, оставляя за собой милый и уютный свет и тепло церкви. На паперти встретила меня неприветливая темнота, ветер, гудевший где-то наверху... «Еду!» – сказал я себе, надевая шапку, решив ехать в Смоленск.

Почему в Смоленск? В мечтах были Брянские, «Брынские» леса, «брынские» разбойники... В каком-то переулке я зашел в кабак. В кабаке за одним столиком кричал, роняя голову, притворяясь пьяным, играя излюбленное русское – умиление над своей гибелью – какой-то гадкий малый: «Я ошибкой – роковою – как-то в каторгу попал!» На него брезгливо смотрел из-за другого столика кто-то с черными редкими усиками, с закинутой назад головой, – судя по длинной шее, по острому, крупному и подвижному кадыку, игравшему под тонкой кожей горла, вор. Возле стойки покачивалась длинная хмельная женщина в жидком, прилипшем к тощим ногам платье, видимо, прачка: она, доказывая сидельцу подлость кого-то, была по стойке стекловидно-блестящими, тонкими, состиранными пальцами; граненый стаканчик с водкой стоял перед ней, она порой брала его, держала и все не пила – опять ставила и опять говорила, стуча пальцами. Я хотел выпить пива, но прелый воздух в кабаке был слишком вонюч, лампочка горела слишком убого, с подоконников маленьких замерзших окон, с тряпок, гнивших там, текло...

У Авиловой, к несчастью, сидели в столовой гости. «— А-а! — сказала она. — Наш милый поэт! Вы не знакомы?» — Я поздоровался с ней, откланялся гостям. Рядом с Авиловой сидел старый, морщинистый господин с подстриженными усами, выкрашенными в коричневую краску, с коричневой накладкой на темени, в белом шелковом жилете, в черной визитке; быстро встав, он ответил мне чрезвычайно вежливым поклоном, с гибкостью удивительной для его возраста; борты визитки были у него обшиты черной тесьмой, что мне всегда очень нравилось, вызывало зависть и мечту о такой визитке. Середину стола занимала без умолку и очень умело говорившая дама, подавшая мне, точно тюленью ласту, крепко налитую ручку, на глянцевиной подушечке которой были видны зубчатые полосы, оставшиеся от швов перчатки. Она говорила ловко, поспешно, несколько задыхаясь: она была совсем без шеи, довольно толста, особенно сзади, возле подмышек, каменно кругла и тверда в талии, стянутой корсетом; на плечах у нее лежал дымчатый мех, запах которого, смешанный с запахом сладких духов, шерстяного платья и теплого тела, был очень душен.

В десять часов гости поднялись, налюбезничали и ушли.

Авилова засмеялась. — Ох, наконец-то! — сказала она. — Пойдем, посидим у меня. Здесь надо открыть форточку... Но, дорогой мой, что вы какой-то такой? — с ласковой укоризной сказала она, протягивая мне обе руки.

Я сжал их и ответил: — Я завтра уезжаю... Она взглянула испуганно: — Куда? — В Смоленск. — Зачем? — Как то не могу больше так жить... — А в Смоленске что? Но давайте сядем... Я ничего не понимаю...

Мы сели на диван, покрытый летним чехлом из полосатого тика. — Вот видите этот тик? — сказал я. — Вагонный. Я даже этого тика не могу видеть спокойно, тянет ехать.

Она уселась поглубже, ноги ее легли передо мной. — Но почему в Смоленск? — спросила она, глядя на меня недоумевающими глазами. — Потом в Витебск... в Полоцк... — Зачем? — Не знаю. Прежде всего — очень нравятся слова: Смоленск, Витебск, Полоцк... — Нет, без шуток? — Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? Смоленск вечно горел в старину, вечно его осаждали... Я даже что-то родственное чувствую к нему — там когда-то, при каком-то страшном пожаре, погорели какие-то древние грамоты нашего рода, отчего мы лишились каких-то больших наследных прав и родовых привилегий... — Час от часу не легче! Вы очень тоскуете? Она вам не пишет? — Нет. Но не в том дело. Вся эта орловская жизнь не по мне. «Знает олень ко-чующий пастбища свои...» И литературные дела совсем никуда. Сижу все утро и в голове такой вздор, точно я сумасшедший. А чем живу? Вот есть у нас в Батурине дочь лавочника, уже потеряла надежду выйти замуж и потому живет только острой и злой наблюдательностью. Так и я живу. — Какой еще ребенок! — сказала она ласково и пригладила мне волосы. — Быстро развиваются только низшие организмы, — ответил я. — А потом, кто не ребенок? Вот я раз ехал в Орел, со мной сидел член елецкого окружного суда, почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля... Долго сидел, читая «Новое Время», потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сени. За грохотом поезда он не слышал и не видал меня — и что же мне представилось? Он залихватски плясал, выделывал ногами самые отчаянные штуки в лад колесам.

Она, подняв на меня глаза, вдруг тихо, многозначительно спросила: — Хотите, поедem в Москву?

Что-то жутко содрогнулось во мне... Я покраснел, забормotal, отказываясь, благодарности... До сих пор вспоминаю эту минуту с болью большой потери.

XVI

Следующую ночь я проводил уже в вагоне, в голом купэ третьего класса. Был совсем один, даже немного боязно было. Слабый свет фонаря печально дрожал, качался по деревянным лавкам.

Я стоял возле черного окна, из невидимых отверстий которого остро и свежо дуло, и, загородив лицо от света руками, напряженно вглядывался в ночь, в леса. Тысячи красных пчел неслись, развевались там, иногда, вместе с зимней свежестью, пахло ладаном, горящими в паровозе дровами... О, как сказочно мрачна, строга, величава была эта лесная ночь! Бесконечная, узкая, глубокая просека лесного пути, великие, темные призраки вековых сосен, тесным, дремучим

строим шли вдоль него. Светлые четырехугольники окон косо бежали по белым сугробам у подножья леса, иногда мелькал телеграфный столб, – выше и дальше все тонуло во тьме и тайне.

Утром было внезапное, бодрое пробуждение: все светло, спокойно, поезд стоит – уже Смоленск, большой вокзал. Я выскочил из вагона, жадно глотнул чистого воздуха... У дверей вокзала толпился возле чего-то народ: я подбежал – это лежал убитый на охоте дикий кабан, грубый, огромный, могучий, зачоченевший и промерзший, страшно жесткий даже на вид, весь торчащий серыми длинными иглами густой щетины, пересыпанной сухим снегом, с свиными глазками, с двумя крепко закушенными белыми клыками. Остаться? – подумал я. – Нет, дальше, в Витебск!

В Витебск я приехал к вечеру. Вечер был морозный, светлый. Всюду было очень снежно, глухо и чисто, девственно, город показался мне древним и нерусским: высокие, в одно слитые дома с крутыми крышами, с небольшими окнами, с глубокими и грубыми полукруглыми воротами в нижних этажах. То и дело встречались старые евреи, в лапсердаках, в белых чулках, в башмаках, с пейсами, похожими на трубчатые, выющиеся бараньи рога, бескровные, с печально-вопросительными сплошь темными глазами. На главной улице было гулянье – медленно двигалась по тротуарам густая толпа полных девушек, наряженных с провинциальной еврейской пышностью в бархатные толстые шубки, лиловые, голубые и гранатовые. За ними, но скромно, отдельно шли молодые люди, все в котелках, но тоже с пейсами, с девичьей нежностью и округлостью восточно-конфетных лиц, с шелковистой юношеской опушкой вдоль щек, с томными антилопьиными взглядами... Я шел как очарованный в этой толпе, в этом столь древнем, как мне казалось, городе, во всей его чудной новизне для меня.

Темнело, я пришел на какую-то площадь, на которой возвышался желтый костел с двумя звонницами. Войдя в него, я увидел полумрак, ряды скамеек, впереди, на престоле, полукруг огоньков. И тотчас медлительно, задумчиво запел где-то надо мной орган, потек глухо и плавно, потом стал возвышаться, расти – резко, металлически... стал кругло дрожать, скрежетать, как бы вырываясь из-под чего-то глушившего его, потом вдруг вырвался и звонко разлился небесными песнопениями... Впереди, среди огоньков, то поднималось, то падало бормотание, гнусаво раздавались латинские возгласы. В сумраке, по обеим сторонам уходящих вперед толстых каменных колонн, терявшихся вверху в темноте, черными привидениями стояли на цоколях какие-то железные латники. В высоте над алтарем сумрачно умирало большое многоцветное окно...

XVII

В ту же ночь я уехал в Петербург. Выйдя из костела, пошел назад, на вокзал, к поезду в Полоцк: хотел поселиться там в какой-нибудь старой гостинице, пожить за чем-то некоторое время в полном одиночестве. Поезд на Полоцк отходил поздно. На вокзале было пусто и темно. Буфет освещала только сонная лампа на стойке, в стенных часах постукивало с такими оттяжками, точно само время было на исходе. Я целую вечность сидел один, в мертвой тишине. Когда наконец откуда-то запахло самоваром и вокзал стал оживать, освещаться, я поспешно, сам не понимая, что делаю, взял билет до Петербурга.

Там, на вокзале в Витебске, в этом бесконечном ожидании поезда на Полоцк, я испытал чувство своей страшной отделенности от всего окружающего, удивление, непонимание, – что это такое все то, что передо мной, и зачем, почему я среди всего этого? Тихий, полутемный буфет со стойкой и сонно горящей на ней лампой, сумрачное пространство станционной залы, ее длина и высота, стол, занимающий всю ее середину, убранный с обычной для всех станций казенностью, дремотный старик лакей с гнутой спиной и висящими, отстающими сзади фалдами, который, оседая на ноги, вытащил себя откуда-то из-за стойки, когда прямо запахло по буфету этим ночным вокзальным самоваром, и стал с недовольной старческой неловкостью взлезать на стулья возле стен и дрожащей рукой зажигать стенные лампы в матовых шарах... потом рослый жандарм, который, пренебрежительно гремя шпорами, прошел по буфету на платформу в длинной до пят шинели, своим разрезом сзади напоминающей хвост дорогого жеребца, – что это такое? зачем? почему? И как непохожа была ни на что та свежесть зимней ночи, снегов, которой пахнул жандарм со двора, выходя на платформу! Вот тут-то и очнулся я от оцепенения и вдруг решил почему-то ехать в Петербург.

В Полоцке шел зимний дождь, улицы были мокры, ничтожны. Я только заглянул в него между поездами, и рад был своему разочарованию. В дальнейшем пути записал: «Бесконечный

день. Бесконечные снежные и лесные пространства. За окнами все время вялая бледность неба и снегов. Поезд то вступает в лес, темнящий его своими чащами, то опять выходит на унылый простор снежных равнин, по далекому горизонту которых, над тушью лесов, грядой висит в низком небе что-то тускло-свинцовое. Станции все деревянные... Север, север!»

Петербург мне показался уже крайним севером. Извозчик мчал меня в сумрачной вьюге по необыкновенным для меня своей стройностью, высотой и одинаковостью улицам к Лиговке, к Николаевскому вокзалу. Был всего третий час, но круглые часы на казенной громаде вокзала уже светились сквозь вьюгу. Я остановился в двух шагах от него, в той стороне Лиговки, что идет вдоль канала. Тут было ужасно, – дровяные склады, извозчицьи постои, чайные, трактиры, портерные. В номерах, что посоветовал мне извозчик, я долго сидел, не раздеваясь, глядя с высоты шестого этажа в бесконечно грустное окно, в предвечернюю снежную муть, весь плывя от усталости, вагонной качки... Петербург! Я чувствовал это сильно: я в нем, весь окружен его темным и сложным, зловещим величием. В номере было натоплено и душно от запаха старых шерстяных драпри и такой же тахты, от крепкой вони чего-то того красноватого, чем натирают полы в плохих номерах.

Я вышел, сбежал вниз по крутой лестнице. На улице ударила в меня снежным холодом непроглядная вьюга, я поймал мелькнувшего в ней извозчика и полетел на Финляндский вокзал – испытать чувство границы. Там я быстро напился пьян – и вдруг послал ей телеграмму: – Буду послезавтра.

Огромная, людная, старая Москва встретила меня блеском солнечной оттепели, тающих сугробов, ручьев и луж, громом и звоном конок, шумной бестолочью идущих и едущих, удивительным количеством тяжело нагруженных товарами ломовых розвальней, грязной теснотой улиц, лубочной картинностью кремлевских стен, палат, дворцов, скученно сияющих среди них золотых соборных маковок. Я дивился на Василия Блаженного, ходил по соборам в Кремле, завтракал в знаменитом трактире Егорова в Охотном ряду. Там было чудесно: внизу довольно серо и шумно от торгового простонародья, зато наверху, в двух невысоких зальцах, чисто, тихо, пристойно, – даже курить не позволялось, – и очень уютно от солнца, глядевшего в теплые маленькие окна откуда-то с надворья, от заливавшейся в клетке канарейки; в углу мерцала белым огоньком лампада, на одной стене, занимая всю ее верхнюю половину, блестела смуглым лаком темная картина: чешуйчатая, кверху загнутая крыша, длинная терраса и на ней несоответственно большие фигуры пьющих чай китайцев, желтолицых, в золотых халатах, в зеленых колпаках, как на дешевых лампах... Вечером того же дня я уехал из Москвы...

В нашем городе уже ездили на колесах, на станции бушевал вольный азовский ветер. Она меня ждала на платформе, уже сухой, легкой. Ветер трепал ее весеннюю шляпку, не давал смотреть. Я увидел ее издали, – она растерянна, морщась от ветра, искала меня по идущим вагонам глазами. В ней было то трогательное, жалкое, что всегда так поражает нас в близком человеке после разлуки с ним. Она похудела, одета была скромно. Когда я выскочил из вагона, она хотела поднять с губ вуальку – и не могла, неловко поцеловала меня через нее, побледнев до мертвенности.

На извозчике она молча клонила голову навстречу ветру, – только несколько раз повторила горько и сухо: – Что ты со мной делал, что ты со мной делал!

Потом сказала, все также серьезно: – Ты в Дворянскую? Я поеду с тобой.

Войдя в номер, – он был во втором этаже, большой, с прихожей, – она села на диван, глядя, как коридорный глупо ставит мой чемодан на ковер посреди комнаты. Поставив, он спросил, не будет ли каких приказаний. – Ничего не надо, – сказала она за меня – Идите...

И стала снимать шляпку. – Что же ты все молчишь, ничего не скажешь мне? – безразлично сказала она, сдерживая дрожащие губы.

Я стал на колени, обнял ее ноги, целуя их сквозь юбку и плача. Она подняла мне голову – и я опять узнал, почувствовал ее знакомые, несказанно-сладостные губы и смертельно-блаженное замирание наших сердец. Я вскочил, повернул ключ в дверях, ледяными руками опустил на окна белые пузырьчатые занавески, – ветер качал за окнами черное весеннее дерево, на котором, как пьяный, мотался и тревожно орал грач... – Отец просит об одном, – тихо сказала она потом, лежа в оцепенении отдыха: – подождать венчаться хотя бы полгода. Подожди, все равно моя жизнь теперь только в тебе одном, делай со мной что хочешь.

Необожженные свечи стояли на подзеркальнике, матово белели неподвижно висящие занавески.

вески, разными странными фигурами глядело с мелового потолка какое-то лепное украшение.

XVIII

Мы уехали в тот малорусский город, куда переселился из Харькова брат Георгий, оба на работу по земской статистике, которой он там заведывал. Мы провели Страстную и Пасху в Батурине. Мать и сестра уже души не чаяли в ней, отец любовно говорил ей ты, сам давал по утрам целовать свою руку, – только брат Николай был сдержан, вежливо любезен. Она была тихо и растерянно счастлива, – новизной своей причастности к моей семье, к дому, к усадьбе, к моей комнате, где протекала моя юность, казавшаяся ей теперь прекрасной, трогательной, к моим книгам, которые она там рассматривала с несмелой радостью... Потом мы уехали.

Ночь до Орла. На рассвете пересадка в харьковский поезд.

В солнечное утро мы стоим в коридоре вагона возле жаркого окна. – Как странно, я никогда не была нигде, кроме Орла и Липецка! – говорит она. – Сейчас Курск? Это для меня уже юг. – Да. И для меня. – Мы будем в Курске завтракать? Знаешь, я еще никогда в жизни не завтракала на вокзале...

За Курском, чем дальше, тем все теплей, радостней. На откосе вдоль шпал уже густая трава, цветы, белые бабочки, в бабочках уже лето. – Жарко будет там летом! – с улыбкой говорит она. – Брат пишет, город весь в садах. – Да, Малороссия. Вот уж никогда не думала... Смотри, смотри, какие громадные тополя! И уж совсем зеленые! Зачем столько мельниц? – Ветряков, а не мельниц. Сейчас будут видны меловые горы, потом Белгород. – Я теперь понимаю тебя, я бы тоже никогда не могла жить на севере, без этого обилия света.

Я опускаю окно. Тепло дует солнечный ветер, паровозный дым южно пахнет каменным углем. Она прикрывает глаза, солнце горячими полосами ходит по ее лицу, по играющим возле лба темным молодым волосам, по простенькому ситцевому платью, ослепительно озаряя и нагревая его.

В долинах под Белгородом милая скромность празднично-цветущих вишневых садов, мелом белеющих хат. На вокзале в Белгороде ласковая скороговорка хохлушек, продающих бублики.

Она покупает и торгуется, довольная своей хозяйственностью, употреблением малорусских слов.

Вечером, в Харькове, мы опять меняем дорогу.

На рассвете подъезжаем.

Она спит. Свечи в вагоне догорают, в степи еще ночь, темный сумрак, но за ним далекий, низко и сокровенно зеленеющий восток. Как не похожа тут земля на нашу, – эта нагая, безграничная гладь с тугими серо-зелеными курганами! Мелькнул спящий полустанок, – ни куста ни деревца возле него, и сам он – каменный, голый, бело-синеватый в этом тайном рождении зари... Как одиноки тут станции!

Вот и в вагоне брезжит день. Сумрак внизу, по полу, но над ним уже полусвет. Она, во сне, спрятала голову в подушку, поджала ноги. Я осторожно прикрываю ее старинной шелковой шалью, подаренной ей моей матерью.

XIX

Станция была от города далеко, в широких долинах. Вокзал – небольшой, приятный. На вокзале – приветливые лакеи, ласковые носильщики, благосклонные извозчики на козлах домовитых тарантасов, запряженных парой в дышло.

Город, весь в густых садах, с гетманским собором на обрыве горы, глядел с нее на восток и на юг. В восточной долине отдельно стоял крутой холм с древним монастырем на вершине, дальше было зелено и пусто, долина переходила в степные скаты. В южной, за рекой, за ее веселыми лугами, взгляд терялся в солнечном блеске.

В городе многие улицы казались тесны от садов и тополей, рядами тянувшихся вдоль дощатых «пешеходов», на которых часто можно было встретить гордую грудастую девку в обтянутой по бедрам плахте, с тяжелым водоносом на сильном плече. Тополи были необыкновенны своей высотой и мощностью, восхищали нас; стоял май, много было гроз и ливней, и как блестяще

зеленели они своей крепкой листвой, как свежо и смолисто благоухали! – Весна тут была всегда яркая, веселая, лето знойное, осень ясная, долгая, зима мягкая, с влажными ветрами, санные извозчики ездили с бубенчиками, с их прелестным глухим бормотаньем.

Крупный, загорелый, с кругло стриженной седой головой старик Кованько, у которого мы поселились в одной из таких улиц, имел целое поместье: двор, флигель, дом и сад за домом. Сам он занимал флигель, а дом, беленый мелом и тенистый от сада сзади и большой стеклянной галереи по фасаду, сдавал нам. Он где-то служил, придя со службы, сытно обедал, отдыхал, а потом, полураздетый, сидел под раскрытым окном и все пел, покуривая «люльку»: «Ой, на горі та женці жнуть...»

Комнаты в доме были невысокие, простые; какой-то древний сундук под суровым рядом с цветной мережкой стоял в прихожей. Служила нам молоденькая казачка, в красоте которой было что-то ногайское.

Брат стал еще милей и добрей. Надежды мои оправдались – между ним и ею вскоре образовалась родственная и дружеская близость; во всех моих разговорах с ней или с ним они всегда были на стороне друг друга.

Круг наших сослуживцев и знакомых (врачей, адвокатов, земцев) был подобен харьковскому кругу брата, – я вошел в него легко, с удовольствием встретил в нем Леонтовича и Вагина, тоже переселившихся из Харькова. От харьковского этот круг отличался только тем, что состоял из людей более умеренных, живших почти совсем под стать городу, его миргородскому благополучию, дружелюбно встречавшихся не только с людьми из всякого другого городского общества, но даже с полицмейстером.

Чаще всего мы собирались в доме одного из членов управы: он был владелец пяти тысяч десятин земли и отары в десять тысяч голов, дом держал – для семьи – богатый, светский, сам же, маленький, скромный, бедно одетый, побывавший в свое время в Якутске, казался в нем жалким гостем.

XX

Во дворе был старый каменный колодец, перед флигелем росли две белые акации, возле крыльца дома, затеняя правую сторону стеклянной галереи, поднималась темная вершина каштана. Все это летним утром было часам к семи уже горячо, ярко, солнечно, однообразно оглашалось вопросительно-растерянными восклицаниями кур из курятника, но в доме, особенно в задних комнатах, выходивших окнами в сад, было еще прохладно, в спальне, где она плескалась, стоя в маленьких татарских туфлях, с зябко напрягшейся грудью, свежо пахло водой и туалетным мылом; она, стыдясь, повертывалась ко мне мокрым лицом, с намыленной сзади под волосами шеей, и топала каблучком:

«Уходи вон!» Потом из той комнаты, где окна выходили на галерею, пахло заваренным чаем, – там ходила, стучала подкованными башмаками казачка; она обувались на босу ногу, ее голые щиколотки, тонкие, как у породистой кобылки, восточно блестели из-под юбки; блестела и круглая шейка в янтарном ожерелье, черная головка была жива, чутка, так и сверкала раскосыми глазами, зад вилялся при каждом движении.

Брат выходил к чаю с папиросой в руке, с улыбкой и повадками отца; небольшой, полнеющий, он не был похож на него, но что-то от его барственных манер в нем сказывалось; он стал хорошо одеваться, как-то светски-вольно клал, садясь, ногу на ногу и так же держал папиросу; все когда-то были убеждены в его блестящей будущности, он и сам был в ней убежден, – теперь вполне довольствовался той ролью, которую играл в этом малорусском захолустье, и к чаю выходил с игрой в глазах: он чувствовал себя полным сил, здоровья, мы составляли его семью, очень ему милую, идти вместе с нами на службу, состоявшую, как и в Харькове, наполовину из куренья и разговоров, было для него ежедневным удовольствием. Когда выходила наконец и она, уже совсем готовая, одетая с летней веселостью, он весь сиял, целуя ее руку.

Мы шли вдоль дивных тополей, маслянисто блестящих под солнцем, по горячим доскам пешеходов, под жаркими стенами домов и нагретыми садами; ее раскрытый зонтик выпукло круглился светлым шелком в густой синеве. Потом мы переходили знойную площадь, входили в желтое здание управы. Там внизу пахло сапогами сторожей, тютюном, который они курили. По лестнице во второй этаж озабоченно ходили с бумагами в руках, по-хохлацки гнули головы вся-

кие письмоводители и делопроизводители в черных люстриновых пиджачках, племя хитрое и многоопытное при всей своей видимой простоватости. Мы проходили под лестницу в глубину первого этажа, в низкие комнаты нашего отделения, очень приятные от тех оживленных интеллигентски неряшливых лиц, что наполняли их... Странно было мне видеть ее в этих комнатах, за всякими опросными листами, которые она вкладывала в конверты для рассылки по уездам.

В полдень сторожа подавали нам чай в дешевых стаканах, дешевые блюдечки с ломтиками лимона, и казенность всего этого доставляла мне первое время тоже какую-то приятность. Тогда к нам сходились поболтать, покурить все наши друзья из других отделений. Приходил Сулима, секретарь управы. Это был красивый, несколько сутулый человек в золотых очках, с великолепной бархатно-блестящей чернотой волос и бороды; у него была мягкая, вкрадчивая поступь, вкрадчивая улыбка и такая же манера говорить; он улыбался постоянно и постоянно играл этой своей мягкостью, изяществом; он был большой эстет, монашество, что стоял на холме в долине, называл застывшим аккордом. Он приходил нередко и поглядывал на нее все блаженней и таинственней; подходя к ее столу, низко наклонялся к ее рукам, приподнимал очки и сладостно, тихо улыбался: «А теперь что вы рассылаете?» Она от этого вся подтягивалась и старалась ответить как можно любезнее, но и как можно проще. Я был вполне спокоен, я теперь ни к кому ее не ревновал.

На службе я невольно занял, как в редакции орловского «Голоса», какое-то особое положение, на меня, как на работника, смотрели ласково-насмешливо. Я сидел и не спеша подсчитывал, составлял сводки, сколько в такой-то волости такого-то уезда засеяно табаку, свекловицы, какие предпринимались там меры «по борьбе» с жучками, вредящими этой свекловице, иногда просто читал что-нибудь, не обращая внимания на разговоры вокруг. Меня радовало, что у меня есть свой стол и то, что я мог в любом количестве требовать из канцелярии новенькие перья, карандаши, отличную писчую бумагу.

В два часа служба кончалась; брат, улыбаясь, поднимался – «до дому, громада!» – все оживленно разбирали летние картузы и шляпы, толпой выходили на светлую площадь, трясли друг другу руки и, блестя чесучой и палками, расходились.

XXI

Часов до пяти в городе было пусто, сады пеклись под солнцем. Брат спал, мы просто валялись на ее широкой кровати. Солнце, обходя дом, уже блистало в окна спальни, заглядывало в них из сада, сад отражался своей светло-зеленой листвой в зеркале над умывальником. В этом городе учился Гоголь, весь окрестный край был его, – Миргород, Яновщина, Шишаки, Яреськи, – мы часто, смеясь, вспоминали: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» – Все-таки жарко! – говорила она, весело вздыхая и ложась навзничь. – И сколько у нас мух! А как это дальше, про огороды? – «Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами...» – Это как-то волшебное хорошо. Я ужасно хотела бы побывать в Миргороде. Непременно надо как-нибудь поехать. Правда? Пожалуйста, как-нибудь поедem! Только какой он был странный, неприятный в жизни. Никогда ни в кого не был влюблен, даже в молодости... – Да, за всю молодость единственный бессмысленный поступок – поездка в Любек. – Вроде твоей в Петербург... Отчего ты так любишь ездить? – А отчего ты любишь получать письма? – От кого ж я их теперь получаю! – Все равно любишь. Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного, мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим влечет и дорога. Потом воля, простор... новизна, которая всегда празднична, повышает чувство жизни, а ведь все мы только этого и хотим, ищем во всяком сильном чувстве. – Да, да, это правда. – Ты говоришь – Петербург. Если бы ты знала, какой это ужас и как я там сразу и навеки понял, что я человек до глубины души южный. Гоголь писал из Италии: «Петербург, снега, подлецы, департамент – все это мне снилось: я проснулся опять на родине». Вот и я так же проснулся тут. Не могу спокойно слышать слов: Чигирин, Черкасы, Хорол, Лубны, Чертомлык, Дикое Поле, не могу без волнения видеть очеретяных крыш, стриженных мужицких голов, баб в желтых и красных сапогах, даже лыковых кошелок, в которых они носят на коромыслах вишни и сливы. «Чайка скиглить, литаючи, мов за дитьми плаче, сонце гріє, витев віє на степу козачем...» Это Шевченко, – совершенно гениальный поэт! Прекраснее Малороссии нет страны в мире. И главное то, что у нее теперь уже нет истории, – ее историческая жизнь давно и навсегда

кончена. Есть только прошлое, песни, легенды о нем, – какая-то вневременность. Это меня восхищает больше всего. – Ты это часто говоришь – восхищает, восхищение. – Жизнь и должна быть восхищением... Солнце склонялось, густо лилось в открытые окна по крашеному полу, зеркальный отблеск играл на потолке. Подоконники горели все ярче, на них радостными кучками кипели мухи. Мухи кусали ее голые прохладные плечи. На подоконник вдруг садился воробей, зорко и бойко оглядывался и, вспорхнув, опять исчезал в светлой зелени сада, уже прозрачно сквозившей на предвечернем солнце. – Ну, скажи еще что-нибудь, – говорила она. – Скажи, а в Крым мы когда-нибудь поедem? Если бы ты знал, как я мечтаю! Ты б мог написать какую-нибудь повесть, – мне кажется, ты написал бы замечательно, – и вот у нас были бы деньги, мы бы взяли отпуск... Отчего ты бросил писать? Ты какой-то мот, расточитель своих способностей! – Были такие казаки, которые назывались «бродники», – от слова бродить. Вот, верно, и я бродник. «Одному Бог дает палаты, другому мосты да гати». Лучше всего у Гоголя его записная книжка: «Степная чайка с хохлом в виде скобки поднимается с дороги... Рубеж во всю дорогу, зеленый, с растущими на нем бодяками, и ничего за ним, кроме безграничной равнины... Подсолнечники над плетнями и рвами, и соломенный навес чисто вымазанной хаты, и миловидное, красным ободком окруженное окошко... Ты, древний корень Руси, где сердечней чувство и нежней славянская природа!»

Она внимательно слушала. Потом вдруг спрашивала: – А скажи, зачем ты прочел мне это место из Гете? Вот, как он уезжал от Фредерики и вдруг мысленно увидал какого-то всадника, ехавшего куда-то в сером камзоле, обшитом золотыми галунами. Как это там сказано? – «Этот всадник был я сам. На мне был серый камзол, обшитый золотыми галунами, какого я никогда не носил». – Ну, да, и это как-то чудесно и страшно. И потом ты сказал, что у всякого в молодости есть в мечтах свой желанный камзол... Почему он ее бросил? – Он говорил, что им всегда руководил его «демон». – Да, и ты меня скоро разлюбишь. Ну, скажи правду – о чем ты больше всего мечтаешь? – О чем я мечтаю? Быть каким-нибудь древним крымским ханом, жить с тобой в Бахчисарайском дворце... Бахчисарай весь в каменистом, страшно жарком ущелье, а во дворце вечная тень, прохлада, фонтаны, за окнами шелковичные деревья... – Нет, серьезно? – Я серьезно. Я ведь всегда живу каким-то страшным вздором. Вот хоть эта степная чайка, это соединение в ней степи и моря... Брат Николай, бывало, смеялся, говорил мне, что я от природы дурачек, и я очень страдал, пока однажды случайно не прочел, что сам Декарт говорил, что в его душевной жизни ясные и разумные мысли занимали всегда самое ничтожное место. – И что ж, во дворце гарем? Я это тоже серьезно. Ты же сам доказывал мне, – помнишь, – что в мужской любви много смешения разных любовных чувств, что ты это испытывал к Никулиной, потом к Наде... Ты ведь иногда очень безжалостно откровенен со мной! Ты что-то в этом роде недавно говорил даже про нашу казачку. – Я говорил только то, что когда я смотрю на нее, я ужасно хочу куда-то в солончаковые степи, жить в кибитке. – Ну, вот, сам же говоришь, что тебе хочется жить с ней в кибитке. – Я не сказал, что с ней. – А с кем же? – Ой, опять воробей! Ужасно боюсь, когда они залетают и бьются по зеркалу!

И, вскочив, она быстро и неловко хлопала в ладоши. Я хватал и целовал ее голые плечи, ноги... Разность горячих и прохладных мест ее тела потрясала больше всего.

XII

К вечеру зной спадал. Солнце стояло за домом, мы пили чай в стеклянной галлерее, возле открытых во двор окон. Она теперь много читала и в эти часы все о чем-нибудь расспрашивала брата, а он с удовольствием наставлял ее. Вечер был бесконечно тих, неподвижен, – одни ласточки мелькали во дворе и, взвиваясь, тонули в глубоком небе. Они говорили, а я слушал: «Ой, на горі та жєнци жнуть...» Песня рассказывала, что на горе жнут хлеборобы, текла ровно, долго, грустью разлуки, потом крепла и звучала твердо – волей, далью, отвагой, воинским ладом:

А по-під горою,
По-під високою
Козаки йдуть!

Песня протяжно и грустно любовалась, как течет по долине казацкое войско, как ведет его

славный Дорошенко, едет впереди всех. А за ним, говорила она, за ним Сагайдачный,-

Шо проміняв жінку
На тютюн та люльку,
Необачний...

Она медлила, гордо дивилась столь странному человеку. Но вслед за тем была в литавры с особенно радостной волей:

Мені з жінкою
Не возиться!
А тютюн та люлька
Козаку в дорозі
Знадобиться!

Я слушал, грустно и сладко чему-то завидуя.

На закате мы гуляли, шли иногда в город, иногда в сквер на обрыве за собором, иногда за город, в поле. В городе было несколько мощеных улиц со всякой еврейской торговлей, с непонятным количеством часовых, аптекарских и табачных магазинов; эти улицы были каменные, белые, дышали теплом после дневного жара, на их перекрестках стояли киоски, где прохожие пили разноцветные сиропы с шипучей водой, и все это говорило о юге и тянуло куда-то еще дальше на юг, – помню, я часто думал тогда почему-то о Керчи. Глядя от собора в долину, я мысленно ехал в Кременчуг, в Николаев. В поле, за город мы шли западным предместьем, совсем деревенским. Его хаты, вишневые сады и баштаны выходили в равнину, на прямую, как стрела, миргородскую дорогу. В далекой дали дороги, вдоль телеграфных столбов, медленно тянулась хохляцкая телега, влекомая двумя качающимися в ярме, клонящими головы волами, она тянулась и исчезала, как в море, вместе с этими столбами, – последние столбы уже чуть маячили в равнине, были как палочки малы. Это была дорога на Яновщину, Ярьески, Шишаки...

Вечер мы нередко проводили в городском саду. Там играла музыка, освещенная терраса ресторана издали выделялась среди темноты, как театральная сцена. Брат шел прямо в ресторан, мы иногда уходили в ту сторону сада, где он кончался тоже обрывом. Ночь была густо темна, тепла. В темноте внизу кое-где стояли огоньки и церковно, стройно подымались и замирали песни – это пели парубки предместий. Песни сливались с темнотой и тишиной. Гремя, бежал там светящимися звеньями поезд, – тогда особенно чувствовалось, как глубока и черна долина, – и постепенно смолкал, погасал, точно уходил под землю. И опять были слышны песни, и весь круг горизонта за долиной дрожал немолчной дрожью жаб, ворожившей эту тишину и темноту, повергавшей ее в оцепенение, которому, казалось, не будет конца.

Когда мы всходили на людную террасу ресторана, она, после темноты, приятно стесняла, слепила. Брат, уже хмельной и умиленный, тотчас махал нам из-за стола, где с ним сидели Вагин, Леонтович, Сулима. Нас шумно усаживали, требовали еще белого вина, бокалов и льду. Потом музыка уже не играла, сад за террасой был темен, пуст, откуда-то доходило порой дуновение до свечей в стеклянных колпачках, осыпаемых ночными насекомыми, но все говорили, что время еще детское. Наконец соглашались: пора. И все-таки не сразу расставались – шли домой ватагой, громко говоря, стуча по пешеходам. Сады спали, таинственно чернели, тепло освещаясь низким светом поздней луны. Когда мы, уже одни, входили в свой двор, луна глядела в него, блестя в черных стеклах галереи; тихо трюкал сверчок; каждый листик акации возле флигеля, каждая веточка с удивительной четкостью и изяществом рисовали свою неподвижную тень на белой стене.

Всего милей были минуты перед сном. Скромно горела свеча на ночном столике. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Сидя в халатике на краю постели, она темными глазами смотрела на свечу и заплетала мягко блестящую косу. – Вот ты все удивляешься, как я изменилась, – говорила она. – А если бы знал, как изменился ты.

Только ты стал как-то все меньше замечать меня! Особенно когда мы не одни. Я боюсь, что я для тебя становлюсь как воздух: жить без него нельзя, а его не замечаешь. Разве не правда? Ты говоришь, что это-то и есть самая большая любовь. А мне кажется, что это значит, что тебе те-

перь одной меня мало. — Мало, мало, — отвечал я смеясь. — Мне теперь всего мало. — Я и говорю: тебя куда-то тянет. Георгий Александрович уже говорил мне, что ты просишься в командировки с разъездными статистиками. Зачем? Трястись по жаре и в пыли на бричке, потом сидеть в жарком волостном правлении и без конца опрашивать хохлов вот по тем самым бланкам, что я рассылаю...

Она поднимала глаза, закинув косу за плечо: — Что тебя тянет? — Только то, что я счастлив, что мне действительно теперь как будто всего мало.

Она брала мою руку: — Правда счастлив?

XXIII

В первый раз я поехал именно туда, куда ей так хотелось поехать со мной, — по миргородской дороге. Меня взял с собой Вагин, посланный зачем-то в Шишаки.

Помню, как мы с ней боялись проспать назначенное время, — выехать нужно было до жары, пораньше, — как она ласково меня разбудила, сама вставши до солнца, уже приготовив мне чай, подавляя в себе грусть, что я еду один. Было серо и прохладно, она все поглядывала в окна: неужели дождь испортит мне поездку? Я до сих пор чувствую то нежное и тревожное волнение, с которым мы вскочили, заслышав у ворот почтовый колокольчик, порывисто простились и выбежали за калитку, к перекладной тележке, на которой в длинном парусиновом балахоне и в летнем сером картузе сидел Вагин.

Потом глос колокольчик в огромном воздушном пространстве, разгулявшийся день был сух, жарок, ровно бежала тележка в глубокой дорожной пыли, и все вокруг было так однообразно, что вскоре уже не стало силы глядеть в даль сонно-светлого горизонта и напряженно ждать от него чего-то. В полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов нечто совсем кочевое: бесконечные овчарни Кочубея. «Полдень, овчарни, записал я среди толчков тележки. Серое от зноя небо, ястреба и сивоворонки... Я совершенно счастлив!» В Яновщине записал о корчме: «Яновщина, старая корчма, ее черная внутренность и прохладная полутьма; еврей сказал, что пива у него нету, «есть только напиток». — «Какой напиток?» — «Но напиток! Напиток Фиалка». Еврей — тощий, в лапсердаке, но напиток вынес из задней комнаты гимназист, необыкновенно полный подросток, высоко подпоясанный новеньким ремнем по светло-серой куртке, очень красивый как-то по-персидски: его сын. После Шишак я тотчас вспомнил гоголевскую записную книжку:

«И вдруг яр среди ровной дороги — обрыв в глубину и вниз; и в глубине леса, и за лесами — леса, за близкими, зелеными — отдаленные, синие, за ними полоса песков серебряно-соломенного цвета... Над стремниной и кручей махала крыльями скрипучая ветряная мельница...» Под этим обрывом, в глубине долины, лукой выгибался Псел и зеленело садами большое село. Мы долго искали в нем какого-то Василенко, к которому и было у Вагина дело, а найдя, не застали дома и долго сидели под липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьем лягушек. Тут же мы просидели с Василенко и весь вечер, ужинали, пили наливку, и лампа освещала снизу зелень листьев, меж тем как кругом замыкалась непроницаемая тьма летней ночи. Потом в этой тьме вдруг стукнула калитка и возле стола нарядно появилась до свинцовой бледности набеленная девица, приятельница Василенко, местная земская фельдшерица: тотчас, конечно, узнала, что у него какие-то губернские гости. Первую минуту она от смущения не знала, что с собой делать, говорила, что попало, потом стала пить с нами рюмка в рюмку и все больше вскрикивать на всякие мои остроуи. Она была ужасно нервна, широкоскула, остро черноглаза, у нее были жилистые руки, крепко пахнущие шипром, и костлявые ключицы, под легонькой голубой кофточкой лежали тяжелые груди, стан был тонок, а бедра широки. Ночью я пошел ее провожать. Мы шли в черной темноте, по засохшим колеям какого-то переулка. Где-то возле плетня она остановилась, уронила мне на грудь голову. Я с трудом не дал себе воли...

Домой мы с Вагиным приехали на другой день поздно. Она уже лежала в постели, читала; увидев меня, вскочила в радости и удивленья — «как, уже приехал?» Когда я, поспешно рассказывая всю свою поездку, стал со смехом рассказывать про фельдшерицу, она перебила: — Зачем ты рассказываешь мне это? И глаза у нее наполнились слезами: — Как ты жесток со мною! — сказала она, торопливо ища под подушкой платочек. — Мало того что ты бросаешь меня одну...

Сколько раз в жизни вспоминал я эти слезы! Вот вспоминаю, как вспомнил однажды лет

через двадцать после той ночи. Это было на приморской бессарабской даче. Я пришел с купанья и лег в кабинете. Был жаркий и ветренный полдень: сильный, шелковисто-горячий, то затихающий, то буйно-растущий шум сада вокруг дома, тень и блеск в деревьях, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей... Когда ветер, густо шумя, рос, приближался, он вдруг раскрывал всю эту древесную зелень, окружавшую окна тенистого кабинета, показывал в ней знойно-эмалевое небо, и тотчас раскрывалась и тень на белом потолке – потолок, светлея, становился фиолетовым. Потом опять затихало, ветер, убегая, терялся где-то в дали сада, над обрывом к побережью. Я глядел на все это, слушал и вдруг подумал: где-то, двадцать лет тому назад, в том давно забытом малорусском захолустье, где мы с ней только что начинали нашу общую жизнь, тоже был подобный полдень; я проснулся поздно, – она уже ушла на службу, – окна в сад тоже были открыты и за ними вот также шумело, качалось, пестро блестело, а по комнате вольно ходил тот счастливейший ветер, что сулит близкий завтрак, доносит запах жареного лука; я, открывши глаза, вздохнул этим ветром и, облокотившись на свою подушку, стал глядеть на другую, лежавшую рядом, в которой еще оставался чуть слышный фиалковый запах ее темных прекрасных волос и платочка, который она, помирившись со мной, еще долго держала в руке; и, вспомнив все это, вспомнив, что с тех пор я прожил без нее полжизни, видел весь мир и вот все еще живу и вижу, меж тем как ее в этом мире нет уже целую вечность, я, с похолодевшей головою, сбросил ноги с дивана, вышел и точно по воздуху пошел по аллее уксусных деревьев к обрыву, глядя в ее пролет на купоросно-зеленый кусок моря, вдруг представший мне страшным и дивным, перво-зданно новым...

В ту ночь я поклялся ей, что больше никуда не поеду. Через несколько дней опять уехал.

XXIV

Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил: – Жаль мне тебя от души! Рано ты поставил крест на себе!

Но никакого креста я на себе не чувствовал. Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог. Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение: неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последнее – дети, дом – представлялось мне особенно нестерпимым. – Вот мы с тобой повенчаемся, – говорила она, мечтая о будущем. – Все-таки я этого очень хочу и, потом, что может быть прекраснее венчания! У нас, может быть, будет ребенок... Разве ты не хотел бы?

Что-то сладко и таинственно сжимало мне сердце. Но я отшучивался: – «Бессмертные творят, смертные производят себе подобных». – А я? – спрашивала она. – Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе?

Это было очень грустно слушать, и я горячо говорил: – Никогда ничего не пройдет, никогда ты не перестанешь быть мне нужна!

Теперь уже я (как прежде, в Орле, она) хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим.

Да, больше всего трогала она меня в тот час, когда, заплетая на ночь косу, подходила ко мне поцеловать меня на прощанье, и я видел, насколько она, без каблучков, меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх.

Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств и поступков.

Мы часто вспоминали нашу зиму в Орле, то, как мы расстались там, как я уехал в Витебск, и я говорил: – Да, вот, Полоцк, что меня тянуло туда? С этим словом – Полоцк или, по-древнему, Полотьск – у меня давно соединилось предание о древнем киевском князе Всеславе, которое я где-то прочел еще в отрочестве: он был свергнут братом с престола, бежал «в темный край полочан» и доживал свой век «в скудной бедности», в схиме, в молитвах, в трудах и в «прельщениях памяти»: будто бы неизменно просыпался в предутренний час с «горькими и сладкими слезами», с обманчивой мечтой, что он опять в Киеве, «на своем благоверном княжении» и что это не в Полоцке, а у Киевской Софии звонят к полунощнице.

С тех пор Полоцк тех времен всегда представлялся мне совершенно чудесным в своей древности и грубости: какой-то темный, дикий зимний день, какой-то бревенчатый Кремль с де-

ревянными церквами и черными избами, снежные сугробы, истоптанные конными и пешими в овчинах и лаптях... Когда я наконец попал в действительный Полоцк, я, разумеется, не нашел в нем ни малейшего подобия выдуманному. И все-таки во мне и до сих пор два Полоцка – тот, выдуманный, и действительный. И этот действительный я тоже вижу теперь уже поэтически: в городе скучно, мокро, холодно, сумрачно, а на вокзале теплый большой зал с огромными полукруглыми окнами, уже горят люстры, хотя на дворе еще только смеркается, в зале множество народу, и штатского, и военного, поспешно наедающегося перед приходом поезда на Петербург, всюду говор, стук ножей по тарелкам, запах соусов, щей, которым дуют туда и сюда летающие лакеи...

Она, как всегда в такие минуты, слушала меня с особенным, напряженным вниманием и, выслушав, убежденно соглашалась: «Да, да, я понимаю тебя!» И я пользовался этим – внушал ей: – Гете говорил: «Мы сами зависим от созданных нами креатур». Есть чувства, которым я совершенно не могу противиться: иногда какое-нибудь мое представление о чем-нибудь вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне что-нибудь представилось, то есть, к чему-то тому, что за этим представлением, – понимаешь: за! – что не могу тебе выразить!

Однажды мы с Вагиным ездили в Казачьи Броды, старинное село в Поднепровьи, были на проводах переселенцев, отправлявшихся в Уссурийскую область. Возвратились утром, по железной дороге. Когда я приехал с вокзала, она с братом была уже в управе. Мужественно загорелый и бодрый, очень довольный собой, возбужденный желанием поскорее рассказать ей и брату, какую редкую картину мне удалось видеть, – целая орда тронулась на моих глазах в эту сказочную область, десятью тысячами верст отделенную от Казачьих Бродов, – я быстро прошел по всему пустому и прибранному дому, вошел в спальню, чтобы переодеться и умыться, с какой-то радостной болью взглянул на всякие вещички ее туалета, на думку в прошивках на постельной подушке, – все это показалось мне бесконечно дорого и одиноко, остро отозвалось в сердце счастьем вины перед нею, – но увидел на ночном столике раскрытую книгу и на минуту приостановился: это было «Семейное счастье» Толстого, и на раскрытой странице были отмечены строки: «Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими...» Я перевернул несколько страниц дальше и увидел еще отметки: «Часто в это лето я приходила в свою спальню и, вместо прежней тоски желаний и надежд в будущем, меня схватывала тревога счастья в настоящем... Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Он всегда был в разъездах и не жалел и не боялся оставлять меня одну...»

Я несколько минут стоял без движения. Мне, оказывается, совсем не приходило в голову, что у нее могли быть (и есть) тайные, неизвестные мне и, главное, печальные чувства и мысли и уже в форме прошедшего времени! «Все мои тогдашние мысли, тогдашние чувства... Часто в это лето я приходила...» Неожиданней всего было это последнее: «Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой...» Значит, ее слезы в ту ночь, когда я приехал из Шишак, были не случайными?

В управу я вошел особенно бодро, поцеловался с ней и братом весело, говорил и шутил, не умолкая. С тайным мучением дождавшись наконец, когда мы остались одни, я тотчас же резко сказал: – Ты, оказывается, читала без меня «Семейное счастье»?

Она покраснела: – Да, а что? – Поражен твоими отметками в нем! – Почему? – Потому что из них совершенно ясно, что тебе уже горько жить со мной, что ты уже одинока, разочарована. – Как ты все всегда преувеличиваешь! – сказала она. – Какое разочарование? Просто мне было немного грустно, и я, правда, нашла некоторое сходство... Уверяю тебя, что нет ничего подобного тому, что тебе вообразилось.

Кого она уверяла? Меня или себя? Я, однако, очень рад был слышать все это – мне очень хотелось, очень выгодно было верить ей. «Степная чайка с хохлом поднимается с дороги... Бежит, обтянутая синей запаской у пояса и трясутся под полотном трепещущие груди, а лишенные обуви ноги, обнаженные до колен, кровью и здоровьем играют...» Каких только «за» не было тут! И мог ли я отказаться от них! Я думал, кроме того, что они вполне соединимы с ней. Я под всякими предлогами внушал ей одно: живи только для меня и мной, не лишай меня моей свободы, своеволия, – я тебя люблю и за это буду еще больше любить. Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простительно.

– Ты очень изменился, – говорила она. – Ты стал мужественней, добрей, милей. Ты стал жизнерадостный. – Да, а вот брат Николай да и твой отец все пророчили, что мы будем очень несчастны. – Это потому, что Николай так не взлюбил меня. Что я испытывала в Батурине от его холодной любезности, ты и представить себе не можешь. – Напротив, он говорил о тебе с большой нежностью. Мне и ее ужасно жаль, говорил он, тоже совсем еще девочка, и подумай, что ждет вас впереди: чем твое существование будет отличаться через несколько лет от существования какого-нибудь уездного акцизного чиновника? Помнишь, как я, бывало, шутя рисовал свою будущность? Квартирка в три комнатки, пятьдесят рублей жалованья... – Он жалел только тебя. – Плохо жалел – говорил, что у него вся надежда только на то, что нас с тобой спасет мое «беспутство», что я и на такую карьеру окажусь не способен, и что мы с тобой скоро расстанемся: или ты ее безжалостно бросишь, говорил он, или она тебя, посидевши некоторое время в этой милой статистике и понявши, какую ты приготовил ей участь. – На меня он напрасно надеялся – я тебя не брошу никогда. Я тебя брошу только в том случае, если увижу, что я тебе больше не нужна, что я мешаю тебе, твоей свободе, твоему призванию...

Когда с человеком случится несчастье, он непрестанно возвращается к одной и той же мучительной и бесполезной мысли: как и когда это началось? из чего все это слагалось и как я мог не придавать тогда значения тому, что должно было предостеречь меня? «Я тебя брошу только в том случае...» Как же я не обращал внимания на такие слова, – на то, что все-таки некоторый «случай» она не исключала?

Я слишком ценил свое «призвание», пользовался своей свободой все беспутнее – брат Николай был прав. И все больше не сиделось мне дома: как свободный день, я тотчас уезжал, уходил куда-нибудь. – Где это тебя так обожгло солнцем? – спрашивает за обедом брат. – Где ты опять пропадал? – Был в монастыре, на реке, на станции... – И всегда один – с укоризной говорит она. – Сколько раз обещал вместе пойти в монастырь, я там за все время только один раз была, а там так прекрасно, такие толстые стены, ласточки, монахи...

Мне было стыдно и больно поднять на нее глаза. Но, боясь за свою свободу, я только пожимал плечом: – На что тебе эти монахи? – А тебе на что?

Я старался переменить разговор: – Я там видел нынче на кладбище нечто очень странное: пустую, но уж совсем готовую могилу – загодя приказал вырыть себе один из братии и даже с крестом в возглавии: на кресте уже написано, кто здесь погребен, когда он родился, написано даже «скончался» – только оставлено пустое место для даты будущей кончины. Везде чистота, порядок, дорожки, цветы – и вдруг эта ждущая могила. – Ну, вот, видишь. – Что ж тут видеть? – Ты нарочно не хочешь меня понимать. Но Бог с тобой. Верно сказано у Тургенева...

Я перебивал: – Ты, кажется, читаешь теперь только затем, чтобы находить что-нибудь насчет себя и меня. Впрочем, все женщины так читают. – Ну, что ж, пусть я женщина, зато я не так эгоистична...

Брат ласково вмешивался: – Да будет вам, господа!

XXVI

В конце лета положение мое в управе еще более устроилось: прежде я только «состоял» при ней, теперь был зачислен в штат и получил новую должность, как нельзя более мне подходящую: стал «хранителем» управской библиотеки – накопившихся в подвалах управы разных земских изданий. Должность эта, выдуманная для меня Сулимой, предписывала мне: разбор и приведение в порядок этих изданий, водворение их в помещение, на сей предмет особо предоставленное, – в длинную сводчатую комнату в полуподвальном этаже, – и оборудованное потребным количеством полок и шкафов, а затем надзор за ними и выдачу по управе во временное пользование тех из них, кои окажутся нужными для того или иного отделения в тот или иной момент. Я разобрал, водворил – и приступил к надзору и ожиданию выдач. Но так как выдавать ничего не приходилось, – кое-что требовалось для отделений только осенью, перед земским собранием, – то остался мне один надзор, просто сидение в этой полуподвальной комнате, полюбоившейся мне необыкновенно крепостной толщиной своих стен и свода, своей глубокой тишиною, – ни единый звук не достигал в нее ни откуда, – и своим небольшим, высоко от пола отстоящим окном, в которое сверху светило солнце и видны были основания всяких диких кустов

и трав, росших на пустыре за управой. Жизнь моя стала с тех пор еще свободней: я по целым дням сидел в этом склепе в полном одиночестве, писал, читал, а когда хотел, мог хоть неделю не заглядывать сюда, запирать низкую дубовую дверь на замок и уходить, уезжать, куда вздумается.

Я зачем-то съездил в Николаев, часто ходил на один пригородный хутор, где поселились ради праведной жизни два брата толстовца, одно время каждый воскресный вечер проводил в большом хохлацком селе за первой от города станцией, возвращаясь домой с поздним ночным поездом... Зачем ездил, ходил? Она чувствовала то тайное, что, помимо всего прочего, было целью моего бродяжничества. Мой рассказ о фельдшернице в Шишаках поразил ее гораздо больше, чем я думал. С тех пор в ней стала развиваться ревность, которую она старалась и не всегда могла скрывать. Так, недели через две после этого рассказа о Шишаках, она, в полную противоположность своему доброму, благородному, еще девичьему характеру, вдруг поступила как самая обыкновенная «хозяйка дома» – нашла какой-то предлог и имела резкую твердость рассчитать казачку, служившую нам: – Я хорошо знаю, – неприятно сказала она мне, что тебя это огорчило: еще бы, так отлично «постукивает» башмаками по комнатам эта, как ты говоришь, «кобылка», такие у нее точеные щиколотки, такие раскосые сверкающие глаза! Но ты забываешь, как эта кобылка дерзка, своенравна и что моему терпению все-таки есть мера...

Я ответил от всей души, с полной искренностью: – Как ты можешь меня ревновать? Я вот смотрю на твою несравненную руку и думаю: за одну эту руку я не возьму всех красавиц на свете! Но я поэт, художник, а всякое искусство, по словам Гете, чувственно.

XXVII

Однажды в августе я пошел на хутор к толстовцам перед вечером. В городе было безлюдно в этот еще знойный час, к тому же была суббота. Я шел мимо еврейских закрытых магазинов и старых торговых рядов. Медленно звонили к вечерне, в улицах уже лежали длинные тени от садов и домов, но все еще стоял тот особый предвечерний зной, что бывает в южных городах в конце лета, когда все сожжено даже в садах и палисадниках, которые изо дня в день пеклись на солнце, когда все и всюду – и в городе, и в степи, и на баштанах – сладко утомлено долгим летом.

На площади, у городского колодца, богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу; у нее были карие глаза и та ясность широкого чела, которая присуща хохлушкам и полякам. В улицу, которая шла с площади под гору, в долину, глядела предвечерняя даль южного горизонта, чуть видных степных холмов.

Спустясь по этой улице, я свернул в тесный переулок между мещанскими поместьями городской окраины и вышел на леваду, чтобы подняться на гору за ней, в степь. На леваде, на гумнах среди голубых и белых мазанок, мелькали в воздухе цепи: это молотили те самые парубки, которые так дико и чудесно гукали или пели на церковный лад в летние ночи. На горе вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого жнивья. На широком шляхе лежала такая глубокая и мягкая пыль, что казалось, будто идешь в бархатных сапогах. И все вокруг – вся степь и весь воздух – нестерпимо блестело от низкого солнца. Влево от шляха, на обрыве над долиной, стояла хата с облупившимся мелом стен – это и был хутор толстовцев. Я со шляха пошел к нему целиком, по жнивью. Но на хуторе все оказалось пусто – и в хате, и вокруг хаты. Я заглянул в ее открытое окошечко – там густо зашумела по стенам, по потолку и в горшках на полках чернота несметных мух. Я заглянул в открытые ворота скотника – одно вечернее солнце краснеет на сухом навозе. Я пошел на баштан и увидел жену младшего толстовца – она сидела на крайней меже баштана. Я подходил – она не замечала или делала вид, что не замечает меня: неподвижно сидит боком, маленькая, одинокая, откинула в сторону босые ноги, одной рукой упирается в землю, другой держит во рту соломинку. – Добрый вечер, – сказал я, подойдя. – Что это вы так грустны? – Бувайте и сидайте, – ответила она с усмешкой и, бросив соломинку, протянула мне загорелую руку.

Я сел и посмотрел: совсем девчонка, стерегущая баштаны! Выгоревшие от солнца волосы, деревенская рубашка с большим вырезом на шее, старенькая черная плахта, обтягивающая по-женски развитые бедра. Маленькие босые ноги ее были пыльны и тоже темны и сухи от загара, – как это, подумал я, ходит она босиком по навозу и всяким колким травам! От того, что она была из нашего круга, где не показывают босых ног, мне всегда было и неловко и очень тянуло смот-

реть на ее ноги. Почувствовав мой взгляд, она поджала их. – А где же ваши?

Она опять усмехнулась: – Наши ушли кто куда. Один святой братец ушел на леваду, молотить, помогает какой-то бедной вдове, другой понес в город письма к великому учителю: очередной отчет за неделю во всех наших прегрешениях, искушениях и плотских одолениях. Кроме того – очередное «испытание», о котором тоже надо сообщить: в Харькове арестовали «брата» Павловского за распространение листовок – против военной службы, конечно. – Вы что-то очень не в духе. – Надоело, – сказала она, тряхнув головой, откидывая ее назад. – Не могу больше, – прибавила она тихо. – Что не могу? – Ничего не могу. Дайте мне папиросу. – Папиросу? – Да, да, папиросу!

Я дал, зажег спичку, она быстро и неумело закурила и, отрывисто затягиваясь и по-женски выдувая из губ дым, замолчала, глядя в даль за долину. Низкое солнце еще грело нам плечи и тяжелые длинные арбузы, которые лежали возле нас, вдавившись боками в сухую землю среди сожженных плетей, перепутанных, как змеи...

Вдруг она швырнула папиросу и, упав головой на мои колени, жадно зарыдала.

И по тому, как я утешал ее, целовал в пахнущие солнцем волосы, как сжимал ее плечи и глядел на ее ноги, очень хорошо понял, зачем я хожу к толстовцам.

А Николаев? Зачем нужен был Николаев? Едучи, я кое-что записывал: – Только что выехали из Кременчуга, вечер. На вокзале в Кременчуге, на платформе, в буфете, множество народу, южная духота, южная толкотня. В вагонах тоже. Больше всего хохлушек, все молодых, загорелых, бойких, возбужденных дорогой и жарой, – едут куда-то «на низы», на работы. Так волнуют горячим запахом тела и деревенской одежды, так стрекочут, пьют, едят и играют скороговоркой и ореховыми глазами, что даже тяжело... – Длинный, длинный мост через Днепр, красное слепящее солнце в окна справа, внизу и вдали полнота мутной желтой воды. На песчаной отмели множество совершенно свободно раздевающихся догола и купающихся женщин. Вон одна скинула рубашку, побежала и неловко упала грудью в воду, буйно забила в ней ногами... – Уже далеко за Днепром. Вечерняя тень в пустынных горах, покрытых скошенной травой и жнивьем. Почему-то думал о Святополке Окаянном: вот в такой же вечер он едет верхом по этой долине впереди небольшой дружины – куда, что думает? И это было тысячу лет тому назад, и все так же прекрасно на земле и теперь. Нет, это не Святополк, это какой-то дикий мужик, шагом едет на потной лошади в тени меж горами, и сзади него сидит женщина со связанными за спиной руками, в растрепанных волосах, с заголенными молодыми коленками, стиснув зубы, смотрит ему в затылок, он зорко глядит вперед... – Лунная мокрая ночь. За окнами ровная степь, черная грязь дорог. Весь вагон спит, сумрак, огарок толстой свечи в пыльном фонаре. В опущенное окно дует полевой сыростью, которая странно мешается с густым, вонючим воздухом вагона. Некоторые хохлушки спят навзничь, раскинувшись. Раскрытые губы, груди под сорочками, тяжелые бедра в плахах и юбках... Одна сейчас проснулась и долго смотрела прямо на меня. Все спят – так и кажется, что вот-вот позовет таинственным шопотом...

Село, где я бывал по воскресеньям, лежало недалеко от станции, в просторной и ровной долине. Я бесцельно доехал однажды до этой станции, слез и пошел. Были сумерки, впереди белели хаты в садах, ближе, на выгоне, темнел дряхлый ветряк. Под ним стояла толпа и за толпой подмывающе взвизгивала скрипка и топали танцующие ноги... Я простоял потом несколько воскресных вечеров в этой толпе, до полуночи слушал то скрипку и топот, то протяжные хоровые песни; становился, подойдя, возле высокогрудой рыжей девки с крупными губами и странно ярким взглядом желтых глаз, и мы тотчас, пользуясь теснотой, тайком брали друг друга за руку. Мы стояли спокойно, старались не смотреть друг на друга – понимали, что плохо мне будет, если парубки заметят, ради чего стал появляться под ветряком какой-то городской паныч. В первый раз мы оказались рядом случайно, потом, как только я подходил, она тотчас на мгновение обертывалась и, почувствовав меня возле себя, брала мои пальцы уже на весь вечер. И чем больше темнело, тем все крепче стискивала она их и все ближе прижимала ко мне плечо. Ночью, когда толпа начинала редеть, она незаметно отходила за ветряк, быстро пряталась за него, а я тихо шел по дороге на станцию, ждал, пока под ветряком не останется никого, и, согнувшись, бежал назад. Мы без слов сговорились делать так, молча стояли и под ветряком, – и молча блаженно истязались. Раз она пошла провожать меня. До поезда оставалось еще полчаса, на станции была темнота и тишина – только успокоительно трюкают кругом сверчки и вдали, где село, багрово краснеет над черными садами поднимающаяся луна. На запасных путях стоял товарный ва-

гон с раздвинутыми дверцами. Я невольно, сам ужасаясь тому, что делаю, потянул ее к вагону, влез в него, она вскочила за мной и крепко обняла меня за шею. Но я чиркнул спичкой, чтобы осмотреться, – и в ужасе отшатнулся: спичка осветила посреди вагона длинный дешевый гроб. Она козой шаркнула вон, я за ней... Под вагоном она без конца падала, давилась смехом, целовала меня с диким весельем, я же не чаял, как уехать, и после того в село уже не показывался.

XXVIII

Осенью мы пережили ту праздничную пору, что бывала в городе в конце каждого года, – съезд со всей губернии земских гласных на губернское собрание. Празднично прошла для нас и зима: были гастролы малорусского театра с Заньковецкой и Саксаганским, концерты столичных знаменитостей – Чернова, Яковлева, Мравиной, – было не мало балов, маскарадов, званых вечеров. После земского собрания я ездил в Москву, к Толстому, и, возвратившись, с особенным удовольствием предался мирским соблазнам. И они, эти соблазны, очень изменили нашу жизнь внешне – кажется, ни одного вечера не проводили мы дома. Незаметно изменяли, ухудшали и наши отношения. – Ты опять делаешься какой-то другой, – сказала она однажды. – Совсем мужчина. Стал зачем-то эту французскую бородку носить. – Тебе не нравится? – Нет, почему же? Только как все проходит! – Да. Вот и ты становишься похожа уже на молодую женщину. Похудела и стала еще красивее. – И ты опять стал меня ревновать. И вот я уже боюсь тебе признаться. – В чем? – В том, что мне хочется быть на следующем маскараде в костюме. Что-нибудь недорогое и совсем простое. Черная маска и что-нибудь черное, легкое, длинное... – Что же это будет обозначать? – Ночь. – Значит, опять начинается нечто орловское? Ночь! Это довольно пошло. – Ничего не вижу тут орловского и пошлого, – ответила она сухо и независимо, и я со страхом почувствовал в этой сухости и независимости действительно нечто прежнее. – Просто ты опять стал ревновать меня. – Почему же стал опять ревновать? – Не знаю. – Нет, знаешь. Потому что ты опять стала отдаляться от меня, опять желаешь нравиться, принимать мужские восторги.

Она неприязненно улыбнулась: – Не тебе бы говорить об этом. Ты вот всю зиму не расстаешься с Черкасовой.

Я покраснел. – Уж и не расстаешься! Точно я виноват, что она бывает тамже, где и мы с тобой. Мне больней всего то, что ты стала как-то менее свободна со мной, точно у тебя образовалась какая-то тайна от меня. Скажи прямо: какая? Что ты таишь в себе? – Что таю? – отвечала она. – Грусть, что уж нет нашей прежней любви. Но что ж об этом говорить...

И, помолчав, прибавила: – А что до маскарада, то я готова и совсем отказаться быть на нем, раз это тебе неприятно. Только уж очень ты строг ко мне, каждую мою мечту называешь пошлостью, всего лишаешь меня, а сам себе ни в чем не отказываешь...

Весной и летом я опять не мало странствовал. В начале осени снова встретился с Черкасовой (с которой до той поры у меня действительно ничего не было) и узнал, что она переселяется в Киев. – Навсегда покидаю вас, милый друг, – сказала она, глядя на меня своими ястребиными глазами. – Муж заждался меня там. Хотите проводить меня до Кременчуга? Только совершенно тайно, разумеется. Я там должна провести целую ночь в ожидании парохода...

XXIX

Это было в ноябре, я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные, темные будни в глухом малорусском городе, его безлюдные улицы с деревянными настилками по узким тротуарам и с черными садами за заборами, голую высоту тополей на бульварах, пустой городской сад с забитыми окнами летнего ресторана, влажный воздух этих дней, кладбищенский запах лиственного тления – и мои тупые, бесцельные блуждания по этим улицам, по этому саду, мои все одни и те же мысли и воспоминания... Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них.

В какой-то роковой час ее тайные муки, о которых она только временами проговаривалась, охватили ее безумием. Брат Георгий вернулся в тот день со службы поздно, я еще поздней, – и она знала, что мы поздно придем, управа опять готовилась к годовому земскому собранию, – она одна оставалась дома, несколько дней не выходила, как всегда каждый месяц, и, как всегда в эту

пору, была не совсем такая, как обычно. Она, верно, долго полулежала на тахте в нашей спальне, поджав под себя, по своей привычке, ноги, много курила, – она стала с некоторого времени курить, не слушая моих просьб и требований бросить это столь не шедшее к ней занятие, – все смотрела, должно быть, перед собою, потом вдруг встала, без помарок написала мне на клочке несколько строк, которые брат, воротясь, нашел на туалете в этой опустевшей спальне, и кинулась собирать кое-что из своих вещей – прочее просто бросила – и это прочее, как попало раскиданное, я долго не имел потом решимости собрать и спрятать куда-нибудь. Ночью она была уже далеко, в пути домой, к отцу... Отчего я тотчас же не погнался за ней?

Может быть, от стыда и оттого, что уже хорошо знал теперь ее непреклонность в иные минуты жизни. А в ответ на мои телеграммы и письма пришло в конце концов только два слова: «Дочь моя уехала и местопребывание свое запретила сообщать кому бы то ни было».

Неизвестно, что было бы со мной в первое время, не будь возле меня брата (при всей его беспомощности, растерянности). Те несколько строк, что она написала в объяснение своего бегства, он не сразу передал мне, все сперва подготавливал меня, – и с большой неловкостью, – наконец решился, скупно заплакал и подал. На клочке было написано твердым почерком: «Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви, не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах, молю Бога, чтобы Он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни...» Я прочел все это одним взглядом и довольно нагло сказал, чувствуя, что земля проваливается у меня под ногами и кожа на лице и голове леденеет, стягивается: – Что ж, этого надо было ожидать, обычная история, эти «разочарования»!

После этого я имел мужество пройти в спальню и с равнодушным видом лечь на тахту. В сумерки брат осторожно заглянул ко мне – я притворился, что сплю. Терявшийся во всяких несчастиях и, подобно нашему отцу, не выносивший их, он поспешил поверить, что я действительно сплю, и воспользовался необходимостью опять быть в этот вечер на заседании в управе, тихо оделся и ушел...

Думаю, что я не застрелился в эту ночь только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь не нынче, так завтра. Когда в комнате посветлело от лунной млечности за окном в саду, я вышел в столовую, зажег там лампу, выпил у буфета один чайный стакан водки, другой... Выйдя из дому, я пошел по улицам, – они были страшны: немо, тепло, сыро, всюду вокруг, в голых садах и среди тополей бульвара, густо стоит белый туман, смешанный с лунным светом... Но вернуться домой, зажечь в спальне свечу и увидеть при ее темном свете все эти разбросанные чулки, туфли, летние платья и тот пестрый халатик, под которым я, бывало, обнимал ее перед сном, целуя ее поднятое, отдающееся лицо, чувствуя ее теплое дыхание, было еще страшнее. Спаситься от этого ужаса иступленными слезами можно было только с ней, перед ней, а ее-то и не было.

Потом была другая ночь. Тот же скудный свет свечи в неподвижном молчании спальни. За черными окнами ровно кипит в темноте ночной дождь глухой осени. Я лежу и смотрю в передний угол – в его треугольнике висит старая икона, на которую она молилась перед сном: старая, точно литая доска, с лицевой стороны крашенная киноварью, и на этом лаково-красном поле образ Богоматери в золотом одеянии, строгой и скорбной, – большие, черные, запредельные глаза в темном ободке. Страшный ободок! И страшное, кощунственное соединение в мыслях: Богоматерь – и она, этот образ – и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегства.

Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы, никуда не показывался на люди. Я одолевал воспоминание за воспоминанием, день за днем, ночь за ночью – и мне все почему-то думалось: вот так когда-то, где-то, какие-то славянские мужики «волоком» переволакивали с ухаба на ухаб по лесным дорогам свои обремененные тяжелой кладью лады.

XXX

Я еще с месяц мучился ее вездесущим присутствием в доме и в городе. Наконец, почувствовал, что нет больше сил выносить эту муку, и решил уехать в Батурине – прожить там неко-

торое время, не загадывая о будущем.

Было очень странно войти в двинувшийся вагон, наспех обняв брата в последний раз, – войти и сказать себе: ну, вот, опять свободен, как птица! Был темный зимний вечер без снега, вагон гремел в сухом воздухе. Я устроился со своим чемоданчиком в углу возле двери, сидел и вспоминал, как любил повторять при ней польскую пословицу: «человек создан для счастья, как птица для полета» – и упорно смотрел в черное окно гремящего вагона, чтобы никто не видел моих слез. Ночь до Харькова... И та, другая, ночь – от Харькова, два года тому назад: весна, рассвет, ее крепкий сон в светлеющем вагоне... Я напряженно сидел в сумраке под фонарем, среди тяжелой и грубой вагонной тесноты, и ждал одного – утра, людей, их движения, стакана горячего кофе на харьковском вокзале...

Потом был Курск, тоже памятный: весенний полдень, завтрак с ней на вокзале, ее радость: «В первый раз в жизни завтракаю на вокзале!» Теперь, к вечеру серого и жесткого морозного дня перед этим вокзалом стоял наш непомерно длинный и необыкновенно будничный пассажирский поезд, бесконечная стена третьеклассных вагонов, больших тяжелых, какими отличалась Курско-Харьково-Азовская железная дорога. Я вышел, посмотрел. Паровоз чернеет так далеко впереди, что едва виден. С подножек поезда соскакивают люди с чайниками в руках, – все одинаково противные, – спешат в буфет за кипятком. Вышли и мои соседи по вагону: равнодушный, утомленный своей нездоровой полнотой купец в желтой лисьей шубе и страшно живой и ко всему любопытный малый, простонародная сухость лица и губ которого весь день вызывала во мне отвращение. Он бросает на меня подозрительный взгляд, – я тоже весь день привлекал к себе его внимание: все, мол, что-то сидит, молчит этот не то барчук, не то кто его знает кто! – однако, предупреждает меня дружелюбной скороговоркой: – Имейте в виду, тут завсегда жареных гусей продают, дешевка баснословная!

Я стою, думая о буфете, куда не могу пойти, – там тот стол, за которым мы когда-то сидели с ней. Пахнет уже крутой русской зимой, хотя снегу и тут еще нет. Какая могила ждет меня там, в Батурине! Старость отца и матери, увядание моей несчастной сестры, нищая усадьба, нищий дом, голый, низкий сад, по которому дует ледяной ветер, зимний лай собак, – зимой, когда дует вот такой ветер, он какой-то особенный, ненужный, пустынный... Хвост поезда тоже бесконечен. Напротив, за барьером платформы, высятся метлы голых тополей, за тополями, на мерзлой булыжной мостовой, ждут седоков захоластные извозчики, вид которых без слов говорит о тоске, о скуке того, что называется Курском. Под тополями стоят на платформе закутанные и подпоясанные концами шалей бабы с посиневшими от стужи лицами, угодливо кричат, зазывают – продают этих самых баснословных гусей, огромных, ледяных, в пупырчатой коже. Те, что уже запаслись кипятком, бодро бегут с вокзала назад, в теплые вагоны, с удовольствием зябнут, с ернической веселостью торгуются на бегу с бабами... Наконец с адской мрачностью взрывается вдали паровоз, угрожая мне дальнейшим путем... Безвыходней всего было то, что я не знал, куда она скрылась. Если бы не это, я бы превозмог всякий стыд, давно бы настиг ее где-нибудь и какой угодно ценой вернул себе, – дикий поступок ее был несомненно припадком безумия, раскаяться в котором ей мешает тоже только стыд.

Мое новое возвращение под отчий кров было уже не похоже на то, что было три года тому назад. На все я смотрел теперь другими глазами. И все в Батурине оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге: убогие лозиновые избы деревни, дикарские лохматые собаки и дикарские обледеленные водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, клочи этой грязи по проезду к усадьбе, пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо-высокой и тяжелой крышей времен дедов и прадедов и двумя темными от навесов крыльцами, дерево которых сизо от древности – все старое, какое-то заброшенное, бесцельное – и бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада... В быту дома я нашел переход уже к грубой бедности – замазанные глиной трещины печей, полы для тепла постланы мужицкими попонами...

Один отец старался держаться как-бы в противовес всему этому: похудевший, уменьшившийся, совсем седой, он был теперь всегда чисто брит, гладко причесан, одет не с прежней небрежностью, – мучительно было видеть эту подтянутость старости и бедности, – держался (очевидно, ради меня, ради моего позора и несчастья) бодрее и веселее всех. Раз он сказал, держа папиросу дрожащей, уже высохшей рукой, глядя на меня с нежной грустью: – Ну, что-ж, друг мой, все законно – и все треволнения, все горести и радости молодости, и мир, покой старости...

Как это? – сказал он, засмеявшись глазами: – «мирны наслажденья», черт бы их побрал совсем:

Мы в сей глуши уединенья,
Дыша свободою полей,
В смиренной хижине своей,
Вкушаем мирны наслажденья...

Когда вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние – все кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость, – слишком мало заботился узнавать ее, когда можно было! И все стараюсь и не могу понять полностью, что он был за человек, – человек совсем особого века и особого племени, удивительный какой-то бесплодной и совершенно чудесной в своей легкости и разнообразности талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума, все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединявший в себе редкую душевную прямоу и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца. В ту зиму мне было двадцать лет, а ему шестьдесят. Как-то даже не верится: мне было когда-то двадцать лет, и только еще расцветали, не взирая ни на что, мои молодые силы!

А у него вся жизнь была уже позади. И вот, никто в ту зиму не понимал так, как он, что у меня на душе, и, верно, никто не чувствовал так этого соединения в ней скорби и молодости. Мы сидели в тот день в его кабинете. Уже лежал снег, был тихий и скромный солнечный день, освещенный им снежный двор ласково глядел в низкое окно кабинета, теплого, накуренного, запущенного, милого мне с детства этой запущенностью и уютностью, неизменностью своей простой обстановки, столь нераздельной для меня со всеми привычками и вкусами отца, со всеми моими давними воспоминаниями о нем и о себе.

И он, сказав про «мирны наслажденья», отложил папиросу, снял со стены старую гитару и стал играть что-то свое любимое, народное, и взгляд его стал тверд и весел, что-то тая в себе в то же время, – в лад нежному веселью гитары, с грустной усмешкой бормотавшей о чем-то дорогом и утраченном и о том еще, что все в жизни все равно проходит и не стоит слез...

Вскоре после приезда я не выдержал, сорвался однажды с места, кинулся очертя голову в город – и в тот же день вернулся ни с чем: в дом доктора меня просто не пустили. С дерзостью отчаяния выскочил я из извозничьих санок у знакомого, теперь страшного подъезда, с ужасом взглянул на полузавешанные окна столовой, где столько дней просидел я с нею когда то на диване, – тех осенних, первых наших дней! – дернул звонок... Дверь отворилась, и я очутился лицом к лицу с ее братом, который, бледнея, раздельно сказал мне: – Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсутствии.

Это был тот гимназист, что так бешено носился в ту осень с Волчком вверх и вниз по лестнице. Теперь передо мной стоял мрачный, очень смуглый юноша в белой косоворотке офицерского образца, в высоких сапогах, с пробивающимися черными усами, с непреклонно-злым взглядом маленьких черных глаз, от смуглости малахитово бледный. – Уходите, пожалуйста, – прибавил он тихо, и видно было, как под косовороткой бьется его сердце.

И все-таки всю зиму, каждый день, я упорно ждал от нее письма, – не мог поверить, что она оказалась столь каменно-жесточкой.

XXXI

Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением легких и в неделю умерла. Узнал и то, что это была ее воля – чтобы скрывали от меня ее смерть возможно дольше.

У меня сохранилась до сих пор та тетрадь в коричневом сафьяне, что она купила мне в подарок из своего первого месячного жалования: в день, может быть, самый трогательный за всю ее жизнь. На заглавном листе этой тетради еще можно прочесть те немногие слова, что она написала, даря ее мне, – с двумя ошибками, сделанными от волнения, поспешности, застенчивости...

Недавно я видел ее во сне – единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была

прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур.

Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда.

1927–1929. 1933. Приморские Альпы